

Юхан Смуги

Проза



Юхан Смуул

Проза

Перевод с эстонского

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

ББК84.Эст 7
С 52

Художник Юлий Боярский

С $\frac{4702700200-363}{083(02)-85}$ 370—83

© Состав, оформление. Издательство
«Советский писатель», 1985 г.



Родился я 18 февраля 1922 года в деревне Когува на острове Муху. Как большинство мужчин поморских деревень, отец мой был рыбаком и хлеборобом одновременно. Прокормиться только тем, что рождала наша скудная земля, было невозможно или почти невозможно. А чем старше становился отец, тем меньше места в нашей жизни занимало море: повзрослев, мои сводные братья ушли из дома. Земля осталась нашей единственной кормилицей. В дом пришла нужда и жила в нем полноправным членом семьи до самой смерти отца в 1940 году и до моего ухода на войну в 1941-м.

И все же, в меру своих сил, отец старался дать нам образование. Одна из моих сестер училась в сельскохозяйственной школе, другая — в школе домоводства. Окончив начальную школу, поступил и я в Янедаское сельскохозяйственное училище, но пробыл там лишь полгода. На этом мое образование и закончилось. На большее не хватило денег. Отец с годами — как к чему-то надежному и вечному — все сильнее привязывался к земле. Вложив в нее все, что за долгую жизнь дало ему море, он и слышать не хотел ни о мореходном училище — мечте всех мальчишек нашей деревни, ни о гимназии, по окончании которой из меня мог бы получиться почтовый или канцелярский чиновник волостного масштаба. Однако, стараясь привить мне любовь к земле, отец невольно бередил во мне тоску по морю. И не только он. Долгими зимними вечерами у нас засиживались его друзья — капитаны и штурманы. Они приносили с собой запах доббельманского табака, захватывающие дух рассказы о плаваниях, штормах, портах, и эта, как мне казалось, вольная, дикая и удалая жизнь увлекала мое мальчишеское воображение.

Я рос в семье, где боялись и свято чтили бога Мартина Лютера, но я создал себе своего собственного — земного и реального: с железными кулаками, любимец женщин; свободно владеющий английским, немецким и финским языками; независимый, с заряженным браунингом под подушкой; орущий команды в снежном урагане бесстрашный бог — капитан огромного парусника. Об этом я писал в поэмах «Я — комсомолец» и «Сын бу-

ри». Сей романтический джеклондонский идеал настолько овладел мною, что, вернувшись осенью 1944 года в освобожденный Таллин, я попытался поступить в мореходное училище. Однако мне было уже двадцать два года, и в ответ я услышал: «Извините, для нас вы староваты».

Часто в моих книгах бушует море, а с 1955 года корабли стали моим вторым домом и подлинной школой жизни — истоки этого нужно искать в моей юности, в среде, в которой я вырос.

У деревни Когува, деревни Смуулов, своеобразная история, как своеобразна и история нашей фамилии — пожалуй, старейшей эстонской фамилии. Смуулы были вольными крестьянами. Магистр ливонского ордена фон Плеттенберг выдал вольную и подарил землю одному из моих предков, Ханскену, в 1532 году. Этот написанный на нижнесаксонском языке пергамент, который теперь висит на стене моего рабочего кабинета, согласно преданию, был выдан за спасение жизни и судна Плеттенберга в проливе Муху. Смуулам — одним из немногих — удалось сохранить свои привилегии и после Северной войны: на них была возложена только почтовая повинность. Деревня Когува оставалась самостоятельной волостью со своим судом и волостным старшиной.

Предполагают, что фамилия Смуулов происходит от шведского слова «småll» — маленький, узкий. Но на протяжении веков немецкие пасторы обращались с ней по своему усмотрению. В Когува жили рядом Смуулы, Шмуулы, Смухлы, Асмуулы, Муулы, и все они были родственниками — дальними или более близкими. Так, например, фамилия моих сестер — Шмуул, моих сводных братьев — Муул, я — Смуул, а фамилия моих родителей при крещении детей всякий раз разная — все зависело от вкусов очередного лютеранского пастора на Муху.

То обстоятельство, что деревня наша освободилась от крепостного ига на три с половиной века раньше других, наложило на нее неизгладимый отпечаток: и на облик крепко сбитых хуторов, и — еще больше — на характер ее жителей. В прошлом веке в соседних деревнях Смуулов прозвали «сыгедад». Слово это трудно перевести: оно разом обозначает надменность, спесь и упрямство, рожденную достатком самоуверенность, а в общем, не очень-то лестно характеризует умственные способности человека. Действительно, некогда Смуулы были бо-

гаче крестьян других деревень: море для них — родной дом. Были они и спесивы — это мне запомнилось с детства. После первой мировой войны деревню прямо-таки наводнили капитаны парусников. Они кутили, дебоширили, и корабли их шли ко дну один за другим. Среди них не было ни ангелов, ни чертей, и именно они были моими первыми учителями. Их лица и повадки, их речь, меткие словечки, характеры и судьбы вошли в мои стихи и прозу. Мне кажется, я удачно выбрал место своего рождения. Ибо, несмотря ни на что, Смуулы сумели сохранить лучшие и характернейшие черты эстонцев поморских деревень: рожденное близостью моря бескорыстное гостеприимство, которое порой бесследно исчезает во внутренних районах страны; готовность оказать помощь без громких слов; рискованную смелость и немалую толлику бродяжнического духа. Не лишены они и такой особенности эстонских поморов — именно поморов, — как чувство юмора, умение увидеть смешное в самой, казалось бы, мрачной ситуации. Больше того, я глубоко убежден: теплый человеческий юмор начинается с умения посмеяться над самим собой, посмотреть на себя со стороны и не разглядывать свою беду под увеличительным стеклом — лучше представить себе, как выглядит она в глазах окружающих. Отец мой это умел. А покойная мать, перешагнувшая девятый десяток и прожившая такую трудную жизнь, что другой, более сентиментальный сын написал бы об этом не один том трагических стихотворений, — моя мать обладала не только редким даром рассказчицы, но и исключительной памятью на все смешное. Она помнила свой каждый радостный день — как мало их выпало на ее долю! — и прожила свою долгую жизнь настоящим человеком: крепко стоя на земле и повернув лицо к солнцу. Я любил и люблю людей с этим большим человеческим даром — чувством юмора — и думаю, что они несколько умнее других. Во всяком случае, с ними легче жить: они меньше ноют и не тащат свои страдания и страданияца на ярмарку чувств. И еще одна заповедь имела в нашем доме силу закона: если человек в беде, если он голоден — пусть даже по своей вине, — накорми, помоги ему подняться на ноги. Потом, конечно, можно и проповедь прочесть — о том, как надо жить. Подлинный гуманизм — дело сложное и трудное, он требует такта и умения не говорить лишних слов, только позеры превращают его в дело чести и славы. К сожалению, в жизни и в литературе слишком

много претенциозного, демонстрирующего свое жалостливое сердце и захлебывающегося в сентиментальном блудословии «гуманизма», который предлагает голодно-му вместо хлеба слова. К такому «гуманизму» я отношусь настороженно, сторонясь его и в тех случаях, когда он объявляется модным течением в литературе.

В нашей деревне рыбаков и капитанов, штурманов и матросов идеалом для меня были два капитана — Мадис Муул и Ханс Шмуул. Первый из них погиб в 1941 году вместе со своим судном в Финском заливе: немецкая авиабомба попала прямо на капитанский мостик. Его отец утонул в Ботническом заливе, а его единственный сын, механик рыболовного траулера, — в Ирбенском проливе всего несколько лет назад. Капитан Ханс Шмуул похоронен в английском портовом городе Кардиффе, его жена и две дочери утонули в Балтийском море в 1944 году. Много могил без креста в моем большом роду... Эти два капитана стали прототипами Юрнаса Маста в моей первой большой поэме «Сын бури».

Возможно, я слишком подробно описываю деревню, в которой родился и вырос. Но мне хочется, чтобы читатель понял: в то время когда многие советские писатели, мои одноклассники, учились в средней школе, а потом в университете, я жил в этой деревне, пахал поле, ходил на веслах. До девятнадцати лет остров Муху был моим единственным миром, школой, университетом, любовью, ненавистью, работой, усталостью, мечтами и разочарованиями. И разлад между мечтой и действительностью, всегда сопровождающий человека, ощущался там сильнее всего. Приведите молодого парня к морю и не пускайте в плаванье — и вы услышите, как кричит его душа.

Моя юность мало чем отличалась от юности обыкновенных поморских ребят буржуазной Эстонии: ограниченность интересов, бедность и — самое угнетающее — бесперспективность. С детства мы узнавали безжалостную власть денег и неприглядность нищеты. Именно она, нищета, направляла наши помыслы и мечты. Не о писательской судьбе думал я, а о том, как стану рыбаком — конечно, богатым рыбаком — и наведу порядок на обремененном долгами отцовском хуторе. Одной из моих любимых книг был томик «Справочника землевладельца» — «Травосеяние». Я надеялся, что смогу превратить в луга наши скудные каменистые земли, на которых голодали даже овцы.

Нельзя говорить о каком-то сложившемся литературном вкусе, о любимых мною авторах до войны или даже в военные годы. В начальной школе мы читали кое-что из эстонской классики. Свой след оставили повести Эдуарда Вильде — «Доктор Тоомаса» и «Мои первые «полосатые», позднее — «Война в Махтра» и «Ходоки из Ания», два первых тома романа А. Х. Таммсааре «Правда и справедливость». До сего времени помню наизусть почти все стихотворения, которые мы учили в школе, — Ю. Лийва и Л. Койдулы, Г. Суйтса и М. Ундер, «Море» Фр. Тугласа. Но позднее на это, подлинное, отложился какой-то мутно-серый слой того чтива, которое тогда в деревне ходило по рукам. Это были вырезанные из газет и переплетенные детективы: я проглатывал их десятками. В них действовали мудрые преступники, добрые миллионеры и их сыновья, женившиеся на бедных секретаршах или манекенщицах и дававшие шоферу по десять долларов на чай. На этой фабрике лжи проповедовался один железный закон: чем беднее человек, тем он подлее. Во мне эти книги пробудили совершенно конкретное желание: стать контрабандистом. Финляндия с ее «сухим законом» была совсем рядом, в народе упорно ходили легенды о том, как буквально за одну ночь богатели «короли спирта». В приморских деревнях контрабандистов не считали преступниками, их даже по-своему уважали: импонировала их каждодневная игра со смертью, огромный риск, с которым сопряжена их деятельность. У них были быстроходные моторные лодки и пулеметы, а жизнь их казалась романтической и великолепной. Контрабандист из меня все же не получился.

Конечно, в деревне читали не только детективные романы. Очень популярны, например, были романы живущего ныне в эмиграции Аугуста Мялька. Мне казалось, однако, что жизнь людей островов и приморья, то есть нашу жизнь, он изображал вроде бы правильно и в то же время фальшиво. Мяльк идеализировал нищету, ловко осыпал ее романтическими блестками, и в этой красивой лжи таился один из секретов его популярности.

Вообще же эстонский роман того времени оставлял у меня впечатление довольно серенького и растянутого. Многие герои его приходили откуда-то с задворок жизни; они думали медленно, действовали медленно, говорили нудно и длинно — даже в тех случаях, когда им нечего было сказать. Натурализм Золя зачастую вырождался в них в плоскую порнографию. Многие из этих

романов напоминали мокрые полотенца — хотелось выжать из них воду. Тем заметнее выделялись на этом унылом фоне романы Эдуарда Вильде, раскрывалось многогранное творчество мудрого правдоискателя и мыслителя Антона Хансена Таммсааре.

Стихов я читал мало — их просто негде было взять. Единственным стихотворным сборником, который до войны я прилежно проштудировал, был «Молитвенник» Мартина Лютера. Но два вида поэзии были мне хорошо знакомы — мухуская деревенская песня (устное творчество сельских стихотворцев) и невероятно сентиментальные и колоритные песни моряков. Подавляющее большинство этих песен составляли неумелые боцманские переводы с английского или скандинавских языков. Если мухуская деревенская песня привлекала меня своей сатирической конкретностью (такую песню слагали всегда об определенном человеке в определенной комической ситуации), то в песнях моряков, где рушились мачты, ревел шторм и смерть уносила друга, где женщины были вероломны и прекрасны, в этих корявых неотесанных песнях, выжимавших слезу из глаз бывалого морского волка, где-то за словами синело и бушевало настоящее море — то, которое я увидел много позже. Пожалуй, в моих первых сборниках нередко звучат интонации именно этих песен, позаимствованные у них строки и их голубая мечта — она совпадала с моей мечтой.

В начальной школе я пробовал сочинять стихи — писал так, как обычно пишут ученики. Писал о звездах и о горных озерах, о цыганах и пожарах — у меня была явная склонность к драматизированию. Позднее к этому прибавились мировая скорбь переходного возраста, страдания первой неудачной любви и твердое убеждение: стихотворение должно быть непонятным. Моим первым «серьезным» литературным опытом был философский трактат «В поисках факторов, влияющих на духовную энергию». На трудную стезю философии меня толкнули две книги: «Бессмертие души» профессора теологии Тартуского университета Теннмана и «Принципы индивидуально-психологического воспитания» Леллепа, известного врача-фрейдиста. Ничего не поняв, конечно, ни в той, ни в другой книге, я уверовал, что индивидуальная психология и бессмертие души и должны быть непостижимы. В моих «Поисках...» тоже никто ничего не понял, в том числе и я сам...

В 1940 году — в год установления в Эстонии Советской власти — мне было восемнадцать лет. К этому времени я уже усвоил несколько простых истин: во-первых, я могу писать стихи и трактаты сколько мне заблагорассудится, печатать их все равно никто не будет; во-вторых, пора похоронить мечты о капитанском мостике; в-третьих, до самой смерти мне суждено быть землепашцем и рыбаком, поэтому нужно стать хорошим землепашцем и хорошим рыбаком. Двуконным плугом я вспахал уже немало земли, хороший урожай радовал меня, а недород приводил в отчаяние: я ненавидел сорняки и камни, густо усыпавшие поля. Еще год-другой, и у меня были бы своя лодка и рыболовные снасти.

К молодой Советской власти поначалу я относился как человек, у которого уже сложилось совершенно определенное представление о своем будущем благополучии — не то чтобы враждебно, но, во всяком случае, скептически. С детства во мне воспитывали крестьянина, а это значит — воспитывали убежденность в неприкосновенности частной собственности, особенно земли, и в неизблемости основ мироустройства.

Осенью 1940 года в Эстонии была проведена земельная реформа. Деревня разделилась надвое — хозяева и новоземельцы. Идея национального единства, которая внушалась нам со школьной скамьи, полетела ко всем чертям. На раскаленных докрасна сходках эстонцы ругали эстонцев. Ругали яростно, от всего сердца, очень убежденно, и здесь я впервые заметил, что у эстонцев есть не только характер, но и темперамент. Именно в те дни я несколько иначе стал смотреть на мир, и постепенно во мне рождалось новое отношение к старым истинам, которое в конце войны привело меня в комсомол, а позднее — в ряды партии. Меня, видимо, ужаснула та первобытная жадность собственника, с которой хозяева цеплялись за свою землю и которая оправдывала все — даже подлость; та жадность, из-за которой в первые недели войны, еще до вторжения немцев, хозяева убивали новоземельцев. Неожиданно даже для самого себя я оказался на стороне последних. Об этом времени написано в поэме «Я — комсомолец».

В начале августа 1941 года на островах была объявлена мобилизация. Путь наш шел по морю — с Сааремаа в Таллин и оттуда в Ленинград. В Финском заливе нас несколько раз атаковали базировавшиеся в Финляндии

немецкие самолеты, и я впервые столкнулся с жестокостью войны — кровь, смерть, пылающие корабли. Дальше нас повезли в Челябинскую область, где позднее была сформирована одна эстонская стрелковая дивизия. Наш рабочий батальон послали на строительство завода. Безжалостное то было время, и в памяти моей оно по сей день затянуто какой-то серой дымкой. Недоедание и болезни делали свое дело, смерть стала обычным явлением. Но и в эти предшествовавшие формированию Эстонского стрелкового корпуса месяцы в нас росло и крепло убеждение, что идея молниеносной войны Гитлера потерпела крах и фашистов ждет неминуемое поражение.

В рабочем батальоне я тяжело заболел, и в начале 1942 года, когда стала формироваться эстонская дивизия, меня послали лечиться и работать в один из совхозов Челябинской области. Сначала я работал в теплице и в стройбригаде, позднее — помощником тракториста. Трактористом, с которым я проработал три месяца, был бывший черноморский матрос Кирилл Некрасов, инвалид второй группы, тяжело раненный при обороне Одессы. Он по-братски делился со мной всем, что у него было, талантливо и смачно ругался и очень быстро научил меня обращаться с нашим трактором — «сталинцем». По ночам, когда раны Некрасова болели особенно сильно, пахал я. Некрасов вернул мне уверенность, что я нужен, что моя работа кое-что значит. Он тяжело переживал наше отступление весной и летом 1942 года, но твердо верил в победу — итог войны не вызывал у него ни малейшего сомнения. Некрасов — один из тех настоящих людей, с которыми меня свела война, один из тех, кто умеет заставить задуматься и способен повлиять на становление мировоззрения. В поэме «Я — комсомолец» о нем написано в главе «К. Л. Степанову», на деле же Кирилл Леонтьевич дал мне куда больше, чем материал для одной главы в поэме.

Летом 1942 года, несколько оправившись от болезни, я вернулся в эстонскую дивизию. Построенный нами завод работал на полную мощность. Но рабочий батальон оставил неизгладимые следы: я снова заболел, потом выздоровел; опять заболел, и теперь куда серьезнее. Туберкулез.

В начале 1943 года я написал свое первое увидевшее свет стихотворение «Младшей сестре». Оно появилось в эстонских дивизионных газетах, а позднее — в выходив-

шей в Москве газете «Рахва хяэль» («Голос народа»). Номер газеты с моим стихотворением я получил три месяца спустя в нижнетагильском военном госпитале и стал писать — много, лихорадочно, плохо. Но тогда мне казалось, что я иду по следам Маяковского: я прочел несколько его стихотворений в переводе на эстонский язык. Ни одно из этих моих произведений не было опубликовано.

В январе 1944 года меня демобилизовали. Я поехал в Москву, где в то время находилось правительство Советской Эстонии. Там меня определили на работу в Народный комиссариат просвещения — печатать на машинке, но к машинке и близко не подпустили. В марте этого же года, когда фронт подошел к Эстонии, я перебрался в Ленинград, куда перевели правительственные учреждения, редакции газет и откуда транслировались радиопередачи для оккупированной Эстонии. Как поэта (ведь я опубликовал одно стихотворение!) меня взяли на работу в редакцию «Рахва хяэль» — сначала опять же в качестве «машинистки», позднее — литературным сотрудником. И... отправили в Боткинскую больницу. Два месяца спустя, после операции, я понял, что последний год прожил где-то на грани жизни и смерти — все время с температурой и будто в полусне. И моя работа, работа литературного сотрудника, показалась мне вдруг очень интересной, ответственной и трудной. Так в Ленинграде началась моя писательская биография.

Я писал репортажи, статьи, стихотворения, много сотрудничал в эстонских передачах Ленинградского радио. Жадно читал все, что писали находящиеся в тылу эстонские поэты — Иоханнес Семпер, Март Рауд, Яан Кярнер, Иоханнес Барбарус, Дебора Вааранди, Минни Нурме, Айра Кааль. Не так уж много, но зато много хорошего. Я до сих пор убежден, что годы Великой Отечественной войны были периодом взлета эстонской поэзии, когда понятия поэт и гражданин, поэт и солдат были равнозначны, а вопрос — кому адресовать поэзию — яснее, чем когда-либо раньше или позднее.

В моем первом сборнике «Суровая юность», вышедшем в 1946 году и составленном преимущественно из стихов военных лет, чувствуется влияние Кярнера, Рауда и Семпера, свой «почерк» там едва намечается, но в этом сборнике моя любовь и моя ненависть.

Весной 1944 года меня приняли в комсомол. Наступи-

ли беспокойные, горячие дни. Я много писал для газет. Осенью 1944 года, во время боев за освобождение Эстонии, был военным корреспондентом. После освобождения Таллина проработал еще некоторое время в «Рахвахяэль», а в конце года, когда снова стала выходить литературная газета «Сирп я вазар», перешел туда и до лета 1946 года работал заместителем редактора. В 1946 году редактировал журнал «Пионер». С 1947 по 1951 год, когда меня избрали заместителем председателя Союза писателей Эстонии, я был профессиональным писателем и одновременно (с 1946 года) членом ЦК ЛКСМ Эстонии. Комсомольская работа отнимала много сил и времени, но как много она давала взамен! И самое важное: она не позволяла замкнуться в узком кругу чисто литературных интересов, препятствовала ранней профессионализации, которая могла привести меня, как нередко приводит современных молодых литераторов, к поклонению одному-единственному божку — собственной малоопытной персоне. Больше того, тесная связь с комсомолом, поручения, которые я выполнял, проблемы, с которыми сталкивался, дружба с людьми, сраженными позднее пулями бандитов, — вся эта напряженная, поистине боевая жизнь, которой в послевоенные годы жила комсомольская организация Советской Эстонии, должна была отразиться и отразилась в моих первых книгах, стихах, поэмах. Я был и навсегда останусь благодарным должником Ленинского комсомола.

В эти годы вышло из печати несколько моих поэтических сборников: «Суровая юность» (1946), поэма «Сын бури» (1947), «Бригада парней из Ярвесуу» (1948), «Эстонская поэма» (1949), «Чтоб яблони цвели» (1951). Если я что-то и привнес в эстонскую поэзию тех лет, то это, кажется мне, поэмы. Меня привлекал эпический размах поэмы как жанра, свойственная ей широта охвата жизненного материала. Поэма, очевидно, больше всего отвечала природе моего дарования, уже тогда, наверное, во мне таился будущий прозаик. В те годы поэмы занимали в эстонской литературе видное место, и лучшие из них, написанные Деборой Вааранди и Мартом Раудом, живут и поныне. Во время работы над «Сыном бури» я вернулся в прошлое, в свою деревню, на родной остров и к тому морю, от которого для меня берут начало все моря, — к морю моего детства. В «Сыне бури» воссоздается жизнь капитана Юрнаса Маста от его рождения до гибели, то есть с начала XX века до конца тридцатых

годов. Я стремился обнажить социальные противоречия капиталистического мира, разоблачить волчьи законы, которые могут погубить даже сильного и хорошего человека. В то же время эта поэма о мечтах моей юности и о море, которое я представлял себе по рассказам моих друзей капитанов. Они были очень хорошими рассказчиками, и поэтому море в поэме, несмотря на романтические прикрасы, порой очень похоже на те моря и океаны, которые я позднее увидел сам.

В следующем сборнике — «Бригада парней из Ярвесуу» — три поэмы: «О чем говорил рыбак», «Красный обоз деревни Когува» и «Бригада парней из Ярвесуу». Если две первые поэмы — картины из жизни послевоенной поморской деревни, то «Бригада парней из Ярвесуу» — «комсомольская поэма», и рассказано в ней о том, как комсомольцы республики построили небольшую гидроэлектростанцию в Лезваку. Тогда, в 1947 году, строительство этой станции было событием республиканского масштаба. Я долго жил в Лезваку вместе с героями своей будущей поэмы, деревенскими парнями с берегов озера Пейпси¹. Мы вместе работали, вместе росли, мужали — так что поэма о строителях Лезваку одновременно и кусочек моей биографии.

В 1949 году я работал в маленьком городке на юге Эстонии — в Выру и написал «Эстонскую поэму», отдав в ней дань культу личности. Никто не заставлял меня писать ее, у меня не было даже так называемого социального заказа. Я не верю, что писателя можно заставить написать что-то, во что он сам не верит, хотя подобные кажущиеся самокритичными голоса раздавались после разоблачения культа личности и слева, и справа. Для большинства из нас, тех, кто вырос и сформировался в годы Отечественной войны, кто лицом к лицу столкнулся с беспощадностью классовой борьбы в послевоенной эстонской деревне (в течение нескольких месяцев, которые я прожил в Выру, бандиты убили в окрестных волостях десятки партийцев и комсомольцев), имя Сталина было не вывеской, прикрывавшей конъюнктурность, а знаменем и силой. Так было и со мной. И поэтому помимо явной дани культу личности Сталина в поэме есть и такие главы, которые я не мог бы перечеркнуть без сожаления.

¹ Эстонское название Чудского озера.

В 1949—1953 годах написана поэма «Я — комсомолец». В ней много биографических моментов, но в целом она далека от зарифмованной автобиографии. В 1959 году вышел небольшой сборник «Между морем и небом», а в 1961 году избранное — «Морские песни. Сын бури». В этот сборник вошли стихотворения о море, основательно переработанная поэма «Сын бури», а также новые стихи об Антарктике и небольшая поэма «Шпицбергенские мотивы». В 1949 году я написал либретто популярной оперы Густава Эрнесакса «Берег бури».

Начиная с 1951 года прозаик все больше и больше вытесняет во мне поэта. Правда, еще раньше я написал несколько рассказов, а в 1947 году в журнале «Лооминг» был опубликован роман «Эндель Кангур» — слишком слабый, чтобы издать его отдельной книгой. Моей первой прозаической книгой были «Письма из деревни Сыгедате» — девять писем из рыболовецкого колхоза, который очень похож на колхоз «Сын бури», то есть на мою деревню, где молодому колхозу дали имя по заголовку моей поэмы. Эти письма, которые по жанру могут быть как рассказами, так и очерками, были тепло приняты читателями.

А потом пришло море. В 1955 году я пошел на первом эстонском сельдяном траулере «СРТ-4244» в Северную Атлантику. Мы ловили рыбу в Норвежском море, и на протяжении многих недель нас окружала белесая стужа то ясного, то туманного полярного дня. Открытое море, о котором я с детства мечтал и уже немало написал, всерьез, лицом к лицу, я впервые увидел в тридцать три года. Оно было и знакомым, и чужим. Лишь в первые часы шторм мог казаться поэтичным, потом это стало однообразным и очень утомительным. Мы попали в туман — в белое неподвижное молоко, один за другим следовали дни без улова, и обстановка на судне с каждым днем накалялась. Настроение было угрюмое, вспыхивали ссоры. Морская тоска — тот Большой Халль, о котором я писал в «Японском море», шел за нами по пятам, как злобный пес. В этом молочном тумане, в желтом аварийном свете каютной лампочки, неожиданно для самого себя я стал писать книгу под названием «Удивительные приключения мухумцев на празднике песни», жанр которой ни я сам, ни критики до сих пор не смогли определить. Это единственная легкомысленная книга в моем довольно обширном творчестве, нечто вроде колоссального фельетона, где, как и в «Письмах...»,

переплелись современность и воспоминания молодости и где много места занимают побасенки моих многочисленных крестных отцов. И все же такая форма позволяет сказать довольно много и о серьезных проблемах сегодняшнего дня. Я стал писать «Мухомцев» из протеста против того отупляющего уныния, которое охватывает на море в тяжелые дни, и из чувства внутренней самозащиты. Ирония, тоже элемент самозащиты, позволяет взглянуть на себя со стороны — при этом наша духовная депрессия обычно теряет девять десятых своей мрачной глубины и не кажется уже пупом земли.

Результатом моего первого морского путешествия явились пьеса «Атлантический океан» (1956) и книжка для детей — «Мурка-моряк» (1958).

В 1957—1958 годах я участвовал в третьей комплексной Антарктической экспедиции. Дневник длившегося полгода морского и ледового путешествия — «Ледовая книга» — напечатан в 1959 году. Это до сих пор моя самая читаемая книга, она вышла на двадцати языках. О «Ледовой книге», об истории ее создания я довольно подробно писал в статье «О людях, о книгах, о море» (1961).

В ноябре — декабре 1959 года я плавал в Японском море, на сей раз на экспедиционном судне «Воейков». Книга «Японское море. Декабрь» опубликована в 1963 году.

С большой литературой я стал серьезно знакомиться лишь после войны, уже взрослым. Много читал Толстого, возвращаясь к нему, как возвращаются к морю. Гоголь вошел в мою жизнь и остался навсегда. Много читал Салтыкова-Щедрина и Короленко. Снова и снова перечитываю Чехова. На долгое время моим литературным кумиром стал Стендаль, и если я когда-либо в буквальном смысле слова изучал литературное произведение, то это «Красное и черное». Диккенс, Роллан, Роже дю Гар, Флобер, Томас Манн, Доде, Голсуорси, Эптон Синклер и Синклер Льюис, Драйзер, затем скандинавы — Унсет, Бьёрнсон, Бойер, Ибсен, Лагерлеф, Стриндберг, Гамсун (один из наиболее переводимых авторов в буржуазной Эстонии) — все они помогли составить картину большой литературы. Где-то отдельно, то и дело заставляя возвращаться к себе, стоят две книги: «Тиль Уленшпигель» де Костера и «Семь братьев» финского классика Алексиса Киви — книги, где реальность и мифы удивительно переплетаются, сплавляясь

в чистое золото литературы. Вообще в финской литературе я, как, наверное, все эстонцы, нахожу много близкого: Ахо, Лейно, Киви, финско-эстонская писательница Айно Каллас, Силланпяэ. Очень люблю и финский фольклор.

Позднее пришли Фейхтвангер, Стейнбек, Хемингуэй, Брехт, Лакснесс, Экзюпери и Вяйнё Линна — пожалуй, самая крупная фигура в литературе Северных стран последних десятилетий. Я называю только тех западноевропейских писателей, которые меня больше других захватили и заставили задуматься, тех, большой талант которых неразрывен с большой совестью.

Конечно, мне очень близка советская литература — она мой постоянный спутник. Снова и снова приходится советоваться с Горьким, нестареющим великим мыслителем. «Тихий Дон» у нас, к сожалению, только один. Алексей Толстой, особенно его роман «Петр Первый», был для меня открытием. И все же первая книга советской литературы, которая меня потрясла, произвела впечатление новаторской и неповторимой, — это «Разгром» Фадеева. Позднее пришли Серафимович и Фурманов, Федин и Гладков. До сегодняшнего дня я большой почитатель Макаренко. Меня заставляли задумываться и радоваться Панова, маленькая по объему, но поистине огромная «Звезда» Казакевича, «Дневные звезды» Ольги Берггольц, «Живые и мертвые» Симонова. На общем серьезном фоне прозвучал ироничный и злой смех Ильфа и Петрова, прозвучал и остался в одиночестве, как веселое лицо на представлении драмы. Мне кажется, что, говоря о Салтыкове-Щедрине и Гоголе, мы в то же время боимся смеха во всех его многообразных оттенках, и этот внутренний страх перед юмором и сатирой делает нас добропорядочнее и... беднее.

Говоря о любимых писателях и книгах, я не решаюсь назвать себя учеником какого-либо одного художника. Может быть, это время еще впереди. Из поэтов я люблю эстонцев Лийва, Суйтса, Сютисте, люблю Багрицкого, поэмы Твардовского. У меня две давние привязанности: Гейне и Некрасов. Глубоко волнуют Назым Хикмет и Брехт.

Но есть один писатель, книги которого оказали прямое влияние на мою судьбу, заставили меня реализовать расплывчатые мечты о море и льдах в путешествия в моря и льды, — это Фритьоф Нансен. Другие заставляли меня думать, он — действовать. Моя привязанность к Нан-

сену, удивительно цельному и гуманному человеку, величайшему полярному исследователю и прекрасному писателю, с годами не угасла. Вообще книги полярных исследователей, мореплавателей, землепроходцев были для меня долгие годы хорошими друзьями, будь то Пржевальский, «Путешествие к южному полюсу и вокруг света» Джеймса Кука, Ливингстон, «Кон-Тики» Хейердала, «Зверобой залива Мелвилла» Фрейхена, «Курс NbyE» Кента или потрясающе трагичная «Последняя экспедиция» Роберта Скотта. Эти и десятки подобных книг будят в нас тоску по новым далям, и уже поэтому это настоящие книги. А если говорить о писателях, которые лучше всех изобразили море, сумели передать отношение человека к морю как к будничной стихии, которые смотрят морю в лицо как живому существу, относятся к нему как к врагу или другу, — то для меня это Конрад, Лондон и Хемингуэй.

Я написал пять пьес: «Атлантический океан» (1956), «Леа» (1959), «Дикий капитан» (1964), «Вдова полковника» (1965) и «Жизнь пингвинов» (1969). Помимо того — два киносценария: «Письма из деревни Сыгедате» и «Полуденный паром». Фильмы по этим сценариям поставила студия «Таллинфильм».

Если оглянуться на пройденный путь, представится довольно пестрая картина. Я писал передовицы, репортажи, статьи, даже речи; сочинял радиопостановки, стихи, поэмы, много текстов к песням, либретто оперы, рассказы, миниатюры, «письма» — нечто среднее между рассказом и очерком, юмористическую повесть, книжку для детей, две путевые книги, пьесы, монологи. Причем, за исключением поэмы, ни один жанр не привязывал меня надолго. Дело, очевидно, в опасной нестабильности и в усталости от формы, которую я ощущаю по окончании каждого произведения и которая подстегивает на поиски все новых и новых форм. Быть может, это страх перед повторением самого себя. Сейчас, когда я пишу эти строки, я опять на время стал кинодраматургом и с интересом жду, что из этого получится.

Общественная работа всегда занимала большое место в моей жизни. С 1953 года по сей день я председатель Правления Союза писателей Эстонии. В 1956—1964 годы и снова с 1967 года — член ЦК КП Эстонии. С 1954 по 1958 год — депутат Верховного Совета ЭССР, с 1958 по 1966 год — депутат Верховного Совета СССР.

В 1951 году за сборник «Стихи. Поэмы» я получил

Государственную премию, а в 1961 году был удостоен Ленинской премии за «Ледовую книгу». В 1965 году мне присвоили почетное звание народного писателя республики.

В жизни мне очень везло. Были солнце и шторм, но самое главное — меня всегда окружали хорошие и умные люди: рыбаки и капитаны, землепашцы и летчики, полярные исследователи и ученые, запускающие в небо метеорологические ракеты. Вместе с ними я видел как раз столько стран и морей, чтобы понять, как мало я видел и как мало знаю. Я старался уловить и запечатлеть их характернейшие черты, в том числе и те, которые, по моему, свойственны советскому человеку завтрашнего дня.

И опять меня преследуют серые безжалостные глаза — глаза холодного Северного Ледовитого океана. Зовут корабли, зовет лед. Наверное, в следующую навигацию я буду далеко на Севере. Мне хотелось бы привезти оттуда свой первый роман.

Таллин, декабрь 1969



ПЕСНЬ СМЕРТИ

Приступ малярии начинался каждый день после обеда, ровно в половине третьего. Начинался так точно, что по нему можно было сверять часы: он не спешил, но и не опаздывал ни на минуту. Лучшее время дня было до приступа. Острый ревматизм, который по ночам взвинчивал температуру до сорока и заставлял меня стонать и скрипеть зубами, временно, словно уступая место малярии, оставлял в покое мои локти, кисти рук, пальцы и колени. Тогда я ненадолго засыпал и набирался сил для борьбы с приступом малярии и с ноющей болью, подстерегающей меня по вечерам.

Происходило это в декабре сорок первого в изоляторе на Урале. Мне было девятнадцать лет, и весил я сорок три кило. Семеро эстонцев-островитян, лежавшие в той же палате, — но не такие больные, как я, — уже целую неделю разговаривали со мной с какой-то странной и угрожающей кротостью. По взглядам, которыми они обменивались, я догадался, что дни мои сочтены. Но даже раза два по утрам шепотом произнесенное слово «конец!» оставило меня совершенно равнодушным. Ночи в полузабытии из-за мучительной боли в суставах, полная неподвижность и вдобавок невесть откуда взявшаяся малярия сжимали меня, как тисками, и все, что прорывалось сквозь них, было окутано туманом и теряло свою остроту и значение.

В половине третьего начинался приступ малярии. На меня набрасывали ворохом все, что было под рукой: ватники, чье-то пальто, подушку на ноги. Приносили стакан горячей воды, которой я пытался растопить лед внутри себя. Сперва от холода стучали зубы, потом я дрожал всем телом, под конец меня так трясло, что со стороны казалось, будто я подсакивал. Когда приступ достигал кульминации, меня охватывало неодолимое желание залезть в раскаленную железную времянку, стоявшую посреди комнаты, но ноги не двигались, да если бы и двигались, меня удержали бы соседи по палате.

После приступа малярии я, словно избитый, лежал

без сознания, и в чувство меня приводила только грызущая ломота в суставах.

Так шли дни. Думал я очень мало. Мирное время, море, солнце, дом — все это кануло в доисторические времена, отстоящие за тысячелетия, казалось чем-то полузабытым и нереальным, к чему даже мысленно невозможно было перекинуть устойчивый мост.

Наступил кризис. Я чувствовал это сам и видел по глазам соседей. Но со всей ясностью я понял это тогда, когда один из больных — у него дела шли на поправку, и в последние дни он чаще других крутился возле моей кровати и лез ко мне с соболезнованиями (другие помогали, но вслух не сочувствовали) — заискивающе спросил:

— Деньги у тебя останутся?

— Самому пригодятся, — ответил я.

— Да нет... ну, если так... — пробормотал он запинаясь и отвернулся.

Ему было так трудно и в то же время так необходимо выяснить это, что на носу у него выступили капельки пота, и я понял, что он имел в виду. Я почувствовал к нему острую неприязнь, такая жадность ужаснула меня, и я ответил:

— Останутся.

— Сколько? — спросил он с прежним возбуждением.

— Немного. Две тысячи.

Я солгал. У меня было всего сорок два рубля. Но в жизни у меня бывало так мало денег, что хоть раз, хоть на словах, мне захотелось быть богачом. Наверное, называя такую сумму, мне хотелось заставить его мучиться. И этого я достиг. Шея у него покраснела, и он спросил, теперь уже торопливо и шепотом:

— Где они у тебя?

— Тут, — ответил я и вдавил затылок в подушку.

— Я всегда был добр к тебе, — сказал он. «Добр к тебе» отозвалось эхом у меня в голове, и я подумал, что никогда не слышал, чтобы так говорил мужчина женщине. Такое может сказать старуха старухе на церковном дворе. — Я всегда был добр к тебе, запомни! — прошептал он еще раз и отошел.

Но кое-чем я ему обязан. Во-первых, с тех пор я не выношу людей, которые испытывают только выгодное для них сострадание, которые сочувствуют,

но не помогают, а вспоминая трудное для ближнего время, напоминают: «Я тоже плакал».

Во-вторых, с ним связано мое первое стихотворение. А произошло это так.

В тот же вечер в изоляторе неожиданно появился гадалыщик.

Это был хитрый пройдоха. Он гадал только тем, о ком заблаговременно все разузнавал, а потом рассказывал о их прошлом с нарочитыми паузами и удивительной, ошеломляющей точностью. Такая осведомленность заставляла многих поверить и в его предсказания. Я до сих пор помню его бормочущий голос: «Женщина... белокурая. А раньше, смотри, вот она, брюнетка. Двое детей... Пожар. Дальняя дорога, сперва по морю, малая вода; потом вода побольше (все это соответствовало нашему маршруту), потом дальняя дорога, казенный дом...» Поначалу он кончал войну к рождеству 1941 года, однако за неделю до рождества изменил срок и перенес конец войны на сретенье. Прошрое он пересказывал точно, даже беспощадно, зато будущее расписывал всеми цветами радуги, и какой-нибудь осунувшийся землекоп совал ему в ладонь три рубля — именно столько стоило счастливое будущее и окончание войны в феврале.

Его зазывали к себе даже фельдшерицы. Через переводчика он и им говорил именно то, чего они хотели и ждали. Трешек он с них не брал, но, случалось, его на день, на два освобождали от работы из-за непонятной и невидимой нам болезни.

Гадалыщик ходил по палате от кровати к кровати. По пятам за ним шел тот, кого интересовали деньги в моей подушке. Но никто не просил погадать.

Ревматизм скрутил меня со всей яростью. И вдруг они оказались у моей кровати. Гадалыщик, одетый в добротный, почти неношенный пиджак из домотканого сукна, с саженым теплым шарфом вокруг шеи, тасовал в руках тридцать шесть засаленных карт из колоды судьбы. Сперва я увидел узловатые, сильные и ловкие руки, колоду карт и только потом его лицо — схваченное декабрьским морозом, оно горело, словно новый медный пятак. Из-за высокой температуры ничего больше я на нем не разглядел.

— Хочешь, погадаю? — спросил «медный пятак».

— Не хочу, — запротестовал я.

Я терпеть не мог предсказаний и гадания на картах.

— Никогда не мешает знать, что тебя ожидает,— произнес он спокойно.— Хуже не будет. Трояк.

— Даром. Я плачу! — нетерпеливо вмешался мой «доброжелатель».

Я противился, как мог. Но против них двоих я был бессилен. И гадалщик разложил карты у меня на груди. В самую середину бросил валета червей, то есть меня. А потом, по всем законам черной магии, веером раскинул вокруг валета карты. Наконец положил на меня, то есть на валета червей, три карты рубашкой вверх.

Жутко ломило суставы. Я застонал.

— Смотри! — шепнул «доброжелатель» гадалщику.

Тот снял с валета червей три карты. В самом низу, то есть прямо на мне, лежал туз пик — карта смерти...

Гадалщик, не говоря ни слова, собрал карты, сунул колоду в карман, встал и вышел. «Соболезнующий» пошел за ним.

В тот же вечер, после визита встревоженного врача, я узнал, что жить мне осталось три дня. Сказал это, конечно, не врач, а гадалщик «доброжелатель». А тот принес эту новость мне. Узнали о ней и все больные. Иные не поверили, другие слишком неумело скрывали, что верят. Хуже всего, что сам я почти поверил этому. Слишком велик и очевиден был процент вероятности этого предсказания. Уже две недели я неуклонно скользил к холодной пустоте и, рассуждая логически, должен был когда-нибудь свалиться в нее.

Я оставался по-прежнему безучастным. Но о людях, которые мне помогали по мере сил, — о них я все же подумал. В тот же вечер я поделил между ними содержимое моего рюкзака: несколько рубашек, свитер, три пары шерстяных носков, пиджак, ботинки. Они отказывались, обзывали гадалщика трепачом. И хотя «наследство» осталось под моей койкой, каждый знал, что из этого достанется ему. А «соболезнующему» я шепнул на ухо:

— Подушка.

Он понимающе и удовлетворенно кивнул головой.

Прошла ночь, самая тяжелая за время болезни. А на утро я прежде всего вспомнил: «Три дня».

Наверно, каждому из нас хочется оставить на земле свой след, память о себе, отметину, которая пережила бы нас. Чтобы след этот жил среди людей и только с его

исчезновением исчезли бы навсегда и мы. Мне тоже захотелось оставить на земле свой след. Но как? Руками я еще мог двигать, и голова перед приступом малярии работала яснее, и я решил написать стихотворение «Песнь смерти».

В то время мои познания в поэзии и в сочинении стихов были не больше, чем у любого школьника, окончившего шесть классов. Стихов я знал столько, сколько их было в школьных хрестоматиях: Койдула, Лийв, Якоб Тамм, «Осенний ураган» Ундер, «Церковный колокол» и «Кукушка Кякимяэ» Суйтса. Вот почти и все.

Единственным сборником песен, который я хорошо знал, был «Молитвенник» Мартина Лютера. И хотя я очень любил стихотворение «Церковный колокол», к тому же оно было созвучно тогдашнему моему настроению и душевному состоянию, я счел его слишком простым, чтобы позаимствовать у него форму и настрой как основу для моего памятника. По некоторым экземплярам журнала «Лооминг», попавшим мне в руки, подлинной поэзией я считал ту, которая была мне непонятна. Потому-то интеллектуальная и философская поэзия Барбаруса казалась мне самой настоящей.

Итак, зная, что отпущено мне всего три дня, я принялся сочинять. В первый день мне удалось написать шесть строк. Из этого утерянного «стихотворения» я не помню ничего, кроме начала:

Вовек не угаснет голубое свечение Сириуса,
И Млечный Путь освещает
космоса вечный день.
И солнце лишь на ночь скрывает
свой жар животворный,
Чтоб вечно сиять.

После шести строк начался приступ малярии, после малярии — полный упадок сил, а вечером — вновь обострение ревматизма с высокой температурой. Но каждый день я сочинял шесть строк. И странно: смерть, о которой я писал, не подкрадывалась ближе, а отступала все дальше. Наверно, все решило ощущение: я пишу, — значит, я живу!

На третий день, в последний отпущенный мне день, я чувствовал себя уже немного лучше. Последние шесть строк получились как-то сами собой и, кажется, были да-

же более радостными. А когда занялось новое утро, снежное, яркое утро четвертого дня, я встретил его как подарок и знал, что оно не последнее.

К моей кровати подошел «соболезнующий», взглянул на меня с недоумением и укором, и впервые за долгое время я рассмеялся. Он потребовал вернуть ему три рубля за гадание. И хотя это было глупо, я заплатил. Заплатил потому, что под подушкой лежало мое первое стихотворение. Но я не удержался и сказал:

— Передай гадалышке, что он глуп как сивый мерин.

Мое первое стихотворение, «Песнь смерти», утеряно. И это хорошо. Потому что хотя оно было первым, оно же было и последним, на которое меня вдохновила смерть.

Жизнь — вот о чем только и стоит петь.

ИЗ КНИГИ «ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ СЫГЕДАТЕ»



ВСТУПЛЕНИЕ

В столовой молодого районного центра за крайним угловым столом сидели шесть рыбаков и, перекрикивая друг друга, горячо спорили о том, какая наживка лучше.

— Есть व्यюн — будет угорь. Нет व्यюна — и угря не будет, ни шута не поймает, разве что мелочь какую.

— У Пыхьяранника насаживают малых песчанок, вот это наживка!

— У нас песчанка не подойдет. Вот уклейка и окуньки — это да! Знай лови да посмеивайся. Тут тебе и щука будет, и окунь, и угри здоровенные...

— Самая что ни на есть наживка — морской таракан. И по науке так.

— В голове у тебя таракан! А черви? О них-то и позабыл? Черви — наживка старая и верная.

— На червя ребятишкам ловить.

— А язь? Клынет он на твою науку, а?

— Шесть бутылок пива!

— Ой, господи, смерть моя! — закричала вдруг молоденькая официантка.

Все обернулись, чтобы посмотреть, с чего это она собралась умирать и как это будет выглядеть.

Из-под стола, за которым сидели мужчины, извиваясь меж резиновых сапожищ, выполз серый со спины, весом этак с килограмм угорь и взял курс к кухонной двери.

Народ весело зашумел.

— А ну-ка, товарищ девушка, — обратился к официантке старый рыбак, стоявший за науку и морского таракана, — бросьте-ка этого молодца на сковородку. Его, видать, и самого здорово туда тянет.

Распахнулась дверь. В столовую вошел мужчина в новой промасленной куртке, роскошно облепленной чешуей, с зюйдвесткой, зажатой в руке. Выражение лица у него было невероятно хитрое. Все — длинный и мясистый нос, светлые прищуренные глаза, широкий рот, изогнутый кверху, как молодой месяц, — делало его похожим на старого и умного кота, когда он ходит вокруг цыпленка и тихонько мурлычет: «Друг, друг, друг». Человек с хитрым лицом сел за стол по соседству с шестью рыбаками.

— Не зазнавайся, подсаживайся к нашему брату! — позвали те.

— На своих харчах лучше, — ответил человек с хитрым лицом.

— Нас, поди, боишься?

— Вас и надо бояться.

— Ну да, заробеешь, если с планом у тебя того...

— Догоню и еще обгоню.

— А чего же ты тогда боишься?

— Видишь ли, покойный мой отец, будь ему земля пухом, поучал меня... — Хитролицый усмехнулся и заговорил громче: — «Бойся трех вещей — смерти, царского повеления и людей из деревни Сыгедате»¹.

Я знал этот район, но о деревне Сыгедате услышал впервые.

Неожиданно из-за углового стола поднялся сутуловатый старик, глубоко, как в сильный ветер, нахлобучил на голову фуражку, подошел ко мне и представился:

— Йоосеп Саар, из деревни Теэвезре, из усадьбы Михкли. Я твой крестный отец.

— Крестный?

— Не помнишь, что ли, как мы твои крестины справляли?

Да, я не помнил. Но поскольку у меня вредная слабость к различным прологам и эпилогам, то скажу несколько слов и о крестных отцах. У меня двадцать пять крестных отцов. Десять — в могиле, пятнадцать — живут. Конечно, по законам лютеранской церкви может быть всего лишь три кума, но так как я родился одиннадцатым ребенком, но первым и единственным сыном, то мой покойный отец в споре с пастором Нерлингом настоял на своем и пригласил на крестины всех, кто только попался тогда ему навстречу, — и рыбаков из своей деревни, и тех, кто в тот холодный и бурный апрельский день пережидал в нашей деревне шторм. Больше того — он заставил занести всех кумовьев в церковную книгу, чтобы все было по закону и чтобы эти деды имели писаное право поучать меня на извилистом жизненном пути, спасти меня от заблуждений и греха, который будто бы ходит по свету, «аки лев рыкающий», и ищет, кого бы проглотить. Надо сказать, что дорогие крестные не скупились на поучения и советы — кто учил косу точить, кто сети чинить, кто лошадей ковать, кто звал к себе под-

¹ Сыге — темный, невежественный.

ручным горн раздувать и показывал, как насаживают шину на колесо, — одним словом, обучали разным ремеслам, и тем, которые впрок, и тем, от которых жди тревог. Все они хорошие люди, спасибо им.

— Э, где тебе и впрямь помнить, как мы справляли твои крестины! — сообразил наконец Йоосеп Саар, ставший моим крестным потому, что в этот день он укрылся от шторма в нашей деревне.

— Нет, не помню.

— Случилось это в ту пору, когда мережи смолят. Пива не было, дули один спирт из Мемеля.

(В 1922 году и позднее почти все рыбаки с побережья возили контрабандный спирт из этой вольной гавани, и попало их на этом деле не больше половины.)

— Знаешь, крестник, — повелительно сказал вдруг Саар, — у нас теперь колхоз, крепкий колхоз. Другого такого не найдешь. Поедем к нам, и напиши чего про нас.

Я отвечал, что держу путь в свою родную артель, что я обещал, что меня ждет мать.

— Мать простит. Такая уж их материнская доля.

То же самое подумалось и мне. Через полчаса я сидел в моторной лодке Саара, которая шла через пролив в деревню Сыгедате.

— С чего это у вашей деревни кличка такая — Сыгедате?

— Это, крестник, старая история, еще с царских времен. Давным-давно все Саары из деревни Теэвэзэре возили почту на баркасе через пролив, потом на лошадях через остров и опять на баркасе через второй пролив. Это шло в счет отработок, и Сааров звали почтальонами. С тех почтовых перевозок вся деревня могла бы разбогатеть, не обворовывая ее помещики. Был царский указ: «За почту, перевозимую по русским землям, платить по три копейки с версты». Эти-то денежки помещики и прикарманивали. А кличка «темные» получилась так. Дед мой, старый Мадис Саар, был шкипером на баркасе. И вот вез он как-то через пролив барона Буксгевдена, его карету и четверку лошадей. Ветер задувал вовсю, держать курс было нелегко. Буксгевден сел рядом с дедом и знай себе наваливается брюхом на румпель. Устал старик, рассердился и выпалил барону: «Бог на небесах, капитаны на судах, а ну-ка, убирайтесь отсюда!» Буксгевден испугался, забрался в карету — укрыться от ветра, а лишь только очутился на берегу, сказал: «Ти темный челофек!»

— Ну, а все же, крестный, название «Сыгедате» звучит плохо.

— Плохо?! — загремел Саар, вспыхнув. — Чем плохо? Тем, кто не знает людей из нашего колхоза, оно, конечно, не нравится. А взгляни пошире. Одному человеку — ты его не знаешь — давно, поколения три тому назад, дали кличку «За десятерых». А какой он — «За десятерых»? Такая пигалица, что склоти двух вместе — пастушонок выйдет. Есть, к примеру, у нас человек по кличке «Компас». А жить не умеет — с одного рифа на другой натывается. Имя может быть лучше лучшего, а если за ним человека нет, не будет такому прощения. Известно, «темный» — плохая кличка. Когда я помоложе был, немало приходилось и драться из-за нее. Но откуда она появилась, в каком смысле ее дали — вот что важно! Долго этой кличке не жить — само время убьет ее. «Темные» свою кличку давно переросли, приедешь в колхоз — увидишь...

Море злилось, ветер все крепчал, раза три вода перехлестывала через борт. Саар умолк; не заводил разговора и я, опасаясь, что он, по примеру деда, рывкнет: «Бог на небесах, капитаны на судах...»

Дует лобовой ветер, над головой кричат чайки. Едем в деревню Сыгедате, к хорошим людям.

Письмо первое

ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Второй день я в деревне Сыгедате, то есть в рыболовецком колхозе «Маяк», и кое-что успел приметить. Как во многих наших рыболовецких колхозах, так и в «Маяке» сельскохозяйственный сектор не мал: триста гектаров пашни, которую все еще пересекают вдоль и поперек могучие каменные ограды. После каждой пахоты — пахарь всегда берет с собой лом — поля выглядят так, словно на них от края до края разлеглось стадо серых овец. Год от года земля вздымает из своих недр на глубину пахоты все новые и новые серые глыбы гранита. Есть здесь и четыреста гектаров сенокоса, частично поросшего лесом. Из старой кузницы колхозники нынче сооружают силосную башню. Крыша тут развалилась, мехи порвались, наковальня заржавела — куда такая кузня? Колхозу хватит и тех двух, которые сейчас в порядке и работают. В «башне» замуровывают дверь, обмазывают глиной

стены, чтобы они не пропускали воздуха. С самого утра мальчишки по собственному почину с громким криком срывают с крыши прогнившие доски и крушат стропила.

Почти всю работу по сельскому хозяйству несут на своих плечах женщины. Они же и руководят ею. За два колхозных года женщины крепко взяли вожжи в свои руки, и теперь, «при новом законе», ладить с ними по-семейному все труднее и труднее.

Конечно, при создании колхоза голос мужчин звучал решительнее и громче, он и посейчас звучит решительно, когда речь идет об основном промысле — рыбной ловле. Ну, а всем другим заправляют женщины.

Каждая усадьба похожа на крепость. Там, где было много мужских рук, усадьбы обнесены каменной оградой высотой в рост человека и толщиной внизу в четыре фута; в семьях же, где были одни девушки и ограды возводились зятями, кладка доходила до груди. Местные маленькие, но сильные лошади — их называют на материке «островными» — спокойно захватывают мягкими губами листья ясеней или кленов, растущих за оградой. Все дома, за исключением кузниц, зерносушилок и нового сарая для мереж, крыты камышом.

Вокруг деревни, словно часовые, стоят семь ветряков — четыре ветряка с четырьмя крыльями, два с двумя, а один вовсе без крыльев. Прежний хозяин этого бескрылого ветряка до сих пор рассказывает о буре, которая поломала крылья. Буря эта пронеслась, однако, не вчера и не какую-нибудь неделю назад, а в мае 1950 года.

Широкой дугой огибает деревню Кривой пролив. Посмотришь на север — те же самые каменистые поля, разбитые на квадраты каменными оградами, а за ними огромное, простирающееся на добрые две тысячи десятин можжевельное поле, которое колхозники называют «лугом». Своей побуревшей и все-таки упорно пробивающейся зеленью «луг», казалось, и сейчас еще насмехается над усилиями людей. Не много найдется столь своеобразных, беспощадно красивых и в то же время безнадежных пейзажей, заставляющих и сердиться, и печалиться, как эти несметные тысячи обглоданных овцами можжевельных кустов.

Где-то справа «луг» внезапно обрывается. Начинается поднимающаяся ступенями плоская песчаная гряда, на которой можжевельник уже не растет. Серые, величиной с дом, валуны покрывают голую макушку этого острова, прежнего морского дна, и беспорядочными рядами ухо-

дят с северо-запада на юго-восток. А на севере все это завершается широким, по-весеннему холодным Кривым проливом.

На западе пролив проходит совсем под боком у деревни; у последних, расположенных со стороны моря, усадеб вода во время прилива подымается до ворот, а иногда заходит и во двор. Тут целая лодочная гавань: сваи, несколько ближе к морю — перевернутые лодки-инвалиды, затем — прямо у воды — черные, со светлыми крупными номерами, маленькие и большие гребные лодки. В нескольких десятках метров от берега на якоре стоят двенадцать моторных лодок кормой к суше, носом против ветра. На берегу гранит покрыт жестким красным мхом, и только камни, которые лед приносит каждую весну, серого цвета.

На юге, в нескольких стах метрах от деревни, если идти по береговой линии, напоминающей букву S, прочерчивается узкий лес. Незаменимое дерево при копчении рыбы — ольха не росла здесь еще несколько десятков лет назад. Высокие и сухие земли не годятся для нее. Как-то буря вынесла на берег вместе с водорослями много ольховых веток, и сейчас прекрасный лес отделяется от Кривого пролива почти на всем протяжении ольховым поясом. Корни его обдаёт и питает водорослями вода прилива, и на узкой полосе, не проникая в старый лес, ольха не уступает места никакому другому дереву.

На востоке — песчаные поля. С этой стороны до моря далеко, десять километров — наибольшая ширина острова.

Йоосеп Саар, у которого я живу, сказал, что такого леса, как у них, нет ни у кого. И это верно. Сейчас, весной, лес особенно волнует, особенно богат. Расцвели перелески; ветреница, когда ее сорвешь, теряет лепестки. Здесь повсюду — вокруг распускающегося орешника, посреди тихих лесных полян, под весенними березками — видны белеющие, нежные, задумчиво тихие и чистые островки этих лилий нашей северной земли. Держась по-семейному вместе, рядами и овалами цветут красные прострелы. А на полянах, где береза и дуб начинают хиреть от близости грунтовых вод, в буйном, стесняющем дыхание изобилии цветут купальницы.

Не раз по этому лесу бродили студенты-ботаники, изучавшие растительность островов. Такое обилие видов на сравнительно небольшой площади встречается только здесь. Рассматривая десятки незнакомых растений, от-

цветших, цветущих и зацветающих, представляешь, какое богатство красок разливается здесь с начала июня до сенокоса, и в тебе возникает странное чувство беспомощности и досады. В начальной школе, где уроки природоведения всегда были последними, мы не могли дожидаться их конца, а девочку с курчавой, как у негритенка, головой называли «вязиль-цветок». В то время нас интересовало все — новая лодка, море, железо и машины, — но только не капуста, не головастики, не почки растений, не мотыльковые.

Деревья? Деревья — совсем другое дело. Из дерева ножом и долотом можно кое-что смастерить, а из капусты, головастиков и всех цветов — ровно ничего.

«Теперь я скорблю о тех временах»¹, и, глядя на весенние луга в ранних цветах, с десятками и сотнями разных гармонирующих друг с другом растений, я думаю о том, что охотно прочел бы первый попавшийся учебник ботаники.

Птицы! Прямо из-под ног, из негустого дубового куста, подымается большой темный крохаль. В гнезде восемь яиц, укрытых черным пухом. Дятлы. Дикие голуби. Иволги. Ястребы. Кукушки, семейство перепелов, бесчисленное количество мелкой, неизвестной птички. Над этим приморским лесом кружат чайки и крачки. Вечером, когда три одинокие мудрые вороны на покачивающемся суку слушают залиvistые трели соловья и дружно каркают: «Карр», — вспоминается кое-что из нашей литературной критики.

А деревья! Скажите, где еще в маленьком колхозе живет вместе столько различных деревьев?

Среди купальниц лежит поваленная осина. Необрублинные ветки поломались о землю или погрузились в сырую почву. Молодая трава выросла поверх веток, и кажется, что скоро она целиком поглотит своей нежной зеленью это большое дерево. Пень почернел, его покрыли склизкие грибы. Ствол потерял светло-серую осиную окраску, белая сердцевина дерева изъедена червями и прогнила. Прямая, прекрасная осина бессмысленно умерщвлена и забыта.

Трава тихо шуршала под ногами. Я постучал по стволу, глухо загудевшему. Вдруг из-под осины, мелькнув белым хвостом, вымахнул и помчался большой, раздо-

¹ Из эстонской народной песни (прим. переводчика).

бrevший заяц. Сделал десяток длинных прыжков, сел на задние лапы и осмотрелся.

Подойди я тише и с другой стороны, удалось бы схватить его, сонного, за уши и притащить домой. Под осиновой кроной, меж толстых сучьев, была заячья лежка. Здесь он спал с самого таяния снегов. Ни одной травинки не проклюнулось под его теплым боком, местечко было сухое и горячее, устланное заячьим пухом. Я забыл об осине и в восторженном охотничьем настроении пошел домой с мыслью вернуться на следующий день и схватить сонного зверька.

Саар, услыша о моей неудаче, посоветовал:

— Соли, соли надо было!

— ?

— Насыпал бы ты ему сегодня на хвост соли, уж я велел бы старухе ставить котел на огонь.

На следующий день я вернулся туда же с солью. Тихо-тихо подкравшись, затаив дыхание, опасаясь любого шороха больше, чем заяц, я подполз к стволу с подветренной стороны. Показалось что-то серое. В глазах у меня зарябило, я видел, как на ветру шевелилась мягкая шерсть. Сердце застучало, точно пятифунтовый молот. Схватил. В руке оказался кусок пористой осиновой коры. Зайца не было дома. Была лишь его лежка, где на квадратном футе примятой зайцем земли поднималась молодая травка с серыми шерстинками на стебельках.

Зная, что заяц далеко не уйдет, я отошел от осины, делая все расширяющиеся круги.

Чем дальше, тем тяжелее становилось на сердце. Вчера из-за зайца я позабыл об осине, сегодня забыл о зайце из-за леса, израненного, разоренного, уничтоженного человеком, его эгоистической, тупой злобой.

Какой редкостный, богатый лес! Здесь много белоствольных берез с еще маленькими клейкими листочками, высоких и стройных, крепких и приземистых, с широкими, шарообразными или похожими на верхушки елей кронами. Ветер набросал на их вершины кучи голых обломанных ветвей. Их называют гнездами ветра. Берез здесь больше всего, березы дают лесу основной тон. В противовес их нежной зелени тут навечно поставлены темноствольные кряжистые молодые и старые дубы. Отдельными темно-зелеными пятнами, а нередко и вперемежку с березами, растут сосны; еще совершенно обнажены ясени и липы. В лесу много кленов, их привычно видеть вблизи жилья, и поэтому создается впечатление,

будто вот-вот увидишь человека, будто тут же поблизости должна залаять собака, появиться камышовая крыша с белой трубой.

Неожиданно натыкаешься на дикую яблоню в красноватых почках. Здесь и темнотвольное с маленькими блестящими листочками «змеиное дерево», покрывающееся осенью черными ядовитыми ягодами; вяз с широкой, похожей на гриб кроной, много осины.

Под большими, «взрослыми», деревьями живут своей нетребовательной жизнью низкая дубовая поросль и круглые широкие орешины; у замшелых каменных оград растет дикая смородина — «бабья ягода». На высоких каменистых местах стоят одинокие кусты можжевельника. И у каждого дерева своя песня, свой шелест: у березы сильный, мягкий, усыпляющий; у дуба глухой и серьезный; у осины беспрерывно вибрирующий, меняющийся и испуганный.

Разве колхозники из Сыгедате прогневались на свой лес? Или это вымирающая деревня, в которой нет молодости и будущего, в которой не родятся дети?

...Спилен большой дуб. Своей вершиной он опирается на два сука, похожих на кривые руки, и кажется раненой ящерицей. Несколько дальше — дубовая колода диаметром в пять футов. Ценное дерево лежит на сырой земле. Его срубили, разметили на чурбаки, но при укладке не положили на ряжи. Дерево умертвили — и забыли.

Распростерты прямые, добротные березы. Когда-то после сенокоса и уборки ржи их свалили, обрубили сучья, да так и оставили. Ценная березовая древесина портится значительно быстрее, чем дуб. С гневом и разочарованием смотришь на эти потемневшие пни, забытые хлысты, хворост, засоряющие сенокосы. А кривые, приземистые березы, начавшие расти в куст, которые должны были бы уступить место самым крепким, стоят нетронутыми.

С шага перехожу на бег. От умерших дубов, которых спилено больше всего, я иду к березам, от березы к осинам. Подхожу к вязу, спиленному так небрежно, что при падении он повредил две молодые березки и они выросли горбатыми.

Старые незаросшие просеки разделяют большие хуторские лесные участки. Из этих бывших наделов смотрят разные лица их хозяев. Опустошение причинено не кряду. Иной надел выглядит так, словно по нему прошел ураган, — вдоль и поперек друг на друга повалены де-

ревья, брошены сучья и щепы, поломаны кусты. И тут же, рядом, лес живет своей здоровой и сильной жизнью.

В жизни часто бывает, что мы свыкаемся с какой-нибудь ошибкой, с каким-нибудь недостатком и смотрим на них как на неизбежность, которую изменить нельзя. Может быть, и сыгедатовцы смотрят так же на эти умерщвленные деревья. То, что сразу бросается в глаза и причиняет постороннему боль, их трогает мало. Большая часть этих деревьев срублена до организации колхоза. Значит, это сделали единоличники, а не колхозники. Деревья не вывезены. Это, конечно, плохо, но придет время — мы их вывезем. И, наконец, к чему томить сердце — что сделано, того не воротишь. Ведь колхоз не в силах вернуть жизнь этим деревьям.

Мне кажется, что именно так свыклись сыгедатовцы с печальной картиной леса. Но иногда сила привычки слишком консервативна и отупляюща.

Этой же силой привычки, пожалуй, можно объяснить и то, что новых пней гораздо больше, чем их могло бы быть.

Во взаимоотношениях людей, живущих на берегу моря, надолго сохраняется мягкая, едва уловимая интонация, которую редко встретишь у жителей деревень, разбросанных на материке. Народ в приморской деревне приветливее, щедрее и беднее, для него цент или копейка никогда так сильно, всепоглощающе не заслоняли солнца, как это случается там, где хлеб добывается только на земле.

Вечером, когда беседа зашла о прежней жизни, жена Йоосепа заговорила о своей молодости. В этом лесу по вечерам плясали. Уж так повелось, что в деревне Сыгедате никогда не было хороших музыкантов и пляски шли под песню. Под этими деревьями она встретилась со своим стариком, который тогда был молод и красив, как молода была их любовь. Под этими самыми березами, которые, теперь забытые, гниют, кружились они в танце и пели, он — сиплым голосом, плохо ведя мелодию, а она — звонко и чисто, что

любви, столь жгучей, пламенной,
другим не испытать.
Дрова и уголь каменный
не могут так пылать!¹

¹ Перевод стихов в первых шести письмах — В. Рушкиса.

Женщина открыла дверцу плиты. Огонь озарил ее лицо, и на нем легкой рябью отразились былые воспоминания, мелькнула робкая улыбка.

Улыбка погасла, у плиты снова сидела старая, прожившая тяжелую жизнь женщина побережья и бросала в огонь желтые сухие березовые чурки.

К Саарам пришли председатель колхоза Яан Аэр и местный лодочный мастер Каарел Ныу.

Саар велел жене:

— Принеси штоф.

Жена пошла за пивом.

Председатель, единственный коммунист в колхозе, бывший сержант, с четырьмя выгоревшими ленточками на колодке, сел в углу, около двери. Сперва он смотрел в пол, темные вьющиеся волосы прядями свисали на высокий костистый лоб. Потом своими живыми серыми глазами он стал исподлобья рассматривать охапку березовых поленьев у плиты. Хмурое лицо председателя стало злым.

— Это не дело, Йоосеп, это такой беспорядок, что руки чешутся, — сказал он тихим злым голосом и посмотрел на березовые поленья.

— Что неладно-то? — встрепенулся Саар. Он был председателем ревизионной комиссии и встревожился.

— Закона нет! — поддержал председателя лодочный мастер.

— И что смотрит твоя комиссия? Спит она, что ли? Я, что ли, должен быть лесником? — продолжал Аэр с прежней злобой. — Лес разбазаривается на глазах, деревья пилят и оставляют гнить. Ревизия не видит, ревизии скоро на ходу подметки срежут. Порядок словно в колхозе Рухну.

— Потише, Яан! У ревизии рыболовство, у ревизии поля, ревизия должна знать, сколько сена получает каждая овца и лошадь. Всюду не поспеешь.

— Все равно, а закона нет, — повторил неразговорчивый Ныу.

— Сейчас мы с мастером были в лесу, — сказал Аэр спокойнее и принял из рук Маре кружку с пивом. — Было решение общего собрания — построить в пятьдесят первом четыре лодки, двадцать три фута по килю. Стыдно сказать — три килевых дерева нашли, а для четвертой лодки хоть со стороны занимай. Столько порублено добрых дубов!

— Нет закона! — повторял Ныу.

Его честность лодочного мастера и зоркий глаз, привыкший смотреть на дерево по-деловому и любовно — есть ли у сосны или дуба те достоинства и недостатки, которых не заметит даже самый лучший, но обыкновенный столяр, — были обижены и оскорблены.

— Это старый грех, — сказал Саар тихо. — До вступления в колхоз кое-кто порубил больше, чем надо.

— Столько, что не мог увезти, — уколол Ньу.

— И это было. Старый дух еще сидел в людях.

— Старый или новый грех, а вопрос поставлю на общем собрании. Колхозный лес — это колхозный лес, и лес нужно беречь.

— Тебе как председателю лучше знать. Конечно, зашли чересчур далеко.

Аэр и Ньу ушли.

— Сердит председатель. И пива не допил... — озабоченно сказала Маре.

— Есть на что сердиться. Сама стряпаешь на березовых дровах, а всю жизнь топила можжевельником. И это он заметил. Надолго ли этак леса хватит?

— Ведь не я эти березы спилила, сам валил, — тихо и примирительно сказала жена.

— Разве я твоих дров касаюсь? У меня своя забота — море, и мне же отвечать за ревизию, за рыбную ловлю, мережи, за лошадей и коров, за посевы, уборку хлеба — все с меня требует председатель. И лес тоже. А в лесу нет порядка. Поставит вопрос на собрании и скажет: «Почему твоя жена на березе стряпает?»

Общее собрание должно было начаться в восемь часов, а началось в половине десятого. Раньше не соборать было кворума. Первым опоздавшим не говорили ничего. Но последние, по-видимому постоянно заставлявшие себя ждать, наслушались нелестных замечаний и о своей наружности, и о наклонностях, и о прошлом, и еще кое о чем.

— Крепок послеобеденный сон у Пярди Михкеля.

— Гляди, Лаугма Антс пересчитал всех девушек в воротах. Не зашел, пока последнюю не пропустил.

— Смотри-ка, вот и ванатоаская Юула.

— Придет и скажет, что кормила грудью свое семилетнее дитя.

На каждый скрип ворот все выглядывали в окна.

Приходившие опускали глаза и старались быстрее прошемыгнуть в сени.

Последним пришел брат председателя Рууди Аэр. Широкоплечий и высокий, со светлыми волосами, с большим круглым лицом, он расселся на свободном стуле у стола правления и далеко вперед вытянул ноги в резиновых сапогах.

— Где ты был? Всегда приходишь одним из последних! — сердито шепнул председатель брату.

— По мне, можно начинать. Я не задерживаю, — громко ответил Рууди грубым, ленивым голосом.

— Мягко ты, председатель! — закричали с мест.

Собрание началось.

На повестке дня стоял отчет о севе, о подготовке к сенокосу, распределение недавно поступивших материалов для снастей и текущие вопросы.

Женщины хорошо управились с севом. Колхоз шел вторым по району. Председатель спокойно, в добром расположении духа, сидел за столом рядом со счетоводом, протоколировавшим собрание. Бригадир полеводческой бригады Линда Саар, краснощекая, дородная женщина тридцати пяти лет, громким, ясным голосом перечисляла гектары, культуры, даты, проценты, фамилии лучших работников. Подготовка к сенокосу шла удовлетворительно. Колхозный кузнец Юри Пийт ответил на вопрос о ремонте косилок, что он, мол, за них отвечает и на старости лет обманывать колхоз не собирается. Но при распределении материала для снастей между рыбаками передового звена — Рууди Аэра и отстающего — Михкеля Саара из Пярди разгорелась ссора.

— По какому праву, — спросил Рууди Аэр, — Михкель хочет получить столько же мережного полотна, как и наше звено? Мое годовое задание выполнено на сто тридцать два процента, а у него — на восемьдесят четыре.

— А почему у нас восемьдесят четыре? Мотор у нас слабый, шестисильный — это раз. Весной нашему звену дали меньше материала — это два. Место лова хуже — это три, и это самое главное.

— Это третье и самое главное можешь засолить впрок. Разве я, разве наше звено запрещали тебе брать хорошее место для лова? Море велико, ищи да выбирай. Мы перетаскивали мережи, искали рыбу. А Пярди Михкель поставил мережи в море и решил, что рыба будет его искать. Вот откуда сто тридцать два и восемьдесят четыре. Почему мое звено должно получить и получит

больше снастей? У нас море погрознее, под Сорочьей банкой много возни с течением, и мережам достается побольше. Сколько твое звено дало в прошлом году денег в основной фонд и на снасти и сколько мое? Я дал вдвое больше и нынче, если ты по-старому будешь выполнять план, дам в два раза больше. Ясно, что я имею полное право получать больше. А самое важное — люди моего звена крепче держат слово, данное партии, больше помогли государству, чем звено Михкеля Саара из Пярди.

— Позволь, Аэр, позволь, — Пярди Михкель обратился к Рууди Аэру по фамилии. — Ты хочешь сказать, что мы не сдержали слово, данное партии? Ведь восемьдесят четыре процента к годовому плану, а не к кварталу. Половина второго квартала еще впереди. Мы выполним, выполним! Но почему же нашему звену даются худшие возможности, чем аэровскому? Почему ему всегда больше дается?

Стуча сапогами и расталкивая женщин, Михкель прошел вперед, переступая через скамейку, и остановился против Аэра. Седые брови величиной с крыло старого воробья скрывали его прищуренные глаза. Большое костистое лицо было мрачно и зло. Он положил свои большие жадные руки на стол и пристально посмотрел на председателя.

— Звену председателева брата всегда больше дается. Это не дело. Кроме справедливости и равной доли мережного полотна, я ничего не хочу. И так должно быть.

Михкель кончил и, переступая через скамейки, пошел обратно.

— Стоп, машинист! — хриплым голосом командира крикнул мой крестный отец Йоосеп Саар. — На что бьешь? Что брат председателя? Я не из аэровского звена, а видишь, и моя фамилия на доске Почета — сто шестнадцать процентов. И материала я получил больше, чем ты, Михкель. А все потому, что ты не пускаешь в ход всего, что выторгуешь. У тебя с прошлого года остались полотно и канаты, да и то цело, что весной давали. Другие, и тот же Рууди Аэр, все пустили на снасти. Ты для чего копишь богатство под замком в своем сарае для сетей? Вытаскивай его, мастера мережи, выбирай лучшее место лова. Помогай себе сам, а уж мы поможем.

— Всё? — спросил председатель Аэр.

— Еще немного. Я хотел сказать о справедливости, про которую вот он заговорил. Все знают, что еще во

времена товарищества, когда с сапогами было очень худо, Пярди Михкель каждый день приходил в контору в драных сапогах. Давайте да давайте. Дали. А когда объединились в колхоз да обобществили имущество, у него в сарае стояло семь пар новеньких рыбацких кожаных сапог. Михкелю материал дать нужно, а ревизия пускай смотрит, чтоб он не застаивался. А то непродуманным дележом и колхозу, и государству причиним убыток.

Рууди Аэр смотрел то на Саара, то на брата. Ему хотелось, чтобы и брат поддержал его председательским словом, чтобы право его было, как дуб, крепким. Яан Аэр, которого больно задело замечание Пярди Михкеля: «Председатель дает брату побольше», — хмуро думал, что Рууди заслуживает большей помощи и внимания и что он так бы и сделал, не будь Рууди братом. Но как председатель счел за лучшее быть дипломатом и промолчать.

После выступления Саара дело разрешилось быстро. Те, у кого были высокие плановые показатели — кто больше рисковал, тот больше и давал, — поддерживали Рууди и Саара. Это и решило судьбу распределения фондов.

— Переходим к текущим вопросам, — сказал председатель.

В начале собрания он сидел, а теперь встал. Та же печальная злость и обида, которые я заметил у него еще в комнате Саара, на миг состарили молодое лицо, затем оно будто окаменело. Все курили. Закурил и Аэр.

— В текущих вопросах у нас один большой вопрос и несколько мелких. Большой вопрос — это вопрос о лесе. Колхозники! — Председатель посмотрел на красную скатерть на столе.

В комнате, где не смолкали тихие переговоры и споры, все замолкли, услышав такое официальное начало.

— Нашу работу похвалили, нас отметили как колхоз, который с самого начала выполняет и перевыполняет план лова, да и с полевыми работами не отстает. Но у нас есть ошибки. Самая вопиющая, самая явная ошибка в том, как колхозники обращаются с лесом. Моя вина, как председателя, и недосмотр членов правления и ревизионной комиссии, что говорим мы об этом только теперь. Я звал на собрание лодочного мастера Ныу. Он ответил, что с такими глупыми и темными людьми,

которые воруют у самих себя, ему неохота разговаривать.

Аэр сделал паузу и сердитым взглядом выискивал в сумерках комнаты отдельные лица. Некоторые заерзали на стульях. Пярди Михкель и еще кое-кто укрылись в тень. С трудом сдерживая излишне резкие слова, председатель снова заговорил о том, как они с Ныу искали дерево для кия.

— Дело плохо, — проворчал чей-то голос.

Председатель взял со стола лампу и подошел с ней к карте лесонасаждений в Советском Союзе, висевшей на стене.

— Плохо дело! Все видели эту карту. Каждый, кто думает головой, понимает, о чем здесь говорится. Здесь начертана забота нашей партии о лесах, о полях, великая борьба ее и народа с засухой. Партия руководит не одним колхозом, а большим государством. Эта карта показывает, что у нас в стране лес выращивают, как любимое дитя, понимают значение леса и не истребляют его, как в старину в Америке накидывались на буйволов и как... некоторые поступали у нас.

Кто из стариков помнит, чтобы в деревне Теэвезре, кроме можжевельника, на дрова рубили другой лес? Во всяком случае, когда мы были молодыми, в каждой семье стряпали на можжевельнике. Можжевельника у нас хватит еще на десять поколений, руби где хочешь и сколько хочешь. А теперь, в пятьдесят первом году, березовыми дровами топят в доме председателя ревизионной комиссии Саара, в доме Пярди Михкеля Саара.

— В доме отца председателя — Сандера! — крикнули сзади.

— Варят в доме Сандера Аэра, — продолжал председатель. — Кто еще варит на березе, сами знают. Самый большой ущерб нанес колхозному лесу Пярди Михкель — на его бывшем участке срублено и оставлено гнить три березы и пять дубов. Михкель из Рауна — опять-таки Саар, — на твоём бывшем участке повалены почти все добрые березы. Нукаская Юула Пийт, что ты сделала со спиленными соснами? Их нигде не видно. Четыре большие ели красовались в лесу «Маяка». Две из них свалил ванатоаский Андрус Пийт, да еще два добрых дуба вдобавок к ним. Больше, чем нужно, берез свалил до вступления в колхоз мой отец Сандер, в этом повинен и я. Не весь лес мы обошли, но это бросилось нам в глаза.

Такому, я бы сказал, умерщвлению леса надо положить конец. Нет у нас хозяйского отношения к лесу, рубим сук, на котором сами сидим. Колхозник, который живет по старой поговорке и лес разбазаривает по половице: «Кто смел, тот и съел», — это не колхозник, а недоразумение. Что же мы предпримем, товарищи?

Тишина. Люди боялись взглянуть друг на друга.
— Кто хочет слова?

Широкоплечий человек небольшого роста, чья фигура в сумраке комнаты напоминала квадрат, правильность которого нарушала голова с толстыми губами и глубокими глазными впадинами, выдвинулся из тени.

— Председатель забывает, что райисполком разрешил пилить лес на дрова, — начал он, смотря в потолок. Монотонное, одинаковое ударение на всех, с первого до последнего, слогах этих первых сказанных слов, рука, прижатая к сердцу, и почтительно настороженная манера держать себя выдавали в нем сектанта.

— Не забываю! Себя-то этим не обелишь! — возбужденно вмешался Аэр.

— А постановление знаешь? — спросил говоривший, сектант Яан Пийт.

— Знаю. Да вот голова создана у человека для того, чтобы думать. — Аэр сдерживался с видимым усилием.

— Если есть постановление, так чего же нам думать? — продолжал Яан Пийт. — И поэтому, как говорит Христос, топор приставлен к корням дерева. Может быть, кто и лишку нарубил, но, как говорит священное писание, не заграждай рта у вола молотящего. Из-за нескольких деревьев не надо нарушать мир, не надо ссориться и забывать заповедь: «Любите ближнего своего, как самого себя». Никто не брал с чужого участка, а все со своего прежнего. Председатель назвал несколько имен, а я напоминаю ему слова Христа, которые он сказал грешнице: «Кто из нас без греха, пусть первый бросит в нее камень». А председатель бросил камень даже в своего родного отца.

Под конец выступления Пийта председатель получил записку:

«Председатель! Или ты забыл, что коммунизм — это воинствующий атеизм? Если он будет долго проповедовать свои вредные идеи, распространять религиозный опиум и глушить критику, призови дядюшку к порядку.

Требуют комсомольцы».

«Брат» кончил. Председатель, все время смотревший на него ненавидящим взглядом, читая эту записку, тихонько засмеялся. Люди по-прежнему молчали, но этот тихий, сразу погасший смех подействовал так, словно каждого из них одарили чем-то хорошим.

— Яан, дай мне сказать слово, — обратился отец председателя Сандер к сыну.

— Подожди. Может, из комсомольцев кто-нибудь хочет высказаться?

Встал высокого роста рыбак с комсомольским значком на блузе из чертовой кожи. Вся комсомольская организация, в составе шести человек, сидевшая на одной скамейке, что-то возбужденно ему шептала. Краснея и сердито сдвигая светлые брови, слушал Эндель Аэр — опять Аэр — шепот друзей. Торопясь и прокатывая букву «р», Эндель начал говорить:

— Председатель поставил вопрос правильно, принципиально. Мы, комсомольцы колхоза «Маяк», поддерживаем его, как один человек. Лес нужно беречь, и, конкретно, нельзя опустошать ограниченные лесные ресурсы нашего колхоза «Маяк».

— Говори проще, Эндель, — ободряюще посоветовал председатель.

— Ресурсы ограничены — это значит: запасы маленькие. Кто и сколько брал, об этом привел данные председатель. Но нас, комсомольцев, задело выступление Яана Пийта, осветившего дело в неправильном аспекте, я хотел сказать — с неправильной точки зрения. Нас удивила возможность такого выступления. Общее собрание колхоза — это не молитвенное собрание. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, — это вопрос пережитков, вопрос проявления еще не изжитого влияния прежней среды, образа жизни, мировоззрения. Что говорил Яан Пийт? «Каждый брал со своего участка». Как же так, товарищи? Лес колхозный, наш общий, и так глупо оправдывать уничтожение леса может только отсталый человек! Нет нужды совать под нос собранию грешных женщин, и нечего говорить колхозникам, что они волю, молотящие хлеб. У меня план в бригаде Рууди Аэра выполнен на сто тридцать два процента, я считаю себя сознательным советским рыбаком, а не волком!

Народ посмеялся, но не весело.

— Не в ту телегу запряг Пийт свои истины из старого и нового заветов. Если мы заглянем в историю религий, в то, как хотя бы католическая церковь служила всякой

реакции — жадным епископам, папам, графам, королям и другим паразитам, то...

— Скажи о кленах!

— ...то увидим... — пытался Эндель Аэр закончить фразу.

— Спроси Яана о кленах, — шептали ему сердито и настойчиво.

— Председатель сказал, что он не обошел всего леса. Яан Пийт срубил этой зимой четыре клена. Мы спрашиваем: зачем срубил? Кленов в лесу мало, они украшают лес, и их надо беречь. А тут один человек срубил четыре!

— Ответь на вопрос молодежи, Пийт, — сказал председатель.

— Лес отпущен на дрова, я уже сказал, — оправдывался Пийт.

— Разве ты собираешься топить кленом?

— На нашем добре Пийту легко быть щедрым!

— Пийт разыгрывает дурака!

Вся комната зашумела.

— Позвольте, позвольте! Я... — оправдывался Пийт, уже без интонации святоши. — Рубаночные колодки были нужны. Хотел сделать новый фуганок, и шпунтовый рубанок, и...

— На это хватило бы и одного дерева. С четырьмя кленами можно открыть фабрику рубаночных колодок!

— Сюда щепку, туда щепку — в момент дерево в хозяйстве разойдется, — бормотал Яан Пийт и стал вдруг тише воды ниже травы.

— Яан, дай же, наконец, слово сказать, — нетерпеливо обратился отец председателя Сандер к сыну и стал говорить, не ожидая разрешения: — Сын здесь перед всеми назвал мое имя в числе расхитителей леса. Он не бросил камень, а сказал чистую правду. Если бы он сказал эти слова два года назад, я не чувствовал бы своей вины. Мужики помнят, что еще в то время, до вступления в колхоз, когда лесу доставалось крепче всего, мы полагали, что из нас, мол, старых людей, настоящих колхозников не получится. Уж больно крепко привыкли жить по-другому, для себя, за своими оградами. Видишь, вот теперь два года прожито, и эти березы, срубленные мною, когда я был единоличником, — стволы их уже почернели, — теперь, задним числом, заставляют меня краснеть. Как сказал михкелевский Йоосеп, это старый грех. Дела это не поправит, но и меня, и Рауна Михкеля, и михкелевского Йоосепа, да и нукаскую Юулу, которую

ты, сын, по ее вдовьему положению, мог бы и не поминать, стыдят эти старые пни. Но Пярди Михкель и Яан Пийт — их дела куда хуже. Эти двое продолжают уничтожать лес. Что у нас было дурного, чего мы стыдимся, они считают и теперь своим правом. Это еще нужно проверить.

— Йоосеп, ты хочешь слова? — обратился Аэр к моему крестному отцу.

— Сандер все за меня сказал.

— И меня простите, глупую вдову, — одним духом, без запятых, сказала нукаская Юула.

— Еще один вопрос, — не устоял мой крестный. — Объявить этот лес топливным — так нельзя. Аэр, как партийный, должен поговорить по этому делу с партией. Может быть, какая-нибудь чернильная душа из сельхозотдела райисполкома прошла циркулем по трехверстке и увидела: до средней школы семь километров, до района зимой по льду четыре, здесь хватит, отсюда заберем и уничтожим колхозный лес за десять лет. Если бы партия знала, партия бы не допустила.

«Если бы партия знала, каков ты был два года назад...» — председатель посмотрел на Йоосепа и ухмыльнулся.

Решили: Яану Пийту и Пярди Михкелю не давать в этом году двух кубических метров дров, как по решению одного из предыдущих собраний получала каждая колхозная семья. Председателю Аэру обратиться в партию, чтобы отменить решение исполкома о лесе.

В течение всего собрания я ощущал, что люди со стыдом и удивлением оглядывались на свою прежнюю жизнь, на свои прежние мысли. Они сердцем осудили прежнего человека, старые истины и вдруг открыли, что в новой жизни изменились и они сами.

* * *

Плохо и тяжело, что первое письмо из деревни Сыгедате мрачное. Но следующие будут лучше и веселее. В первом из них речь пойдет о женщинах колхоза «Маяк».

ЗАВЕДУЮЩАЯ СВИНОФЕРМОЙ

Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним...

А. П. Чехов, «Вишневый сад»

Жаль, что красивое женское имя Ингель¹ начинает исчезать. На островах девушек называли Ингель при крещении еще в начале столетия. В колхозе «Маяк», где многие могли бы с честью носить это имя, по паспорту было четыре Ингель. Самая молодая и, я боюсь, последняя Ингель в этой деревне была заведующая свинофермой Ингель Аэр. Она родилась в 1915 году.

Мы с ней друзья. В те дни, когда Ингель гоняет свиней мыться в море, она дает мне прут и говорит тихим, просящим голосом:

— Идем, помоги!

Не очень мне это улыбается, но хороший человек просит, приходится идти.

По вечерам у нас длинные споры. Ингель — сектантка, и разговоры часто заходят на религиозные темы.

Лютеранство, которое Пятс² сделал государственной религией, распространено по всей Эстонии. А секты распространены лишь в отдельных местах — островками. Сектанство шло тенью за бедностью и темнотой, выросло из них, было одновременно их сыном и братом. Причина его распространения заключалась в полной беспомощности трудящихся перед темными силами капитализма.

На острове, где находится колхоз «Маяк», были, есть и посейчас среди женщин методисты и пятидесятники. Было бы жестоко и трусливо считать их пропащими для нас людьми. За их возвращение к жизни нужно бороться, к ним нужно подходить с особым и большим чувством такта.

«Не бей журавля топором! Журавли летают высоко» — говорит пословица. Каждый из нас, воинствующих атеистов, едущих в командировку в эти районы, не должен этого забывать. Голословное «бога нет» не сделает сектанта неверующим. Начать насмехаться над его убе-

¹ Ингель — ангел.

² Последний президент буржуазной Эстонии, установивший в стране фашистскую диктатуру.

ждениями, над тем, что он считает святым, — значит укрепить его религиозный фанатизм. Для сближения с этими людьми нужно большое терпение и равное умение как слушать, так и убеждать. Быть может, я ошибаюсь, но нужно неплохо знать священное писание, историю религий и их отличительные особенности.

Несчастье многих сектантов было в том, что старый строй не давал им человеческого места в жизни. И из двух зол они выбирали худшее — смирение и кротость. Но как только колхозная жизнь нарушила отстраненность этих людей, дала им равное с другими место, справедливо оценила их труд, — большая часть сектантов начала высвобождаться из многолетней тупой темноты.

Одна из них — Ингель Аэр. Она вернется обратно к жизни много быстрее, чем другие. Ей помогает, ее подталкивает огромная преданность своей работе, то, что у нее весьма ответственная должность в колхозе «Маяк», то, что она пользуется уважением. Но, быть может, еще больше помогает ей жажда знаний, желание все увидеть и запрещенное сектанту стремление изучить окружающий ее мир.

Во всяком случае, с ней я уже в первый же вечер забыл страшную фразу: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».

1

Ингель варит картофель своим подопечным. В большой кухне при ферме чисто, блестят опрокинутые ведра. Ингель, в длинном темно-синем халате, ходит все время между кухней и фермой и напевает что-то очень благочестивое на мотив, напоминающий вальс. Сажу перед плитой и подкладываю дрова. Хорошо слышно, как Ингель разговаривает со свиньями. Большая свиноматка Леонора, скотина с очень противным нравом, опять, видимо, грызет корыто. Ингель говорит с ней как с ребенком — одновременно сердится и уговаривает.

— Вот приду обратно, и если ты еще будешь грызть, возьму прут!

«Хрю! Хрю!» — отвечает Леонора с поистине свиным равнодушием.

— Перестань! — совсем сердито говорит Ингель.

«Хрю!» — хрюкает Леонора, но больше не грызет.

Но как только Ингель подходит к пороссятам, ее голос и слова становятся совсем другими. Поросята для

нее «золотые», «миленькие», «дорогие поросятки», «хрюшки», «чушки» и т. п. А поросята, чистые и белые, еще больше закручивают хвосты в колечки и, подталкивая друг друга рылами и повизгивая, скопляются вокруг ног своей воспитательницы.

Работа спорится в руках Ингель легко и красиво. Она приходит обратно в кухню — проводит рукой по гладким и без того волосам, а узкое, загорелое, своеобразно красивое лицо счастливо, серые глаза веселы и любопытны.

— Слушай, почему ты куришь? — спрашивает она меня.

— Хочу и курю.

— Курение — грех.

Я возражаю:

— Нет никакого греха, только вредная слабость.

— Уступка слабости и есть грех.

— А ты без греха? — спрашиваю.

— Я? — Ингель думает долго и становится серьезной. — Я не без греха. Мой грех — любопытство.

— Любопытство? О таком виде греха слышу впервые, — и я действительно удивлен.

— Тогда слушай.

Ингель снова долго думает. Ее лицо, которое казалось неподвижным, как зеркало, передавало кипение каких-то бурных и тяжелых мыслей. Из ее глаз вмиг пропала радость, уступив место сомнениям и еще чему-то, чего я не понял.

— Любопытство — это то, что ломает, я чувствую, как ломает все то, чему я верила всю жизнь, что считала правильным. Я беру в руки книгу, скажем, о Солнечной, как это называется...

— О Солнечной системе.

— ...О Солнечной системе. Уже первая страница говорит против законов библии и бога о сотворении мира. А дочитаю до конца — и начинаю сомневаться в том, во что я верю. Это любопытство! Два месяца назад приезжала в колхоз лекторша, какая-то женщина из Таллина. Говорила, что человек происходит от обезьяны. Я не ненавижу людей, вера не разрешает ненавидеть, но я почувствовала, что эту женщину я могу возненавидеть. Первый раз я почувствовала к ней злость, когда она сказала: «какой-то бог», «какие-то глупцы верят». Все время «какой-то» и «какая-то»...

— Что же тебя рассердило? Я все время говорю тебе то же самое.

— Говорить можно. А поносить нельзя!

Я впервые видел эту тихую, внешне уравновешенную женщину сердитой и поверил, что та лекторша из Центрального лекционного бюро сделала какую-то ошибку, — небольшую, но такую, которая настроила против нее многих людей. Быть может, она читала в колхозе «Маяк» лекцию, которая была бы уместна на комсомольском активе, в последних классах средней школы, но не здесь. Лекторша, видимо, не посчиталась со своей аудиторией. К сожалению, у нас много таких лекторов, разъезжающих с «универсальными» лекциями. В колхозе прочесть — пожалуйста: «Дарвин, эволюционная теория», «какие-то глупцы верят»; в районных центрах — те же слова; в средних школах — та же старая пластинка без новых интонаций. Еще раз: Центральное лекционное бюро должно лучше проверять тех лекторов, которые ездят по деревне и сто раз читают одну и ту же лекцию!

— А когда же ты второй раз рассердилась?

— Окончила доклад и — папиросу в рот. Я видеть не могу, когда женщины курят. Но... — Ингель справилась со своим раздражением, — у вас там, в Таллине, наверно, все женщины курят?

— Не все, половина. — Вероятно, я не солгал.

— И все же дослушала лекцию до конца, — продолжала Ингель. — Я ненавидела докладчицу, но хотела знать, что она скажет. Потом были световые картины. Их мне хотелось посмотреть. И этот доклад, как ужасен он ни был, грызет, расшатывает мою веру. Скажи еще, что любопытство не грех! — И тут же, без всякого перехода, она продолжает: — Я прочла книгу о собаках.

— Каких собаках?

— О павловских собаках. (Речь идет о книге Поповского «Академик Павлов».)

— Понравилось?

— Ясно написана. И простой человек поймет. Ой, какие смешные и умные собаки! — И дальше — задумчиво, мягко: — Веришь, что у человека бессмертная душа?

— А по книге так?

— По книге — нет.

— Я не умнее Павлова, — отвечаю. И сразу спросил: — Как ты в сектанты пошла?

Я знал, что сектанты всегда охотно рассказывают об этом. В «историях прозрений» — одной из форм их пропаганды — не только часто, нет, почти закономерно, очень многое совпадает.

У мужчин — вначале деловитая и суровая борьба за хлеб насущный, потом пьянство, какой-нибудь быстрый крах, черное отчаяние и мысли о смерти. Это для начала. Я не знаю сектанта, у которого толчком к достижению большего или меньшего религиозного фанатизма не было бы какого-нибудь несчастья, сна, видения, безымянного голоса. Дальше следует короткое сомнение и кончается все прощением и блаженством. У женщин путь часто короче, но он более варьируется. Здесь немалую роль играют проповедник, окружение, а также страшное изображение ада. Тот, кто хоть раз в буржуазное время слышал экзальтированное, бредовое выступление какого-либо «брата», резкость и изобилие красок в описании греха, ада, последнего дня и небес, тот понимает — людей загоняли страхом, как бичом, к эгоистичному богу, которого они сами выдумали. Во всяком случае, в «прозрении» много отчаяния, чего-то, что напоминает последнюю черту.

Ниже история Ингель.

2

Ингель рассказывала не в том убеждающем, агрессивном тоне, как это обычно делают, но с какой-то большой сдержанной грустью. Обратить меня в сектанство она не пыталась. Чувствовалось все время, что ей трудно говорить, что она спешит и о многом умалчивает.

Та же деревня Сыгедате. Такая же усадьба, как и все. Их было четыре дочери, из них Ингель самая младшая. О школе, кроме начальной, не могли и мечтать. Отец рыбачил, и когда старшие сестры повыходили замуж, все полевые работы легли на плечи Ингель, ее сестры и матери.

— Ты понимаешь, что эта деревня была мне тюрьмой. Я хотела в школу, — говорит Ингель. — Хоть в сельскохозяйственную школу или, если туда не попасть, тогда на курсы поваров или в портнихи. Но нет...

Я понял ее именно в той части, где она говорила о судьбе детей середняка. Мне приходилось испытывать и голод — потребность в хлебе, и другой голод, много острее и страшнее, — потребность в том, чтобы исполнилась хотя бы самая маленькая часть нашей мечты о человеческой жизни.

Ингель пытались выдать замуж за очень богатого и противного человека — за одного «угорьного короля».

Она воспротивилась. И хотя, я знаю, искусство требует от человека героических поступков, в том числе героизма безжалостного обнажения собственной души, — я все же не могу говорить о большой и жестокой человеческой трагедии, которая многое сломала в Ингель, столкнула ее и так уже с плохих и коротеньких рельсов и в конце концов привела к сектантам. В каждом из нас, пишущем о живых, конкретных людях — также и о тех людях, которые еще лишь робко идут с нами, — есть и должно быть это не выразимое словами чувство меры.

Море на западе, юге и севере. Всюду пустая равнина, дороги нитками пробегают через остров и дальше, дальше. У них нет конца. Но ни по одной из них не пойдет двадцатилетняя, молодая, красивая, но внутренне совершенно разбитая, хотя и не связанная по рукам и ногам, женщина. Крепче, чем оковы, привязывают ее к деревне и к двадцати гектарам усадьбы сердитый приказ отца, незаслуженное пятно и безнадежность. Для нее остров с несколькими тысячами жителей, в синем кольце воды, где-то между Хийумаскими проливами и Рижским заливом, — стоящая на якоре галера рабов XX столетия, на которой мало счастья, но много несправедливости и идиотизма деревенской жизни.

Так однажды вечером в 1935 году попадает она на молитвенное собрание.

Не откладывай, не медли!
Жизнь твоя лишь краткий миг.

Все страшно, грустно, безнадежно. И Ингель стала сектанткой.

— Скажи, куда я должна была идти?

В этом вопросе были самооправдание, скрытая горечь и обвинение тех, кто испортил юность не только ей. Но сектантской «радости прозрения» не было.

3

Ингель на берегу моря со свиньями. Берег покатый, и яркое весеннее солнце в безветренную погоду так согревает мелкую прибрежную воду, что в ней можно бродить босиком. Ингель берет поросенка на руки, заходит в воду, моет его начисто и отпускает. С жалобным похрюкиванием он бежит на берег, отряхивается разок и, чистый и белый, забирается под брюхо матери. А старая и умная свинья Эмма спокойно идет за Ингель в воду,

позволяет тереть себя и хрюкает от удовольствия. Выбравшись на берег, она не обращает внимания на поросят, а начинает, часто оглядываясь на Ингель, что-то искать. Наконец она находит. В тени большого серого камня мелкая, оставшаяся от прилива, грязная лужа. Свинья еще раз оглядывается на Ингель, но та как раз моет барахтающегося поросенка. И Эмма уже лежит на боку в грязи. Только что она была белая и чистая, а теперь один бок совершенно черен от грязи. А теперь на другой бок. И у вымытой Эммы лишь на спине остается прямая белая полоса, все остальное, от рыла и до хвоста, блестит от грязи.

Ингель возвращается и говорит ей:

— Зачем ты так делаешь?

«Хрю! Хрю! И хорошо же!» Эмма, лежа в своей луже, поглядывает на свинарку и лениво шевелит большим и грязным ухом. Она очень довольна.

— Ох ты, дурная! — сердится Ингель. — Настоящая свинья!

Эмма согласна и не думает вылезать из теплой грязи.

— Ну и глупая же скотина! — прерываю я этот разговор.

— Не говори так! — начинает Ингель защищать свиней. — Других таких умных животных больше не найдешь! Быть может, еще собака так же умна. О свиньях нельзя плохо говорить!

— «И мытая свинья идет в лужу грязи», — цитирую из хорошо знакомой Ингель книги.

— Пусть делает что хочет! И верно, глупая свинья! — сердится Ингель на Эмму и снова манит ее в море.

Я в это время караулю лужу и охраняю ее от эпигонов Эммы.

Наконец все стадо вымыто. Ингель идет впереди, а свиньи, белые и ленивые, хрюкая и закручивая хвосты в колечки, шагают за ней. Сразу за свинаркой — старые свиньи, между ними шныряют поросята, позади всех — среднее поколение. Именно у этих, шестимесечных, самый плохой характер. Так как у них в носу кольца, они не могут рыть землю и поэтому пытаются схватить друг друга. Свиньи одного гнезда держатся вместе и нападают на других, пытаясь в первую очередь укусить противника за ухо или за окорок. Когда визг становится слишком звонким и сердитым, вмешивается Ингель. Так как она пользуется прутом очень нежно, то ссоры частенько затягиваются.

В разгаре такой драки уже знакомая нам Леонора, за которой никто не следил, прошла к воротам Михкеля Пярди. Сунула под них рыло, приподняла немного. Ворота раскрылись, и, сопутствуемая строем поросят, она очутилась посреди индивидуального картофельного участка Михкеля Пярди. На рыхлых аккуратных бороздах отпечатались следы копыт: глубокие — Леоноры и маленькие, красивые — поросят.

С легким скрипом ворота закрылись. Мы заметили пропажу свиней лишь после того, как за спиной послышалась сердитая ругань Михкеля. Держа весло за рукоятку, он безжалостно бил Леонору лопастью по бокам. Ингель, дрожа от злости и страха, побежала обратно.

— Не бей! — закричала она еще издали высоким, срывающимся голосом.

Михкель услышал, но продолжал бить.

— Не бей бессловесное животное! — снова закричала Ингель и, подбежав, упала всем телом на весло.

Свинья, как венком окруженная испуганными поросятами, жалобно визжа, пошла через борозды обратно к воротам. Но свинарка все еще так крепко держала лопасть весла, что кончики пальцев у нее побелели.

— Как ты смеешь бить колхозную скотину! — говорила Ингель Михкелю, побледнев от злости.

— Здесь моя земля! Здесь я могу убить твоих свиней! — с такой же злостью отвечал Михкель.

И тогда произошло такое, от чего у меня по спине прошла холодная дрожь. Неожиданно, надавив коленом на весло, Ингель сломала его пополам.

— С тобой бы надо так сделать!

Испуганный Михкель отступил шаг назад. Ингель, держа в руке половину весла, посмотрела ему прямо в глаза и шагнула вслед за ним.

— С тобой бы надо так сделать! — И затем с ледяной, спокойной яростью: — Ты кулацкая душа! Ты... ты чертов кулак!

Все еще держа половину весла в руке, не оглядываясь, Ингель зашагала через борозды. Я закрыл за ней ворота. Свиньи спокойно щипали молодую траву. Ингель села на камень, далеко отбросила обломок весла и, дрожа всем телом, заплакала.

— И ты говоришь, что души нет? — говорила она между приступами плача. — А вот видишь — у этого есть! Кулацкая душа, самая страшная душа в мире!

Совсем успокоилась она только к вечеру. Вначале

я думал, что обвинение в «кулацкой душе» было высказано в порыве гнева. Но выяснилось совсем другое. В голове Ингель, видимо, уже давно таилась эта мысль. Поступи кто-либо другой так, как поступил Михкель, эти слова не сорвались бы с ее губ, так как о других она была иного мнения и больше им прощала.

У всех нас бывают в жизни такие дни, когда мы не переносим одиночества и судорожно цепляемся за людей. Мы как бы перекалываем большую часть забот на чужие плечи. Так было с Ингель в тот вечер. Мы разговаривали очень долго.

— Как ты это понимаешь — кулацкая душа? Это тяжелое обвинение.

— Тяжкое и правильное, — ответила Ингель. — Поверь, если бы не пришла Советская власть, он бы через год-другой кулаком стал, да еще самым страшным. Такой не сжалится.

— Почему ты так думаешь?

— Знаешь, почему я сломала весло? — спросила Ингель. — Я с детства не могу видеть, когда Михкель берет весло. Мне всегда кажется, что оно в крови.

Море, большое и глубокое, не выдает своих тайн. У него много их, туманных и страшных. Их невозможно проверить, и за человеком, которого подозревают в убийстве на море, не имея возможности доказать его виновность, всю жизнь следит много глаз — и по тому, как он живет, как ведет себя, судят, был ли он способен на такое преступление.

До первой мировой войны Михкель возил спирт. Смелости у него хватало, но, когда дело приняло широкий размах, он бросил его по простой причине — никто не соглашался быть его напарником. В один из рейсов Мемель — Эстония человек, работавший с Михкелем, утонул.

Конечно, лодка контрабандиста-спиртовоза не монастырь, там пьют не молоко, и такое несчастье всегда возможно. Но о Михкеле начала ходить глухая, тайная молва, якобы он был причастен к этой смерти. Быть может, во всей деревне верят этому один-два человека, да и те нетвердо, но человек живет — и на нем тень недоказанного обвинения, которое достаточно страшно, даже если бы только сотая часть в нем была правдой.

— Я уверена, он убил веслом, — закончила Ингель.

— Слушай, милый друг, ужасно обвинить человека в таком деле, — возражал я.

— Он жадный человек! Он может это сделать! У него кулацкая душа! — горячо говорила Ингель. — Я видела эту душу, она у меня на ладони.

Чтобы обосновать свое обвинение, от которого Ингель, наверно, и самой стало страшно, она рассказала мне следующую историю.

В 1945 году в деревню приехал лютеранский пастор и после проповеди стал причащать людей. При этом обычно платят так называемые причастные деньги. Кто дал три, кто пять, кто десять рублей. Михкель Пярди дал пятьдесят копеек. Деньги лежали тут же на столе. Когда люди молились, кто всерьез, а кто по обычаю, губы Михкеля двигались как-то по-особенному. Он смотрел не на пол, как другие, а на деньги на столе. Он шептал не «Отче наш», а считал: «Пять и три — восемь. Добавить десять — восемнадцать. Восемнадцать и три — двадцать один». На шестидесяти пяти рублях он сбился. Деньги лежали слишком густо, но, не успокоившись, Михкель разворошил их рукой и сосчитал до конца. Получилось сто три рубля.

— Такой жадный человек не может быть хорошим человеком, — убежденно сказала Ингель.

Все время, пока Ингель говорила, я ощущал, как что-то острое странной болью давит мне на плечо. Но это мне лишь казалось, это была память об остром крае гроба, который несли мы с комсомольцами на кладбище. И снова сквозь призму времени увидел я весь этот день — весенний, сырой, красивый и печальный, прекрасные картины природы, и на первом плане — напряженные, скорбные лица комсомольцев, грузовую машину в траурных знаменах и гроб, покрытый красным сукном. Ингель говорила, но вместе с ее голосом я слышал медленные, героически-печальные звуки траурного марша. Этот день часто приходил мне на память; день, когда я с новой силой стал ненавидеть кулачество; день, когда я поставил знак равенства между кулаком и бандитом, между кулаком и смертью.

Это было в мае 194* года. За несколько дней до похорон на бюро ***-ского укома комсомола я познакомился с девушкой, новым секретарем волостного комитета. Она рассказала свою короткую, малоговорящую биогра-

фию. Дочь середняка, семилетняя школа, восемнадцать лет, незамужняя. Знания были не особенно большими. Но в тот период, когда классовая борьба в уезде приняла особенно острые формы и иногда переходила в убийство советских и партийных работников, когда комсомольцы не раз платили за комсомольский билет жизнью, место секретаря волостного комитета комсомола было всегда связано с внешне незаметным, но настоящим внутренним героизмом. И, зная это, бюро начало сомневаться, справится ли девушка с работой.

— Вы знаете положение в уезде? — спросил секретарь.

— Знаю, — ответила девушка, и губы ее дрогнули.

— Боитесь?

— Боюсь, — чистосердечно сказала девушка, но сразу добавила: — Не очень боюсь. Я комсомолка.

Бюро утвердило. Это был первый и последний раз, когда я видел ее живой. Помню, как она вышла из комнаты, где заседало бюро, — длинные пепельно-белокурые волосы, стройная фигура, мягкое, округлое лицо. У двери еще раз оглянулась. Глаза, такие совсем обычные, незапоминающиеся, были в этот момент задумчивы, серьезные и очень красивы.

Через три дня — она только что приняла дела — вечером кто-то постучал в дверь. Босиком, с распущенными волосами, она пошла открывать, и ее в буквальном смысле слова почти перерезали пополам автоматной очередью. В груди было больше шестидесяти пуль, в лице — четыре. Убийца, стрелявший в нее с двух шагов, оказался сыном кулака.

Вижу — как будто это было вчера — ее разбитый пулями лоб, на кладбище рядом с могилой красную глину, напоминавшую кровь, вижу анемоны, которые цвели в двух-трех шагах от могилы, такие же чистые, какой была она, одна из лучших среди нас, воспитанников комсомола.

Вечером в тот же день я получил письмо из деревни, расположенной вблизи Сыгедате. Старая хорошая женщина жалостно писала, что мужа ее дочери хотят признать кулаком. А что он за кулак? Держал батрака, но больше не держит. Был в легионе¹, но «остави нам долги наши»... И все это длинное, путаное и жалостливое письмо кончалось тем, чтобы я предпринял шаги где-то и перед кем-то, чтобы мужу ее дочери вернули звание

¹ Легион — военное соединение в немецко-фашистской армии.

честного середняка. И, не боясь оскорбить действительно хорошего человека, связанного с кулаком только замужеством дочери, я ответил сердито и отрицательно.

Слушая сейчас Ингель, обвинявшую, пусть бездоказанно, Михкеля Пярди, я подумал, что, если придется здесь, в деревне, неожиданно встретиться с замаскированным кулаком, не нужно никакой ложной жалости. Они бы уж не сжалились! Мое левое плечо, напомни мне об этом!..

Ингель мучают и волнуют большие проблемы. Пригладив привычным движением волосы, она говорит, глядя на огонь:

— Нас учили, что на зло нельзя отвечать злом. Учили, что, когда тебя ударят по щеке, подставь другую, и что, когда разбойник отнимет у тебя рубаху, отдай ему и пиджак. Первая религиозная песня, которой меня учили, была: «Простите — и воздастся вам». Ох как просто! Верь, если так написано. Я больше не верю, что это так.

— В каком отношении? В подчинении злу?

— В соглашении со злом. Трумэн, говорят, баптист? Это правда?

— Правда.

— Пусть баптист! Пусть просит бога. Но ведь это, понимаешь, поношение! — яростно говорила Ингель. — Трумэн послал в Корею со своими мясниками и духовенство. Поношение! Дерево узнают по плодам. И в том, что делают его войска, виновато и духовенство. Ведь они благословляют всех этих убийц, всех этих... И молятся за них!

И этот гнев показал мне, насколько сильной пропагандой против религии является «религиозность» Трумэна.

— Это не баптист, а кабатчик. О таком уже сказано в «Отче наш», что «...и избави нас от лукавого». Это не верующий, а детоубийца. Почему они не исключают его из общины? — спросила Ингель. — Все люди с совестью должны быть против такого баптиста... Многие в мире я не понимаю, — тихо продолжала Ингель. — Давно уже писали в газете, что когда главного коммуниста в Италии...

— Тольятти.

— Когда Тольятти хотели убить и ранили, в городе Риме и в других городах Италии десятки тысяч свечей

горели перед святыми образами для того, чтобы этот коммунист поправился. И ведь не неверующие ставили их, ставили верующие, католики. А папа был против Тольятти, их пасторы были против него, а простые люди молятся за него. Как же это так?

— Так. Правда с нами. У нас слова не расходятся с делом. Очень просто.

Время было за полночь. Вдруг Ингель что-то вспомнила.

— Ох, теперь я пропала. У меня ведь будет лекция!

— Какая лекция?

— О свиноводстве.

— Где?

— В кружке народного дома. Просили, и я обещала. Днем рассердилась, и совсем из памяти вылетело. Как же я ее сделаю?

— Сделай как умеешь. Ты известный человек.

— Я не умею. И зачем я обещала! — говорила Ингель.

— Напиши. Я посмотрю. О свиноводстве я ничего не знаю, а насчет языка помогу.

— Помоги, добрый человек! — просила Ингель.

Ингель встала и хотела заглянуть на ферму. Я задержал ее.

— Ты сказала днем «чертов кулак». Этот «чертов» простится тебе или нет?

— Это было сказано в святом гневе. Это простится, — убежденно сказала Ингель. — Если кто-нибудь бьет колхозный скот, тогда он мой враг и враг колхоза. Я им...

4

Как-то я спросил у Ингель:

— А если бы у тебя были дети, как бы ты их воспитывала?

Ингель покраснела. В ней совсем не умерли жизненные, естественные стремления к человеческому, семейному счастью.

— Если бы они были... Я бы не сумела их воспитать! — И тут же от условного оборота речи перешла к определенному заключению: — Когда они будут, их воспитает школа.

— В школе их научат думать иначе, не по-моему.

— В школе обучают науке. Идти против науки я не могу. Если я глупая женщина, то эту глупость нельзя навязывать детям.

Мне нравится эта черта в Ингель — глубокое, святое уважение к науке и знаниям. Она человек, который еще колеблется между двумя мирами, двумя истинами, но сильным, непрерывным магнитом ее притягивает и склоняет в нашу сторону жажда знаний.

Признает ли она это или не признает, но где-то в глубине сердца все же понимает, что огромная, важная часть жизни прожита неправильно и бедно. И сейчас, когда у нее столько работы и забот, что она полгода не была на молитвенном собрании, Ингель по-своему счастлива. Ингель живет так напряженно, как будто она выплачивает старый долг, живет свою непрожитую жизнь.

Ингель пришла ко мне с началом своей лекции и вздохнула.

— Зачем я обещала? Я не справлюсь! Видишь, мне дали час, а одно начало уже час.

Я взял начало ее лекции и испугался. Аккуратный, почти каллиграфический почерк, широкие чистые поля — и вдруг длинные латинские названия, написанные коряво, по букве, видимо с трудом. Лекция была сверхнаучной и при такой основательности могла продолжаться двенадцать часов.

— По какой книге ты ее составила?

— По «Свиноводству» агронома Яама. Что-нибудь неправильно?

— Неправильного ничего нет, только немного сложно.

— А что ты хочешь? Свиноводство тоже наука.

Привожу некоторые отрывки из этой лекции.

«Товарищи колхозники!

Перед свиноводством ЭССР стоят две основные цели: вывести племенных свиней и разводить товарных свиней, чтобы производить населению важные пищевые продукты — свиное мясо и сало. По плану животноводства количество свиней в Эстонии к концу 1950 года нужно увеличить в несколько раз. (Спросить у председателя, как выполнен план и сколько теперь свиней.)

По сравнению с другими домашними животными у свиней то преимущество, что... (Зачеркнуто.)

Уважаемые слушатели! Переходим к делу.

1. Семейство свиных и породы свиней:

а) Зоологическое положение свиньи в систематике животных.

Зоологически свиньи относятся к классу млекопитающих (Mammalia), роду парнокопытных (Artiodactyla), подроду нежвачных (Nonruminantia) и к семейству свиней (Suidae).

Семейство свиных представлено тремя подсемействами...

(Ингель через плечо следит за текстом, и мы одновременно вздыхаем.)

Оленьи свиньи (Babirussinae). Обитают они на отдельных Малайских островах (Целебес). Важнейшая — целебесская оленья свинья, называемая по-латыни *Babirusa alfurus*. Темно-серого цвета. Без щетины. Большие клыки. Поросят мало».

Я громко вздохнул.

— Не вздыхай, и тебе это пригодится. — Затем попросила: — Читай вслух. Я послушаю, как звучит.

Спотыкаясь на латинских названиях, я начал читать:

— «*Phacochoerus* — внешне почти бегемот. Очень уродливое животное. Для защиты глаз на щеках бугры. Мясо плохое».

Следует детальное описание внешности, привычек, мест распространения и хозяйственного значения европейской дикой (*Sus scrofaferus*), индийской дикой (*Sus vitatus*) и средиземноморской дикой свиньи.

«б) Приручение свиньи, или domestикация».

Здесь я прочел много интересного об истории «семейства свиных». И Ингель слушала как чужой текст эту ею же слово в слово списанную с учебника часть, где говорилось, что животных приручали в следующем порядке: собака — кошка — лошадь — осел — свинья — верблюды — овца — корова — голубь — курица. Я узнал, что на барельефах из Вавилонии и Ассирии изображена свинья с поросятами, что Геродот во время путешествия в Египет заметил, как использовали свиней для заделки семян при посеве.

Пошли породы свиней, происшедшие от европейской дикой свиньи, свиньи типа азиатской (*Sus vitatus*), смешанные породы старого происхождения и породы новейшего происхождения.

Постепенно лекция вышла из сумерек истории и стала конкретнее. О больших и средних белых английских свиньях говорилось уже без исторической экзотики.

— Если и дальше так пойдет, то ты и за день лекцию

не прочтешь, — серьезно сказал я ей. — И слушатели умрут со скуки. Тяжело, сложно, люди не поймут.

— Я сделала по книге.

— Но говори своими словами. О своих свиньях. Покажи план своей лекции.

План лекции был следующий:

1) Семейство свинных и породы свиней; 2) типы сложения свиней и экстерьер; 3) разведение свиней; 4) кормление свиней; 5) уход за свиньями; 6) свиноводство; 7) использование свиней и 8) важнейшие болезни свиней.

После долгих споров Ингель согласилась взять за основу своей лекции три основных пункта, которые она лучше всего знала: кормление свиней, уход за свиньями и важнейшие болезни свиней. Она начала старательно составлять подразделы этих трех основных вопросов. Они заняли четыре страницы.

— Говори, что сама думаешь. У тебя ведь есть основа. Зачем тебе всякие *Sus vitatus* и доместикация?

Я знал, что у нее имеется огромное количество газетных вырезок, посвященных вопросам животноводства. Благодаря своей замечательной памяти она помнила все основное в них. Кроме того, у нее большой практический опыт. С глазу на глаз она говорила о свиноводстве интересно и умела выделить существенное.

— Тогда буду говорить от себя, — вздохнула Ингель. — Но, господи, вдруг будет много народу!

Я оставил ее сидеть за тремя основными пунктами. Через два дня состоялась лекция.

Лекция удалась. Ингель говорила на память, свободно, и так как слушатели, заведующие фермами и скотницы, понимали дело с полуслова, ей прощали отдельные заминки. Лекция была коротенькая, не более двадцати минут, но вопросы и ответы заняли более двух часов. Так как свечу не держат под полой¹, то Ингель сумела между кормовыми единицами, обратом и картофелем протащить Геродота. Поскольку одной из лучших черт людей является желание знать как нужное, так и ненужное, она смогла после этого рассказать еще о длинной истории «семейства свинных».

И вот что еще.

Темп жизни в деревне зачастую очень быстр. Через несколько дней после лекции председатель Аэр пришел к Ингель и спросил:

¹ Эстонская поговорка.

— Учиться хочешь, добрый человек?

— Что ж я... Пусть кто помоложе... — вздыхая сказала Ингель, но по всему было видно, что она очень хотела.

— Из района пришло распоряжение: нужно послать одного человека на месячные курсы заведующих фермами. В Кыльяласкую сельскохозяйственную школу. Правление решило послать тебя. Поедешь?

— А чего же мне не ехать! — радостно, по-девичьи сказала Ингель.

— Завтра передай ферму.

— Кому?

— Пусть примет Мильде Пури. Серьезная девушка, справится, — посоветовал председатель.

— Мильде? Проследи, Яан, чтобы она снова за старое не принялась. Да я сама с ней поговорю, постараюсь ее усовестить.

Когда председатель ушел, Ингель, сложа руки, долго сидела молча. Затем, подняв в сумерках свое помолодевшее лицо, удивленно сказала:

— Смотри-ка, какого активиста из меня сделали! И как это хорошо! Чувствую... нет, я не умею сказать. Чувствую, что во мне живут два человека — новый и старый, но нового я люблю больше.

В сумерках весеннего вечера зазвучал ее голос. Она поучала своих свиней:

— Будьте послушны, миленькие. Ингель поедет учиться, поросятки. Слушайте Мильде — она строгая! А я вас разбаловала, *Sus vitatus...*

Письмо пятое

ОТЧАЯНИЕ

Теперь он стоял у конца,
и надежда угасла...

В. Г. Короленко, «Сон Макара»

По времени уже должно было рассветать. Но все вокруг по-прежнему оставалось сумрачным и серым.

Низко ползли тучи, цепляясь своими свисающими крыльями за верхушки можжевельника. Восток, где по утрам обычно пылал молодой, радостный пожар зари, был закрыт сердитыми синими тучами, темными и мрачными, как горе. Только на севере, где-то далеко-далеко, багровела сквозь сумерки более светлая полоска,

которую послештормовое небо прижимало к чернеющему заливку моря. В такое утро сердце ощущает необъяснимую грусть, в груди нехорошо и тесно, хочется куда-то уйти, хотя и сам не знаешь куда.

— Полегче шагай, у меня ноги старые, — сердито сказал старый Мартин Пури, с командой которого я этим утром уходил в море.

Мой спутник остановился. Повернувшись старческой, сгорбленной спиной к ветру, он долго шарил по карманам сперва серой вязанки домашней работы, потом овчинного жилета, потом брюк и, наконец, морской шубы из телячьей шкуры. Он дышал громко, хрипло. И прежде чем закурить, видимо для того, чтобы протянуть время, заговорил высоким, сердитым голосом:

— У нас старость начинается с ног. Тут машина отказывает прежде всего. То ли это оттого, что носим резиновые сапоги, то ли народ жиже стал или бог нас карает за то, что больше в церковь не ходим, но только рановато у нас ноги скрючивает.

— Чего ж тут удивляться! Годы. Да и мало ли ты по земле ходил?

— Да уж, — сказал Мартин Пури. — Только из-за женщин тысяч пятнадцать верст исходил, прежде чем свою нашел. А женщины — это все пустое. Но в молодости я вот этими самыми ногами все дороги Лифляндской и Эстляндской губерний измерил.

Красноватый блик огня на момент осветил его лицо. Блеснул белок глаза, прорезанный тонкими жилками, черный расширенный зрачок. Нос, костлявый и горбатый, дворянским гордым крючком выдавался вперед, придавая всему лицу строгое и умное выражение. Подбородок, резко и остро изгибаясь вперед, по мере сил помогал носу. На лбу, над тяжелыми седыми бровями, из которых, как иглы, торчали отдельные жесткие волосинки, выдавались два бугра. К уголкам широкого рта, а также к глазам сбегались острые неисчислимые морщины и морщинки. Они крест-накрест перерезали все его лицо, уменьшаясь только на носу и на скулах. В этом лице было что-то усталое, но в то же время энергичное и молодое; что-то такое, что заставило меня уже с самого начала почувствовать к этому старику уважение, смешанное с легким страхом.

«Ну уж, не ради одной исходил ты пятнадцать тысяч верст», — подумал я про себя, глядя на его лицо, снова погасшее и посеревшее в утреннем сумраке.

На берегу загромыхали весла. Где-то пронзительно пропел петух. Светлая полоска на северной стороне неба скрылась за низкими тучами. Чутьочку посветлело. Стараясь шагать в ногу, мы молча пошли на берег.

Трое рыбаков уже ожидали нас. Мы столкнули шлюпку в море и отгребли до моторки, которая покачивалась в нескольких саженях от берега на якорь, нацелившись штевнем по ветру. Шлюпку взяли на буксир, на баке ржаво загрела якорная цепь. Лодка повернулась носом в море, заработал мотор, большой и крепкий корпус лодки задрожал. Резким толчком натянулся буксирный канат между моторкой и шлюпкой. Через штевень, разрезавший первую волну, в лицо ударила холодная мелкая водяная пыль.

Мартин Пури сидел у руля. Один из мужчин, его племянник Аугуст Пури, возился с мотором. Двое остальных забрались под бак. До мереж нужно было пройти больше часа.

Спустившиеся прямо к волнам тучи передали морю свою черно-серую окраску. Только там, где волны, как хвост рыбы, разбегались от острого штевня, изредка мелькала белая и радостная грива пены. Послештормовая волна, большая, но усталая и пологая, катилась мимо. В ней не было ни красоты, ни силы. Я, не отрывая глаз, смотрел на это будничное, однотонное, лениво колышущееся море, на горизонт, круг которого, подвигаясь вместе с нами, смыкался совсем близко, на хмурое, замкнутое лицо Мартина Пури — и грусть сжала сердце своими свинцовыми пальцами.

1

До этого два дня ревел восточный ветер, порой переходивший в бурю. Ящичные мережи, над которыми билась высокая волна открытого моря, стояли неосмотренными. И уже по тому, что на канатах и шестах первой мережи сидели чайки, по тому, как они, сверкая белым снегом крыльев, пикировали над мережей, стало ясно, что в сетях билась рыба.

Если вам приходилось следить за человеком, который взвешивает минусы и плюсы, прежде чем сделать рискованный и смелый шаг, если вы наблюдали за детьми, ожидающими радости, еще не зная, насколько она велика и в чем заключается, если вы встречали робкого влюбленного, который все время получал отпор и который

наконец сообразил, что лед скрывает разгорающееся пламя, — тогда вы догадаетесь, какие чувства переплетаются в душе рыбаков у мережи, окруженной чайками, какое неожиданное выражение принимают их лица. Эти короткие минуты своеобразны, всегда новы и неповторимы; это краткий праздник, который не каждый день отделяет напряженное, скрытое ожидание от тяжелой работы.

— Я скажу, что... — сказал Мартин Пури молодым и хриплым голосом, всем телом нажимая на румпель. Лодка тяжело и плавно повернула сквозь идущую сбоку ленивую волну к мереже.

— Ну, сегодня будет работа... Ну, сегодня будет работа! — твердил Аугуст Пури, глуша мотор и скидывая с плеч полушубок.

— Рыба есть, будем с рыбой, — жадно смотря на канаты мережи и на обьевшихся, ленивых чаек, решительно заявил стоявший на носу, уже распрощавшийся со средним возрастом рыбак. Его круглые, немного навывахте глаза были сощурены в узенькие, как грани напильника, щели. В них отражались серые холодные волны.

— Я скажу, что... — повторил Мартин Пури, вынимая румпель из гнезда и в то же время хватаясь за канат мережи, — рухнусец¹ — вот это человек. Три дня сидит на камне и ухом не шевельнет, ожидает тюленя. Нет у него ни нервов, ничего. А у нас: «Будет работа!», «Будем с рыбой!» А море сердится.

Видимо, он был одним из тех редко встречающихся рыбаков, которые, перебирая в удачливый день сети, когда кругом воет сердитый сентябрьский ветер, говорят шепотом. Они лишь шевелят губами, когда на подледном лове бьющаяся еще вдалеке щука заставляет дрожать подбор сети. В них упорно живет вера в то, что рыба слышит и море не любит громкого разговора.

Шлюпку подтащили ближе. Мужчины сняли шубы и перешли в нее. Царапая днищем о прижатый вниз лопастями весел канат, неуклюже качающаяся шлюпка зашла в ящик мережи. Там ее удерживали так, чтобы она стояла параллельно установленной вдоль наружного края мережи моторной лодке. Между лодками оставалось более трех четвертей квадратного ящика мережи. Канаты, при помощи которых поднимается сеточное дно, развязали.

¹ Рухнусец — житель острова Рухну.

- Порядок.
- У меня порядок.
- Готово.

Сперва едва заметно, слабо белея, потом все яснее и яснее показались тысячи одинаковых ромбов дна мережи. Люди, пристально вглядываясь в воду, следили за ее подъемом. Хватали поднимавшуюся на поверхность сеть красными руками. Кожа на руках была в трещинах, ногти обломаны. На миг перевели дух. Между шлюпкой и закрепленной снаружи моторкой возникла крутая — несколько десятков футов в ширину и более двадцати футов в глубину — ложбина, отвесную стену которой со стороны моторки составляла стенка ящика мережи, а крутой склон — сеть, поднятая со дна. В этой пока еще непроницаемой для глаза серой, мутной воде, со всех сторон окруженной частой сетью, двигался, бился носами о непонятную клетчатую прозрачную стену, искал дорогу на волю наш сегодняшний улов.

Старый Пури перебирал сеть на левом краю, справа от него был Аугуст Пури, дальше шли двое, о которых, прежде чем говорить о рыбе, нужно сказать несколько слов, хотя они в этом письме и не играют значительной роли.

2

Справа от Аугуста Пури был Гарибальди Стурм. Он пришел в деревню Сыгедате позднее остальных жителей — тридцать лет тому назад. Судьба благословила его только дочерьми, щедро наградив их красотой и острыми языками; все они счастливо повыходили замуж, и овдовевший Гарибальди единственный среди сыгедатовцев носил замечательное, пронизанное запахом моря, до последней буквы чужестранное имя. Быть может, за усы, быть может, за круглые, светлые, любопытные, немного навывкате глаза или за то, что он всегда как с лица, так и всей фигурой был округлый и крепкий, его за глаза звали Тюленем. В буржуазное время, когда годы еще не успели его укротить, он славился на весь остров как драчун и сутяга. Замешанный в какое-то туманное дело о наследстве, он несколько лет судился с братом своей жены из-за неразделенной части наследства — стенных часов, прялки и хомута. И хотя часы давно стояли, упряжь сопрела, прялка заплесневела, они своим бесполезным существованием долго разоряли три хозяйства,

владельцы которых поклялись искать правду до тех пор, пока не получат себе часы или не стопчут свои ноги по самые колени. Лишь тогда, когда адвокаты вдоволь выкачали из них денег и все труднее и труднее становилось доставать их для продолжения процесса, было вынесено решение. Гарибальди Стурм получил прялку и со злости разнес ее в щепки. И до сих пор у него упорно и скрытно сохранились эти черты «правдоискателя», до сих пор он верил, что параграф крив, и изредка пытался, хотя до суда дело не доходило, повернуть крючки этого параграфа себе на пользу. Любил и ценил Советскую власть, которая снова поставила его на ноги, чувствовал ее справедливость и силу, но иногда, под хмельком, сожалел о прошлых временах, когда легче и интереснее было таскать соседей по судам, когда деньги были правом, а право — деньгами. Он до сих пор верил, что юриспруденция в области гражданского права вымирает, и о молодых адвокатах говаривал: «Разве ж это юристы? Так просто, юры».

Рыбаки говорят, что команде лодки — где нет человека, который любит море, думает только о нем, может все забросить ради рыбной ловли, — не будет морского счастья даже тогда, когда хороши и снасти, и места лова. Море любит, бьет и ласкает страстные характеры. И у Гарибальди Стурма был страстный характер. Стоило лишь посмотреть, как он, похлопывая одной рукой большую щуку, говорил, крутя другой рукой усы: «Парень! Это парень! Настоящий лейб-гвардеец! Парень — как генерал Скобелев!»

Или как он, снимая с крючка большого окуня и провозжая его до днища лодки быстрым взглядом, говорил: «Тяпу¹ — божья тварь».

С морем у него были особые отношения. Он говорил о нем как о живом, знал все его фокусы, сердился на него, хвалил его и во время осенних штормов заявлял: «Старик бесится».

Спорил ли он, выпивал ли, пел ли, работал ли, танцевал ли польку (другие танцы были, по его мнению, «американским кривляньем»), ловил ли рыбу — все он делал быстро, азартно, со всей душой. Порой другие рыбаки говорили, что Стурм «торопыга», «можжевелик», который подхлестывает даже тогда, когда дело требует

¹ Тяпу — ласкательное наименование окуня кое-где на островах.

десять раз взвесить и излишняя поспешность может заставить потом горько пожалеть. Но все же он умел увлечь людей, убедить их, и когда, на стурмовское счастье, что-либо получалось удачно, Гарибальди опять слыл в чести. При этом он никогда не сливался полностью с окружающей деревней, и если Аэры, Пийты или Пури порой посматривали на него вкось, как на чужака и чужого, он отбрасывал их так гордо и заносчиво, что еще словечко — и останется искать правды только в суде.

В этот короткий момент передышки Стурм одной рукой придерживал сеть, а другой выбирал из ячеек мережи салаку и кильку, бросая их в ящик позади себя. Но некоторые, самые маленькие, рыбешки широкой дугой летели в свободную воду: «Подрасти и возвращайся!»

На краю справа был Эрвин Ряйм, молодой, высокий, тощий парень, которому предстояла служба в армии. Но уже теперь старшие рыбаки приманивали его, надеясь, что Эрвин после службы придет именно на их лодку. Сейчас, когда из ряда колхозов, в том числе и из рыбацких, особенно из тех, где дела не в порядке, молодежь идет на заводы, за письменные столы, в школы, редко возвращаясь оттуда в родные колхозы, в деревне растет цена молодых людей, растет так, что часто портит их характер и жизнь, которая, к сожалению, состоит не только из молодости. Но что Эрвин Ряйм вернется и останется рыбаком, было тверже твердого.

Семь классов он окончил со страшным трудом. Не потому, что у него голова не варила, или он часто ленился, или был от природы глуп. Нет, уже с первого года учебы море и рыбная ловля привлекали его сильнее книг. Но так как две вещи, двух людей нельзя любить одинаково сильно, то с третьего года учебы школа превратилась для него в своеобразную тюрьму, которую он в одно и то же время уважал, боялся и ненавидел мальчишеской постоянной, упрямой ненавистью. Все больше отставал он от других, все яснее он понимал, что его переводят из класса в класс просто из жалости и ради хорошего имени школы. Он почти терял силы перед этим количеством предметов и знаний, прогрызть которые становилось все труднее и труднее. Отец, крутой и справедливый человек, на четвертом году учебы после зимних каникул привязал его к саням и отвез в школу, так как Эрвин отказался идти туда, говоря, что он не хочет больше вариться в этом адском котле и что от

ученья он становится дураком. Но Эрвин не остался в интернате и вечером вернулся домой.

— Ты что здесь потерял? Неделя прошла, что ли? — спросил отец.

— Прошла, — ответил Эрвин и бросил ранец в угол.

— Ремня хочешь? — спросил отец с нарастающим гневом.

— Бей! — сказал Эрвин высоким, ломающимся голосом и посмотрел на отца глазами загнанного человека.

— Срам! Всей семье срам! Запомни мои слова до самой смерти: если теперь человеком не станешь, всю жизнь будешь за собой дурость тащить, как каторжник кандалы.

И неожиданно роли поменялись — сын смотрел на отца все еще сухими глазами, а тот судорожно глотнул и зажмурил глаза.

С этого вечера Эрвин Ряйм стал мужчиной. Он не смог полюбить школу, учиться было для него тяжело, но он зубрил, не стыдился, если ему помогали. Из пятого класса в шестой он перешел с переэкзаменовкой, в шестом сидел два года и шестнадцати лет окончил семь классов на тройки. Последующие два года жизни принесли ему славу хорошего рыбака, команды лодок тайком боролись за него, девушки на него засматривались, хвалили его походку и умение танцевать, тайком вздыхали о больших, робких, почти женственных глазах Эрвина, секретарь парткома здоровался с ним за руку. Эрвин был одним из тех, чьи отношения с морем ясны и кого из рыбацкого колхоза не вытащить и парой быков.

— Начали, — сказал Гарибальди Стурм и глубоко вдохнул воздух.

3

Мужчины начали перебирать сеть, крепко захватывая ее ногтями и спуская короткими широкими полосами под лодку. Постепенно ложбина между двумя лодками становилась уже и мельче.

Внезапно вода ожила. Блеснул тусклый плавник, широкая спина рыбы разрезала пополам тонкий гребень волны, тут же раздвоенный хвост, ударившись о воду, всплеснул вверх брызги, и рыба исчезла в глубине. Через несколько секунд вода в ящике мережи кипела. Сиги, царственные рыбы, мчались, шныряли, били сильными хвостами по воде, ища дорогу на волю, выписывали

переплетенные между собой, сложные, пенящиеся, широкие спирали. Сквозь слабый шорох сырого ветра послышался особенный, неповторимый, замечательный звук, звук, для определения которого в эстонском языке нет слов. Как вы хотите назвать звук, который издают сотни вертящихся по поверхности воды, выпрыгивающих из нее, сверкающих серебристыми боками сигов? Это и не бульканье, и не плесканье, и не журчание, и не шорох, и не шуршание, а что-то совсем особое — такое, что жадная чайка, которая, как молния, падает на добычу, фута два не доходя до волн, распахивает крылья, вытягивает ноги и со скрипучим, испуганным криком снова взмывает вверх. Если бы эту картину, эти звуки, которые рыбаки зовут переполохом, что ни в коей мере не передает их возбуждающую красоту, когда-либо смог увидеть и услышать Гоголь, у нас было бы ее поэтическое, захватывающее душу описание. Именно захватывающее душу. Когда видишь ее впервые, хочется петь, а сам даже не дышишь, лишь двинешь друга локтем в бок и протяжно вздохнешь: «А-а-ах...»

Мужчины работали молча. Из-за ветра и суматохи в море не слышно было их учащенного дыхания. Лишь по сжатым челюстям, по спинам, согнувшимся, как луки, по коротким и точным хваткам рук можно было понять, как тяжело перебирать большую, мокрую, уходящую в глубину сеть.

На момент на поверхности появилась хищная голова большой щуки и сразу же исчезла между снующими сигами. Сквозь сумрачную воду белели светлые брюшки ворочающихся камбал, окуни медленно поднимались вверх. Из-за острых, мелких, пересекающихся на поверхности воды волн казалось, что весь этот подводный мир, беспомощно бившийся и двигавшийся, дрожал, колыхался быстрыми электрическими колебаниями. Коричневатой-синей, плотной, переливающейся массой все ближе и ближе к поверхности поднималась салака. Ее было много.

— Тонны две наберется.

Сиги пытались перескочить через края сети, описывали быстрые, сужающиеся круги. Вода пенилась от их танца. И все больше принимало участие в этом танце и других рыб. Судаки, щуки и окуни все чаще показывали спины, бились, натыкались носами на стенки мережи. Весь стягивающийся, но все еще очень большой мешок качался, пульсировал, шевелился от поверхности до под-

нимающегося дна, покрытого толстым слоем безразличной ко всему салаки. На темном фоне этой массы никелем мелькали белые пятна — бока мечущейся с места на место рыбы.

Мартин Пури, перебивавший сеть слева, напряг все силы. Он крепко захватывал пальцами ячейки сети. Таща сеть, упирался коленями о борт лодки. На лбу выступил пот. Наклонив голову вперед, он попытался вытереть лоб о несколько приподнявшийся рукав. Но неожиданно сорвались пальцы левой руки. Сеть скользнула вниз. Несколько сверкающих сегов перелетели через нее.

Август Пури всем телом повернулся к Мартину. Его покрасневшие от напряжения белки глаз блеснули поволчьи. В наклоненном вперед теле была сила животного, готового к прыжку.

И тогда он сказал резко, как молотом ударил: — Одна нога в могиле, а еще ковыряешься на море!

Как обожженный, схватился Мартин за сеть и машинным рывком подтянул ее вверх.

И, работая изо всех сил, он вдруг осел, постарел, потускнел, не мог больше поднять глаз.

Все это заняло лишь несколько мгновений, но было так неожиданно, грубо и несправедливо, что даже сам сказавший эти слова покраснел.

Стурм едва не выпустил из рук сеть. Эрвин встревоженно посмотрел своими добрыми, испуганными глазами и побледнел.

Чувствуя, что грудь сильно сжимается, как будто она в огне и одновременно во льду, я понял, что это больше и серьезнее, чем просто сказанное в запальчивости слово, нечто такое, что может перевесить только одно, тяжелое, как глыба, и в своей окончательности страшное слово — смерть.

И снова замечаешь печальное и скучное одеяние моря, видишь, как на виске у Мартина Пури быстро-быстро бьется синяя жилка, как с равномерностью машины движутся его руки; ощущаешь, что между этими четырьмя возникло «нечто» — злое, с трудом поправимое. И лавина низких, глинистого цвета туч давит на тебя всем своим грузом. Чужая судьба, в которую ты случайно вмешался, как нож в твоей спине. И нож поворачивается в ране.

Опорожнили первую и вторую, расположенную дальше, мережу. И хотя рыбы было много, так что глубоко осевшая буксируемая лодка проходила сквозь волны, зарываясь в воду, едва поднимая нос, причем синеватый язык моря лизал верхние доски борта, хотя между баком и мотором на серебристо поблескивающей салаке судорожно прыгали сиги и окуни, — несмотря на все это, в лодке не было присущего такому богатому дню возбуждения, деятельного, радостного настроения. Настроения, при котором рыбаки говорят лишь о хороших вещах, счастливых случаях, когда в последнем упрянце и жулике находят человеческие и смешные стороны, когда мир напоминает старое, хорошо содержащееся кладбище, при чтении похвальных и смиренных эпитафий на крестах которого возникает вопрос: но позвольте, а где же похоронены плохие люди?

Мартин Пури сидел на своем обычном месте — за рулем. Его рот был сжат в узкую прямую полоску, на скулах пятнами пылал болезненный румянец. Казалось, что он вовсе не следит за курсом лодки, прочерчивающей на волнах прямую линию.

— Как думаешь, Март, сколько улов потянет? — деланно весело окликнул его Стурм.

Мартин Пури впервые поднял глаза. Они были так тусклы и печальны, в них был такой беззвучный крик и недоумение, просьба и беспомощное черное, грызущее отчаяние, что в них нельзя было смотреть.

— Да так (покашливание) тонны четыре (покашливание), может, будет, — ответил он не своим голосом, глядя мимо Стурма.

Надевая мокрую большую рукавицу, он запихнул ее под мышку и на ощупь, медленно сунул в нее дрожащую руку, покрытую синими жилками.

— Бык! Язва сибирская! — пробурчал про себя Стурм, не сводя злого взора своих светлых круглых глаз с Аугуста Пури, и огрел ногою щуку, которая билась, разевая пасть, на его погружившихся в рыбу сапогах.

А Аугуст Пури, ссутулившись, сидел на скамье перед мотором, курил и держал руку на ноже, красивом ноже в ножнах, какие делали в трудовых батальонах, — с хорошим лезвием, с нарезанной с обеих сторон бороздкой, с полосатой изогнутой ручкой из дюралюминия и казеи-

новых колечек. Но его лицо... Нет, посмотрим поближе на его лицо.

Его голова сидела на грузном, крепком теле, на грузной, крепкой шее. Отдельные черты в лице выдавали его родство с Мартином — горбатый нос, расположение рта, разрез глаз, хотя глаза у Мартина были серые, у Аугуста карие. И если у Мартина линия рта была правильной, то у Аугуста углы рта часто опускались вниз, придавая всему лицу одновременно несколько ожесточенное и скептическое, ироническое и надменное, мало подходящее к его годам выражение несправедливо пострадавшего. Такие лица не умеют смеяться, но плохо скрывают радость, когда у близкого плохи дела. Если бы я был художником и искал прототип начинающего ростовщика, я выбрал бы Аугуста Пури. Выбрал бы потому, что в его лице, кажущемся на первый взгляд красивым и сильным, на котором характерные, еще скрытые, но уже намечающиеся черты еще не обнажены рукою времени, порой прорывается что-то половинчатое, смешанное с чем-то другим, но достаточно ясно волчье, настороженное и рыскающее, так что по выражению его глаз можно сказать, что сделали бы его руки, если им предоставить свободу.

Это лицо было сейчас мрачно, как у людей, которые разжигают в себе или стараются сберечь затахнувший гнев.

Нагруженная лодка дрожала непрерывно, усыпляюще и монотонно, в такт ударам винта и тяжело, сотрясаясь и скрипя, — тогда, когда врезалась своим широким, осевшим от груза носом в волну. Кильватерный след, в тихую погоду надолго остающийся на воде волнистым, непрерывно удлиняющимся с острого конца клином, быстро стирался в тупозубом, инертном колыбании моря.

— Аугуст, — попросил Мартин Пури примирительным, униженным голосом, — брось спички.

— Возьми, — коротко, равнодушно ответил Аугуст и, не глядя на Мартина, протянул назад коробок.

Если бы он сказал это «возьми» немного теплее, любезнее или хотя бы сердито, все равно, с каким чувством, что показало бы, что недавнее происшествие еще грызет и мучает его, всем нам было бы легче. Но это равнодушное, без сожаления и злобы «возьми» снова пробудило Мартина к жизни. Он посмотрел на серп и молот на коробке, взял уже спичку в руку и пристально, так внимательно уставился в спину Аугусту, что лодка отклони-

лась от курса, кильватерный след изогнулся и Аугуст Пури обернулся. Мартин посмотрел на своего племянника так, будто видел его впервые, будто они уже много лет — как до, так и после войны — не ловили в одной лодке, будто перед ним был не тот человек, которого он научил понимать душу моря. После долгого взгляда его лицо снова стало ястребиным и злым, морщины пролегли резче и сквозь серое отчаяние, почти страх смерти в глазах проступила ярость. Аугуст отвернулся.

— Март, не наскочи на мережи! — крикнул Стурм.

И верно, лодка нацелилась носом на стоявшую впереди мережу.

И снова надвинулась гнетущая тишина, снова, как шторм осеннего равноденствия, прошла черная забота по лицу Мартина Пури, и берег был слишком близко для того, чтобы лодка смогла увести нас от низкого, давящего, отвратительного груза туч, из рук того безымянного, что угнетало нас. Мне припомнились стихи Рауда: «Заботы, заботы, как черные волны...», припомнились мои первые седые волосы и болезненное желание, которое я ощутил, обнаружив их, — писать молодо и радостно, — а также то, что сегодняшний случай заставляет меня писать совсем иначе. Серый моток грустных мыслей разматывался дальше, пока я не поставил себя в положение Мартина, начал представлять себя на его месте, ощутил на своих плечах тяжесть его шубы и лет, в руках мокрый румпель. Какое страшное, каменно-грузное значение имела эта короткая фраза — и вот человек, Аугуст Пури, сидит смотрит на море, презрительно опустив вниз углы рта, и внимания не обращает, что из-за сказанных им слов в шаге от него отчаяние убивает другого острой, зазубренной острой. Припомнилось, что в нашей большой и любимой стране часто еще небрежно выбрасывают за борт, слишком рано снимают с учета, есть еще жадный, жиреющий за счет других эгоизм.

Кто же такой Аугуст Пури? Как хотите его рассматривать — по анкете или глубже?

По анкете: отец — рыбак, мать — крестьянка, родился в 1918 году; беспартийный, эстонец; принимал участие в Великой Отечественной войне, под Луками и на Сырве был старшиной взвода, был ранен, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Славы III степени; после демобилизации — рыбак, план уже ряд лет выполняет хорошо. Точка.

Но это одна сторона медали. Если во время войны вам

довелось иметь начальника, похожего на Аугуста Пури, то вы ощутили, каким своеобразным буфером был он между вышестоящим начальством и вами, солдатом. Он был и должен был быть выше вас, но оторвался от солдат, тянулся, так сказать, к начальству. Но как между вами и ним, так и между ним и более высоким начальством возникла пустота. Вы боялись его, но не любили; вы ценили в нем аккуратность (именно аккуратность!), но презирали его за то, что он никогда не отстаивал вас, что он обо всем докладывал начальству и с одинаковой бесстрастностью наказывал как за маленький, так и за большой проступок. Приказы, которые начальство через него передавало, доходя до вас, приобретали ощутимо более острую форму, чем у соседей; какое-нибудь ядовитое дополнительное словечко напоминало вам, что ваше место на лестнице воинских званий на самой нижней ступеньке.

Через восемь лет после войны Аугуст Пури сказал мне, что в нашей литературе мало пишут «о младших командирах, прошедших Отечественную войну», а если и пишут, то не о тех, чьи «иллюзии мечтаний разбились». Вероятно, он был прав. Было ясно, что он годами терпеливо и упорно ждал какой-то особой благодарности и отличия за заслуги военных лет. Когда этого не произошло и он увидел, что пребывание на войне человека его лет и после войны считается не геройством, а скорее обязательной вещью, он начал ожесточаться. Больше того — его соратники, старшие и младшие по званию, работали вначале в волости, потом в районе на ответственных постах, женились, у них были дети, и когда случалось, что в честь старого знакомства порой распивали вместе стаканчик, пели «По долинам и по взгорьям» или «Три танкиста», то все чаще и чаще забывали вспомнить о том, что он был командир и они были командиры. Ему казалось, что его забыли и что он больше ничто, и военное время, когда он был «чем-то», казалось ему все лучшим.

...Начался дождь. Горизонт еще более сузился. От дождя, падавшего прямо в лицо, море стало серовато-белым, на местах падения капель взбрызгивались миниатюрные кольцообразные волны. Они пересекали друг друга, и казалось, что вода от гребня до основания волн кипит на медленном огне. Приближающийся спереди и справа берег скрылся за полосатой завесой дождя. Задевая воду, перед лодкой летели две утки.

— Идите вниз. Что вы зря мокнете? — сказал Мартин Стурму и Ряйму.

Эрвин ушел под бак, а Стурм, подняв воротник, по-прежнему сидел, углубленный в свои мысли.

— Ничего, в компании лучше, — проворчал он, поднялся и, увязая по колени в рыбе, прошлепал на корму, где уселся рядом с Мартином, так что только румпель разделял их мокрые блестящие шубы, с которых струилась вода.

Аугуст Пури... И годы войны, когда он был «чем-то», казались ему все лучше. Вырастало молодое поколение, бурно и деловито занимало в жизни все более и более ведущее место, и хотя у молодежи за плечами и не было пройденной войны, работала она неплохо. «Молокососы! Молокососы! Молокососы!» — характеризовал их Аугуст Пури, но многих «молокососов»-комсомольцев уважали, у них было образование, все то, к чему он стремился каждой клеткой своего тела. И так как жизнь не терпит пустоты, он вскоре нашел замену желаемому — рубль. Он старался захватить лучшие сети, лучшие лодки, составить команду только из молодых и сильных.

Если вы в рыбацких колхозах столкнетесь с таким явлением, что командам, состоящим из молодых, часто малоопытных рыбаков, даются лучшие сети и лодки, а старикам — остающиеся, так что они часто собирают ошметки сетей и ходят в море на протекающих корытах; если вы проанализируете, как страдает от этого план добычи всего колхоза; если вы увидите, какая огромная разница возникает между заработками команд отдельных лодок, — тогда не нужно будет никакой сложной математики для нахождения «неизвестной величины», направляющей все это. Это старое, но все еще сильное «своя рубашка к телу ближе», это близорукость, это Аугуст Пури — с различными биографиями, с различными лицами, с различными приемами, но в основном все тот же самый.

Шелестели утихающие порывы дождя. Все яснее выделялся низкий берег и на нем здания районного центра — низкий и длинный каменный дом рыбоприемного пункта, рыбные склады, ледник, большое двухэтажное здание райкома партии и райисполкома, а выше его гордо вздымались смолисто-желтые стропила и укрепленный на них еловый венок — будущая средняя школа. Новые жилые дома, гаражи, строительная контора — все это начинающее возникать, наполовину построенное

и уже завершающееся всегда придает мыслям порывистость и смелость. Даже на новую, белую, как лебедь, баню, в которой архитекторы забыли запланировать водопровод и которую поэтому изнутри ломали, смотришь с веселой злостью.

Чиркнув бортом о каменный короткий мол, лодка вошла в гавань.

5

На механизированный рыбоприемный пункт смотреть весело, на немеханизированный — никакого веселья. В стороне — в нескольких десятках метров — новый самосвал льет на землю золотой груз песка, грохочет растворомешалка, транспортер подает на третий этаж строящегося дома белеющие кирпичи, а здесь, черт побери, техника еще николаевских времен.

Так и здесь. Весовая и засолочная в нескольких десятках метров от берега, подъем к ним от причала крутой, но рыбу приходится носить в ящиках вручную. Была, правда, какая-то хромая тачка, но когда одновременно разгружалось несколько лодок, ее колеса всегда поскрипывали где-то в руках третьего-четвертого. С хорошего улова можно бы нанять за ведро салаки белую кобылу у колхозника сааремаасца, чья телега для возки молока стоит пустая тут же, у молокоприемного пункта, но окна отделения милиции выходят на гавань — объясняй потом.

Переноска рыбы, особенно когда ее много, такая же тяжелая работа, как и на море, быть может, еще тяжелее.

— Возьмем сперва по сто? — спросил Стурм у Мартина и выжидающе посмотрел на него.

— Надо бы. Сегодня натаскаемся, — нерешительно ответил тот, и его большой кадык неожиданно подскочил вверх. — Ты тоже пойдешь, Аугуст? — обратился он к племяннику.

— Пойдешь, Эрвин? — перебросил Аугуст вопрос Ряйму.

— Пошли, чего ж там!

Они пошли к столовой походкой людей, чья цель ясна. Впереди всех шагал Стурм в шапке, надвинутой на глаза, немного сзади — Аугуст Пури, на ходу вынимающий из бумажника, который обычно стягивало резиновое кольцо, нужную сумму. Со стороны казалось, будто он

заглядывал за пазуху и вот-вот сейчас сунется носом в землю. За Аугустом шел Эрвин Ряйм. Голенища его резиновых сапог, которые он предварительно отстегнул от пояса, на ходу сползли вниз и браво полоскались. Он широко расставлял ноги, раскачивался туловищем вправо и влево, как старый матрос, и по его багровому от ветра и дождя лицу было видно, что мужчина идет с мужчинами выпить по сто граммов.

И позади всех шел Мартин Пури, с деланной бодростью поднимающий ноги. Но шестьдесят три года жизни наклоняли его вперед. Он смотрел на землю, и хотя на него не давил прежний груз, все же его мучили путаные, обрывистые, как тени, проносившиеся в голове безрадостные мысли старого человека. Он ожидал чего-то наполовину как чуда, наполовину обоснованно — того, что вернуло бы ему угрожающую ускользнуть жизнь.

У стойки каждый взял свой стакан. Аугуст собрался было поднести его ко рту, но ему помешал Стурм.

— Пошли сядем, — он указал кивком головы на пустой угловой столик, — туда.

— Чего — эту каплю? Я ее здесь, — проворчал Аугуст.

— Сядем за стол! — скомандовал Стурм, и в его светлых глазах блеснули злые огоньки.

Он повернулся спиной к стойке и, прижимая восьмигранный стакан рукой к груди, пошел впереди всех. Команда уселась.

— Ну! — поднял стакан Стурм. — Ну! — повторил он еще раз и наклонился над столом к Аугусту.

«Ну» было как просьба, так и угроза, на это можно было ответить двояко. Или так, что младший Пури прежде всего чокнется со старшим, скажет что-нибудь, в чем не будет, правда, самоунижения «блудного сына», но немножко скрытого сожаления. После этого забудется, потеряет остроту все случившееся сегодня. Или...

— Ты что хочешь, салага? — обратился покрасневший Аугуст, делая ударение на слове «ты», к Эрвину, чья рука, готовая чокнуться со старым и с молодым Пури, была протянута на середину стола.

— Я хотел бы, чтобы ты... со стариком... Как же так останется?... — заикаясь, сказал Эрвин.

Аугуст поднес стакан ко рту — рука его не дрожала, — вылил водку в горло, вытянув губы в трубочку, выдохнул воздух, встал, повернулся спиной и, запахивая полы, прошел между столиками наружу.

Хотя происшедшее на море жгло Мартина, ошеломило его, на короткое время парализовало в его душе все силы, тянувшиеся к жизни и завтрашнему дню, все же в нем сохранилась, как звездочка, мерцающая в метель на небе, далекая и холодная, светящая то ярче, то слабее, иногда и вовсе исчезающая за белым полотном летящего снега, все же в нем сохранилась изменчивая надежда, что все как-то разрешится, и разрешится быстро, именно здесь, в столовой. Но теперь двусмысленное, жуткое положение продолжалось уже несколько часов, разрешение было так же далеко или еще дальше, чем раньше. Гнев — наша опора в такие минуты — не находил никакой пищи или поддержки в болезненной, равнодушной усталости, полностью захватившей его. Он оглядывался на свою жизнь, но все, о чем раньше вспоминал с радостью, в чем заключалось содержание его жизни и работы, хотя и небольшое, но все же содержание и смысл, потеряло весь свой блеск и окраску из-за бурной и холодной ночи, которая, все сгущаясь, покрывала его мысли. Он заглянул в будущее. На этот год он останется в прежней команде, никто не сможет и не имеет права выжить его оттуда; он перетерпит неприязнь Аугуста, вытерпит даже и в том случае, если она, как вошь, переползет на других. Все равно, как бы тяжело это ни было, на этот год он останется рыбаком.

Но чем дальше в будущее он заглядывал, тем печальнее и сумрачнее становилось его лицо. С той осязаемой ясностью, которую придает черным мыслям бессонница, увидел он новую весну. Увидел, как председатель Аэр, скрывая от него положение, пытается пристроить его в одну, другую, третью команду, как его друзья детства увиливают и отрицательно молчат, молодые его взять не хотят, — и фундаментом всей этой сложной и неловкой для других, унижительной, постыдной и уничтожающей для него игры являются три слова: «Одной ногой в могиле».

Весна придет в лес. В березах начнет двигаться сок. Сугробы, спящие в тени заборов, станут низкими и плотными. На полях озими в лужах ледяной воды заблестит солнце. На низких лугах закричат чибисы. Серые гуси полетят на север.

Но все это больше не для него.

Лед на море с каждым днем станет пятнистее, рыхлее, будет все время менять цвет. Его широкий покров разорвут по швам трещины и синеющие полосы откры-

той воды, сверху его будет грызть солнце, снизу будут обстругивать течения.

Но все это больше не для него.

Потом налетит южный или западный шторм, море затрещит и заохает, белыми жеребцами поднимутся на дыбы налетающие друг на друга ледяные громады. И лихорадочно суеющийся, пахнувший смолой, взволнованный, готовый к прыжку берег будет смотреть на уходящий лед прищуренными, радостными глазами. К утру море заркочет свободно, всей грудью. Снежно забелеют гребни холодных стеклянных волн, загромяхают весла, заскрипит гравий под киями сталкиваемых на воду лодок.

Но все это, все это больше не для него.

Как птица своих птенцов когда-нибудь оставляет на ветке, так и от него отлетит тяжелая и единственная работа, которую он любит. Но ведь он не птенец, а старый покалеченный воробей, чьи крылья бессильно обвисли.

Это для него.

Когда Мартин Пури подумал обо всем этом, он не справился больше со своим подергивающимся лицом, попытался еще разок улыбнуться, но глаза налились слезами. Едва ли он сам ощущал, как слезы бежали по щекам, как бы задумываясь, задерживались на морщинах покрупнее и падали в вино, которое нетронутым стояло перед ним. Серый волк отчаяния, не встречая ни одной преграды или сторожа, устремился на него.

— Мартин, послушай! — беспомощно сказал Стурм.

— Старик, не надо! — плачущим голосом уговаривал Эрвин.

«Какая польза человеку от его труда? Почему должен он здесь, под солнцем, трудиться? — сам себе говорил Мартин Пури, произнося слова сухо и ясно. — «Суета сует, все — суета», — сказал Экклесиаст».

Как бы проснувшись, он посмотрел влажными глазами на своих товарищей, взял стакан, с глухим звоном ткнул его о стаканы Стурма и Эрвина, выпил залпом, вздохнул. И со смелостью, которая иногда появляется у людей, отступивших до последней черты, все потерявших, для которых нет уже понятия «хуже», он спросил, переводя глаза с Эрвина на Стурма:

— Теперь, значит, братцы, мне конец? Смерть прежде смерти? Но это было несчастье, только глупое несчастье, что рука соскользнула. Если бы не соскользнула, я бы еще тащил. — И, не сказав слов, которые связали бы его

мысли с предыдущими, он повторил. — Человеческое сердце. Человеческое сердце. Злобно оно, человеческое сердце.

— Слушай, Март, слушай теперь меня! — быстро и горячо заговорил Стурм. — Слушай! Знаешь, что ты должен сделать?

— Поминальное пиво?

— Ерунда! Беда есть беда, но голову нужно держать прямо. Или думаешь, что холод заморозил право и правду? Черт возьми, Март, здесь стоит человек, семь лет ходивший по судам из-за стенных часов! Здесь, перед тобой, стоит Гарибальди Стурм, он знает толк в законах и правах. Теперь закон настоящих рыбаков — советский закон, ему мы пожелаем...

— На кого я буду жаловаться? На что мне жаловаться? На старость в суд не подашь.

— Это ты-то старый! — рассердился Стурм. С каждой фразой разговор становился горячее и громче. — Мы с тобой, Март, мужчины, каких теперь не делают! Эрвин, ты ступай на берег, мы сейчас придем...

После того как Эрвин ушел, он горячо говорил с Мартином, ободрял его, уговаривал, хотел еще заказать вина. Его странные, дикие, мало подходящие к делу планы, сердитый, неуместно громкий разговор разозлили Мартина, и он остановил друга. Но волна, которой его в этот день с перерывами накрывали несчастье и тяжелое горе, постепенно прошла, и ему снова стало легче.

— Ничего, ничего, Аугуст сам поймет, — умирал он Стурма. — А теперь пойдем.

На берегу Аугуст и Эрвин грузили рыбу в ящики. Ежедневно в парах работали Аугуст и Мартин, Эрвин и Стурм. Но сегодня, когда Эрвин подошел к Стурму, чтобы вместе начать таскать ящики, тот сказал:

— Сгинь! С сегодняшнего дня будешь носить с морским убийцей, с этим турецким фельдфебелем.

Это было сказано так, что услышала команда своей лодки, услышали и другие.

— Март, рекрут, начнем помаленьку!

Мартин подошел к Стурму, они взяли ящики с рыбой и боком начали подниматься по откосу. Тот, кто знает, насколько рыбаки одной лодки свыклись со своими постоянными местами, со своими постоянными напарниками, насколько устойчиво там все и как трудно нарушить разделение труда, установленное на сезон лова, тот поймет значение этого внешне маленького изменения.

Несколько лодок разгружали рыбу. Часто приходилось ожидать у весов, ждать ящиков, и когда они закончили работу, солнце уже опускалось. Все устали, болели руки и плечи, и проклятия из-за чрезмерной, лошадиной работы звучали в сыром, холодном помещении весовой. Но вообще настроение было бодрое, присущее дню хорошего улова. Еще один такой улов на каждую лодку — и салака пойдет сверх нормы, пойдут премиальные. С ощущением, которое бывает у людей, хорошо что-то сделавших или закончивших, команды разгруженных лодок зашагали в сторону столовой.

Мартин чувствовал усталость, ему хотелось побыть одному. Он сказал Стурму, чтобы тот принес ему поллитра, а он пойдет пока поспать под бак.

— Нет, Мартин, раз вместе, значит, вместе, — сказал ему Стурм. — Поздно нам монахами становиться. Рыба есть, деньги есть, и мужики — мы с тобой — тоже имеются. Спина болит, и плечи болят, жажда вопиет до небес. Пошли!

Аугуст один ушел вперед. Он ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал. Мартина он забыл. Но, как змея, грызла его злость на Стурма.

— Я тебе не прощу! Я тебе не прощу! — вслух думал он. — Я — морской убийца?! Я — турецкий фельдфебель?!

И с прежней силой нахлынуло чувство оскорбления, испытанное на берегу.

Эрвин заглянул сквозь стеклянную дверь в магазин, увидел, что он пуст, и зашел. За прилавком стояла молодая девушка, с которой у него уже давно возник «разговор глазами», что иногда, когда бывало больше народа, заставляло его краснеть до слез. И теперь, прежде чем девушка опустила свои длинные темные ресницы, она бросила на Эрвина быстрый завуалированный взгляд, скупое и таинственно улыбнулась, и молодой человек почувствовал, как все в нем потеплело, запылали уши, и с недовольством сообразил, что он снова краснеет. Он влюбленно посмотрел на склоненное молодое и свежее девичье лицо, на белую стройную шею, на розовые мочки ушей, откуда почти к щекам, тихонько покачиваясь в такт дыханию, свисали длинные, заканчивающиеся камнем молочного цвета серьги.

— О-ох! — глубоко, как перед прыжком в воду, вздохнул Эрвин, и тут же девушка, постукивая каблучками,

подошла и остановилась напротив него. — Извините, — сказал Эрвин и почувствовал, как его покидает смелость.

— Извиняю, — дружески и по-свойски улыбнулась девушка. — Вы что-нибудь желаете?

— Да, конечно. — И, никак не находя места для своих больших красных рук, Эрвин попросил: — Разрешите мне один экзemplяр спортивных трусов. Четвертый номер.

«Не убивай меня кулаками твоего смеха!» — сказал поэт. Продащица рассмеялась так, как смеются очень молодые и здоровые люди; она прижала руки к груди и даже тогда, когда искала на полке четвертый номер, оглядывалась через плечо, и снова слышался этот молодой, звонкий, веселый хохот, который глубоко ранил Эрвина.

— В чем дело? Над чем вы смеетесь? Надо мной, что ли? — спросил он наконец, когда покупка уже была упакована в бумагу.

— Над тобой. Ох, экзemplяр, извини! — отвечала девушка, покраснев, но при этом она смотрела на Эрвина тем же хорошим, ласковым взглядом.

— Вы и завтра будете продавать? — спросил Эрвин.

— И завтра буду.

— И послезавтра?

— Послезавтра тоже.

— А один день вас не было?

— Когда? Я бываю каждый день, кроме понедельника.

— Я тогда зайду. Можно?

— Почему нет! Я буду здесь. Приходите.

Растерянный, несчастно-счастливый, Эрвин вышел, думая о девушке, о ее волосах, руках, лице, серьгах, о том, как она смеялась, и, кроме того, о значении образования. Мимо магазина как раз проходили Стурм и Мартин.

Эрвин пошел вместе с ними.

Если раньше в столовой было тихо и пусто, то теперь они с трудом нашли свободный стол. Все говорили разом, громко; бегали подавальщицы, заказы сыпались слева и справа. Дым колыхался облаками, остро пахло рыбой, шубами, резиной и табаком. Уже сдвигали вместе столы, уже было то особое, почти домашнее, близкое к праздничному настроение, которое возникает тогда, когда нет чужих, все знают друг друга и есть причина, чтобы посидеть вместе. И, слушая этот гомон голосов,

обрывки фраз, где-то пока еще тихо возникающую песню, весь этот свой и домашний и праздничный шум, Мартин ощутил, что у него снова полегчало на сердце. Аугуст сидел поодаль, за столом другой команды, и Мартин видел только его сильную коричневую шею. Стурм заказал.

Выпитая на пустой желудок водка огнем пробежала по жилам. Руки стали легче, от ног отлегла свинцовая усталость, старость выбросили вон из этого гудящего помещения.

И Стурм, поглядывая прищуренными глазами на стакан, прогудел, как большой жук:

— Хорошо, когда редко достается!

— Когда ты, Гарибальди, последний раз выпивал? — спросили из-за соседнего стола.

— Тогда, когда Моисей на остров Муху приходил.

За большим столом, где сидели восемь хорошо спевшихся рыбаков, поднялся во всей своей ширине и длине Рууди Аэр. Подняв руки, как дирижер, он повел вокруг сердитым генеральским взглядом, подал команду:

— Раз! Два! Разом!

Он Корсику прославил,
откуда родом был.
Он легионы Франции
сквозь Африку водил.

И сразу же загревели все сидевшие за столом, отличаясь силой, но не красотой голосов:

И тридцать дней норд-оста
штормяга бушевал.
Святой Елены остров
на зюде виден стал.

Мотив знали все, хотя слов больше не знали. Но удивляет устойчивость старых песен, их движение и распространение, их, можно сказать, наследование. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя...», «Варяг», даже целых два варианта, «На берегу Марицы», «Уже много часов идет страшная битва...», «Я сегодня на лесопилке такой усталый сидел...», «До свиданья, мой родной берег...» и многие другие, в большинстве чужого происхождения, долго живут со своими мелодиями среди людей, переходят от отцов к сыновьям и исчезают тогда, когда от слов не остается больше ни одной строки. Большинство этих

песен грустные, серьезные, рассказывают о тяжелых временах, в них есть общечеловеческое, живое содержание, заставляющее, несмотря на свои поблекшие краски, задуматься.

Вино лилось.

Рыбак с бородой лопатой, стуча шапкой о стол, медленно тянул, высоко взвинчивая голос:

Ох, уродина старая
мне досталась парюю!
Грязногровая, хвора,
грязногровая, хвора,
ведьмы злей, горбоносая,
ведьмы злей, горбоносая-а-а...
Начал я колотить ее, шалую...

Стурма, чьи песни из-за его нетерпеливого и крутого характера были коротки, самое большее в четыре строки,хватило общее настроение. Уже начали говорить по-русски хорошо и чисто, в чем угадывалась старая, строящая школа, а также на том русском языке, который молодежь принесла из Эстонского корпуса и который начинался с нескольких слов и доходил до полного знания языка. В одном углу уже пели «Сааремааский вальс», в другом — «Катюшу». В центре же помещения полагали, что «Первым делом, первым делом самолеты...». Стурм, не зная, кого поддержать, весело и дико посматривал на помолодевшего, забывшего свое горе Мартина, на Эрвина, остававшегося в лирическом и мечтательном настроении, и начал, топая каблуками по полу, какой-то прыгающий монолог:

В город Ригу я пришел,
машину странную нашел.
Стал разглядывать и вот
вижу — это пулемет!

— Слово имеет Гарибальди! — прогремел Рууди Аэр.

Он уже не мог усидеть на месте. Он взял свой стакан и пришел за стол Стурма и Мартина. Гарибальди, распахнув полы, как петух, продолжал, раскатываясь на «р»:

Богачу и бык — не туша,
а бедняк вороной сыт.
В ней пера на семь подушек,
череп годен на часы.

И снова он искал в памяти, чем бы удержать выпавшее ему на долю внимание. На его лбу от напряженной работы мысли появились морщинки; ничего хорошего придумать не удалось, а шум все усиливался.

— Ах, голова, моя старая голова! — вздохнул он с неподдельной грустью, жалобно посмотрел на Рууди.

Хаос голосов, звон стаканов, обрывки разговоров, в которых рядом звучали отвага и печаль, хвастовство и добродушие. Все кипело, двигалось, жило, бушевало, и все яснее и яснее выступали скрытые черты человеческой натуры. Все, что обычно люди скрывают — старые ненависть и любовь, зависть и великодушие, жадность и щедрость, — прорвалось наружу, не сдерживаемое ослабевшими тормозами. И все это, противоречивое, сложное, разноцветное, объединяло, придавало ему цельную форму — море и работа, которую делали на море подгулявшие здесь люди. Слушаешь — и жизнь, напряженная, яростная, неприглаженная, с тысячей углов, с борьбой старого и нового, с хорошим и плохим, со страстями, слабостями, горькими разочарованиями, мечтами и планами, приходит к тебе.

— Я говорил тебе, что вторую мерезу нужно поставить выше? Говорил?

— Говорил. Но кто же мог знать...

— А теперь знаешь, когда нас другие люди обогнали и глаза некуда от стыда девать...

— Разница между постоянным и переменным током в том...

— По пьяной лавочке потерял винт от мотора...

— А ты мою жену не хай! Она за тебя не пошла тогда, когда ты «в бесстыжее время»¹ богаче меня был, не пошла бы и теперь. И между нами... знаешь, что между нами? Так что ты не лезь!

Откуда-то, пробиваясь из-под других голосов, гремел бас:

— Без партии тебя бы вообще не было. Без партии ты сейчас платил бы банку семь процентов, и я бы подписывался на твоих векселях.

— Правда, чистая правда, — послушно отвечал другой.

Стурм повернулся, прислушался и Мартин. И сразу же Рууди Аэр горячо, запальчиво сказал:

— Я скажу больше, люди! Если партия не защитит

¹ То есть в буржуазное время.

человека и не вмешается, Аугуст выбросит старого Мартина из команды, раньше времени загонит его в домовину из шести досок!

— Мы не допустим! Найдется и на этого парня строгая узда! — крикнул кто-то.

— Заткнитесь, бороды! — сердито поднялся Аугуст. — Что я сказал, то я сказал, слов обратно не возьму. И к будущей весне пусть старый Мартин идет...

Почувствовав неприязнь, видневшуюся в устремленных на него со всех сторон взглядах, Аугуст на момент смешался, но, быстро оценив положение, продолжал, не снижая тона:

— Кто на войне был командиром? Я! Кто кровь свою проливал? Я! Кому партия верит? Мне! — И, опьяненный своим «я» и злостью, продолжал, повышая голос: — Если кто-либо у меня в ногах путается — за борт! У кого сын «на длинной волне»?¹ У Мартина сын «на длинной волне». Не будет его партия защищать, и вы не будете его защищать. И к будущей весне пусть уходит!

У Стурма раздулись ноздри, он хотел наброситься на Аугуста, но Эрвин и Мартин удержали его за руки.

— Пустите, пустите же! — жалобно просил он. — Я лишнего не сделаю. Кому я сверх нормы давал? Я немного поучу, запихну ему можжевельника в штаны!

Единственный человек среди жителей деревни Сыгдате, кого боялся Стурм, был Рууди Аэр. И как только тот поднял свой средний палец, длинный и толстый, как лодочная уключина, и посмотрел на него темными, сердитыми глазами, Стурм утих.

Мартин сразу отрезвел. Ему было стыдно, что все уже знали о его беде; он боялся, что произойдет не имеющая смысла и могущая лишь ухудшить дело ссора, и, застегивая неуверенными пальцами пуговицы, он вышел из столовой.

Его провожали громкие, яростные голоса:

— Ты один, что ли, воевал?

— Против всего колхоза не попрешь!

— Не допустим несправедливости!

И последнее, что он услышал, прежде чем захлопнулась дверь, был крик Стурма:

¹ «На длинной волне» — распространенное на островах выражение об эстонцах, удавших в конце войны в Западную Европу и в Америку (прим. автора).

— ...железным безменом!

Противоречивые, мешающие друг другу мысли теснились в голове Мартина. Как пила, навязчиво врезался сердитый голос Аугуста, картина новой весны возникла перед глазами, и все, что он уже несколько раз пережил за этот день, началось снова. Но к прежнему, безнадежному и зашедшему в тупик, прибавилось новое, что звучало в нем все яснее и сильнее, — поддержка людей, колхоза, ощущение, что он не один. И из этого возникла мысль, что он сам, без помощи других, должен разрешить положение, должен предпринять какие-то шаги, должен из чистой благодарности сделать то, что иначе сделали бы за него другие. И, думая об этом, он как репей зацепился за одно слово — партия.

У Мартина Пури с партией были особые отношения, вернее — не было никаких отношений. Ему казалось, что партийные занимаются какими-то особыми, высшими делами, заботятся о «своих людях», если нужно — наказывают их, порой за такие вещи, которые ему казались не очень-то хорошими, но по-человечески понятными и объяснимыми. Он понимал, что все эти большие изменения, которые произошли на побережье и затронули и его жизнь, связаны с партией, с ее заботой и целями. Но как именно, является ли это одной из главных задач и целей партии, и если является, то в какой мере — этого он не понимал. В течение ряда лет он держался в стороне от партийных, потому что его сын сбежал. Но страха он не ощущал. Другой, младший, сын погиб под Луками, и Мартин верил, что мертвые хотя и не могут вмешиваться в жизнь живых, но могут взять на себя часть вины и ошибок живых.

«Пойду к секретарю», — решил он.

Но возле большой красной вывески комитета партии он засомневался, задумался и решил пойти к председателю исполкома, который тоже был партийным и которого он лучше знал.

У него не было никакого плана, что говорить и как говорить, но все это неясное положение, грызущее черное горе мучили его так, что он любой ценой хотел хоть немного облегчить его.

«Этого груза я домой не понесу. Не могу нести! Надо как-то закончить, добиться ясности».

Мартин сбил с пол шубы блестящую чешую, снял шапку и вошел в белую дверь.

Мартин открыл дверь, на которой красовалась табличка «Председатель исполкома», и попал в маленькую комнату, где за столом сидела девушка, секретарь председателя. Она разговаривала с пожилой женщиной, стоявшей перед ее покрытым стеклом столом.

— С этой бумагой идите в отдел социального обеспечения. Председатель не занимается пособиями и пенсиями, у него другие, более важные дела.

— Но меня ведь, доченька, сюда и прислали из отдела социального обеспечения. Сын на войне пропал, нужны два свидетеля, и председатель сказал мне как-то, что он знает о моем сыне.

— Он не знает, — сердито заверила секретарша.

— Мне сказал, что знает. Я думала, что он пишет эту бумагу, свидетельство, — сколько же времени он ее пишет? Я издалека, из Рязани, что ж, я из-за этого снова такой конец отмахать должна?

— Председатель занят. У него люди. Делами социального обеспечения он не занимается.

— Занят? — озабоченно повторила женщина. — Тогда я приду в другой раз, когда он не будет занят. Он знает. До свидания!

— До свидания.

«Строгая и толковая! — мысленно похвалил Мартин секретаршу. — Не каждого пустит к председателю, беспокоить его. Да и нельзя, чтобы каждая баба лезла со своими пустяковыми бумажками».

Секретарша подняла глаза на Мартина. В них отражалась редкостная для молодого человека скука, какое-то злое отупение и, после того как она смерила взором рыбака от сапог до обнаженной головы, прямая враждебность.

— Вам что? — спросила секретарша.

— У меня дело к председателю.

— Какое дело?

— Горе.

— Какое горе?

— Человеческое горе. С собачьим горем я не пошел бы, — ответил Мартин и сам испугался своей смелости.

Зазвонил телефон. По-прежнему глядя на Мартина враждебным, косым взглядом, секретарша взяла трубку. Выражение ее лица сразу же изменилось, «здравствуй, здравствуй» было сказано уже другим тоном, чем в раз-

говоре с Мартином. И теперь вместо прежней завитой овцы за столом сидела молодая девушка, розовощекая, с неестественно длинными, узкими, цвета воронова крыла бровями. Мартин узнал в ней дочь старого друга раннаского Прийду.

«Ага, — подумал он уже веселее, — попробуй-ка ты теперь поговорить со мной, как с каким-нибудь мароде-ром!»

Комкая шапку в руке и все еще стоя, он слушал разговор.

Говорили о капроне. Но сразу же выяснилось, что речь идет не о сетях, а о чулках с черной пяткой.

«Техника», — почтительно подумал Мартин.

— Привези мне две пары, — говорила дочь раннаского Прийду. — Ох, как мы вчера танцевали! — продолжала она после долгой паузы. — Да, да, Эллен бегают за Аугустом, прямо смотреть противно, как она... Извивается как гадюка, крутит 'своей — ну, знаешь... Смешно! Говорят, сделала себя на четыре года моложе, но уж мы это исправим. — Пауза. — Да, да! — Пауза. — Парень, конечно, дурак, совсем козел! — Пауза. — Нет, не завидую, скатертью дорога. — Длинная пауза. — Ах, работа? Тихая, солидная. — Пауза. — Нет, какое-то чучело здесь есть, стоит как кара египетская...

«Это, наверно, обо мне!» — вспыхнул Мартин.

— Послушай, дорогая, — продолжала секретарша, — не видно ли там кого-нибудь из колхоза Калинина?.. Нет? И не будет?.. Позвони туда, скажи председателю, что наш, быть может, туда завтра придет, обязательно придет... Приходили жаловаться... Да... Они зарезали пару невыбракованных коров, племенных... Пусть спрячут концы... Не позабудь!

Положив трубку, секретарша задумчиво уставилась на стол. Лицо приняло то же выражение, что и раньше, — скучное и оцепенелое. Сделав еще какое-то дело, она обратилась к Мартину на чистейшем местном наречии:

— Я не понимаю, что ты хочешь?

— Я хочу поговорить с председателем.

— По какому делу?

— У меня горе — поссорился с человеком из своей команды.

— Это дело милиции.

— Милиция с этим делом не справится, оно побольше, и его под параграф не согнешь.

— А ты думаешь, что председатель справится?

— Если захочет, может помочь. Я честью прошу, пусти меня к нему, — просительно сказал Мартин. Надежда начала оставлять его.

Тут позвонил звонок на столе, девушка пригладила волосы, вошла сквозь обитую войлоком дверь в кабинет председателя, и строгий, решительный мужской голос приказал:

— Машину! Если кто спросит, я в Калинин.

Мартин вышел. Совсем близко рокотало море, было слышно, как волны набегали на прибрежные камни. Со свистом пролетела стая птиц. Их радостный переклик приблизился, на момент повис над его головой, удалялся, удалялся, стал слабее, едва слышен и совсем погас.

8

По тому же покрытому гравием берегу, по которому мы спустились утром, вечером поднимался Мартин. Он был немного пьян. Его кряжистая фигура, казавшаяся в сумерках черной, угловато покачивалась на светлом фоне неба. Одиноко, жалобно, по-осеннему грустно звучал в сыром воздухе его хриплый, ржавый голос:

Счастье мне не выпало на долю,
радость не в ладу со мной давно.

А сумерки все сгущались, кроны деревьев потемнели, из тени заборов и камней все смелее поднималась плотная темнота. Море за спиной Мартина рокотало устало и сонно; последний, слабый, неустойчивый, разбитый облаками свет вечерней зари испятнил серое поле красновато-золотистыми, далекими, угасающими пятнами.

Мартин Пури пошел домой.

— Стащи! — сказал он жене и поочередно выставил ноги в резиновых сапогах.

Жена стащила их.

— Если подумать, то тебе со мной нелегко было, — сказал Мартин.

Жена испуганно уставилась на него.

— Пьянствовал и деньги проматывал. А у тебя дома порой нужда... Нелегко тебе было со мной жить! — повторил Мартин.

— Да замолчи ты! — быстро заговорила жена. — Жили ведь, больших ссор не было. Здесь ведь нельзя желать

жизни городских женщин. Почему ты об этом заговорил?

— Жена, — сказал Мартин с давно исчезнувшей, погребенной под грузом лет ласковостью, так, что жена грустно-счастливо ощутила взволнованную радость молодости, давно погасшую, утомленную длинной жизнью, нежность. Но тут же их оттеснил испуг, возрастающий страх.

— Случилось что-нибудь? — спросила она у Мартина.

— Да, случилось. С Аугустом столкнулись. Не я начал, а он сказал, что мое время отошло и с будущей весны придется мне остаться на берегу... Сеть нечаянно из руки выскользнула, пара сигов ушла, тогда и сказал. Мириться он не идет, угрожает. — И, прижав лицо к увядшей груди жены, он с трудом продолжал: — Сыновей тоже нет больше. Один не может вернуться, и поди знай, каким другой стал. Дом пустой, мы здесь вдвоем еще копошимся. И скоро я останусь у тебя на шее. Не считают мужчиной — и все. Ты, жена, прости меня, забудь плохое, плохого ведь немало было... Но как я без моря жить буду, не знаю...

— Что ты, Март! Что мне тебе прощать? — тихонько говорила женщина.

Своим чутким сердцем она поняла все, что происходило в душе Мартина. Она поняла, что из чисто жизненного, необходимого равновесия она должна сейчас быть сильной половиной, поддержать другого. Но нежность, которую муж пробудил в ее душе, ослабила ее. Память быстро преодолела расстояние в десятки лет, и Мартин, ее любимый Мартин, бегавший за другими, бывший первым парнем на деревне, ясно возник из сумерек перед ее глазами и оттеснил на второй план другого, старого и озабоченного.

«Это дела не испортит, — подумала женщина уже с молодой, болезненной ревностью, — если я ему кое-что напомним».

— Прощать тебе нечего, разве только...

— Что? — с неожиданной бодростью спросил Мартин.

— Ну, это... как ты за ныммеской Рийной бегал. И я ждала и ждала, и сердце хотело разорваться, и горе сделало меня такой тонкой, как сверчок, того и гляди — ветер переломит. А что тебе до того! Мартин — хороший! Мартин — работяга. Мартин спит у Рийны под шелковым одеялом. Ох и дурной ты был!

— Когда я спал? — спросил Мартин и выпрямился.

Они стояли в темной комнате друг против друга — Мартин в шубе и полосатых носках, жена в клетчатой блузе с белым передником, с ее узкого смуглого лица смотрели сердитые от старых воспоминаний глаза. И хотя ее ревность и то, что она ее выдала, казались женщине глупыми, это был единственно, я бы сказал — тактически единственно, правильный шаг. Старые воспоминания затопили их, сделали их сильнее и моложе. Комната не казалась им пустой и большой. Они смотрели друг на друга несколько драчливыми, удивленными взглядами.

— Не было там ничего серьезного.

— Уж я знаю! — ответила женщина.

— Так просто, поглядывал.

— Уж я знаю, как ты поглядывал!

— Давно я тебя не обнимал...

— Уй-е-е-е! — звонко взвизгнула женщина и тихонько засмеялась.

Теплый, неожиданный порыв молодости, который ярким пламенем вспыхнул среди не дающего покоя, мучительного отчаяния, захватил Мартина, унес его мысли в прошлое, перебросил между прошлым и злым сегодняшним длинную, как годы, неровную лестницу.

И Мартин начал медленно шагать по этой лестнице, останавливаясь на радостных, светлых днях и на отдельных людях, чья дорога пересекала его путь.

Он вспомнил, как он впервые увидел свою жену. Это было в церкви. Девушка стояла на женской половине, прямо перед кафедрой, и ее звонкий, чистый голос перекрывал другие, ласточкой поднимался к высоким холодным сводам:

К святым тайнам тебя приобщают,
благодать на тебя призывают...

Люди, преимущественно старые, кладая по каменным плитам подкованными башмаками и сапогами, пошли к алтарю. А он смотрел на девушку, хотя видел только округлую смуглую щеку, да и ее наполовину закрывал розовый платок.

«Надо посмотреть. Вдруг это моя жена?» — подумал молодой Мартин, поднялся со скамьи и вместе с причащающимися сделал несколько шагов вперед.

Теперь уже он видел ее хорошо — округлый мягкий подбородок, молодые упругие девичьи губы, прямой нос,

чистый, немного выпуклый лоб. В ее продолговатом синем глазу, над которым темной полоской изгибалась бровь, отражались огоньки свечей. Мартин видел, как в такт дыханию поднималась и опускалась ее грудь, спрятанная под углами платка, видел ее, стройную и сильную, всю.

«Пейте из нея все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая...» — глухо и где-то далеко читал пастор.

«Голубка, взгляни разок сюда!» — молил Мартин, не отрывая глаз, без стеснения глядя на девушку.

Женщины стали перешептываться.

Голубка посмотрела на Мартина, посмотрела еще раз, покраснела и краснела с перерывами до конца службы.

«Моя жена!» — решил Мартин. И в голову пришли нецерковные, хорошие, немного греховные мысли.

Мартину припомнилось, как он ходил свататься, и как невеста не сумела подобающе скрыть свою радость, и как звякали бубенцы и он от счастья был пьян без вина.

Пришла весна, и пришла свадьба. А свадьбу играли семь дней. Собрались все, даже самые далекие родственники. Молодوخа все время не отходила от Мартина и изучала, что за люди эти сыгедатовцы, с которыми ей придется жить до самой смерти. Сыгедатовцы показались ей задиристыми и богатыми. Они считали деньги, выясняли свои связанные с морем дела и дрались с редкостным упорством. Если бы вернулось время, когда бороды были в чести, этот метод драки можно было бы порекомендовать как полезный для здоровья и разумный. Мужчины ложатся. Между ними высокий порог. Они держат друг друга за бороды. Если тянет один, тянет и другой. Поскольку это больно, то теребят друг друга не все время, а именно столько, сколько нужно для поддержания злости. А в промежутках высказывают, что они друг о друге думают, и снова тащат друг друга за бороды.

И на улице весна. Во дворе, где местами из травы вылезает серый плитняк, молодежь ведет большой хоровод. Поют новую песню:

Ты скажи мне только слово,
на любовь ответь «люблю».
От сомненья я страдаю,
боль жестокую терплю.

Молодой Мартин возвращается с моря. Берег еще далеко, ветер навстречу, и лодка с тремя парами весел тяжело движется с волны на волну. А он смотрит и смотрит через плечо, пока глаз не начинает различать знакомую фигуру, держащую на руках их первенца. Он начинает грести длинными взмахами, почти со злостью, крепче прижимает каблуки к дубовой распорке лодки. Мимо мчатся зеленовато-синие весенние волны, неся к большому морю белые, расцветающие, шипящие гребни...

Но эти и другие светлые воспоминания раскидывались отдельными цветками на темной ткани его жизни. И все наглее, насильнее вылезали другие — суровые, зубастые, обыденные.

В двадцать пятом году его имущество едва не пошло с молотка. Еще и теперь он с жестокой ясностью помнит эту весну.

В начале мая его сотоварищ по лодке увидел удивительный, многозначительный сон. Он был на берегу с хийумаасцами с корабля, погибшего в шторм прошлой осенью, разговаривал с ними и пил пиво. Сидели, сидели, но наконец хийумаасцы взяли за руки, неуклюже топая, закружились и запели:

Ой, распорки, ой, шесты!
Ой, распорки, ой, шесты!

Они должны были бы понять, что мертвецы во сне означают шторм, и еще то, что от их сетей не останется «ни распорки, ни шеста». Но сон, как и все пророческие сны, вспомнился лишь тогда, когда все кончилось.

И налетел шторм, настоящий шторм. Искромсанные, в клочья разорванные крылья ставных неводов, погребенные в иле неводные ящики, порванные на куски верхние подборы, сломанные шесты — вот все, что они получили обратно. Другие выгружали рыбу, а они тралили обрывки своей сети. Мартин два дня сидел, запершись, в комнате, думал свои думы, пропивал последние деньги и ругался с судьбой: «Зачем ты мне даешь, если потом опять отбираешь?»

Пришлось залезть в долг. Тучный скупщик рыбы в кожаной куртке, у которого он просил денег, пришел к ним как раз во время ужина. За столом сидели Мартин с женой, покойный отец Мартина и два маленьких сына. Заимодатель, как человек, занятый своим делом, не присел, а подошел прямо к столу и на глазах у всех начал

выкладывать перед Мартином бумажные деньги, сам считая:

— Одна, две, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать пять тысяч...

Маленький сын Мартина протянул руки:

— Пап, дай! Красивая картинка!

— Я финансирую! — сказал богач. — И до тех пор, пока не расквитаешься, другим ни одного салачьего хвоста! Рыба твоя, цена моя!

Все это было сделано так открыто и унижительно, что, если руки Мартина не связывали бы беда и семья, забота о детях, он залепил бы своему «благодетелю».

Долг — чужая собственность. И Мартин бился четыре года — они были плохие на улов, — платил и занимал снова. Работа, которую он делал, казалась работой на чужого человека.

Мартин начал раздумывать о своей работе. Как много ее было! Совсем в молодости — строительные работы в Риге и на материке. И позднее — в любую погоду, счастливо или несчастливо, с хорошими или плохими товарищами — он дробил веслами холодную грудь моря.

Сколько рыбы выловил он в море! Целую гору!

— Сколько, ты думаешь? — спросил он у жены.

— Что?

— Сколько пур¹ рыбы я за свою жизнь выловил?

Жена не знала.

— Я думаю, тысячу пур будет! — сказал Мартин и снова умолк.

Зимами, в оттепель или в мороз, в пронизывающий ветер или в тихую погоду, по крепкому или по слабому, по скользкому или покрытому сугробами льду, тащил он за собой салазки с жерлицами или сетями. Работа — она вечна, никогда не кончается и не уменьшается. Но в ней был смысл жизни, песнь жизни, радость жизни. И Мартин с гордостью смотрел на свои большие руки.

Сыновья росли, ходили в школу, начали помогать ему. Дышать стало уже легче. Груз, который он нес один, теперь несли трое.

К молодой Советской власти Мартин отнесся недоверчиво.

¹ Пур — старинная мера объема, равная в Северной Эстонии примерно 44 литрам, в Южной — 66 литрам.

— Быть может, мережи отберут? — обсуждал он с сыновьями.

— Не отберут. Ты же не капиталист, наемной рабочей силой не пользуешься. Ты же наш человек, — сказал младший.

— Что значит «наш»? — спросил старший. — Ты ихний, ходишь с комсомольцами, ожидаешь красного рая. Старику нет пути к вам.

— Есть, — спорил младший. — Отец — рабочий человек, подумай, сколько он потрудился! А какое у него имущество?

— Лодка, мережи, — припоминал Мартин.

До сих пор помнил Мартин эти ежедневные споры, в которых сталкивались сыновья. За короткое время они на глазах у него стали ненавидеть друг друга. Так же, как росла вражда между сыновьями, расширялась трещина в сознании Мартина. Он любил их обоих, и младшего и старшего, и пытался верить обоим, найти несуществующую среднюю истину.

Старший сын шел по непонятному для Мартина пути. Уже в детских играх он занимался торговлей, при продаже рыбы умел получить лучшую цену, и перед глазами Мартина, когда он слушал, как торгуется сын — немного привирает, немного ворует, но не перебарщивает, — порой возникал образ будущего скупщика рыбы и слышалось ненавистное «я финансирую».

— Откуда у него этот торгашеский дух? — спросил он у жены.

— От тебя, сыгедатовская кровь.

— Ерунда! Я в жизни никого не обманывал.

— А разве он уже обманывает? — испугалась жена.

— Порой к тому дело идет.

В это сложное для Мартина время старший сын настойчиво говорил ему, что сейчас еще, быть может, мережи не отберут, но потом красные покажут, почем фунт лиха.

— Частной инициативы они не терпят. Фабрикантов, которые дают людям работу, разоряют. Экспортеров рыбы, единственных способных людей на побережье, уже отстранили.

Мартин слушал, ожидая, однако, от сына других слов, других мыслей.

— Отчего приходит бедность? — как пастор рассуждал сын. — Бедность приходит от лени, лень и бедность — братья.

— Дурак! Прохвостам душу продал, обдираловский прихвостень! — кричал Мартин сыну. — Я-то уж знаю, откуда бедность, кто ее плодит, чью кровь она сосет! Мало меня ее зубы грызли? Или я ленив?

Длительная, мучительная враждебность возникла между ним и старшим сыном. Но он все же любил сына.

Когда началась война, мобилизовали младшего сына, а старший, бывший в то время на материке, от мобилизации уклонился.

Весной 1944 года старший сын удрал в Швецию.

Осенью этого же года пришло извещение о гибели младшего под Луками.

Мать не верила этому сообщению. Она вязала младшему рукавицы, говорила о нем как о живом и неустанно вспоминала случаи, когда мужа и сыновья возвращались домой лишь спустя годы после окончания первой большой войны. По вечерам, когда тени от деревьев становились длинными и холодные лучи заходящего солнца заставляли море сверкать расплавленным железом, она подолгу стояла у ворот и, прикрывая глаза от солнца рукой, смотрела на дорогу. С любовью, верящей в чудеса, она ждала своего сына. И только в сорок шестом году, когда выпал первый снег, она вечером пришла от ворот, покорно уселась и сказала ломающимся, низким голосом:

— Не придет. Нет больше сил ждать.

— Не придет. Не мучай себя напрасно, — ответил Мартин.

— Да.

Мартин начал чаще вспоминать о своем младшем сыне после высылки кулаков. Из деревни Сыгедате также увезли одну семью — семью Андруса Пийта. Андрус Пийт, сидя на грузовике на сорокаштофной пивной бочке посреди добра, которое он увозил с собой, ругал увозивших его людей страшными словами. Потом жалобно плакал, благодарил и благословлял собравшихся вокруг деревенских жителей, просил прощения за все зло, которое он причинил им словом, мыслью и делами. И женщины начали утирать глаза, плакать и жалеть, мужчины ворчали: «За что?» Так, провожаемый почти всеобщим сочувствием, выехал кулак за ворота.

Но когда стали описывать оставшееся имущество, де-

ревня онемела. У того, кого они пожалели, осталось около двухсот пур зерна, половина которого пришла в негодность, сгнила.

— А бедствовавшим не дал!

Самое плохое было еще впереди. То, что в течение ряда лет пропадало в деревне, а также имущество, пропавшее в семьях во время последних боев, в краже которого часто обвиняли красноармейцев, нашли запрятанным на чердаке огромного дома Андруса Пийта. Здесь были всевозможные вещи — ведра, черпаки, платья, женские туфли, морские сапоги, простые сапоги, рубанки, стамески, пилы, топоры, канаты, новые ступицы для колес, шляпы, морская одежда, сети, брошки, перья, нитки, лемеха, новый рундук от отхожего места, баян и сорок тысяч остмарок. Открылась омерзительная, страшная картина человеческой жадности. Бог, упавший с прогнившего пьедестала и разбившийся вдребезги, обнажил свое нутро. Женщины молча брали каждая свое.

— Было за что прощения просить!

— Как он с батраками обращался!

И Мартин Пури сказал мужчинам:

— А мой младший еще до войны сказал, что он кулак. Но кто бы мог такое подумать!

В колхоз Мартин вступил в числе первых. После того как пришло извещение о смерти младшего сына, он ко всему своему относился не равнодушно, правда, а как-то вяло — к мережам, к лодке, к лошади. Собственническая голгофа для него была безболезненной. Он думал, что ему и жене в колхозе будет легче. И было легче, веселее, все спорилось, и Мартин начал ощущать себя одним из тех десятков и десятков миллионов простых людей, без труда и забот которых невозможно существование Советского государства, его мощь, новое, особое, единственное и сияющее будущее, воздвигаемое для детей человеческих. Седой человек, сеющий ельник или сажающий при дороге дуб, не думает в первую очередь о том, что он не увидит ни дуба, ни ельника в их будущей силе и величии. И Мартин, делая свою работу, чувствовал, что он дает пусть и мало, но все же дает и делает больше, чем для себя, что его работа нужна, важна и по своей цели свята.

Круг замкнулся.

Снова вступил в свои права сегодняшний день, с жестоким упорством наступило отчаяние и отобрало все, что заглушили воспоминания.

«Неужели действительно конец!» — уже в который раз спрашивал себя Мартин. Кто отберет у него море? Кто отберет у него его работу? Кто вычеркнет его, человека с опытом многих десятков лет, человека с умными руками и живой душой, самого обыкновенного, самого простого человека, который именно поэтому хочет и дальше делать свою простую и тяжелую работу, поскольку тогда он дает больше всего, поскольку в этом смысл его существования, неоконченная песнь его жизни, — кто вычеркнет из жизни Мартина Пури?

Аугуст?

Он один не смог бы этого.

Советская власть?

Никогда. Нет!

«Но кто же тогда? — спрашивал у себя Мартин. — Кто он?»

Постепенно он понял, кто это и что это, но правильно назвать не смог. Но теперь он знал, откуда это исходило: из того же мира жадности, денег, злобы, когтей и зубов, локтей и эгоизма, в котором рос он и в котором имели несчастье расти многие из нас.

Чем тяжелее горе, чем сложнее и безвыходнее положение, тем больше нуждается человек в ясности.

«Если это так — а это так и есть, — то мне поможет партия, помогут люди, другие люди», — думал он, подбадривая себя. Его горе потеряло свою болезненную остроту, но тяжесть его осталась.

Сдержанно поздоровавшись, в комнату вошел Яан Аэр.

Жена засветила огонь. В комнате посветлело.

9

Между мной и вами, уважаемый читатель, не заключен договор, по которому я должен за вас разрешать все проблемы. И, кроме того, вопрос, являющийся в этом письме одним из основных — вопрос отношения к человеку, — в данном виде не касается ни вас, ни меня, так как оба мы хорошие люди. Конечно, если задуматься поглубже и припомнить и наше поведение, тогда...

Как вы, так и я знаем, что вопрос отношения к человеку — основной вопрос, без разрешения которого все постановления и директивы — безразлично, как колоссальны и хороши они ни есть, — можно провести в жизнь лишь наполовину.

Заканчиваю вопросом.

Представьте себе, что вы секретарь райкома, завтра к вам придет Мартин Пури. Для разрешения его вопроса нет готовых рамок, он не вмещается ни под один штамп.

Что бы вы ему ответили?

Как бы вы разрешили дело?

Письмо восьмое и последнее

КРУШЕНИЕ «ПЮХАДЕКАРИ»

...Если это
ко благу клонится народа, пусть и честь
и смерть восстанут предо мною:
я глаз своих не отвращу от них.
Да ниспошлют мне боги столько благ,
насколько к чести жаркая любовь в душе
моей страх смерти превосходит!

Шекспир, «Юлий Цезарь»

Это было не открытое море, а пролив шириной в несколько десятков миль, и в ясные летние дни можно было различить его противоположный берег. Под ненадежными водами скрывались мели, рифы, огромные валуны, истлевшие остовы кораблей, погибших во времена Ганзы и Северной войны, корпуса железных судов и обломки сбитых самолетов, кости людей, которых после неравного боя поглотила зеленая мгла пролива.

Это подводное царство пронизывали переменчивые течения — то в одном направлении с волной и ветром, то наперерез им, то навстречу. Пролив был своенравен, как бывают своенравны только проливы. Никогда нельзя было предугадать, каково будет в нем движение льда, в какое время лед сойдет окончательно, а в какое вернется. Летом пролив бывал с виду ласков, но при первом же ветре покрывался теми неотчетливыми, но напористыми, короткими, крутыми волнами, которые куда хуже длинных и плоских валов открытого моря.

А как он менял окраску! Невероятно!

Но в то время, с которого начинается наш рассказ, над проливом не было слышно ничего, кроме тихого плеска волн. Ноябрьская ночь, самая таинственная из всех ночей, выслала в пролив трех своих подручных — кромешную тьму, холодный дождь и безмолвие. Неплотная, но широкая, в несколько километров, стена дождя закрыла береговые огни, которые в звездные ночи хоро-

шо видны даже издали. Вокруг была только ночь, ночь и ночь, был только холодный дождь и слабая рябь от его капель, еле видимая на воде.

В ночь, с которой начинается наш рассказ, сквозь чернильную тьму плыл моторный трехмачтовик «Пюхадекари». Паруса на нем были убраны. Корабль двигался лишь с помощью дизеля в двести тридцать лошадиных сил. У носа с плеском опадали два белогривых вала, изпод кормы уходила во тьму килевая вода. Горели красный и зеленый фонари на бортах, белый огонь фокмачты, круглые, словно бычьи глаза, иллюминаторы, и все же светотень оживляла море лишь в нескольких метрах от «Пюхадекари». Концы высоких, срезанных, будто сигары, мачт скрывались во мраке, лишь толстые горизонталь рей были видны отчетливо. Тонкая паутина такелажа и тросов вырисовывалась едва-едва. Вот так, в маленьком световом пятне, шел к порту своего назначения «Пюхадекари» с экипажем в семнадцать человек на борту и грузом кирпича в трюме.

Капитану не спалось. Уже несколько часов подряд он сверлил взглядом сырую тьму и следил за курсом. Он был молод и командовал судном лишь второй рейс. Эта ночь, такая темная и уж очень тихая, его тревожила. Он решил не уходить с палубы, пока судно не пройдет мимо мыса Кулли. Его молодое, круглое лицо опять склонилось к освещенному компасу.

— Вест-зюйд-вест!

— Есть вест-зюйд-вест!

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

В кубрике тоже не спали. Четверо моряков играли в карты. Они играли с серьезностью и азартом, свойственным молодым парням, желающим все делать хорошо. В их скупом разговоре употреблялся вольный портовый жаргон, свидетельствовавший отнюдь не об испорченности или избытке жизненного опыта, а о чувствах, пережитых когда-то многими из нас, — стремлении к «мужественности», желании походить на старых морских волков, которые все видели и все испытали. Во всяком случае, их речь никак не соответствовала их юным, свежим лицам, их внутренней силе и чистоте.

Пело радио.

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

Кок, улегшись животом на койку, пристроил на подушку фанерку, а на нее лист почтовой бумаги. Все его существо — и склоненная набок светловолосая голова,

и направленный куда-то вдаль взгляд, и то, как он вытягивал губы, словно целуя кого-то, — все говорило о внутренней сосредоточенности. Большими печатными буквами он писал:

«Моя Роза на берегу! Я получил твоё письмо. Ох!..»

И он опять задумывался о том, как вложить в слова все самое лучшее на свете, весь тот великий и святой огонь, который зажгла в нём, может быть, хорошая, а может быть, и легкомысленная, но все-таки любимая Роза.

Старый матрос, который спал неподалеку от играющих в карты, произнес вдруг отчетливо и нежно:

— Смотри, Эллен, какие ягнятки! Попробуй, какие мягкие!

Игроки рассмеялись.

— Мужiku земля снится!

— Да, никак не забудет.

А радио пело:

Маринике, Маринике...

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли. На верхней полке, пристроившись поближе к лампе, сидел моряк с книгой. Он не видел и не слышал всей этой безмятежной жизни ночного кубрика, она для него не существовала. Его потемневшие глаза и сжатые губы, каждый мускул, каждая жилка худого цыганского лица выражали и крайнее напряжение, и недоумение, и страх. Он читал те страницы «Анны Карениной», в которых описывается гибель Анны. Цыган перестал быть самим собой, он стал кем-то другим, стал очевидцем, брошенным писателем в чужие времена, чужие муки.

«Пюхадекари» приближался к мысу Кулли.

Цыган перевернул страницу. В его глазах пылала беспомощная ярость. Последние фразы он пробормотал вслух:

— «Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».

Отбрасывая на темную воду круг света и гордо неся сквозь мрак свои мачты, «Пюхадекари» приближался к мысу Кулли. На его палубе и в каютах было семнадцать человек, по-юношески мечтательных и отважных,

и умудренных опытом лет, любящих и ненавидящих, отчаянных и сдержанных, серьезных и веселых, — семнадцать хороших советских моряков.

Вдруг всем им показалось, что тьма своими черными руками потряхнула корабль. Судно вздрогнуло от киля до верхушек мачт, которые закрипели и застонали, а в каютах замигали лампы.

— «И свеча, при которой она читала...»

Винт еще разрезал воду, но вибрирующий «Пюхадекари» уже охватила та грозная неподвижность, которая нигде не ощущается так остро, как на кораблях, ибо их свойство — двигаться, плыть.

Двенадцатого ноября, в два часа пополудни, «Пюхадекари» налетел на подводную косу у мыса Кулли.

Радиogramмы не дали. Капитан и команда решили снять корабль своими силами. Открыли первый носовой люк и начали сбрасывать в море груз.

В пять утра поднялся шторм.

1

В пять утра поднялся шторм.

Еще за час до этого над землей и над морем пронеслись одинокие порывы резкого северного ветра, вздымая на тихой воде острые гребешки. Шторм проносился над мокрым можжевельником, над залитыми полями, над неосвещенными деревьями, над чуткими к его свисту лесами и песчаными пустошами; он неся, словно резвый жеребенок, отставший от табуна и призывающий товарищей своим звонким ржанием. Встретится тебе этаким вороной черт с распущенной гривой и развевающимся хвостом, промчится мимо, оскалив зубы и вздымая, словно кузнечные мехи, могучую грудь, и миг спустя издали донесется лишь замирающий стук копыт.

В апреле, в начале мая и в осенние ночи эти порывы — явление обычное и пугают они лишь старых рыбаков, вечно одолеваемых тайной тревогой за своих мужей. Ворочаясь с боку на бок, они сквозь сон бормочут молитвы тому, кого привыкли считать главным адмиралом всех морей и судов.

Это был еще не шторм. Шторм свирепо бушевал где-то на севере. Но он приближался. Его недобрый посвист можно было услышать в темной вышине, над облаками и в облаках, которые он рвал в клочья и сбивал потом в тучи. Его ледяное дыхание уже коснулось моря.

А затем явился и он сам, внезапный, крепкий, холодный и соленый. Задребезжали оконные стекла, затрепещали ставни, загудело в трубах, затрепетали во тьме ветви деревьев. Мокрая ворона с испуганным карканьем пронеслась над крышами. Всюду стало ненадежно, и все живое плотнее прижалось к земле. Ночь, внезапно обнаглев, силой ломится в окна домов. Весь величие и злоба, этот ноябрьский шторм своей назойливой музыкой, в которой слышны и орган, и трубы, и барабаны, своим надрывным воем перекрывает тяжелые и глухие вздохи моря.

Как только забрезжило, четыре человека из колхоза «Маяк» отправились на берег. Боясь за лодки, они решили оттащить их подальше. Впереди, часто останавливаясь и пригибаясь во время сильных порывов ветра, шагал Рууди Аэр. Своим большим телом он прикрывал старый фонарь — выдавшую виды «летучую мышь». Свет падал на резиновые сапоги, желтый огонек дрожал и трепетал, но не гас.

Следом за Рууди Аэром, прокладывая грудью дорогу сквозь ревушую тьму, шел Матвей Мырд. Позади него был Эрвин Ряйм, а сзади всех — Стурм. Бодрый и чем-то очень довольный. Стурм кричал что-то товарищам, но его слова относил ветер. Лишь Эрвин, шедший ближе всех от него, слышал что-то о Содоме и Гоморре, о сватающемся черноморском черте и о том, что старина бушует. Но тут сбоку начал хлестать град, на головы посыпались крепкие, словно дробь, ледяные горошины, и люди закрыли лица руками. Широко расставляя ноги и выставив вперед плечо, все четверо продолжали двигаться к берегу.

Из-за плотной тьмы нельзя было видеть мрачной картины разыгравшегося шторма. Но буря чувствовалась, слышалась и осязалась. Поросшее можжевельником поле, над которым она проносилась, не могло ослабить ее напора. Яростные порывы налетали на берег и заставляли пешеходов наклоняться навстречу ветру. Воздух был насыщен водяными брызгами и запахом водорослей. У самых ног бушевало заливавшее берег море. Черную землю с шипением лизали вспененные гребни, волна, словно молот, била в береговые камни, около которых гремели опрокинутые лодки. Пронзительный свист ветра над головой отнимал охоту разговаривать.

Люди оттащили от берега первую лодку и сразу же

вымокли, несмотря на промасленную одежду и резиновые сапоги. Вода с ревом обрушивалась на пологий берег, затекала в сапоги и под воротник. Уровень повысился почти на два фута, продольные волны становились все круче, и лодки, большие и маленькие, со стуком бились о камни. Люди, уже привыкшие к темноте, молча выдирали их одну за другой из пасти моря.

Черный мрак стал заметно сереть, когда на берегу появились Яан Аэр и Йоосеп Саар, а следом за ними задыхающийся от спешки Мартин Пури. Всем им было не привыкать к непогоде, без приказов и просьб они всемером принялись теперь за боты.

— Раз-два — взяли! — кричал Рууди Аэр. — Раз-два — взяли!

И тяжелый бот, наполовину наполненный водой, медленно подвигался.

Наконец, когда, вымокшие насквозь, усталые, люди отправились в сторожевую будку лодочной пристани, за тонкими стенами которой можно было спрятаться от ветра, начало по-настоящему светать. Папиросы у всех намокли, только Мартин Пури выудил из какого-то кармана сухую пачку «Кино». Закурив, Рууди Аэр посмотрел на море. Черно-серые волны, на которых смутно вырисовывались пенистые гребни, мчались с севера на юг, полукругом огибая берег. А на них плясало, вздымаясь и опускаясь, что-то длинное и темное. То был лучший мотобот колхоза, который вечером поставили на якорь в нескольких десятках саженей от берега. Мотобот подымал корму, зарывался носом в воду, опять поднимался и явно перемещался к югу. Якорь, очевидно, волочился по дну, и бот несло на камни.

— Уходит! — охнул Рууди Аэр и вцепился руками в скамью.

— Кто уходит? — спросил Стурм, вглядываясь в сумрак.

— Наш бот! Видишь, понесло, видишь! Ох, раззявы, ох, лопухи! — ругал он товарищей, которые, вернувшись вчера из районного центра, оставили бот на якоре.

— Погоди, — сказал Мартин, — надо сообразить.

— Чего тут соображать? Видишь, на камни несет!

— Вытащим! — сказал Стурм.

— Вытащим! — и Рууди Аэр вскочил. — Не то одни щепки останутся.

Стурм, Аэр, Ряйм и Мырд начали сталкивать к морю

лодку, которую они всего лишь четверть часа назад оттащили от воды.

Это было трудное, если не рискованное, предприятие. Мотобот медленно относил к камням, и там, где он плыл, глубина была примерно пять-шесть футов. Лодка с тремя гребцами, изо всех сил налегавшими на весла, и со Стурмом на корме плыла навстречу волне и то исчезала из глаз, то, подброшенная вверх, опять появлялась. Когда они почти добрались до мотобота, обращенного к ним штевнем, они не стали поворачивать лодку, а дали ей плыть по воле волн.

— Вытащат! — сказал сидевший в береговой будке Йоосеп Саар, не отрывая зорких глаз от ревающего моря.

— Как же! Там ведь Гарибальди Стурм! — с гордостью и в то же время с завистью ответил Мартин.

Вода еще не успела залить высокий, крепко сколоченный мотобот. Рууди Аэр, знавший мотор как свои пять пальцев, сумел его включить. Мотобот проплыл еще немного носом назад, потом остановился и, постепенно преодолевая могучее сопротивление волн и ветра, двинулся, грузно раскачиваясь, вперед и потянул на буксире лодку. Сначала он пошел прямо на север, навстречу шторму.

— Что это? — вскрикнул вдруг Эрвин Ряйм.

— Где? Что?

— Огонь! Видите, у мыса Кулли!

В этот миг мотобот нырнул в провал между волнами, и там, куда показывал Эрвин, были видны только серая мгла и кипение вспененной воды. Но как только мотобот вновь оказался на гребне, все увидели огонек, о котором говорил Эрвин. Он возникал над морем, над можжевельником мыса Кулли, и невозможно было понять, сам ли он качался на волнах или это так казалось качавшимся в боте...

Стурм, видно, захотел поскорее добраться до берега и слишком круто повернул руль. Волна с грохотом обрушилась на бот, оглушая гребцов.

Стоя по пояс в воде, Аэр крикнул Стурму:

— Все-таки спасли!

Стурм не ответил.

Но когда все собрались на берегу, он сказал с простотой и серьезностью, с какими прибрежные жители сообщают о большом несчастье:

— Друзья, у мыса Кулли на косу налетел корабль.

То, что мы видели, это был судовой сигнал, огонь на фок-мачте. Ничем другим это не могло быть.

Мартин, в уме которого все — и северный ветер, и мыс Кулли, и рельеф дна около мыса — мгновенно связалось в одно целое, прошептал:

— Они погибнут. Помогите им!..

— Ничего не остается, как свистать всех наверх! — крикнул, перекрывая вой шторма, Рууди Аэр и побежал вверх по берегу.

2

Недоброе сулил робкий серый рассвет, встававший из шторма, в день двенадцатого ноября 1950 года.

Края туч на юго-востоке окрасились в ядовитый желтый цвет. Над морем, над островом, над деревней Сыгедате свистела и завывала буря. В воздухе летали листья, обломанные ветки и сорванный с кровель камыш. Сверху низвергался поток шума. И из дома в дом, в каждую семью, где были мужчины, перелетала короткая, как пожарный набат, весть:

— У мыса Кулли на косу налетел корабль. Собирайся!

Вестник уходил дальше, а весть незванным гостем оставалась в комнате и смотрела на всех вопрошающим и требовательным взглядом: «Слышали?» Она пробуждала в людях разные чувства: чувство опасности, чувство необходимости скорее помочь, лихорадочное чувство предстоящего риска. Может быть, в некоторых она пробуждала старую корысть, таившуюся еще с тех времен, когда в гибнущем корабле со всеми его товарами, с такелажем, с ценными металлическими частями и инструментами видели прежде всего божий дар.

Но мы не вправе судить утром тех, кто днем без лишних раздумий и переживаний бросится навстречу смерти, чтоб спасти людей, которых не знает, которых увидит в первый и последний раз в жизни. «Герой — тот, кто делает все, что может. Другие не делают и этого», — говорит Роллан. А в тот день жители Сыгедате сделали все, что могли. Не больше. И не меньше.

Деревня опустела. Надев непромокаемые куртки и взяв багры и веревки, все поспешили к мысу Кулли. Только председатель колхоза во что бы то ни стало пытался дозвониться до района.

— Дайте мне секретаря, дайте первого секретаря!

С коммутатора послышался сонный голос:

— Не отвечает.

— Позвоните еще раз!

Немного погодя тот же голос повторил сердито:

— Не отвечает. Люди спят. Горит у вас, что ли?

— Да пойми ты — корабль налетел на косу! Недалеко от колхоза «Маяк», у мыса Кулли, корабль налетел на косу! Ведь шторм, — сама ты, что ли, не слышишь?

— Слышу. Попробую еще раз! — донеслось до Аэра из шипящей трубки.

Но первый секретарь не отвечал.

— Дайте мне Васильева.

Васильев был вторым секретарем райкома. Лишь сейчас, перед лицом опасности, Яан Аэр смог произнести его имя без внутреннего раздражения. Васильев не очень ладил с Аэром и на районных конференциях никогда не забывал упомянуть его имя в связи с ошибками и неудачами колхоза или в связи с тем, что мужчины в «Маяке» выпивают. Аэр отплачивал Васильеву тем же — все промахи и ошибки района он взваливал на широкие плечи бывшего грузчика. Но все же они сообща тянули один воз и, будучи людьми сильными и честными, умели удерживаться от мелочной грызни. И никогда между ними — ни в разговоре, ни в мыслях — не вставал «национальный вопрос».

Васильев, бывало, ткнет Аэра в грудь толстым пальцем и, скосив черные глаза, скажет:

«Я тебя знаю. Железа самокритики у тебя вырезана! Не любишь ты этой самой самокритики. Признайся: сделал ты ошибку, о которой я говорил?»

«Сделал», — процедит сквозь зубы Аэр.

«Должен ты работать лучше?»

«Должен. Но почему ты на меня все время насакиваешь?»

«Так тебя ведь можно нагрузить как следует, ты вытнешь», — говорил Васильев.

Но затем наступал черед Аэра, и тогда он спрашивал, глядя на Васильева в упор:

«Почему не производится механизация скупочного пункта? Почему не хватает соли? Кто в районе отвечает за рыбу? Васильев! Почему мало завезли льда? Почему его плохо хранили? Почему народные деньги растаяли вместе с этим самым льдом? Почему ты, Васильев, не уследил?»

Следовало еще много всяких «почему», и после ка-

ждого «почему» называлось имя Васильева. Обычно Васильев не выдерживал и начинал оправдываться.

«Эта самая критика не для одного меня выдумана, но и для спасения души товарища Васильева. Так чего ж он ее боится, как мышьяка? Я свои ошибки исправлю, но пусть и он свои исправит!» — победоносно заканчивал Аэр.

Васильев, бывший архангельский грузчик, который и сейчас мог бы взвалить на спину стокилограммовый мешок, отнюдь не был влюблен в критику. Но он был крепок, его тоже можно было нагрузить как следует. Он вытягивал.

Так они спорили друг с другом и не давали один другому обрасти коростой самоуспокоенности.

— Васильев слушает! — послышался из трубки хриплый бас.

— Андрей, помоги! Поскорее приезжай к нам! — сказал Аэр.

— Кто говорит? — спросил Васильев, удивленный обращением.

— Аэр.

— Что случилось? — насторожился Васильев.

— Несчастье. Корабль налетел на косу. У мыса Кулли корабль налетел на косу. Шторм!

Васильев помолчал.

— Ты меня слышишь? — спросил Аэр.

— Слышу. Что мне надо сделать?

— Нужен грузовик, грузовик с самым большим кузовом. Около того места нет лодок, а по морю туда не добраться.

— Ты боишься, что...

— Да, — ответил Аэр.

Оба замолчали.

— Я сейчас же приеду. Вместе с машиной, а может, и с двумя. Продержись до этого, — сказал Васильев.

— Я продержусь, но...

Никто не ответил. Гудели провода. За мутно светлеющим окном трубила буря.

Каждый ребенок мог показать Васильеву дорогу к мысу Кулли. Аэр не стал его ждать и пошел на берег.

На север от деревни Сыгедате, за можжевельновыми зарослями, лежит большой полукруг залива. Его береговая линия с небольшими выступами и косами, с отмелями и валунами напоминает серп. Путь кораблей, нанесенный

на карту, идет с севера по проливу, о котором мы уже упоминали.

Лишь грозное острие серпа, мыс Кулли, почти дотягивается до пути кораблей. Вид у этого мыса весьма обыденный и унылый — чахлый можжевельник, глыбы серого и красного гранита, одинокие рябинки, потрепанные ветром. Западные и северо-восточные ветры изгрызли, как собаки, его берег, на котором каждую весну, после того как сходит лед, остаются огромные камни и вздувшиеся глиняные бугры. Море наносит мысу рубцы, и море их сглаживает. И тысячелетия торчит этот нацеленный на северо-запад, чуть изогнутый ястребинный¹ клюв.

Западный берег мыса отлогий. На тридцать метров к северу от кончика клюва глубина достигает уже пяти саженей. Но наиболее опасен рельеф дна с северо-восточной стороны. На протяжении ста метров от берега глубина нигде не превышает полутора-двух метров, а затем дно, словно срезанное, сразу опускается сажен до десяти. Вот эти-то сто метров мелководья и становятся во время штормов почти непроходимыми. Морская волна, дойдя до места, где дно круто поднимается, становится еще более пенистой и свирепой и обнажает позади себя отмель.

Сбившись с курса всего на двести — триста метров, «Пюхадекари» врезался носом в северо-восточный подводный выступ мыса.

Яан Аэр, так же как и пришедшие на мыс прежде него, долго не мог разглядеть корабль. Он всматривался в даль, но видел только беснующуюся воду. Поверхность пролива взгорбилась, словно какая-то гигантская сила напирала на нее снизу. Прямо под ногами грохотали белые накатные волны, и от их частых предсмертных стонов закладывало уши. А издали шли и шли пенистые гребни перемешанных бурых валов высотой с дом — северный ветер гнал их к берегу, словно стадо диких быков.

И тут Аэр увидел корабль. «Пюхадекари» был так недалеко от берега, что сначала Аэр смотрел поверх него. Даже после того, как он рассмотрел не только корпус корабля, но и отдельные его части — мачты, крест, саллинги, рей, тросы такелажа, кормовой мостик, поломанные поручни, — он все-таки не поверил своим глазам и провел по ним рукой, словно после сна или наваждения.

¹ Кулли — по-эстонски — ястребиный.

Над кораблем вздымались тучи белых брызг, от борта до борта перекатывалась мутная вода, из-под которой время от времени вновь показывалась черная блестящая палуба с чуть наклоненными вперед мачтами. Наконец Аэр увидел и людей. Они вцепились в поручни мостика, держались изо всех сил за швартовы и за мачты. На корабле водоизмещением в триста сорок тонн, рядом с тридцатиметровыми мачтами, они казались маленькими и слабыми, их вес был ничтожен по сравнению с тяжестью налетающих на них волн.

Начиналась агония корабля. А в борьбе корабля со смертью, даже когда на нем нет ни души, всегда есть что-то очень понятное для нас, что-то человеческое, вызывающее почти физическую боль. Не могу выразить, в чем состоит это «что-то». Главное тут не в разрушении больших материальных ценностей, а в чем-то другом. Может быть, в уничтожении созданного энергией, силой и творческим напряжением огромной массы людей. Ведь из всего, на чем передвигаются люди по суше, по морю и по воздуху, корабль наиболее близок к производству искусства. А может быть, дело в ощущении слитности, общности судьбы, которое с седой древности связывало воедино экипаж и корабль.

Спасти «Пюхадекари» было невозможно. Он крепко засел на краю невидимого подводного обрыва. По-видимому, его корпус был поврежден ниже ватерлинии и дал течь. А тяжелая волна била в него все беспощаднее, стремясь разрушить его, стремясь переломить о каменистое дно позвоночник корабля — его киль. Все, что можно было смести с палубы, уже было сметено. Спасательных шлюпок не осталось. Одни были разбиты, другие затонули при спуске на воду. «Пюхадекари» стал безгласным — радиостанция не работала. А мозг и душа корабля — команда, которая сделала все возможное для спасения «Пюхадекари», которая боролась до тех пор, пока у нее была надежда, пока у нее была возможность бороться, команда не могла больше ничего сделать. Ей только и оставалось, что, уцепившись за швартовы и мачты, стараться устоять против ледяной воды, стремящейся смести всех за борт, стараться победить опасное равнодушие, что подкрадывалось к сердцу вслед за усталостью и пронизывающим холодом.

Сначала всех, кто пришел на берег, охватило чувство безнадежности и бессилия. А на берегу собралась вся деревня. До смешного узенькая полоска воды, отделявшая

корабль от суши, казалась непреодолимой. Чем дольше мужчины измеряли взглядом эту полоску вспененного, ревущего, обезумевшего моря, где тысячи волн вставали на дыбы, словно белые медведи, тем больше каждый убеждался, что переплыть ее невозможно. Да, в любом другом случае, в любых иных обстоятельствах это было бы невозможно. Но сегодня они пройдут эти сто метров. Должны пройти. Они знали, что никто их не станет осуждать, если они не пройдут. Никто не будет вправе показывать на них пальцем. Аэры, Яан и Рууди, Стурм, Матвей Мырд, старый Мартин, Эрвин Ряйм, Эндель Ряйм, Эндель Аэр — все понимали, что никто не может им приказать спасти команду «Пюхадекари». Приказ был у них в душе, они должны.

— Яан, ты связался с районом? — спросил Рууди, встав спиной к морю.

— Связался.

— И что?

— Затребовал грузовики. По морю бот не доставишь, а на лошадях его не свезти.

— Правильно! Очень правильно! Привезем мою моторку, она мощнее.

— А как ты сам? Пойдешь с нами?

— Что ж тут спрашивать? Нужно! — И он тут же начал ругаться: — Где эти чертовы машины? Что они там тянут? Долго нам терпеть эту муку?

Время ползло, ползло, словно змея, которая уставилась на жертву и, не торопясь добраться до нее, не дает ей все же сойти с места. Со времени разговора Аэра с Васильевым прошло самое большее полчаса, но Аэру казалось, что он уже постарел на год. Время измерялось не ходом минут и секунд, а чередованием водяных лавин, устремлявшихся на «Пюхадекари». При каждой новой волне, когда яростное море встряхивало корабль, а люди на нем изо всех сил цеплялись за самое надежное из того, что оказывалось поблизости, и палуба исчезала под водой, сердца у всех людей на берегу мучительно сжимались. От одного страха до другого — так измерялось время.

Наконец Васильев все же появился. Его «виллис» мчался сквозь кусты, разбрызгивая воду. Ветровое стекло было покрыто грязью. Васильев, тоже весь грязный, подбежал к людям. Долгим, долгим взглядом он посмотрел на корабль. Бывший портовый рабочий понял все.

— Где же машина, которую ты обещал? Эта, что ли? — и Аэр сердито ткнул пальцем в «виллис».

— Сейчас придет. Я ее обогнал. Придет, — ответил Васильев, все еще глядя только на «Пюхадекари». — Побежим ей навстречу, — решил он, — повернем ее на дороге, выиграем несколько минут!

Все мужчины, сколько их было, пустились бегом по тропинке среди можжевельника.

Люди с «Пюхадекари» с отчаянием смотрели им вслед. Но их хриплые крики заглушал шторм.

3

На берегу оставались только женщины. Словно борона, скребя по сердцу, медленно тянулось время — от волны до волны, от страха до страха. Ледяное дыхание бури, ее погребальный вой, ее устрашающие взлеты и кратковременные спады — все это воспринималось людьми не только зрением и слухом, но всем существом. «Пюхадекари» стоял в вихре брызг, поднимаемом волнами. Те из команды, у кого осталось больше сил, взобрались на мачты, чтоб спастись от воды, бьющей по кораблю словно молот. Женщины были не в силах помочь судну и были не в силах оторвать от него глаз.

Наконец какое-то слабое оживление на корабле — несколько машущих рук, открытые рты, очевидно, что-то кричавших людей — заставило женщин обернуться. Раскачиваясь и срывая дерн, по мокрой земле шел с надсадным ревом большой грузовик. Сначала над можжевельником показались кабина и бот, который будто плыл по воздуху. А в боте и по обеим сторонам от него, на ступеньках кабины, на крыльях, стояли, сидели и висели люди.

Машина остановилась на берегу напротив «Пюхадекари». С помощью талей два десятка человек спустили по доскам бот, тщательно следя за тем, чтоб не повредился винт. Затем по дощатому настилу его торопливо скатили на чурках к берегу. Тут люди перевели дух и поволокли бот в воду. Они пятились спиной к морю по обеим сторонам от тяжелого бота, сотрясавшегося от ударов и норовившего, несмотря на все их усилия, повернуться бортом к волне. Самых передних, шедших около бака, пенистые волны временами накрывали с головой.

— Шесть человек, не больше! — прокричал Рууди Аэр, наклоняясь над свечой мотора. — Кто?

Выждав, пока схлынет очередной вал, в бот влез Ян Аэр.

— Я! — И весь мокрый Стурм, скаля в усмешке зубы, перекинул через борт свое тело.

— Рууди, возьми меня, — попросил Мартин Пури, сгорбившийся от ударов волн.

Рууди, не поднимая от мотора головы, ответил сурово и безучастно:

— Не нужно! Черт его знает, перенесу ли я сам такую болтанку.

— Возьми! — настойчиво повторил Мартин. — Дай мне в последний раз быть человеком!

— Лезь, не объясняй! Сядешь за руль.

Мартин вскинул на борт ногу в мокром сапоге и забрался в бот.

С другого борта туда легко вскочил Эрвин Ряйм. Он был полон энергии, словно сжатая пружина. Глаза его горели. Опасность была где-то далеко, а тут перед ним совершалось что-то настоящее, в чем он мог участвовать.

В бот деловито забрался Васильев. На баке он встретился с Яном, который вставлял в гнездо уключину большого весла.

— А ты куда? Чего тебе здесь делать? Тут тебе не секретарский кабинет! — накинулся на Васильева Ян Аэр.

— А куда же мне? — спокойно спросил Васильев. — Ты мне не указчик! Сам знаю, что делать!

Ян поглядел на него и увидел бесстрашные черные глаза и складку легкой усмешки в уголке стиснутых губ. Такой вытянет!

— Возьми другое весло. Будешь грести со мной в паре, — сказал Ян.

— Аугуст, залезай к нам! Тебя как раз и не хватает! — крикнул Рууди Аэр Аугусту Пури.

Но у того в этот миг расстегнулся ремешок на сапоге, и раструб голенища зашлепал по воде.

— Успею еще утонуть, спешить некуда! — ответил, нагибаясь, Аугуст.

Прежде чем Аугуст успел подвязать голенище, в боте уже оказался Матвей Мырд.

— Все! — крикнул он. — Включай мотор! Айда! Поехали!

Мотор заработал на холостом ходу.

У первой пары весел встали Ян Аэр и Васильев, за

вторую пару сели Эрвин Ряйм и Мырд, у мотора устроился Рууди Аэр, за рулем — Мартин Пури.

Шедшие по воде люди сволокли бот со дна. Потом те, что были впереди, остановились и начали тянуть бот, перебирая по борту руками, пока другие подталкивали его с кормы. Затем весла Яана и Васильева с силой врезались в воду, а Эрвин и Матвей вставили в гнезда уключины, и бот, качаясь, поплыл. Мартин, нахохлясь как ястреб, застыл у руля.

— Ходу!

Мотобот, то ныряя в провал и цепляя носом за дно, то вскидывая корму, под которой показывался работавший впустую винт, невероятно медленно удалялся от берега. Но все-таки он удалялся. Теперь только к нему были направлены все взгляды. Семнадцать человек на «Пюхадекари» с возрастающей надеждой отсчитывали каждый метр, пройденный ботом. На берегу измеряли взглядом расстояние, отделявшее бот от корабля.

Хотя плыли навстречу волне и мотор работал на полную мощность, хотя стали грести только с правого борта, бот, однако, все заметнее сбивался с курса. Никак не удавалось приноровиться к подводному течению, очень сильному и шедшему поперек направлению волн. Оно сносило бот в сторону. И, удаляясь от берега, он одновременно удалялся и от «Пюхадекари». Это становилось все заметнее с каждым разом, как бот появлялся из-за волн. Все поняли, что до потерпевших добраться не удастся.

Шторм входил в свою наивысшую силу.

Пенистая накатная волна подбрасывала бот вверх. Потом он падал в провал. И новый вал, стремительно следуя за предшествующим, обдавал гребцов тучей слепящих брызг и заливал дно бота.

Мотор заглох.

Гребцам удавалось вести бот по прямой. Но все же до смерти было рукой подать. Течение несло их на юго-восток, волна — к берегу. Не удастся гребцам удержать бот во встречном волне направлении, значит, пропали.

Весь берег затаив дыхание следил за отчаянным рейсом. Сила течения почти не уступала силе волн, и бот сносило к берегу очень медленно. Мужчины на мысу пошли к нему навстречу. На какое-то время бот совсем исчез из виду, и людям было боязно посмотреть друг на друга. Он появился вновь значительно южнее, чем был, и чуточку ближе к берегу. Над ним непрерывно взлета-

ли вихри воды, и он болтался грузно и неуклюже, но все же приближался.

После бесконечно долгого рейса бот вернулся к берегу в километре от места, с которого отплыл. Васильев, оба Аэра и Ряйм прыгнули в воду. Берег тут поднимался отлого, и волна, разбиваясь о него, отступала назад, уже потеряв силу. Воды было по грудь. И хотя идущие с моря волны несколько раз накрывали людей с головой, им удалось вытянуть бот на берег. Навстречу бежал народ.

Шестеро человек, еще не вполне понимающие, насколько близко они были от смерти, пошатываясь вышли на сушу. Губы их посинели, лица застыли, и улыбка, которую попытался изобразить на лице Эрвин Ряйм, напоминала скорей болезненную гримасу. Люди взглядом окинули пространство, по которому плыли. В усталых, покрасневших глазах промелькнул страх.

Люди вымокли насквозь и замерзли.

— Водки! — сказал наконец Стурм и опустил глаза.

Шофер Васильева протянул бутылку.

Выпили. Водка показалась до противности невкусной и слишком крепкой. Но стало теплее. Люди постепенно освобождались от оцепенения и страха, который, к счастью, ощущается обычно лишь после того, как опасное и требующее напряжения всех сил дело уже сделано.

— Как это говорят: «Побываешь в море — молиться научишься»? — попытался пошутить Васильев.

— Уверовал, безбожник! — дружелюбно ответил Мартин Пури и протянул Васильеву бутылку.

Женщины подали сухую одежду, принесенную для потерпевших. Все шестеро, переодевшись за камнями и выйдя во всем сухом, будто они и не были в море, заново вдруг слышали надрывный вой бури, вновь вспомнили о беде и о невыполненной ими задаче. Трудно все-таки было начинать разговор о том, что им предстояло.

Шторм бушевал. На «Пюхадекари», который трепало и трясло в километре от них, было жутко смотреть. Только чудом на нем еще держались мачты.

— Придется плыть снова, — сказал наконец Рууди Аэр.

— Придется. Ведь люди.

Мартин Пури поглядел на каждого из пятерых своих спутников: на одних — изучающе, на других — с твердой

надеждой. И когда все пригнулись, чтоб спрятаться за кустами от пронизывающего ветра, сказал:

— Из-за течения мы чуть не погибли. Не сумели считать. Но теперь-то уж мы сумеем. Это самое течение и спасет людей.

— Как же? — спросил Васильев.

— Как? Спустим бот с самого конца мыса. И оттуда — против волны.

Люди, сами все время искавшие выхода, тотчас поняли простой план Мартина. Только этот путь был возможен и потому верен, хоть и на нем тоже предстояло грудь с грудью встретиться со смертью.

Бот снова погрузили на машину, и по каменистому берегу она покатила к самому концу мыса.

4

Это произошло несколько раньше того, как грузовик добрался до мыса.

Буря достигла высшей точки своего подъема.

Наверно, только ванты помогали «Пюхадекари» уцелеть. Его палуба была почти все время под водой. Не успевала с корабля схлынуть одна волна, как его накрывала другая. Мачты дрожали и качались. Лишь носовая часть, врезавшаяся в мель, не оседала. Тут собралось десять человек. Семеро висели на двух задних мачтах.

Эту волну уже издали можно было отличить от всех остальных. Ее темная стеклянная стена была выше, ее пенистый гребень выступал вперед, словно карниз. Впадина перед ней была длиннее и глубже обычной. Даже на берегу люди начали инстинктивно искать, за что бы ухватиться.

Темная, вспененная гора гналась за идущим впереди валом. Она подняла на свой хребет застонавший корабль и швырнула его на обнажившийся подводный выступ. «Пюхадекари» переломился пополам чуть позади фок-мачты. Тросы лопнули. Задние мачты рухнули назад, передняя наклонилась вперед. Кормовая часть, отяжелевшая от воды и груза кирпича, затонула. Семь человек погибли.

Это было в одиннадцать дня, через шесть часов после начала шторма.

Шторму становилось тесно, он бил черными крыльями над морем, пронзительно свистел и рвался куда-то на

простор. Он бушевал над землей. И казалось, что даже ее недра гудят и стонут.

И в тот миг, когда «Пюхадекари» переломился, ледяные когти шторма вонзились в сердца людей, на глазах их выступили соленые слезы.

5

Шолохов где-то пишет о чувстве одиночества, которое охватывает солдата в окопе во время вражеской атаки. Атакующие и в то же время атакуемые люди, которым предстояло спасти моряков, уцелевших на носу «Пюхадекари», испытывали это чувство, сталкивая бот в море. Это нелегко — быть одному и смотреть в свою душу.

Отправились почти все те же. Опыт, как он ни страшен, остается опытом. Только старого Мартина заменил комсорг колхоза Эндель Аэр. Йоосеп Саар хотел сесть в бот вместо Матвея Мырда, но тот даже после всего пережитого чувствовал себя крепким и остался. Яан поискал взглядом Аугуста Пури. Надо было бы освободить Васильева, показавшего себя сегодня с новой стороны и так же просто, как все они, вынесшего на своих широких плечах тяжесть испытания. Но Аугуста не было. И Васильев остался в боте.

Рууди Аэра не отпускала жена. Они стояли чуть в стороне от всех. Красивое лицо беременной женщины выражало отчаяние, ее золотистые волосы трепал ветер. Она повисла на муже и тихим, умоляющим голосом повторяла:

— Если бы ты мог, Рууди! Если бы ты мог не ходить! Я боюсь, боюсь, боюсь!..

Рууди, отрывая от шеи руки жены, говорил ей:

— Не бойся! Мы все вернемся.

И жена, все еще не отпуская его, сказала:

— Ну, иди, иди! Как же они без тебя...

И Рууди Аэр сел в бот.

Все началось сначала. Тот же шторм, тот же обезумевший залив и та же смертельная опасность, нависшая над шестерыми в боте и десятью на «Пюхадекари». Казалось, вот-вот оборвется какая-то тонкая ниточка и все погибнет. Но ниточка не оборвалась.

На этот раз бот добрался до обломков «Пюхадекари». Впоследствии ни спасители, ни спасенные не могли вспомнить, как были сняты с корабля потерпевшие.

Я устал от этого шторма, от ненастного дня и от крушения «Пюхадекари». Позвольте мне не описывать возвращение бота. Оно было таким же, как и первое, разве только более опасным из-за того, что бот был перегружен.

Уцелевшие моряки так ослабели, что пришлось им помочь вылезти на берег.

А вокруг шестерых, которые, правда, еще держались на ногах, — им не хотелось разговаривать, и они со смертельной усталостью думали только о том, как бы согреться, — вокруг них начал кружить только что прибывший журналист. Его поразили равнодушие и бесчувственность спасателей. Он не мог ничего от них добиться.

И Рууди Аэр, которого он тоже пытался выпрашивать, сказал потом жене, изобразив на лице какое-то подобие улыбки и с трудом выговаривая слова:

— А тот, с фотоаппаратом... Спрашивает: «Что вы думали, когда были в море?» Балда! Спрашивает: «Что вы чувствовали?» Балда! Говорит о каких-то героях... И чего, спрашивается, ему тут надо?!



МОНОЛОГ РИСТЭ С ХУТОРА МАРДИ

Ох, батюшки, не просто это сюда, на Вышгород, взобраться! Иду я и думаю: нашему бы правительству свой дворец куда пониже да на ровное место перенести. Каждое утро наверх лезть — сердце надорвешь. Саат Йоосеп — да ты его знаешь, тоже бывший мухумец — давеча мне на улице повстречался. Поздоровкалась я, он остановился и руку мне сразу протягивает, ничего, что теперь большой кадемик, или как там... Вот-вот, академик, я и говорю. Саат Йоосеп сказал, что как раз оттуда, от этих кадемиков, он и идет. А когда в Таллине мухумца повстречаешь, все равно что по своей деревне идешь — ни автомобиля не боишься и ничего...

Да, память уже не та. Поздоровкаться запаматовала. Ну, значит, здрасти! Ты сын Юри с хутора Тоома? Ага, его! Здрасти, сын тоомаского Юри! Ты и сын Рууду тоже? Ага, сын Рууду тоже! Тогда, значит, попала я куда надо. Отцовский нос на твоём лице я сразу узнала, а вот глазами ты больше в мать. Ты меня признал? Да где тебе меня упомнить, сколько времени утекло! Я Ристэ из Марди. Теперь вспомнил? Вспомнил! Я же к вам частенько хаживала, ты тогда маленький был — с черенок финки, а треска тогда ловилась крупная. Меньше пяти фунтов и за рыбу не считали. А теперь треска мелкая, за спиной салаки спрячется, хвост тонкий, что шило для постолов, в чем душа держится. Та, настоящая, треска, которую Керенским величали, в нашем море уже не водится. Так-то. Зато ты вытянулся и очки на нос нацепил — Саат Йоосеп без очков, — и, гляжу, на висках волос поседел. Не зря я зятю сказала, что книги писать — одна морока.

Я к вам частенько хаживала и в вашей деревне каждую семью знаю. Килькой торговала. В море под вашей деревней салака водилась, а килька туда не заходила, и отец твой тоже каждую осень четверть пуда брал. И родичи мы с тобой. Ах, как? Ну вот послушай. Отец твой был Юри, дед был Юри, и было до них еще два Юри. Так что до тебя в роду четыре колена все Юри были. И твой прадед первым плетеной из лозы вершей в Малом проливе рыбачить стал. Тебя Юханнесом пото-

му нарекли, что у твоего отца от первой жены, от Ингель, уже был сын Юри. А родичи мы так, что твой прадед, тот, что первым лозовой вершей в проливе рыбачить стал, и брат моего прадеда Рууди — свояки: их жены — да будет им земля пухом — двоюродные сестры. А отец твой купил у нас лошадь, я ее помню — старого черного мерина. У него еще белая отметина на лбу была, вроде как у пастора белый воротничок. Из-за этого-то воротничка Рийна из Обусткопли так перепугалась, что у нее рожа на лице вскочила. Ах, как? А вот как. Была она хворая. А пасха в том году запоздала. Так вот, пошла Рийна в пасхальную ночь в Рикси, в кирку, с бочонком на спине, чтобы святой водицей запастись. И на лугу, что у Мустамяэ — пасха запоздала и ночь стояла темная — смотрит: привидение. Смотрит — не привидение вовсе, а бывший мухумский пастор Нерлинг — а Нерлинг к тому времени давно помер — стоит перед ней, воротничок белый под подбородком и руки растопырил. Рийна аж обомлела, бухнулась на колени и «Отче наш» читать собралась, но тут Нерлинг заржал, и у Рийны рожа вскочила. Да вовсе это не Нерлинг был, а черный мерин с белой отметиной на лбу, которого твой отец у нас купил. Вот таким манером мы с тобой родичи.

Однако у меня к тебе дело есть. Подумала я, к кому мне еще идти, как не к тебе: из-за тебя ведь пострадала. На зятя жаловаться пришла. Оглушил он меня. Потому что каюсь, что сгоряча, да моему уху все едино, сгоряча ему вlepили или ненароком. Зять просил: не жалуйся! А я ему в ответ: у меня такая бумага есть, что я и на зятя пожаловаться могу. Вот послушай: вырастила я пятерых детей, и мне по закону материнская медаль положена. Гляди — бумага здесь и медаль тоже здесь. Мухуский скупщик яиц — воробей стреляный, ему я тоже показала — сказал, что не нужен мне теперь ни паспорт, ни другой какой документ, хоть на край света отправляйся. Я спросила: и в Швецию? Он ответил: и в Швецию тоже. Я сказала, что у меня все дети тут, в родном краю, в Швецию мне ехать ни к чему. Разве что если пошлют. Все я повидала: и город Таллин, и город Хаапсалу, и на море в шторм случалось бывать, пароход видала и знаменитый трактор, который Пука своими руками смастерил, и клоуна Сангасте Юсса, и силача Санника. На короля поглядеть не пришлось, а вот королеву видала. Когда я при Пятсе кильку через море в Хаапсалу возила, на берегу — батюшки мои! — девчон-

ку одну показывали: королева красоты, говорили. Ну и королева! Я до слез хохотала. Титьки одной тряпицей прикрыты, пониже тоже что-то, а окромя!.. Э-эх! Кость у нее тонкая — дай такой косу в руки, она косу в кочку и сама туда же. Дочка, она у меня в Таллине живет, журнал с модами посмотреть давала. Ну я и насмотрелась — фасоны-то пляжные точь-в-точь такие. Стоят, животишко торчком, а ноги — что твой циркуль... Да, так что не нужны мне ни паспорт, ни другой какой документ.

А зять меня из-за тебя ударил. И гляди, что со мной случилось, гляди: стоит мне ступни вот так поставить — пальцами вместе, а пятками врозь, — так они и останутся, пока я с места не сдвинусь. Влепил в ухо, а отдалось в пятки. И еще с тех пор, если насморк схвачу, в носу знаешь как хлюпает! Раньше как будто поаккуратнее. А оглоушил он меня за то, что ты на Куйвастуской пристани с парома сошел. А зять там камни клал. Ты при галстукке был, и шляпа на голове. Это его и задело. Когда вечером домой пришел, только и разговору, что вот, мол, как иному живется — сидит себе за столом, бумага под носом, и знай себе пописывает, а я должен камни ворочать. Я тогда зятю и говорю — и я не нищая, могу тебе тетрадь купить и карандаш в придачу. Знай себе сочиняй и записывай, и если дело на лад пойдет, будут у тебя и галстук, и шляпа, и камни можешь не ворочать. Еще сказала, что я в этом деле лучше его понимаю. И как только сказала, что лучше его разбираюсь, тут-то он мне по уху и влепил. Разве смеет кто лучше его разбираться! Гляди, стоит мне теперь ступни вот так поставить — пальцами вместе, а пятками врозь, — так они и останутся. Выходит, что я через литературу пострадала.

Уж я-то знаю: сочинять ой как нелегко! Сама пробовала. Рассказ написать или книгу какую толстую — это еще куда ни шло. Это осилить можно. Видела я, как наша колхозная бухгалтерша Эльви — святого причастия она не принимала, да и вообще — протоколы пишет. Рука, что твой челнок, снует, и строчки сами по себе на бумагу ложатся. С рассказом то же самое: знай записывай, что слышишь и видишь, да немножко от себя добавляй. Да хоть наше колхозное житье-бытье возьми, перетасуй немного, а потом все по местам расставь. Но любовь должна быть. Э-э, да что я говорю — две любви должны быть. Поначалу первая, такая, из-за которой мы все

замуж повыходили. В рассказе она красивая, как голубой подснежник под орешинкой, и чистая, словно подойник. А потом приходит та, другая, — сперва исподволь, слова и всякое такое, в человеке все свербеть начинает, будто его блохи покусали, а потом как бешеный бык наваливается, так что ворота в щепы и рассказу конец. Вот такие дела с любовью.

А песни сочинять — это совсем другое дело. Тут слова звенеть должны и чтоб все складно получилось; да к тому же, коли песня без чувства, она и псу под хвост не годится. Песню не напишешь, если тебя не осенит, а это не каждому дано. Вот послушай — я, а может, и ты еще сочиним, а Саат Йоосеп сочинит? Не сочинит. А осенит, бывает, — я это по себе хорошо знаю — в самую что ни есть неподходящую минуту. Меня вот раз осенило, когда я тесто месила, хлебы ставить собралась, а пока месила — куда все подевалось. А случается, осенит, когда я корову дою. Нет, песню не так легко сложить, как иному кажется. Стала я как-то в воскресенье сочинять, и все о нашей деревне — что хорошо, а что плохо, и молодежь нашу не обошла — чтобы все честь по чести. А еще о жатве и о рыбачестве. Сочинять начала утром, день воскресный, на время обедни перерыв сделала — грех в это время в карты играть или песни сочинять — и, знаешь, только к сумеркам управилась. И всего-то навсего шестьдесят три стиха сочинила. Здесь вся загвоздка в чувстве.

Из-за чувства я к тебе и с жалобой пришла. Что было, то было с этой оплеухой. В своем сердце я зятю давно простила. Но он снова так над моим чувством надсмехался, что невмочь мне больше терпеть, к тебе пришла. Был у меня день рожденья. Славно все так шло — цветы, и студень, и еловые ветки, и пороссячи мосолиги, и свечи, и пиво, конечно. Гляжу — зять в воротах, цветы в бумаге в руках держит. Я аж прослезилась. Подходит и счастья желает. Цветы подает: теще, мол, ко дню рожденья. Я уж было благодарить собралась. Гляжу — о-о, цветы. Гляжу — нет, не цветы. Он, паскуда, крапивы мне нарвал. Дети поют: «Звезда вечерняя, как тихо ты мерцаешь», а я стою с крапивой в руках. И-и тут как я ему отвесила — кубарем покатился. Такого он еще от меня не видывал. Славный день рождения был, славный.

Тогда я зятю и сказала: гляди, как мои ступни стоят. Тогда я еще сказала: тебя в песне припечатывают, как к по-

зорному столбу поставят, и это хуже, чем тюрьма. Из тюрьмы тебя вскоре выпустят, а в песне ты простоишь сто лет, и никакие мольбы тебе не помогут. Вот так.

МОНОЛОГ ЭРНИ

ТЕЛЯЧЬИ КРЕСТИНЫ, ИЛИ КАК ЭТО
ПОСТАВИТЬ НА СЦЕНЕ

Ночь была — красота. Небо было ясное, и рожь коло-силась, и лисица через дорогу перебежала. Мы с Волли Пансо¹ шли с телячьих крестин. Пансо все спрашивал, а я все отвечал.

Увидали мы — лисица через дорогу бежит, и тут вспомнился мне мой охотничий пес Жулик — хорошо, бродяга, лисиц травил, а потом вдруг пропал без вести. Погнал лисицу по морю, по льду, добежал до самого Хийу, до Кассари, а хийумцы потом болтали, будто с Муху забрел к ним большой волк. Даже вызвали из Таллина пятьсот пятьдесят охотников — и все через моего Жулика.

Тут Пансо встал и стоит. До него только и дошло, что кто-то без вести пропал. Сорвал он василек — он ведь из друзей природы, есть такое общество, он даже членские взносы платит, — сунул василек в петлицу и говорит: «Ты только подумай, Эрнст, как это грустно звучит — «пропавший без вести»! Всего три слова, а печали в них как в погасшей звезде». А сам серьезный-серьезный. Ну, я ему и говорю, что звучит оно, конечно, печально, потому как слова больно печальные. Во время первой мировой войны у нас на Муху четырнадцать человек пропало без вести, и во время второй тоже кое-кто пропал: война — это война. Только между первой и второй войной у нас их вдвое больше пропало. Тут Пансо и спрашивает, как это так, чтобы в мирное время люди без вести пропадали. А я ему и объясняю, что все это через пиво. Иной, понимаешь, хочет, чтобы дух у пива был покрепче, и забивает бочку слишком рано. И когда будет в бочке все полста атмосфер, тут уж и дубовые доски не помогут, будь они хоть двухдюймовой толщины: близко

¹ П а н с о Вольдемар Хансович (1920 — 1977) — режиссер, актер, народный артист СССР, главный режиссер Эстонского театра им. Кингисеппа, постановщик пьес Ю. Смуула (*прим. ред.*).

и не суйся! Только подступишься к затычке, тебя так и припечатает к стенке вместе с затычкой. А уж если случись кто рядом, когда бочку вовсе разорвет, то считай — пропал человек без вести. Точно. Ладно, хоть трубку на каменке найдут, а сам пивовар в трубу вылетел. Потолок весь выбьет да еще и стропила выломает.

Тут хватает Пансо свою черную записную книжечку и спрашивает: дескать, растолкуй, Эрнст, поточнее, кто, где и как. А я и говорю, что поточнее нельзя, потому как дело больно печальное и никто этих пропавших без вести не считал.

Сел Пансо на камень, стиснул вот таким манером свой череп, думал-думал, а потом и говорит: «Я про то думаю, Эрнст, как это на сцене поставить? Как?»

Я ему говорю, чтоб он дурака не валял. Я в театре тоже понимаю, всякое видел. Не дай бог, на сцене такая бочка лопнет, так, считай, три первых ряда без вести пропадут, а там ведь и бригадиры будут сидеть, и председатели колхозов, да и сам Пансо тоже. И кто на сцене окажется, тем тоже амба. Это точно. Знаю я этих актеров. Мастера чужими голосами говорить, — глядишь на них и видишь: ну в точности такое самое было, только не скажешь где. Конечно, когда дело к серьезному идет, когда молодые одни остаются и целоваться начинают, тут сразу занавес дают. Совсем как у людей. Так и бочка эта должна быть всамделишная, и разрывать ее должно но-настоящему, а сколько же на это дело актеров уйдет?

В точности так я Пансо и сказал. А он все трет свой череп и повторяет: «Как это поставить, Эрнст? Как?»

А ходили мы, значит, на телячьи крестины. Не то чтоб они совсем телята были — уж рослые такие телки и бычки, их на откорм к нам в деревню прислали. Уже с именами прислали, только имена эти не понравились нашей Сальме, что с ними нянчится. Послушать, как эта Сальме с телятами разговаривает, так можно подумать, будто у всех у них над холкой крылышки, а над рогами — сияние. А они только и знают что škодить, и никого, кроме Сальме, не признают.

И, стало быть, мы втроем — Сальме, Пансо и я — устроили им крестины. Я их всех выводил поодиночке вперед, представляя публике, словно послов каких, и Сальме давала имена телкам, а Пансо — бычкам. Все они были рыжие, и разобраться, где мальчики, где девочки, мо-

гла только Сальме. Краснушку мы окрестили Фиалкой. Лору переделали в Петунью, а потом пошли Настурция, Ромашка, Резеда, Акация и Сирень. Одну Гвоздикой называли. Смех: телка — и Гвоздика. Одна там была с такой печальной мордой, будто у нее свеклу украли, будто она в дурака проиграла и под столом сидела, а Пансо, не поглядев на то, что телок ему крестить было не положено, велел назвать ее Разбитое Сердце. Есть и такой, мол, цветок! Только Сальме ему сказала, что нечего над животными насмехаться, и назвала телку Незабудкой.

Теперь уж и не упомяну всех этих цветов, какие тогда в ход пошли. А когда все цветы кончились, пришлось назвать одну телку Печалью. Она тоже была бурая, но с чернотой, словно деготь. Так и зыркала по сторонам, чего бы отколоть. Сальме еще сказала, что она из всех самая умная и потому любит бегать сама по себе, что у нее, дескать, глубокие мысли и всякое такое. Уж я-то знаю, что это за мысли. Знает, подлая, что, если одной бегать, тогда деревенские собаки не боятся на нее лаять. И вот тут-то она и нападала на собаку. Моего Жулика полдня по можжевельникам гоняла. Чуть до инфаркта не довела. Так что у Печали у этой характер был почище, чем у немецкого боцмана, — любую собаку загоняет.

Окрестили мы всех Сальминых телок, и рассыпались они во все стороны, что твой букет. Ромашка принялась столбы у ворот раскачивать, а кривоногая Печаль — за щенками гоняться. И тут Пансо начал крестить бычков.

Мы с Сальме выводили их поодиночке вперед и рассказывали, что знали, про каждую тварь. Первым мы вывели самого баловного — у него рожки начали пробиваться. Он ходил за Сальме по пятам, крутил головой вроде парня, что зараз двух подружек обхаживает, и выл диким голосом. Уж если кого невзлюбит, так сразу подходит, опустив голову, и шишки свои выставляет. Тут летом учителя приезжали из музыкальной школы, так он одного пианиста загнал под навес для сена. Тот провисел, бедняга, полдня на жерди и слезами обливался — слезть не мог. Уж про него тоже думали — пропал человек без вести.

Я все это рассказал Пансо. А Сальме стала со мной спорить. Дескать, у этого крикуна и бандита хорошая душа и вообще он молодец и всему стаду голова. И, мол, вообще пианистам этим лучше держаться от бычков подальше, потому как скотина, она понимает, кто ее лю-

бит, а кто нет, и на всякие дипломы ей наплевать.

Отошел Пансо от этого бычка на пять шагов, простер свою правую руку, нацелился в бычка пальцем, словно револьвером, и сказал: «Назовем тебя Маршалом!»

И Сальме записала в тетрадочку: Маршал.

Вывели мы второго. Этот был еще хуже Маршала. Скотина воды боится, а этот ни черта не боялся — заходил в море так далеко, что одна голова торчала. Я все это Пансо рассказал. А Сальме опять давай спорить. Дескать, кое-какие рыбаки, которые и на воде-то держаться не могут, могли бы взять пример с этого рыжего тюленя. Дескать, это не бычок, а чудо природы, раз он плавать научился. К тому же и сердце у него доброе, и нрав веселый, и всякое такое.

Вытягивает Пансо опять свою правую руку, нацеливается в бычка и говорит: «Раз ты воды не боишься, дадим тебе имя Адмирал!»

И Сальме записала в тетрадочку: Адмирал.

Выводим мы третьего — тоже совсем мальчика. Этот художников допек, которые в можжевельнике палатку свою разбили. Забрался к ним в палатку, когда они купались, и умял трехдневный запас провианту. Потом поддел одним рогом бакелитовое ведро с крупой, а другим — картинку, на какой поле клевера было нарисовано. И чуть не весь день бегал в таком виде по деревне: на одном роге — картина, на другом — ведро, розовое, что твоя шляпка. Только Сальме сказала, что художники эти были никудышные, а бычок в тот раз здорово проголодался.

Думал Пансо, думал и наконец сказал: «Назовем тебя Энтузиастом».

Сальме обрадовалась и записала в свою тетрадочку: Энтузиаст.

Один бычок был с опухшим глазом — бодался, вот и получил в бровь. Этого Пансо называл Нельсоном. Был такой одноглазый пират, я знаю.

Потом мы вывели самого крошечного. Я и говорю, что ростом он невелик, но без конца с большими задирается и отделивают его не хуже того Сасся, у которого по всем праздникам брови на затылке, а нос на боку. Этому Сассю без выволочки и праздник не в праздник. И бычок этот из той же породы. А Сальме опять свое: мол, просто этого бычка никто не понимает, мол, когда он всадит кому свои рога меж ребер, так это он нежно-

сти и понимания ищет и просто не умеет по-другому свои чувства выразить.

А бычок-то сам не больше кисета. Подошел к нему Пансо поближе, выставил прежним манером свой палец и сказал: «За твой мужественный характер назовем тебя Смелчаком!»

Тут бычок опустил голову, копнул землю и пошел на Пансо. Ну, Пансо не растерялся — молнией через каменную ограду махнул.

И тут дошла очередь до главного пакостника, которого сперва называли Тымму. Стервец этот лазал не хуже кошки — через ограду в человеческий рост перебирался. А сам с такой постной рожей, как наша Элла. У той тоже лицо сияет не хуже, чем у Моисея. Сложит она руки на животе, подожмет губы, будто у нее моток шерсти во рту запрятан, вздохнет раз, вздохнет другой, вздохнет третий, потом зажмурится и скажет умирающим голосом: «Не иначе как эта девка ребенка ждет!»

Тымму этот всегда в хвосте за всеми плелся. Опустит голову и приглядывается, в каком месте ограда пониже. Только Сальме в сторону отвернется, как он прыг через ограду и — на чей-нибудь огород. На индивидуальный участок. На колхозный его и прутом не загонишь. А на индивидуальных навозу не жалеют — там и свекла крупнее, и ячмень по грудь. Понимал стервец!

Сальме его тоже давай защищать: мол, это он у людей перенял, поглядел, как они через ограду скачут, когда фургон с водкой приезжает. Тогда им и старость, и ревматизм не помеха. Дескать, людям никакой забор не помешает, если есть за ним чего хорошенькое. У Сальме всегда выйдет, что скотина права, а ты виноватый.

Нацелился Пансо в Тымму и сказал: «За то, что твои прыжки выделяют тебя из этой серой массы, назовем тебя Балет!»

И Сальме записала в тетрадочку: Балет.

Под конец осталось два бычка. До сих пор не пойму, почему их потихоньку не отправили на иные луга, как пишется в книжках. Поделом было бы. Только ради Сальме этих разбойников и оставили в живых: одно название, что бычки, а на самом деле — черт знает что. Заводилой был тот, что побольше, рогатый. Каждый божий день, когда рыбаки сети выбирали и для просушки на берегу растягивали, они непременно в сети забирались. Рыбаки их как чумы боялись: каждый раз сети ре-

зять приходилось. Цирк, да и только. Заберутся оба в мережи, рогатый уткнется в ячеи, а который поменьше — мычит жалобным таким голосом: «Мууу!» Рогатый на низких регистрах партию баса выводит, а Сальме стоит рядом с мережей и морковку им сует, чтоб они не сучали.

Что будешь делать? Бери нож, режь сети, а потом сшивай. Такие были вредные оба. Я все Пансо рассказал, ничего не скрыл. А Сальме говорит, будто я их души понять не могу, будто у рогатого у этого, у заводилы, очень живое воображение, и просто ему хочется узнать, каково бывает рыбе в сетях. Будто он любит вообразить себя — так она и сказала, в точности, — вообразить себя лососем, или тюленем, или щукой.

Тут Пансо сразу свою черную книжечку схватил. Сальме ему говорит, что дети, когда играют, тоже любят воображать, будто они председатели колхоза, или продавцы, или шоферы, или машины, или пароходы, или пароходные гудки. И, дескать, у скотины тоже свои мыслишки бывают.

Я прямо так и закипел — ведь я уже два раза из-за этих бычков сети резал. Я говорю Сальме: «Ладно, пускай этот рогатый чего-то о себе воображает и залезает в мережи, где ему совсем не место, но маленький-то чего за ним лезет, он-то чего воображает?» И что же она мне говорит? Что это он по доброте и добродушию. Что он ничего такого не воображает, но за компанию с большими готов на все. Что у малыша у этого самое сильное из всех его душевных чувств — братская любовь. Вот как Сальме этих бандитов понимает.

Пансо думал долго-долго, потом нацелил палец в рогатого и сказал: «У него изрядные достоинства. Он умеет вообразить себя не тем, кто он есть, и отлично вживается в роль».

Только я скажу так, что, хоть бычок этот и умел забираться в сети, выбираться из них он не мог.

А уж если ты мастер вживаться, умей и выживаться. Но Пансо сказал: «За эти твои достоинства и всякое такое назовем тебя Мечтатель».

И Сальме записала в тетрадочку: Мечтатель.

Потом Пансо нацелился на меньшего: «Братской любви в нем нет. Воображения — тоже никакого. Куда другие — туда и он. Характер отсутствует. Назовем его Балдой или Обезьянкой».

Господи помилуй, как тут Сальме раскричалась! Тог-

да Пансо взял свои слова назад и назвал эту балду, эту обезьяну, что всякую пакость перенимала, Верным.

Это имя Сальме и записала в тетрадочку.

Ночь была — красота. Звезды на небе светились крошечные, как чешуйки язя. И пока Пансо сидел возле поля на сером камне с васильком на груди и с птичьей песней над головой, пока он думал о пропавших без вести, мне все эти телячьи крестины ясно-ясно вспомнились. Тут я ему и говорю: «Вольдемар!» Так в точности и сказал: «Вольдемар! Не мучай ты свою голову этими без вести пропавшими. Лучше подумал бы о бычках, которым ты такие красивые имена нашел, подумал бы, как тебе это поставить».

Так я его разудивил, что он чуть с камня своего не сковырнулся. И опять задумался. Будто у него воз бревен среди моря опрокинулся. Долго свой череп тер. Потом и говорит: «Понимаешь, Эрнст, я потерял ясность. Бычки эти, их характеры раздвоились в моем мозгу, — он так и сказал: раздвоились. — У всех появилось второе «я» — такая уж в эстонской литературе мода. Мне кажется, — в точности его слова, — мне кажется, что все эти бычки стали двухголовыми. В одной голове добрые мысли, которые вложила Сальме, а в другой — дурные, которые вложил ты, Эрнст. В каждом бычке два бычка, и оба бодаются, стучат рогами. Ни об одном, — говорит, — нет у меня ясного понятия, если не считать того бычка, который забодать меня хотел. Это плохой бычок. Но что до других, так истина где-то посередине между тобой и Сальме, но где, я еще не вижу».

И тут как засмеется и говорит: «Тебя, Эрнст, и Сальме я на сцене представляю. Вас я поставил бы на сцене, а бычки были бы фоном». Так в точности и сказал: нас бы поставил, а бычки — фоном.

Потом мы пошли, и я рассказал Пансо про духовную жизнь окуня. А он опять спрашивает: как это поставить? И тогда я пообещал взять его утром в море и спустить возле мыса Суурна в воду. Там глубины четыре сажени — пускай поглядит, как там внизу и что, а когда наглядится, крикнет. «Нет, Эрнст, — говорит Пансо, — это не пойдет, ты, Эрнст, большой хитрец».

А я просто не хотел, чтобы он Сальме давал роль и бычков вместо фона.

О ШТИЛЕ

Поеду ли я на певческий праздник? Хватит, наездился. И лучше всего мне запомнился тот, что в двадцать третьем году был, совсем отдельно запомнился.

Шли мы на «Надежде», на старом паруснике, из финского города Турку. Я был за капитана. Тимму Уйетоа, ты должен бы его знать, плавал у меня матросом и вроде бы штурманом, а другим матросом был Яан Альттоа из Орбуса. И юнгой или, лучше сказать, коком был один шкет из Игакюлы, росту в нем и аршина не было, а характером — зверь. Когда я пришел нанимать парня и спросил у его матери Юулы, где сын, так она кивнула головой на точило и сказала:

«Нож точит. Должно, танцы будут».

Вижу, правду точит. Здороваюсь. А шкет провел ногтем по ножу и, вместо того чтоб тоже поздороваться, говорит:

«Острый. Пальто и то просадит».

Я его спрашиваю, пойдет ли он на «Надежду» юнгой. Поднялся он, сунул руки в брюки, выпятил живот и спрашивает:

«А драка тоже будет?»

Я его сразу успокоил:

«Буду платить тебе по две тысячи марок в месяц. А колотить — бесплатно».

Это ему подошло.

Так вот мы и плыли из Финляндии. Дело было летом двадцать третьего года — в каком месяце, не помню, но положеньице у «Надежды» было безнадежное. Две недели плывем. Погляди на карту: вот отсюда досюда — и две недели! Бывало, чуть задует ветерок с юго-востока, так сразу же на южный переменится, а потом на зюйд-вест. Паруса висят — ни взад тебе, ни вперед. «Надежда» к тому же текла, и весь день напролет только и слышишь, как помпа чавкает. Море — красивая штукавина, но для парусного моряка нет ничего хуже, чем такая тихая, замершая наседкой гладь, такой убранный догола стол, — хуже не придумаешь. И петь неохота, и кости от тоски сохнут. Штиль делает мужика бабой еще быстрее, чем шторм. Когда, понимаешь, налетят на тебя в Ботническом все ветра сразу, весь их пленум, да еще так внезапно, что не успеешь и ватник надеть, как весь кливер

уже в ключья, тут уж приходится быть мужчиной. Если и тогда не сумеешь, значит, и вовсе тебе этого не дано, и остается жить на свете лишь потому, что на кладбище тоже тесно.

А во время штиля все, что у тебя есть, так это все тот же крохотный кубрик с тремя твоими парнями, да чавканье помпы, да нагретое дерево палубы под голыми пятками. Море вокруг так сверкает, что в глазах режет. И все на тебя смотрят: ведь ты капитан «Надежды», ведь это по твоей вине кончилось мясо, по твоей вине провоняла вода, по твоей вине развелись крысы, по твоей вине в килевом желобе булькает море и надо откачивать трюм. А потом даже и смотреть на тебя перестают, и вот от этого, крестничек, совсем можно свихнуться. В глазах у матросов появляется нечто этакое штилевое: человек на тебя смотрит, а ты все-таки точно знаешь, что он тебя не видит, а смотрит сквозь тебя, и даже чувствуешь, как взгляд этот выходит из твоего позвоночника наружу. Легко быть первым, когда можно что-то сделать, ну хоть ошибку. Но попробуй быть первым, когда ты все видишь, а сделать ничего не можешь, а помпа все чавкает себе и чавкает. И тут срывается с языков разное или, что еще хуже, так и не срывается. Ведь если тебе тридцать лет и тринадцать из них ты проплавал в море, то грехов за тобой и всяких фокусов накопилось уже ровно столько, что любой, кто живет себе потихоньку на тихой земле, держит коров и торгует молоком, начинает пугать тобой малых детей. Добра-то я в море не накопил никакого, зато этих самых дел, каких не назовешь добрыми, набралось дай бог. Тимму Уйетоа был скопидом, но в Гамбурге и Выборге его тоже втравили в компанию, а тарарами эти денег стоили, и Тимму все убивался по своим денежкам. Никак не мог про них забыть, а тут еще этот штиль, так что бедняге хватало времени о моих грехах думать. О грехах же моих он потому вспоминал, что встала между нами, как острый меч, одна женщина, а вернее сказать — девчонка: мы ей оба писали, оба на свою сторону перетягивали.

Такие были дела у нас с Тимму. «Надежда» не двигалась, паруса висели, море было большим и гладким, жалование матросам шло, а я в этом голубом аду должен был без конца думать про то, как бы мне выкрутиться, чтобы в порту мою «Надежду» под арест не взяли.

Ян же Альттоа из Орбуса был из тех, кто думает.

Качает помпу и думает, не качает — тоже думает. А думал он про свою водяную мельницу, первую и единственную водяную мельницу на всем Муху, которая большой доход должна была приносить. Ради этой мельницы он большой амбар выстроил, последнюю копейку выложил. Об этой мельнице до сих пор еще вспоминают. Напилили ему на катерной пиле досок, сколотили громадную бочку, поставили колесо. Сивая кляча Лонни накачивала в эту бочку воду, а вода бежала из бочки на колесо, чтобы оно жернова вертело, только мельница не работала. Не работала, да и все. И Яан жаловался:

«Мне бы только понять, куда же сила девается? Лошадь качает, вода течет, а вся сила куда-то пропадает!»

Он за многие хитрые дела брался и к старости стал мастером большой тонкости. Совсем уже стариком додумался он латать крылья пчелам. Рабочей пчеле хватает крыльев на двадцать один день, но у Яановых пчел крылья в полтора раза дольше служили. И вот сидел он босиком на палубе «Надежды» и планы свои обмозговывал.

А между мной и Тимму была девчонка. И штиль все грыз нас и грыз. А из-за штиля может случиться и такое, что девчонка эта убирает на Муху сено, спит в своей каморке, но в то же время ее душа, а заодно на всякий случай и тело, перебирается своей красивой походочкой через море и начинает болтаться по палубе: то на люке присядет, то на рее. Девчонки и нет, но она все-таки есть, как тот самый искуситель, в которого Лютер чернильницей запустил, как море вокруг нас и обвисшие паруса над головой. Я был уверен, я сразу понял, что Тимму Уйетоа видит ее не хуже, чем я, и когда наши взгляды встречались, то раздавалось этакое беззвучное «дзинь», как если бы две слишком прочные косы в траве столкнулись.

Стоим мы как-то с Тимму у якорного шпиля. Тимму смотрит вдаль, где должен быть один из каменистых Аландских островов, а я тоже смотрю себе вдаль на другой Аландский остров: до того между нами накипело, что никак мы уже не можем смотреть вдвоем на один остров.

Тимму смотрит на свой остров, я — на свой, а потом Тимму и говорит:

«За пиджак ты мне заплатишь!»

А сам на меня не смотрит, так что и не поймешь, с кем он разговаривает, со мной или с якорным шпилем.

И немного погода снова:

«За пиджак ты мне заплатишь — за ворот и за все пуговицы».

А я помню, что раз я капитан, так рукам воли давать нельзя, и потому отвечаю таким же манером не ему, а якорному шпилю:

«Пусть тот, кого у чужой невесты застукали, скажет спасибо, что шкура цела. Не заплачу».

А Тимму опять свое:

«Как миленький заплатишь».

Видишь, что могут натворить чертовы бабы даже на расстоянии, если ветра нет. Ведь мы с Тимму были такими друзьями, каких и не найти: нас и конфирмовали вместе, и в армию забривали, и в море мы всегда вместе ходили, а в Гамбурге дрались мы оба спина к спине — по паре глаз на затылке. Теперь можно об этом рассказывать, теперь все бури позади, но глаза у нас у обоих до того одинаковые были, что и Тимму заприметил ту же самую девчонку, будто она одна и вертелась на всем белом свете. В жизни не должно бы такого случаться, но почему-то случается.

Снова ушли мы вместе в море, на рождество вернулись из Германии домой, стали из дома в дом шляться. Курим сигары и нет-нет скажем чего друг другу по-немецки или по-фински. Такого мы были тонкого обращения, что по вечерам во всех домах горелым пахло: девичьи сердечки дымились. Но все это время мы с Тимму не выпускали друг друга из виду, чтобы ни один из нас не улизнул.

Но как-то ночью Тимму все же исчез. Меня как ножом ударило, и я побежал: можжевельники в снегу так и замелькали. Сияла луна, а в душе у меня был мрак.

Дверь в Лийнину каморку была открыта, но ее отец перехватил меня и стал пивом угощать.

«Твой напарник, — говорит, — уже здесь. У дочки».

Только он это сказал, меня туда так и кинуло. Тимму лежал с краю на кровати. Рука его обвилась вокруг Лийниной шеи кольцом, или, лучше сказать, автомобильной покрывкой, и едва я это увидел — хватить его за ворот и рванул. Тимму как лежал, так и остался лежать, а ворот пиджака в моих руках оказался. Сам знаешь, какие на материке портные — на живую нитку шьют. Лийна заплакала, вскочила. Тимму тоже поднялся и сел, морда у самого чугунная, а ворот напрочь отодран.

«В чужом доме, — говорит, — я драться не буду. Пошли за угол».

А Лийна уже плакалась отцу:

«Скорей, папа, останови их, а то подерутся из-за меня».

Ну, пришел отец к нам, принес пива, помирил. А Лийна сняла с Тимму пиджак, начала ворот пришивать.

И когда она шила вот так — чуть нагнулась и на бровь ей кудряшка упала, как на картинке, и в одном глазу сверкала слеза, а в другом — бес, вот тогда я прочувствовал. Да, вот тогда я прочувствовал. Тебе этого не понять, разве теперь бывает любовь, или, иначе сказать, страсть! Глядел я на нее, а со мной, понимаешь, такое творилось, будто я на дровяном складе, а склад горит. Пришивает Лийна этот ворот, а сама глазами — вжик да вжик! — по клапанам моим сердечным. Больше не мог я этого терпеть, потребовал:

«Теперь ты скажешь, Лийна, при отце и при мне с Тимму, кого ты выбираешь, его или меня! А не скажешь, так быть кровавому пролитию».

Но змея эта — помнишь, Лийна, какой ты была гадюкой, помнишь, как ты меня поджаривала? — опять меня ужалила. Как есть подколотная змея.

«Я еще такая молодая, — говорит. — Я сперва подумаю».

Отец ей говорит:

«Какая же ты молодая, если из-за тебя два хороших парня пелятся друг на друга, как два старых барана?»

Сунула Лийна голову в пиджак Тимму, и слышим мы оттуда чудное какое-то хихиканье, будто ей щекотно. А потом она говорит:

«Я еще такая молодая. Дайте мне малость времени».

Чего ей было думать, зачем ей было время? Просто крутила, много о своей красоте понимала и твердо надеялась, что ради нее мы с Тимму начнем друг друга мордасить и ножами пырять. Ведь девчонкам только того и надо, чтобы взрослые из-за них уши друг другу отрывали. Уж тогда они радуются: глаза плачут, а душа хохочет.

Делать было нечего, оставили мы Лийну думать, а сами с Тимму пошли. Долгая была прогулочка, невеселая. Чуть я отстану — Тимму меня ждет, а чуть Тимму отстанет — я жду. На полдороге Тимму говорит:

«Слушай, друг, придется драться — делать больше нечего».

«Очень тебе хочется?» — спрашиваю.

Тимму говорит:

«Подеремся, друг, может, полегчает».

Ночь была ясная, светила луна, весь снег чешуей переливался, тишина дивная, вокруг ни души — в самый бы раз подраться. Но у меня все же хватило соображения сказать Тимму:

«Как раз этого она и хочет! Об этом и мечтает!»

Подумал Тимму и сказал:

«Да, об этом самом она и мечтает. Пошли».

Идем мы дальше. И договариваемся по дороге, что я буду уламывать Лийну и письма ей писать и он тоже будет уламывать Лийну и письма ей писать, что вручим, дескать, оба свою судьбу этой девчонке и господу богу.

Про пиджак свой и про ворот Тимму вспомнил на палубе только потому, что в Турку он получил от Лийны письмо, где Лийна уже проголосовала. Слетел он из кандидатов. А мне она ничего не написала, специально, чтоб я дожарился и достался ей совсем спеленьким.

Так вот мы и плыли из Турку. В конце концов переменился ветер на северо-западный, и мы добрались до Аэгны. И там опять влипли в штиль. Стоим полдня — ни дуновеньица, облака приклеились к небу, словно клецки, словно остатки ухи ко дну котла. И тут вдруг слышим! Никак не поймем, что в Таллине случилось. Не то это Таллин, не то другой какой город. То донесутся по морю высокие, звонкие голоса, то вроде бы трубы и барабаны, а потом опять прокатится по воде низкий, протяжный и такой переливчатый звук, от которого все трясется вокруг и даже сердце холодеет. Яан Альттоа перестал на минутку думать и сказал:

«Одно из двух: или это гудок большого судна, или бычья ярмарка».

А на самом деле это были мужские хоры.

Потом донеслись голоса повыше, и шкет из Игакюлы сказал:

«Слышите, как бабы визжат? Скандал на всю улицу — не иначе!»

Но это были женские хоры.

А когда заиграл оркестр, Тимму сказал:

«Заплатишь мне за пиджак, и за ворот, и за все пуговицы».

Вечером добрались мы до порта. В Таллине был певческий праздник, его-то мы и слышали в Аэгне.

Шкет из Игакюлы мигом смылся с корабля со своим ножом, Яана Альттоа мы оставили на вахте, а сами с Тимму надели все новое и пошли в город на праздник. Ходим-ходим, рыщем-рыщем, деньги в карманах ноют, а мы все никак не попадем на праздник. Но наконец достали нам в «Европе» угловой столик. Два дня мы его из рук не выпускали. Тимму отказался в «Европе» от Лийны, и мы опять стали друзьями. А потом мы отправились на свой корабль — и, как поется в песне:

Закачалась мостовая,
Русский рынок заплясал.

МАРЕ ШТУРМАН И МУЖ ЕЕ КОНСТАНТИН

Читал я, как же, чего ты понаписал там в Атлантике про Маре. И было, и не было. Но какой с тебя спрос? Капитан тебе попался молодой, собака — глупая, да и сам ты опоздал родиться: люди, из которых гвозди делают, как раз вымирать начали. Меня на вашем траулере не было, а ты и половины всей истории не знаешь.

Да и нельзя про наши молодые годы, про наше житье-бытье и все наши фокусы на железном корабле писать: мазутом будет пахнуть. Про нас можно и нужно вспоминать только на деревянных, на парусных кораблях — только тогда то блаженное время явится к тебе таким, каким было, и мы сами тоже явимся такими, как были, и мы, и наш нелегкий хлеб, и парус над головой, и толика радости, и шутка, за которую мы держались крепче, чем за своих золотоволосых подружек: так их к своему ватнику прижимали, что они и пищали, и уйти не могли. И нечего им было уходить: ведь только набитые дураки или опять же стихоплеты сами отпускают от себя радость, а потом знай поют себе о смерти, и только о смерти, едва у них перья из подбородка вылезут. А мы любой ценой должны были жить и жили. Мы, все те, кто уже ушел и уходит: и твой отец, значит, и Маре Штурман, для которой твой отец был и судьей праведным, и миротворцем, и соседом. Она ведь твоему отцу больше верила, чем обоим заветам зараз — и ветхому и новому. И все мы, и я тоже — а в мои ворота уже девятый десяток стучится, — прожили свою жизнь как под

распущенными парусами. Кто на море не жил, этого не поймет. Мир без ветра ничего не стоит, я в таком мире не выжил бы: скукота хуже дяковой проповеди. Ветер может пробрать тебя до кишок, а буря задаст тебе трепку не хуже той, какую задала старому Ааду из Пыллувэли. Ааду решил, что он может раскрутившуюся на полный мах мельницу ухватить за крыло и остановить. Вцепился он когтями в крыло, и крыло подняло его вверх, как мешок мякины, и давай кидать то вверх, то вниз. И отпустить нельзя: по пути вверх отпустишь — за облака закинет, отпустишь на спуске — по грудь в землю вколотит. Так вот старый Ааду из Пыллувэли и болтался на крыле с обеда до ужина, раскоряченный, как двуххвостый вымпел. Молодой шторм поддавал мельнице ходу, Ааду же кричал, спускаясь: «Иду-иду!» — а поднимаясь: «Ухожу-ухожу!»

Все мы таким же манером висели каждый на своем мельничном крыле, и если тебе об этом напомнят, вмиг станешь серьезным и скажешь:

«Помню-помню — вот было смеху».

В декабре, понимаешь, когда ночи уже растянуты и утро все не наступает да не наступает, я иногда думаю о Маре Штурман и смеюсь себе втихомолку, пока жена спит. Если бы не спала, рассердилась бы, решила бы, что над ней смеюсь. А признаваться, что мне Маре вспомнилась, тоже нельзя: кулаком в ребра саданет.

Маре всегда была крепкой бабой, за что ни бралась: злиться, любить или судиться. И муж ее Константин тоже ей не уступал. С того самого момента, как он ее заметил и начал ходить к ней по ночам, началась у них и крепкая любовь, и война. Маре была маленькая и кусачая, а Константин большой, с красной шеей, и у обоих была правда, своя правда.

Маре стала колотить мужа еще до свадьбы. Когда он в первый раз повалил Маре на кровать, она зашипела и давай кулаками его молотить. Но чем дальше, тем серьезней становилось дело, и начала она прятать под подушку камень, из каких в банях каменки кладут. Не то чтобы она перестала дверь Константину открывать, нет, она все же пускала его, чтобы, как оно в газетах пишется и по радио говорится, культурно развлечься. Но только начинал он ее целовать, как она доставала из-под подушки свою булыжину и начинала лупить жениха. Константин же и виду не подавал, что больно, только мычал:

«Долби-долби! Когда-нибудь да устанешь!» Ведь ес-

ли настоящая мухуская голова столкнется с камнем, то камню всегда хуже придется.

Но они все же столкнулись, и Константин взял за себя Маре. Был и я на свадьбе — семь дней играли. Силы небесные, и красавица же была! По два раза в день юбки меняла и все отплясывала.

На свадьбе-то я и струхнул в первый раз. Маре с Константином куда-то пропали, и меня послали искать их. В светелке, гляжу, нет, в погребке — тоже. В рыбном амбаре наконец нашел, в том самом каменном амбаре, где рыбу хранят. Они меня не видели. Маре сидела в пестрых чулках на бочке салаки. Сидит, закинув ногу за ногу, как студентка, и ботинком покачивает. Ну, покачивает — ладно. Но в левой руке была у нее зажата меж пальцев черная сигарилла, и она пускала из носу дым, ловко этак и красиво — двумя струйками. Сроду такого не видел, чтобы женщина курила, да еще на собственной свадьбе! А правую руку она вперед вытянула, совсем как пастор, когда он прихожан благословляет. И оба они на эту руку уставились. Константин на рассерженного быка похож, и лицо у него красное, словно пожар. Маре же смотрит сквозь ресницы на руку, смотрит на своего нареченного совсем как девчонка, которая вот-вот скажет: «Ну-ка, посмей только!» И вместе с дымом из рта Маре выходят такие слова:

«Поцелуй-ка руку!»

Константин ревет:

«В этой руке ты булыжник держала!»

Но Маре качает ногой и гнет свое:

«Поцелуй-ка мне руку, словно ты барон Буксгевден! Привыкай!»

Константин так переживал, что даже его подковки взмокли от пота. А Маре говорит:

«Поцелуй! Если ты ради меня веру переменял, так руку и подавно поцелуешь!»

А Константин и вправду был Каарелем, но ради Маре переменял свое имя, перешел в православие, променял своего Лютера на русского Константина. За всю тысячулетнюю историю Муху это был первый и последний случай, последним он должен и остаться. И когда какой-нибудь поросенок у Маре фокусничал и есть не хотел, она огревала его деревянной лопатой и говорила мужу:

«Вот что значит у Лютера купленный. Не жрет! От них ни путного поросенка, ни мужа не получишь!»

Сидит, значит, это Маре на бочке, сидит с вытянутой

рукой, и на пальце у нее блестит кольцо, а Константин весь побагровел и лишь отфыркивается. И тут Маре говорит этак сквозь зубы:

«Го-лу-бок!»

«Голубок» этот просвистел в воздухе, словно заряд дробин, и Константин даже пригнул голову. И когда Маре снова сказала: «Голубок! Коссу. Ну, погоди же!» — Константин сгреб своей лапищей ее крошечную руку и поцеловал. А Маре даже не покраснела, нет, она погладила другой рукой Константина по голове и сказала:

«Вот так, Коссу! Если ты согласен, Коссу, всю жизнь меня слушаться, так мы с тобой проживем».

Не хотелось мне больше смотреть на эти игрушки: у меня слезы на глаза навернулись, и я убежал.

Я видел, как объезжают лошадей, — сам объезжал. Много ли для этого нужно: строгую уздечку, терпение, хлыст и кусок хлеба. Но чтобы в вольную деревню, где уже четыреста лет крепостных не было, привезли такую мормышку с сигариллой и чтобы она без всякого стыда, без всяких нежностей напаялила на этого парня семи футов тесный хомут, чтобы она стращала нас на своей свадьбе старым злым Буксгевденом, этого душа моя не вынесла. Но, как это часто бывает с женщинами, состояла она из мешка сахара и трех чертей, потому ей и захотелось поскорее отнять у мужа гордость, а из его характера стельки себе выкроить.

Мне как есть все равно, веришь ли ты в колдовство и ворожбу или не веришь. Я верю только в солидное колдовство — оно и на жизнь влияет, и на судьбы людские, — а ни во что больше я не верю. Маре эта шагу без колдовства не делала, не то с чего бы Константину так за нее цепляться и отплясывать под ее дудку тридцать лет подряд этот Полтавский бой.

И колдовство с самой свадьбы началось. На четвертый день Маре надела снова воскресную юбку и увидела, что в одном из анютиных глазок, в самой его середке, гадюка вышита, настоящий гадючий череп. Боже милостивый, как она завопила! Злой глаз, недобрая рука! Кто-то захотел разлучить ее с любимым, с Константином, значит, какая-то завистница захотела отбить у нее того, с кем она в церкви венчалась! Добрых три часа она проплакала. А Маре впустую работать не любит, и во время долгого своего вытья она зорко следила уголком глаза, пронимает ли ее рев Константина, тещу и мать или не пронимает. Другие люди втихомолку вы-

плакиваются, а Маре всегда плакала для народа, или, как теперь молодые говорят, для коллектива.

В конце концов ее мать оторвала дочку от Константиновой шеи и потихоньку призналась, что это она, старая, вышила посреди сада на юбке змеинный череп и благодаря этому Маре будет всю жизнь командовать своим мужем, потому как в эдемском саду змея-то и дала Еве яблоко, и тут всему начало — и роду людскому, и тому, что мы едим хлеб в поте лица своего, и тому, что мужчины вольны делать все, чего хотят их жены. Аминь.

Ну, прекратила Маре рев и сказала:

«Не тревожься, мамочка! Возжи у меня в руках».

Начали они жить, но, сколько Маре ни старалась, Константин, этот ее Коссу, без конца брыкался. И хуже всего было то, что по-своему они любили друг друга, только не умели показывать это иначе, кроме как ужасным тарарамом и криком. Хуже того, оба и в суд еще бегали: Константин из-за денег, какие он в море заработал, а Маре из-за приданого, — ведь без ее приданого хутор Константина вконец бы развалился. Твой отец не раз им вдолбить пробовал, что жена, дескать, замок дома, а муж — ключ от замка, они же, того и гляди, опрокинут свою семейную телегу в канаву. Но Маре говорила:

«Мои права большего стоят, чем его паршивый участок и его мережи. Я могу уйти из этой деревни в чем мать родила: мои права будут мне и фиговым листом, и мечом, и хворостиной».

А Константин говорил:

«Пошли они все! Только не бывать тому, чтобы у такого наказания господнего, как Маре, права были!»

Но одного слова они боялись оба: слова «развод». Если уж господь бог стравил двух петухов, так пусть их дерутся: не людям разнимать их.

Тяжбы у них бывали непременно из-за оскорбления чести и телесных повреждений и еще из-за того, что Константин не давал Маре лодку, а Маре ему — лошадь. Не было такой недели, чтобы твой отец мирить их не пробовал. Бывало, начнется крик, как уже через час-другой на дворе Маре появляется седая шкиперская голова твоего родителя. И если он их не помирят, так на другой день пострадавший является к адвокату Штакельбергу в Курессааре, а то и оба разом прискачут.

Однажды Маре дали два месяца тюрьмы за нанесение Константину телесных повреждений. Константин посмел

вдруг в хозяйство встрять, курицу велел зарезать. Ну, Маре не снесла такого и, ни о чем не предупреждая, налетела на Константина и на борону его опрокинула. Мало того, села ему на грудки и песню запела. А что все так и было, по спине Константина подтвердилось: очень уж аккуратными рядами кожа была продырявлена. Посмотрели в суде на Маре, посмотрели на Константина, и никто не поверил, что такая мелкая женщина с таким великим делом справилась. И решили отклонить иск Константина, да он и сам забрал бы его обратно, если бы Маре не раскрыла свой миленький ротик:

«Принесите-ка сюда борону и разозлите меня! Я его опять уложу».

Но когда начали читать постановление суда о том, что по такой-то и такой-то статье особого Балтийского уложения Маре Штурман приговаривается к двум месяцам тюрьмы за повреждение спины своего мужа Константина Штурмана и за повреждение движимого имущества, к хутору одного Константина Штурмана относящегося, тут, понимаешь, Константин встал и попросил:

«Почтенный судья, дайте ей условно, на первый раз дайте ей условно».

И Маре получила два месяца условно.

Константин потом оправдывался:

«Разве ж я мог ее обидеть? Она такая крошечная и злоющая, что беспрерывно должна ссориться, чтоб стать доброй. Зато уж когда она добрая, так до того добра, что дом наш полон счастья и ангельского пения до самых стропил».

Да, люди живут как могут. Одни, что ни день, ласковые слова говорят и обнимаются, другие знай цапаются и сварятся, да еще дерутся и чугунами, и табуретками, но все ж таки не ищут себе кого другого. Хорошая, порядочная ссора привязывает людей друг к другу, что твоя развеликая любовь, да и кто его знает, может, ссора и есть любовь, хоть и впивается тебе в спину бороной даогревает по черепу табуреткой.

Маре хотела быть доброй, Маре умела быть доброй. А когда Маре хотела быть доброй, но ей не давали, становилась она коварной. Однажды промеж них с Константином опять заплясал норд. Такой норд, что Константин притащил в комнату вторую кровать и провозгласил независимость. Маре призадумалась. Мать Константина, тогда уже старуха, так об этом говорила:

«Слушаю я, слушаю и слышу — Константин в море,

а Маре дома. Слушаю я, слушаю, что она там делает, наша Маре. Такой чудной звук, будто доски пилят. Слушаю я, слушаю: так оно и есть, пилят. Вечером Константин с моря возвращается, слушаю я, слушаю — так и есть... Маре доски у его кровати подпилила, и сын мой на пол упал. Ничего не поделаешь, надо спать с Маре. Слушаю я, слушаю: ни разговоров, ни воркотни. Маре вздыхает — зря, выходит, полдня ножовкой водила: муж под боком вроде серого камня — спину выставил, холодом обдаёт.

Утром Константин в море уходит, а Маре дома остается, убитая такая, серьезная. Стала доброй, а ему не надо. Слушаю я, слушаю: опять пилит, дергает этак рывками — ниух-ниух, ниух-ниух, всплакнет малость, вздохнет из самого нутра и — опять пилит... Потом сняла с печной стены гусиное крыло, вымела дочиста все опилки, а две небольшие чурки в огонь бросила. Хитра она была, Маре... Кровать к стене была приставлена, так она с этого боку ножки подпилила, и когда Константин опять лег вечером к ней, то они вроде как в лодке оказались, которую под парус завалило. Слушаю я, слушаю — сын мой Константин говорит:

«Маре, кровать кривая».

А Маре в ответ ни словечка, лежит помалкивает, довольна своей работой.

Чуть погода Константин опять говорит:

«Маре, эта кровать совсем на тебя завалилась!»

Слушаю я, слушаю, а Маре смеется чудным своим смехом. Бывал у нее такой особенный смех, будто в горле у нее серебряные бубенчики перекатывались. Я, случалось, услышу диковинный этот смех, и потом мне всю ночь птичьи песни снятся и весенний лес. Ну, что моему сыну делать оставалось? От такого смеху спасенья не было. Слушаю я, слушаю — Маре смеется да приговаривает:

«Коссу, миленький мой Коссу! Станем опять хорошими, Коссу! Коссу, я тебя люблю, как рыбу сиг!» Сама смеется и вперемежку со смехом говорит такие слова, какие только Соломон говорил и каких третьему слышать не годится. Я и не стала больше слушать».

Что же, после этого и начались в их жизни те самые хорошие дни. Неделями подряд Константин был не Константин, а Коссу, и водой их было не разлить. Ходили хлебами любоваться, взявшись за ручку, — смотреть на них двоих было и стыдно и завидно. Так пожирали друг

друга глазами — прямо грех, все равно как до свадьбы. Словом, изловчились прожить свою жизнь так, что в передышках между ссорами было у них сто, а то и больше медовых недель. Дом их покосился, крыша прохудилась, все деньги на адвокатов ушли, сами они поселились, но ссора на дворе все такой же молодой оставалась, а любовь в доме — еще моложе.

Потому я и вспоминаю иногда Маре. Растить детей, сажать деревья, строить дом попрочнее, ладить хорошую лодку, живи, как жила с мужем Маре, посели под одной крышей и рай, и ад, главное, сделай хоть что-нибудь по-новому, оставь свой след на каменистой мухуской земле и в людской памяти тоже.

ДОБРЫЙ ЗАСТУПНИК МОРЯКОВ

Добрый Заступник моряков прибрал твоего отца в Атлантике. Не то чтобы прибрал, а от волны спас. Видит, устал человек, вымок, воюет из последних сил посреди холодной ночной Атлантики. Вот Заступник моряков и сказал твоему отцу:

«Воюй с волной до последнего. А потом я тебя приберу».

Увидела волна, что жертва от нее уходит, и зарычала на Заступника. Старая была волна: шла она промеж Исландии и Гренландии да и застряла там — одним плечом за Исландию зацепилась, другим — за Гренландию, все бока об ледяные утесы ободрала. В дугу согнулась, на десять метров выросла, до того озлилась, что белая грива у нее выросла. Паршивая ночная волна. Белые космы разлохматили, катится, урча и рыча, в сторону Ледовитого океана. Знай идет себе и идет, широты так и мелькают, и гремит, как и положено греметь такой волне.

Отец же твой, дай ему бог здоровья на том свете, только что вахту у штурвала отстоял. Весь день рыбу солил и без того устал, а во время вахты чуть вконец не свихнулся от этой чертовой боковой качки, едва на ногах стоял. А над палубой леер был натянут, чтобы твой отец держаться за него мог: кубрик-то на самом носу находился. До последней точки твой родитель дошел и думал о тебе, но о матери — больше, потому как маму твою он полюбил раньше, чем тебя, но о тебе, сынок, он тоже думал и думал вот чего:

«Если сын мой всех букв не выучит, и моряк из него не выйдет, и вообще никто».

Добрый Заступник моряков (он над Атлантикой взял тысячу небесных десятин для своих подопечных) кричит твоему отцу:

«Берегись, Андрус, волна!»

Но твой отец не услышал, слишком он измотался, а волна ударила сбоку и швырнула корабль, и отец твой не успел схватиться за леер. Маханула волна на палубу и снесла твоего отца за борт.

Понимаешь, сынок, может, и тебя смоем однажды за борт. Мужская дорога такая, что частенько и за борт уводит; главное дело — суметь на свой корабль вернуться. Сам я три раза тонул: в Атлантике, в Баренцевом море и в Немецком, но каждый раз на свой корабль возвращался.

Так вот, значит. Смыло твоего отца волной. Нырнул он в самый гребень, и понесло его. Но сердце у волны было холоднящим как лед, и холод этот начал донимать твоего отца. Одежда на отце была тяжелая, но поскольку был он человеком большого ума, то стянул с ног сапоги и отдал их морю, стянул с себя бушлат и отдал его морю, снял с себя рубашку и простился с ней. А потом твой отец приустал и попросил Заступника моряков:

«Устал я, старик. Можно мне утонуть?»

Но Заступник приказал отцу:

«Нет, воюй! Воюй до конца!»

А твоему отцу стало уже тошно от холода, и очень он устал, и потому спросил он у Заступника:

«А когда же бывает мужчине конец?»

«Когда бывает конец, это мое дело. Главное, чтобы мужчина воевал так, будто меня и нет. Уж такой у меня закон для всех моряков».

И вот как только Заступник увидел, что отец твой больше не может, он и говорит волне:

«Отдавай Андруса сюда! Отдавай сейчас же!»

Но волна зарычала на Заступника:

«Не подплывай! Палец откушу! Узнаешь у меня!»

И Заступник схлестнулся с волной. Волна была могучая, и злости в ней тоже хватало, и она схватила Заступника за ноги и шарахнула его гребнем по голове. Так они дрались из-за твоего отца на границе Ледовитого океана, словно двое коршунов. Заступник был маленьким и очень юрким коршуном, а волна была черным коршу-

ном с широкими крыльями, и крылья эти пересекала белая полоса пены. К тому времени, когда Заступник выдрал у волны твоего отца, сам он стал таким же мокрым, как и отец, и таким же усталым тоже.

И Добрый Заступник моряков сказал твоему отцу:

«Теперь, Андрус, махнем с тобой на небо. Я арендовал у бога для моряков тысячу десятин неба над Атлантикой. Оба мы, бедняги, устали, туда сейчас и махнем».

Волна внизу все еще рычала. Она даже остановилась от злости, и все остальные волны налетели на нее и выпали ей по первое число.

Ты спрашиваешь, почему этот участок неба был над Атлантикой? Вот и отец твой спросил о том же у Заступника:

«Что ж ты другого участка не арендовал? Может, подешевле нашлось бы, да и к дому поближе».

И Добрый Заступник моряков ответил:

«Я заплатил богу по рублю за десятину. Совсем недорого. А над островами какой может быть рай? Мухомцы без конца непотребное несут, не говоря уж про хийумцев, а наверху все прекрасно слышно. Что же это за небо?»

И вот Заступник моряков приводит твоего отца на небо. Показывает ему. Расхаживают там люди — одеты чисто, в белых кителях, руки за спиной сложены. Посмотрел твой отец, спрашивает:

«Это кто такие?»

Заступник отвечает:

«Ангелы».

«А чего они делают?» — спрашивает твой отец Андрус у Заступника моряков.

«А ничего не делают, — говорит Заступник. — Рай, он не для того, чтоб работать».

«А моряки чем тут занимаются? — спрашивает отец. — Те, кого за борт смыло, кто своих дел на суше и на море недоделал, у кого жена дома осталась и мальчишка, такой маленький, что ему все бы одни сказки слушать, а не буквы заучивать?»

И тут Заступник моряков пригорюнился и признался отцу:

«Знаешь, Андрус, беда мне с этими моряками, сущее наказание. Грех жаловаться, но когда у молодых парней нет никакого занятия, то в конце концов они и в раю начинают буянить и творить всякие бесчинства. В сухом лесу костры разводят. Научились на своих кораблях лазать, вот и взяли манеру залезать на райскую крышу,

а потом на них же самих дождь сквозь крышу протекает. Или раздобудут ножницы, понарежут себе кусочков из радуги, сделают из них карты и давай где-нибудь в уголке в подкидного шлепать. Но я тебе и половины не рассказываю, они и почище штуки отмачивают».

И тогда твой отец сказал Заступнику моряков:

«Слушай, старик, это же никуда не годится. Надо поломать эти порядки. Без работы да заботы и самый лучший человек загниет. Ведь они, чего доброго, еще и буфет здесь откроют».

Заступник моряков только вздохнул на это, от всего нутра вздохнул.

«Кто их, шалопаев, знает? Может, уже открыли. Недаром от их «осанны» по вечерам ангелы мои краснеют и куксятся».

Тут твой отец, который не только на море, но и на суше многих стоил, призадумался не на шутку и сказал так:

«Надо поломать эти порядки. Не то здесь ад получится».

И Добрый Заступник моряков пожаловался:

«Уже получился. Но неизменного не изменишь. Так было, так и останется».

Заступник моряков был седой, старый и усталый человек, и потому твой отец не стал беречь его душу. Только спросил:

«А нет ли в твоём раю озера?»

И Заступник ответил:

«Есть. В старину утекло из Эстонии Эму-озеро со всеми рыбами, и я приволок его сюда».

Отец твой сразу обрадовался и спросил:

«И какая же в нём рыба?»

А Заступник ответил:

«Всякая. И щуки есть, и лещи плавают, и язи такие крупные, что бока уже золотятся, и старый сом усами шевелит, а плотвы столько, что гибель. Всякая рыба водится, да и чего ей там не водиться, раз никто не ловит».

И тогда твой Андрус сказал:

«Знаешь, старик, начну-ка я ловить. Закажи мне лодку!»

Заступник во все глаза на него уставился.

«Кто же это тебе позволит: в раю — и вдруг работать? Неплохо бы, конечно, рыбки поесть, а то каждый день все манна да манна. Только нельзя, Андрус, такой здесь порядок».

Положил твой отец кулак на стол и сказал:
«Порядок можно поломать. Закажи мне лодку».
Заступник спрашивает:
«Где же это я лодку тебе закажу?»

А отец говорит:

«В Лейзи есть лодочная фабрика. У них там хороший мастер, Вакрамом зовут. Ему и закажи».

Ухватился Заступник моряков за свою бороду обеими руками, растянул ее в разные стороны и спросил:
«Какую же ты хочешь лодку, Андрус?»

«Весельную, — объяснил отец. — С килем в двадцать один фут. И проверь, чтобы на ходу была легкая и волны не боялась».

Заступник спрашивает:

«А где же мне резолюцию брать на лейзинцев и на Вакрама?»

Такую, дескать, бумагу, без которой ни шиша не получишь.

Отец и говорит:

«В Таллине возьмешь. Скажешь, что для меня, дадут».

И отправился Добрый Заступник моряков в Таллин. Обошел все конторы, все церкви — не дают ему резолюции на лейзинцев. И пошел он просить к партийному секретарю. Тот встал из-за стола, вышел культурненько навстречу, дал пять и спрашивает, по какому, значит, делу, товарищ.

Заступник моряков и говорит:

«А по такому делу, товарищ, что у меня над Атлантикой тысяча десятин матросского неба».

Услышал это секретарь и говорит:

«Ну, если ты из таких, то я тебе не товарищ. Пропуск есть? Как ты сюда попал?»

Заступник моряков признался:

«Пропуска у меня нет. А попал я сюда через форточку».

Тогда секретарь спрашивает:

«Так кто же ты, бог или черт? Что ты за человек?»

И Заступник моряков сказал:

«Нет, я не черт — черти через дымоход входят. И не бог. Я сам от себя на матросском небе хозяйствую, ну наподобие единоличника или в этом роде. Снял я как-то у бога в аренду тысячу небесных десятин по рублю за десятину, сначала даже выплачивал эту аренду».

«Нечего было выплачивать», — рассердился секретарь.

Заступник согласился:

«Верно. Я больше и не плачú с тех пор, как стал газеты читать и узнал, что его вовсе и нет. Не плачú и горя не знаю».

Запер тут секретарь дверь, чтобы никто не вошел, и начали они толковать и протолковали два дня. А про что они толковали, ни одна душа не знает. Но кончилось тем, что секретарь дал бумагу на лейзинцев и еще сказал Заступнику:

«Только выйди культурненько в дверь! Меня этими фокусами не запугаешь!»

Но Заступник моряков спросил:

«А если я всего-навсего сказка?»

Секретарь дал ему пять и сказал:

«Все равно входи и выходи в дверь. Зачем над людьми смеяться?»

И теперь вот ловит твой отец рыбу на бывшем Эму-озере. На матросском небе, с Вакрамовой лодки. А рыба там всякая. И щука есть, и окуни плавают — на спине гребень, по бокам красные плавники мотаются, и лещи есть — головы как у поросят и даже золотятся, и старый сом следит снизу за лодкой да усами шевелит. Он бы и клюнуть не прочь, но боится, как бы не порвать отцу леску. А плотвы столько, что гибель.

Клади-ка ты, невестка, спать этого парня. Пускай ему сон про матросское небо приснится. С морем да с горем он и без нас успеет познакомиться.



АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

30 октября 1957

Калининград, теплоход «Кооперация»

Сегодня перебрался на «Кооперацию».

Час назад уехала моя жена. Перед тем как расстаться, мы сидели в каюте, забитой до отказа багажом, принадлежащим мне и моему спутнику, синоптику Васюкову, — передвигаться и даже сидеть здесь было не так-то просто. Поскольку собираюсь в путь целых полтора месяца (по первоначальным данным, «Кооперации» полагалось отбыть 17 сентября), мы уже обо всем переговорили. Я отдал ей все деньги, которые не успел истратить, а она выдала мне из них пять рубликов на последнюю кружку пива.

Сейчас она едет назад рижским поездом.

Вспоминаются последние недели. С начала сентября готовлюсь к рейсу в Антарктику. А если вы спросите, как я готовился, то придется признаться, что никак. Ждешь, минует один окончательный срок за другим; снова ждешь, снова минует очередной срок — в таких случаях в моей жизни всегда образуется какая-то бесплодная пустота. Не можешь ни на чем сосредоточиться, люди, события, дела — все проходит мимо, не задевая по-настоящему. Вчерашний день позади, сегодняшний — лишь порог завтрашнего, а «завтра», в котором сконцентрировалось все, — это «завтра» уклончиво и полно неопределенности. Писать не можешь, думать не хочешь, и путь наименьшего сопротивления оказывается вдруг наиболее привлекательным. За последние недели я только и сделал хорошего, что прочел все, оказавшееся доступным, о полюсах — и о Северном, и о Южном — и влюбился в Нансена.

Последние восемь дней я прожил в калининградской гостинице «Москва». Город разрушен. Кажется, что война была вчера, — она глядит тут на тебя с каждой улицы.

От гостиницы же, целиком занятой участниками третьей комплексной антарктической экспедиции — моими теперешними спутниками, — осталось весьма сильное

впечатление. Каждая гостиница, каждый ее номер, в котором дружелюбный или суровый администратор поселяет вместе людей различных профессий, характеров, мыслей и взглядов, — в своем роде сборник живых новелл.

«Москва» — превосходная гостиница. Приличные, хорошо отапливаемые номера, холодная и горячая вода, исключительная чистота, в каждой комнате телефон и радиотрансляция. Все наверняка выглядело бы еще безупречней, если бы не один осложняющий компонент — жильцы гостиницы. В каких только гостиницах я не жил после войны, но нигде я не чувствовал себя в такой степени лишним, как здесь.

Ложусь после обеда спать. Стучат. Продолжаю спать. Снова стучат. Раздается требовательный голос: «Откройте!» Открываю. И натягиваю одеяло до подбородка. В номер является комиссия из пяти человек. Полная солидная дама в очках садится за стол, даже не взглянув на меня. Слева от нее останавливается другая дама — худая, в очках и в красном платье. За спиной у них замирают три девушки, являющие собой в дальнейшем нечто вроде греческого хора. На стол кладутся огромные листы со всевозможными параграфами, номерами и наименованиями.

Начинается инвентаризация.

— Кроватей? — спрашивает полная дама в черном.

— Две, — сообщает дама в красном. — Деревянных. С пружинными матрацами.

— С пружинными матрацами... — эхом вторят три девушки.

— Письменных столов? — спрашивает полная дама.

— Один. Дубовый, — сообщает дама в красном платье.

— Дубовый... — вторят три девушки.

Так оно и идет.

— Подушек?

— Четыре, — говорит дама в красном несколько неуверенно, потому что все четыре подушки у меня под головой, а на второй кровати подушек нет.

— Запишем четыре? — вопрошающе произносит полная дама.

— Запишем четыре, — отвечает дама в красном и бросает на меня подозрительный взгляд: все ли четыре подушки у меня под головой, не съел ли я одну из них?

— Дорожек?

Одна из девушек достает рулетку и приступает к тщательному обмеру. Процедура продолжается довольно долго, пока наконец девушка не сообщает:

— Восемь метров сорок два сантиметра.

— Вы говорите, восемь сорок два? — и полная дама вопросительно поднимает брови. — Значит, запишем восемь сорок два.

— Да, запишем восемь сорок два, — соглашается дама в красном.

Затем идут арматура, стулья, графины, стаканы и т. д. и т. п.

— Предметы искусства есть? — спрашивает дама в черном.

— Есть, — отвечает дама в красном, указывая на угловой столик, где стоит скульптура, изображающая усатого Чапаева верхом на коне. — Один предмет. Чапаев.

— Неважно, что Чапаев. Важно, что один.

Так продолжается около часа. Затем комиссия направляется дальше. Но я совершенно счастлив. Можно взять в Литфонде две тысячи рублей командировочных, жить на них в каком-нибудь доме отдыха и ничего не увидеть. А тут такое подлинное, такое цельное, такое неповторимое переживание, какого ни в жизнь не выдумаешь.

Последнюю ночь сплю очень плохо. Стены в гостинице очень тонкие. В соседнем номере поселилась супружеская пара, которая не имела никакого отношения к Антарктике, но шумела больше, чем весь многочисленный состав экспедиции. Особенно отличалась супруга. Это был один из последних женских голосов, которые я слышал на суше, и он наверняка будет звучать у меня в ушах до самого экватора. Столь на редкость противного голоса я давно уже не слышал. Голос был высокий, острый, как бритва, какой-то жестяной и до предела агрессивный. Сперва было терпимо. Большое общество, которое собралось в гостях у пары, выпивало, пело, даже пыталось танцевать и до поры до времени заглушало голос этой женщины. Я заснул. Проснулся я в три часа ночи от того, что веселье утихло и теперь говорила она одна. Ее голос звучал так отчетливо, словно женщина сидела тут же, около моей кровати. Мне казалось, что меня колют шилом. За два с половиной часа я стал необычайно образованным: я узнал, какое хорошее белье за границей и какое плохое у нас, как вежливы люди за границей и как невежливы у нас. Узнал несколько рижских адресов, по которым можно раздобыть трикотаж,

легкий как дым. О племянниках и племянницах узнал только то, что все на свете пойдет прахом, если их не обеспечат бельем, легким как дым. Вся эта ночная лекция, прочитанная без единой передышки, оставила удручающее и оскорбительное впечатление.

Я и сам понимаю, как неуместны эти последние заметки, но пока вокруг меня мертвая маслянистая вода гавани, пока судно стоит на месте, словно дом на земле, они давят и гнетут меня. От долгого ожидания у меня замерзли мозги, как у кельнера из новеллы Моравиа. Но я знаю, что они начнут работать одновременно с винтом «Кооперации».

Сегодня мы выходим в море.

31 октября 1957

Калининград, «Кооперация»

Вчера мы так и не отплыли, сегодня — тоже. Выяснилось, что на «Кооперацию» ставят новый радиолокатор. Его как будто привезли ночью из Риги.

Вечером рядом с «Кооперацией» еще стоял плавучий кран с двумя «Пингвинами», но к утру они уже были погружены на палубу. Интересно, как передвигаются эти вездеходы (или трактора?) в условиях Антарктики? Несмотря на металлические кабины с высоко расположенными дверями и окнами, похожими на маленькие иллюминаторы, они кажутся легкими. Гусеницы широкие.

Все четыре грузовых люка уже задраены. Пройти с носа на корму или с кормы на нос кажется довольно рискованным делом. На палубных люках стоят «Пингины», перелезть через тросы и брусья, которыми они принаитовлены, не так-то просто. А на третьем люке, рядом с двумя «Пингвинами», стоит ящик с четырьмя елками. Они хорошо завернуты, чтоб не повредились ветки, а в ящик насыпан песок. Мы везем в Мирный новогодние елки.

Я осмотрелся и попытался как-то разместить свой багаж. Плохо, когда человек беден. Но еще хуже, когда в одной тесной каюте оказываются два человека и оба богатые. И у меня, и у Константина Васюкова добра хватает.

Уже сама погрузка моих вещей на корабль была своего рода цирковым номером. Сначала я притащил два че-

модана. Затем настала очередь зеленого брезентового мешка, в который кроме выданного мне полярного снаряжения я запихнул еще десяток железных коробок с узкой киноплёнкой. Весил мешок не меньше доброй меры солода. Но хуже всего было то, что я со своим мешком застрял на узком трапе между канатами. Ни один осел не чувствовал себя так глупо, как чувствовал себя я на трапе «Кооперации». Сверху на меня смотрят матросы и участники экспедиции, снизу, с причала, — портовые рабочие. В иные моменты отнюдь не лестно быть центром внимания. И когда я, задыхающийся, красный и разъяренный, втащил мешок в свою каюту, то поневоле повторил слова Феликса Ормуссона, героя книги нашего писателя Фридеберта Тугласа:

— Тяни ляжку, эстет!

Наконец я притащил свое техническое снаряжение. Когда я маршировал с ним по калининградской гавани, весь увешанный аппаратами, словно новогодняя елка игрушками, одна красивая девушка сказала подружке:

— На «Кооперацию» идет. Небось доктор технических наук.

Откуда ей было знать, что Бискайский залив внушает мне меньше страха, чем техника, ибо любой аппарат, попадающий ко мне, проявляет свои скверные свойства: то мигом портится, то вообще не работает.

Вот. А теперь сделаем обзор снаряжения.

Мне выдали на тех же правах, что и участникам экспедиции, следующие вещи:

1. Ватник с капюшоном.
2. Ватные штаны.
3. Сапоги.
4. Теплый свитер.
5. Куртку.
6. Теплые перчатки.
7. Снегозащитные очки.
8. Зеленый брезентовый мешок, в который все это было сложено.

У меня было с собой:

1. Два костюма — темный и светлый.
2. Дюжина сорочек.
3. Белье.
4. Носовые платки.
5. Фуфайка.
6. Куртка из ветронепроницаемой ткани.

7. Десять пар носков.
8. Две пары полосатых шерстяных носков, связанных моей матерью.
9. Бритва.
10. Сто бритвенных лезвий.
11. Сто пачек «Казбека».
12. Сто коробок спичек.
13. Пять бутылок коньяка.
14. Три бутылки вина.

Техническое снаряжение:

1. Фотоаппарат «Зоркий».
2. Узкоплёночный киноаппарат «Киев» (принадлежащий Таллинской телестудии).
3. Фотоэкспонометр «Ленинград».
4. Полевой бинокль «Бинокляр М 36 × 30» (собственность Пауля Руммо младшего).
5. Пять катушек пленки для фотоаппарата.
6. Две тысячи пятьсот метров узкой киноплёнки.
7. Три авторучки.
8. Шесть блокнотов.
9. Бутылка чернил.
10. Две пары очков.
11. Перочинный нож.
12. Пилка для ногтей.
13. Аварийная шкатулка с иголками, нитками, пуговицами и порошками от головной боли.

Книги:

1. Стендаль. «Красное и черное».
2. Джозеф Конрад. «Лорд Джим».
3. Хемингуэй. «Старик и море».
4. Юджин О'Нил. «Луна Карибских островов».
5. Ф. Нансен. «На лыжах через Гренландию».
6. Р. Э. Бэрд. «Полет на Южный полюс».
7. Э. Шеклтон. «Путешествие на Южный полюс».
8. Первый выпуск собрания «Страны и народы мира» — «Полюсы».
9. Русско-эстонский словарь.

Кроме этого я еще прихватил с собой поэму «Сын бури», которую намереваюсь сокращать и перерабатывать во время плавания, и начало пьесы «Леа», которую я во что бы то ни стало должен закончить на корабле. Хорошо бы справиться с этим до прибытия в Мирный.

Сегодня в 16.00 «Кооперация» наконец отплыла.

Проверка документов прошла очень быстро. На причале десятка два провожающих да несколько пар мокрых глаз. В одной каюте играет гармонь. Провожающие, которые поднялись на палубу и должны были покинуть корабль, уже его покинули. С трапа убран оградительный трос, но сам трап еще не поднят — по нему должен сойти на пристань Алексей Михайлович Фишкин, превосходный человек, работник Главсевморпути, которого все любят и который много сделал для подготовки этой экспедиции. Его седая бородка, умные добрые глаза за сверкающими стеклами очков, коренастая фигура и улыбка, освещающая лицо как бы изнутри, всем нам запомнятся.

Наконец сходит и Алексей Михайлович.

У носа пыхтит один буксир, у кормы — другой.

Очень медленно, кормой вперед, «Кооперация» отчаливает от пристани. Голосят звонкие гудки буксиров, сипит могучий бас «Кооперации». Ее белый корпус, загроможденная палуба и даже мачты на время скрываются в обволакивающем дыму буксиров. Погода пасмурная, мгlistая, вытянутый канал калининградской гавани со своими плавучими кранами, судами и бакенами плохо различим и выглядит неприветливо.

Стоящие в гавани суда гудят нам на прощанье. Такого концерта я еще никогда не слышал. На верхнем мостике, где собралось несколько десятков человек, от густого грозного гудка «Кооперации» закладывает уши. И у труб кораблей, оставшихся в гавани, взлетают белые облачка пара. Сирены, как и голоса людей, бывают разные — звонкие у одних и глухие у других, они образуют своеобразный хор. В нем чудится и рев моря, и его гул, то спокойный, то грозный, и черт знает что еще. В солнечную погоду все это наверняка производило бы куда более веселое впечатление.

Выходим в море. Смеркается. Мелькают огни маяков — загораются и гаснут, загораются и гаснут. Вода черно-серая и становится все черней. Ветер — шесть баллов.

После Балтийска наш лоцман перебрался на «Академика Крылова», который ждал в море разрешения на вход в Калининград. Катер лоцмана возник откуда-то из темноты — маленький, славный, верткий. Не знаю, какой у него был мотор, но он хрюкал совершенно по-поро-

сячи. Наверно, потому, что глушитель временами оказывался под водой. Затем катер лоцмана отплыл, и мы долго следили за веселым прыгающим отражением его мачтовых огней на черной воде.

Нас провожают три портовые чайки. Они почти не шевелят крыльями и все же уверенно держатся рядом с «Кооперацией». Мы видим их, когда на них падает свет наших огней, в котором они белеют словно первый снег.

«Кооперацию» слегка покачивает.

Отдается команда закрыть иллюминаторы третьего класса. К тем, кто оказался в море впервые, начинается морская болезнь.

3 ноября 1957

В море. На «Кооперации»

Как хорошо принимать хорошие решения. «Завтра начинаю новую жизнь», «С такого-то дня серьезно возьмусь за работу, потешу свою лень последний нынешний денек, и все» и т. д. и т. п. Трудно лишь выполнять такие решения.

Хоть в море я более трудолюбив, чем на суше, все же и тут обещания, данные самому себе, часто остаются лишь благими намерениями. Может быть, потому, что в начале рейса всегда много новых впечатлений, лиц, встреч, разговоров; с людьми еще не свыкся и пока что не чувствуешь себя как дома. Больно дает себя знать самый большой мой писательский изъян — недостаточное умение сосредоточиться, недисциплинированность мышления, цыганская беспутность мыслей.

В подобном плавании следует вести дневник, вести его систематически, изо дня в день, занося все существенное и все, что может понадобиться в будущей работе. Но вчерашний день, второй день в море, уже пропал. Сейчас ночь. Идет дождь. Огни отражаются в слегка мерцающей воде. На севере видна темная туча — растрепанная, как старый веник. Синоптики что-то говорили о циклоне и о «холодном фронте» и определили по этой рваной туче, что завтра, в Северном море, мы попадем в шторм.

Вчера утром было собрание экспедиционной партгруппы. Выбрали временный (до Мирного) партком, обсудили предстоящие задачи, поговорили о том, как отпраздновать Октябрьскую годовщину. Решили организовать стенгазету, радиогазету и фотогазету. Кое-кто по-

глядывал на меня — не напишу ли для стенгазеты. «Не писать же мне стихи по-русски!» — сказал я себе и спокойно отправился бродить по «Кооперации».

Корабль слегка качался. По-прежнему дул ветер в пять-шесть баллов, на воде уже забелели барашки. Похоже, что «Кооперация», построенная и как пассажирское, и как торговое судно, все же мала для нашей экспедиции. Большая часть нашего коллектива из ста шестидесяти человек живет в весьма неприхотливых условиях: кровати стоят и в помещении для прогулок, и в курительном салоне, и в коридорах. А в кинозале люди даже спят прямо на полу — кроватей тут нет. Но народ здесь бывалый, выносливый, легко приспособляющийся к трудным условиям. Те, с кем я уже познакомился, очень хорошие товарищи и, к счастью, не такие замкнутые люди, какими кажутся.

Пошел в каюту работать.

Беда подкрадывается незаметно. Без крика. Разве что тихонько постучит в дверь.

В дверь каюты постучали. После моего «да» вошел только что выбранный член парткома, чьи мозг и руки участвовали в создании шести «Пингинов», стоящих на нашей палубе, — вошел Григорий Федорович Бурханов. Мы поговорили о том о сем, о море и о суше, гость прочел несколько моих стихотворений. И вдруг безо всякого вступления, безо всякого перехода выложил:

— Вы, товарищ Смуул, будете редактором стенгазеты.

— Какой стенгазеты?

— Экспедиционной.

— Не пройдет, товарищ Бурханов.

— Пройдет.

— Я не знаю русского языка. Более того, я на этом корабле единственный человек, который не знает как следует русского языка. Я вам такую кашу заварю!..

При известной степени знания языка вы можете произвести впечатление человека, владеющего языком. Словарь ваш будет состоять из любезностей, извинений, картежных терминов, слов признательности и одобрения (у меня к ним добавляется еще множество нецензурных слов, которые я выучил в Атлантике), из нескольких ходовых литературных фраз и терминов да из названий самых общеупотребительных предметов. С таким запасом слов можно выманить человека из воды на берег, но

с берега в воду — не заманишь! Сейчас, в начале плавания, мой язык именно таков.

Бурханов. Язык вы знаете. Разве что не всегда ловко выходит и акцент сильный. Твердое «л» у вас не получается и шипящие тоже. И грамматика хромает. Иногда. Конечно, и запас слов мог бы быть побольше. Словом, справитесь. Вы ведь авторизуете переводы своих вещей, просматриваете их.

Я. Черта лысого я авторизую!

Бурханов. Лысого или кудрявого — не в этом суть. (*Берет мой поэтический сборник на русском языке.*) Вот, видите, написано: «Авторизованный перевод».

Короче, что я ни говорил, сколько ни просил, все разбивалось о хорошее настроение Григория Федоровича, его твердую веру в мои организаторские способности и в мой русский язык. Так я стал редактором стенгазеты. И четверть часа спустя я уже расхаживал между рядами доминошников и картежников, останавливал на палубе участников экспедиции и дрожащим голосом умолял:

— Не умеете ли вы рисовать карикатуры? Не пишете ли стихи?

А Бурханов тем временем поднимался и спускался по лестницам, заглядывал в каюты, в салоны и составлял список членов редколлегии. Первый номер газеты должен выйти к Октябрьским праздникам. Ночью я спал плохо.

Сегодня утром, 3 ноября, мне вручили список членов редколлегии. Я решил созвать собрание, но из этого ничего не вышло. Два события взволновали всех. Первое — это запуск нового спутника. Обсуждают, спорят, переживают. Общее собрание экспедиции послало поздравительную телеграмму в Москву. Много говорят о собаке — первом живом существе, попавшем на такую высоту, о самом спутнике, о его орбите, о радиусе орбиты. Одному шахматисту, который никак не хотел признавать себя побежденным, сказали: «Ты — вроде спутника: все крутишься и крутишься, но все равно сгоришь». Тоже угол зрения!

Во-вторых, мы приближаемся к Кильскому каналу. Мимо непрерывно проходят корабли. Верхняя палуба полна народу. Все фотографируют. На бинокли большой спрос. На мой тоже. Этот прибор я взял никак не напрасно.

Киль. На капитанском мостике — немецкий лоцман, у штурвала — немец. С обеих сторон тянется ровная спо-

койная измененность. Корабли и спереди, и сзади — канал живет. Немцы, которых на берегах так много по случаю воскресенья, машут платками и руками. Темнеет. Глаза устают смотреть.

4 ноября 1957

Северное море

И сегодня утром из собрания редколлегии стенгазеты ничего не получилось. Поднялся большой, настоящий северо-морской шторм, вернее — ураган. Время от времени качающаяся «Кооперация» так вздрагивает, словно ее киль под водой цепляется за остов затонувшего корабля. Кажется, что волны из-за силы ветра уже не могут вздыматься выше — буря придавливает их гребни, утюжит их. Я и прежде видывал штормы, но не такие. Вода взлетает, весь воздух пропитан холодом и соленостью моря. Горизонта — я имею в виду постоянный горизонт — больше нет. Есть только взлетающая вода. Взлетающая вода и непрерывный надсадный вой — разъяренный крик шторма. Самочувствие у меня хорошее. Известное выражение «сердце радуется» здесь как нельзя к месту. Готов верить, что у меня выработался стойкий иммунитет к морской болезни.

«Кооперация» плывет сквозь непроглядную водяную метель. Над носом корабля — и не только над ним — белое водяное облако. Буря срывает с разрезаемых нами волн гребни и, раздробив их, подбрасывает выше корабельных труб. Скорость ветра тридцать пять метров в секунду, то есть сто двадцать шесть километров в час.

Я взял свой узкоплечный киноаппарат и взобрался на верхний мостик. Вода обдавала меня и здесь. Физик-атомщик, которого зовут Борей, милый и отзывчивый молодой человек, был со своим «Киевом» уже здесь. Ему, как видно, удалось снять несколько метров одичавшего моря. Я попросил у него помощи. Мы не разговаривали: мы кричали. Он, как более опытный оператор, взял аппарат, а я должен был его держать. Держу — заедает кассета. Вставляем новую — снова заедает. Третья и последняя кассета начинает крутиться исправно. Вцепившись в поручни мостика, перебираемся вперед, чтобы снять нос корабля. Но если раньше мы были закрыты от ветра по грудь, то тут нас защищали только железные поручни. И вместо того чтобы держать Борю во время

съемки, я кубарем полетел через мостик прямо на радиолокационную антенну. Следом за мной кинулась водяная машина. Боря каким-то чудом удержался на ногах, с удивлением наблюдая за моей утренней зарядкой.

Мы поспешили скрыться от ветра и принялись сообщать поносить кассеты «Киева». Они в самом деле неудачные и подводят даже профессионалов. У меня они украли сорок пять метров самого настоящего шторма. Я еще, наверно, хлебну горя со своими двумя с половиной тысячами метров, и особенно в Мирном. К тому же у меня только три кассеты, а двум из них нельзя доверять.

Раза два выглянуло солнце. Над волнами тотчас возникали маленькие радуги. Облака мчатся низко, над самыми качающимися мачтами. Промежуток между морем и небом кажется совсем крошечным.

Мы удрали с мостика. Прямо перед нами мотался разорванный брезент, покрывавший шлюпку. Ванты натянулись, словно скрипичные струны, выпел нещадно трепало ветром.

Отчаянный парень это Северное море!..

Долго на палубе не пробудешь — вымокнешь насквозь. Время от времени сижу в каюте и читаю Стендаля. Шторм продолжается. «Кооперация» теряет сегодня не меньше ста миль.

Не видно ни одного корабля. В портах наверняка предупредили о шторме.

Очень многие страдают от морской болезни.

5 ноября
Северное море

Погода по-прежнему штормовая. Ветер восемь-девять баллов. Сильная встречная волна. Сообщили по радио свои координаты — мы все еще в Северном море. Из-за встречного ветра «Кооперация» проходит всего-навсего от четырех до пяти миль в час. Вчера потеряли около ста миль, сегодня потеряем еще больше. Капитан сказал, что из-за плохого винта «Кооперация» теряет каждый час одну-две мили. Хотя проектная скорость судна двенадцать миль, мы проходим при нормальных условиях лишь десять — десять с половиной. Если в прошлом году корабль покрыл расстояние до Мирного за сорок пять дней, то на этот раз мы, по самым оптимистическим

расчетам, доберемся туда за пятьдесят — пятьдесят пять.

Наконец-то мы провели собрание редколлегии. Дела обстоят не так безнадежно, как казалось вначале, и к утру 7 ноября газета будет готова. В редколлегию вошли чудесные люди, — наверно, ни одна эстонская газета не может похвастаться столь квалифицированными сотрудниками. Как и я, все заинтересованы в том, чтобы из нашего предприятия вышел толк. Даже стихи будут. Только вот беда с художниками. Никак их не разыщем, хоть они и есть. На дверях чьей-то каюты наклеена отличная и очень похожая карикатура на одного из руководителей экспедиции. Она немало всех позабавила. Но кто автор? Никто не знает. Пропадают в неизвестности такие таланты!..

Палубу по-прежнему заливают водой. Лишь на подветренном борту можно избежать омовения. На ванты и тросы кормы, где громоздятся всевозможные ящики и мешки, садятся мокрые и усталые, оглушенные бурей скворцы. Мы пытаемся по форме клюва определить их родину. Откуда они? Наверно, из Норвегии. Люди смотрят на скворцов с сочувствием. Птицам совсем не легко попасть на корабль. Предварительно приходится делать над ним несколько кругов — шторм сносит птиц в сторону. Они устали и от усталости осмелели. Много пернатых погибло вчера и сегодня в Северном море.

Мой товарищ по каюте Константин Васюков проводит весь день на палубе. От качки он чувствует себя нелегко. Это первое плавание Васюкова, и началось оно достаточно серьезно. Но, насколько я понимаю в этом деле, к концу плавания он станет моряком. У Васюкова есть некое «что-то», столь необходимое для сопротивления морской болезни. Дело в том, что при морской болезни человека охватывают невероятная апатия и скепсис: и мир, и жизнь, и прошлое, и будущее — все кажется черным и противным. Думаю, что некоторые критики, в глаза не видавшие моря, страдают от самого рождения до смерти морской болезнью! Ничем иным не объяснишь их желчности и злобности. Но Васюков сделан из другого теста: он успешно сражается с той самой апатией, от которой слабодушные сваливаются на койку и не встают с нее до тех пор, пока погода не становится хорошей, море не успокаивается и не появляется аппетит.

У Васюкова, старшего научного сотрудника метеорологической группы, направляющейся с партией зимовщи-

ков в Мирный, лицо крестьянина. Я уже несколько дней ищу и не нахожу того слова, которое бы точно его охарактеризовало. Про него можно сказать: «Светлая личность». У эстонцев редко встретишь столько сердечности, теплоты и отзывчивости, сколько их у Васюкова. Они есть и у нас, но мы как бы стыдимся их даже тогда, когда их проявляют по отношению к нам другие, и поначалу испытываем скрытое стеснение. Так же было между мной и Васюковым. Его характер — это открытая книга, в его жизни, в его судьбе нет ничего такого, что следовало бы утаивать, его доброта — это доброта большого ребенка. Но при этом он отличный, уже известный метеоролог.

Сейчас он ведет длительный и покамест неравный бой с волнующимся морем. Над его кроватью целая картинная галерея. Семейная фотография — его жена Мария, его тесть, сам Васюков и его сын Гриша. Затем маленькая карточка жены. Затем большая фотография Гришеньки. О Грише я уже знаю столько, сколько вообще можно знать о шестилетнем мальчике, о его характере, о его вопросах и ответах, о его неожиданных поступках, о его остротах, озадачивающих старших.

В первый вечер на «Кооперации» Васюков, прежде чем лечь спать, достал из чемодана карточку Гриши и долго смотрел на нее. Его глаза блеснули. Затем он повесил Гришеньку над своей койкой и сказал:

— Ну, Гриша, карауль папин сон.

Мы еще долго говорили о Грише, о том, что он выглядит на карточке необычайно серьезным (снят он в шубе и с лопаткой), что у него лицо и осанка военачальника. В конце концов мы пришли к выводу, что он несколько похож на одного маршала. И маршал, ставший Гришей, или Гриша, ставший маршалом, охранял сон отца. Правду сказать, ночью Гриша упал со стены, и проснувшийся Васюков нашел его у себя под боком довольно помятым. Но все же Гриша — это Гриша, хороший сын хорошего отца, и он охраняет по ночам отцовские сны.

Счастливы те жены, чьи мужья похожи на Васюкова!..

В отношении товарища по каюте мне просто повезло. А когда он вчера вечером долго смотрел на свою Марию, я подумал о том, как будет не хватать этому славному человеку во время долгой тяжелой зимовки своей жены и своего сына. И разве только ему?

6 ноября
Ла-Мани

Погода хорошая, волна слабая. С правого борта — Англия.

Плывем вблизи берега. В 14.00 минуем Дувр. Низкие скалистые берега, местами белеет мел. Очень много судов, по преимуществу нефтеналивных танкеров. Не очень-то приятно смотреть, как многие нас обходят: у них скорость больше. Но и мы сегодня делаем десять миль в час. Суда, суда, суда... Мой бинокль все время исчезает и с невероятной скоростью перелетает из конца в конец корабля, с борта на борт. У нас много молодежи, плавающей впервые, и на нее Ла-Манш производит мощное впечатление. Это в самом деле одна из главных торговых артерий. Понятно, что корабли могут пробудить интерес и даже вызвать известное воодушевление у самого апатичного человека. Только не смотрите на них ночью, во тьме. Нет ничего печальней того чувства, которое пробуждают корабельные огни, исчезающие вдали. Мне это слишком знакомо.

Несмотря на свою незавидную скорость, «Кооперация», белая словно лебедь, выглядит на фоне других кораблей красавицей.

О «Кооперации» и о кораблях вообще

Чтобы описывать корабль, надо быть либо профессиональным моряком, либо полным профаном, не отличающим носа от кормы. Профессиональный моряк дал бы точные сведения о судне, перечислил бы все детали, назвал бы все машины, привел бы все цифры, обозначающие площадь и объем всех помещений, число лошадиных сил, оборотов винта, вес и т. д. Профан смотрит на корабль в гавани сквозь флер поэтичности, а во время морской болезни — сквозь призму ненависти: судно для него — то красавица, то ведьма. Все зависит от обстоятельств и в значительной степени от характера воспоминаний.

Каждый раз, как мне приходится спускаться по железному трапу в холодную полутьму трюма, у меня по спине пробегают мурашки. Перед глазами возникают шесть человек, которые играют в очко, я вижу засаленные карты в дрожащих от азарта руках, кучу смятых бума-

жек в банке — четыре тысячи рублей, слышу стук пуль по металлической палубе, крики людей и разрывы бомб. Это было в августе 1941 года в Финском заливе, в грузовом трюме большого торгового парохода из Латвии, на котором мы, мобилизованные островитяне, плыли из Таллина в Ленинград. Немцы атаковали нас с воздуха. Самолеты проносились над мачтами. А мы — несколько сот человек — сидели на чугунных канализационных трубах, которыми был загружен корабль, и понимали, что любое прямое попадание фугаски большого веса отправит нас прямо на дно. Трюм был мышеловкой — ведь если бы у нас и имелись спасательные пояса (их не было), мы все равно не выбрались бы наверх по узкому железному трапу, а насмерть затоптали бы друг друга. Мы не знали, что происходит наверху, не знали, что в первые же минуты налета с командного мостика было сметено все. Большинство из нас и не осознавало всей величины опасности. Не создавал и я. И поскольку политрук запретил нам азартные игры, то я в течение всего налета стоял у трапа, чтобы картежники могли доиграть кон. За это мне с каждого банка платили по пятнадцати рублей, а тогда это были для меня довольно большие деньги. К чести игроков следует сказать, что они не прекратили игру даже после того, как перед самым носом корабля упала бомба и со стен трюма посыпалась ржавчина. Может быть, азарт являлся для них своего рода шорами от страха. Лишь когда мы снова вышли на палубу, после конца налета, и увидели разбитую в щепы шлюпку, изрешеченные пулями стены временной уборной и пожар на одном пароходе из нашего каравана, то наконец поняли, что тут происходило. И если бы немцы повторили налет, то нас, пожалуй, только пулеметами удалось бы снова загнать в трюм. Мы стали его бояться.

Корабли производят самое разное впечатление и пробуждают самые разные мысли. При всей своей уютности и механизированности сельдяной траулер часто казался мне похожим на сааремааскую лошадку с прогнутой спиной — маленькую, крепкую и сильную духом. «Арктика», одна из наших крупнейших сельдяных плавбаз, которую я долго разглядывал в Клайпедском порту, походила в своей огромности на большой рыбозавод, втиснутый стальной тупоносый корпус. Крошечные, словно бу- ги, люди на нем выглядели будто рабочие какой-то чли плавучего дока, как бы отрешенные от все- чествует за бортом.

Однажды июньской ночью 1955 года мы проплыли в Скагерраке мимо английской авиаматки, стоявшей на якоре. Длинная — больше трехсот метров — взлетно-посадочная палуба делала корабль сверху широким, словно пирог. Командная вышка, расположенная в дальнем от нас конце этого плавучего аэродрома, придавала асимметрию не только стальному прямоугольному полю, но и всему кораблю. Узкая стрела корпуса, прятая под широким пирогом, врезалась в воду, как нож. Корабль весь был обвешан моторками. Серый и темный, без единого огонька, он вглядывался во тьму и ощупывал нас своими спрятанными окулярами. В ночном спокойном море эта многотонная громадина казалась ненужной, враждебной и опасной. Нацеленная носом на восток, она снова напоминала о том, что война, окончившаяся в 1945 году, была не сном, а явью, и что на Западе кое-кто мечтает о ее повторении. Любой корабль в открытом море вызывает у людей оживление, пробуждает в них мысли о далеких берегах или об оставленном доме, но, проплывая в Скагерраке мимо этого авианосца, мы ощутили дыхание мертвецкой.

«Кооперацию» я знаю покамест плохо и не могу предвидеть, какие воспоминания о ней останутся у меня после плавания. Наверно, самые разные — и грустные, и веселые, и бурные, и спокойные. То, что происходит во мне, передается кораблю, а то, что происходит на корабле, передается мне. Сейчас длинные коридоры наполнены тишиной, спокойным светом расположенных рядами ламп — там тянется строй дверей и покачиваются в такт портьеры. Все дышит спокойствием и домашним теплом. Спокойствие может исчезнуть, но чувство дома останется.

Прежде чем послать «Кооперацию» в Антарктику, в Главсевморпути и в Академии наук долго спорили, достаточно ли пригоден и достаточно ли мощен этот корабль для такого плавания. Многие встали на отрицательную точку зрения. Но затем «Кооперация» совершила удачный рейс в сложных и трудных условиях Северного Ледовитого океана, и споры прекратились — выбор пал на нее.

«Кооперация» — небольшой корабль. При полном грузе ее водоизмещение равно 5560 тоннам. Длина судна 103 метра, ширина 14 метров. У нее имеются два турбомашины марки «Ман» в 1400 лошадиных сил каждая. Максимальная скорость судна (которой мы пока

и, наверно, не достигнем) — 11,6 мили в час. Кроме помещения для команды на «Кооперации» есть тридцать семь пассажирских кают общим числом на сто двадцать мест. Имеются четыре трюма. Рефрижераторные трюмы могут вместить больше тысячи тонн скоропортящихся продуктов. Рулевое управление и якорная лебедка приводятся в движение электричеством. На корабле имеется солидная радиоаппаратура, приемная и передаточная, гироскопы, радиолокатор. У него, что очень важно, крепкий корпус, выдерживающий давление льда. Конечно, две тысячи восьмьсот лошадиных сил — это для Южного Ледовитого океана маловато. И «Кооперация» отнюдь не современное молодое судно, она скорее — средних лет или даже пожилая.

Корабль построен в 1929 году на одной из ленинградских судостроительных верфей — тогда он относился к числу самых современных по конструкции. С 1929 по 1937 год он регулярно курсировал на линии Ленинград — Гавр — Лондон, перевозя пассажиров и грузы. Затем следует наиболее красочная и славная часть его биографии: в 1937 году «Кооперация» доставляла грузы республиканской Испании.

Впоследствии незримые нити прочно связывают ее с Севером и льдами. После перелета Валерия Чкалова через Северный полюс «Кооперация» привозит из Франции в Советский Союз самолет Чкалова. Когда через Северный полюс перелетал Владимир Коккинаки, «Кооперация» работала радиомаяком. Во время Великой Отечественной войны «Кооперация» входила в состав Северного военного флота и служила базой для торпедных катеров. В 1947—1948 годах судно возвращается к спокойной будничной жизни перевозчика пассажиров и грузов на линии Ленинград — Щецин.

В 1949—1952 годах усталый и потрепанный корабль стоял в Висмаре на капитальном ремонте. После ремонта «Кооперация» курсировала до 1954 года между портами Балтийского моря и Западной Европы. С 1954 года она работает в Арктике. По окончании Московского фестиваля молодежи она доставила на родину делегацию Исландии.

А в 1956 году «Кооперация» отвозила в Мирный вторую комплексную антарктическую экспедицию. Сейчас совершает второе плавание к шестому континенту.

✦ много кораблей, которым бы столько доверя-

Конечно, «Кооперация» могла бы быть побольше, просторней, помощнее, могла бы иметь дизели поновее, а скорость — выше. Словом, она могла бы быть моложе. Но опыт ее команды в шестьдесят человек, опыт ее капитана Анатолия Савельевича Янцелевича, ее испытанный во льдах корпус, неторопливое и спокойное вращение ее шеститонного винта — все это тоже чего-то стоит! Рядом с молодым и крепким человеком, который вечно торопится, вечно спешит, хорошо шагать лишь до тех пор, пока дорога легкая и приятная. Но лишь встретятся трудности и помехи, как он мрачнеет и падает духом. А наш корабль — многоопытный ходок, неторопливый, упорный и спокойный. На него можно положиться.

Сегодня делали стенгазету. В общем, ничего получилось. Народ здесь очень сговорчивый. Отыскались даже художники. Особенно помогли радист Борис Чернов, долго работавший на Севере и хорошо рисующий (к тому же хорошо пишущий на машинке, как все радисты), опытный полярный летчик Всеволод Иванович Фурдечкий, аэрологи Олег Торжуткин и Владимир Белов и будущий начальник складов Мирного Сергеев.

На корабле царит предпраздничное, приподнятое настроение. Пышут жаром уюги, стрекочут электрические бритвы. Завтра состоится торжественное собрание, праздничный обед и концерт самодеятельности.

Вечером я созвал актив стенгазеты — провели время весело и тихо. Так на корабле бывает почти всегда, если приходится выпивать одну или две бутылки коньяка втихомолку. Переборки кают тоненькие, и хотя соседи тут не мелочные и не придирчивые, шум им все-таки мешает, особенно поздно вечером. Я вспомнил Иванову ночь 1955 года в Северной Атлантике. Тогда мы сидели вдвоем с капитаном в его маленькой каюте и пели разные красивые песни, но так тихо, что едва слышали самих себя. Здесь так же — тихие голоса, глухое бульканье коньяка, наливаемого в стакан, шуршание яблок, перекачивающихся при ударе волны по бумаге на столе. Ла-Манш спокоен, ветер попутный, плеск моря за открытым окном едва-едва слышен...

Мир, в который я сегодня вечером попал впервые мир полярных исследователей и путешественников давящий своим одиночеством, снежными и своей, как говорят, редко встречающейся

шиной, воздействующей на людей прямо-таки физически, — этот мир теперь возник перед моими глазами уже благодаря не книгам Нансена, Бэрда, Шеклтона и Амундсена, а тихим рассказам живых людей.

Фурдецкий рассказал о своих полетах над Северным Ледовитым океаном, о том, как снабжались исследовательские станции «Северные полюсы». Вспомнил он и о нашем эстонском летчике Энделе Пуусэпе, которого знают и помнят все полярные летчики. У Фурдецкого лицо ученого, и обороты речи у него научные, но он умеет так живо описывать самолеты, воздушный океан, штормы, аварии, хорошие и плохие аэродромы, что видишь их воочию. Может быть, мне удастся полетать с ним в Антарктике. Второй летчик, Афонин, который, как и Фурдецкий, едет на Южный полюс впервые, уже с 1935 года полярник. Он был с вертолетом на «Северном полюсе-4». Как-то, когда мы играли с ним в домино, он показал на стол:

— Лыдина, на которой разместили «Северный полюс-4», была с этот стол. А когда мы с нее ушли, она была меньше этой кости.

У Афолина едкая усмешка, лицо изборождено морщинами, он приземистый и крепкий, ни грамма лишнего жира. Он напоминает мне капитана, чья судьба навела меня на мысль написать поэму «Сын бури». В нашей сравнительно молодой экспедиции он кажется спокойным, как Будда. Лишь когда он заговаривает о своих приключениях, его взгляд становится удивленным. Об исчезновении одной посадочной площадки в Северном Ледовитом океане Афонин рассказывал так:

— Отыскали хорошую лыдину, устроили хорошую посадочную площадку. А на другой день нет площадки — уплыла. Полетел я на вертолете искать ее и нахожу в шести километрах. На третий день она (несколько крепких слов о площадке) уже в двенадцати километрах. Последний раз нашел ее в сорока пяти километрах. И больше уже не находил. Черт ее знает, куда она делась...

И это «черт ее знает, куда она делась» опять его озадачило — на лице его выразилось удивление.

Гости ушли. Полночь уже позади, судовые часы показывают 1.00, таллинское время — четыре часа утра.

■ Ит. праздники уже начались. Я разбудил Васюкова, в продолжение нашего долгого сидения спал, чиста за пазухой, под караулом своего Гри-

ши. Он протер глаза, оглядел каюту, имевшую весьма разгромленный вид, и спросил:

— Что тут было? Полтавский бой?

Мы поздравили друг друга с праздником, вспомнили о своей родине, от которой мы уходим все дальше, и о своих близких.

«Корабли революции должны быть чистыми!» — говорит боцман из «Гибели эскадры». И я принимаюсь убирать каюту.

7 ноября
Ла-Мани

Сегодня на корабле очень торжественно. Пожимаем друг другу руки, желаем хороших праздников. Общество, собравшееся к завтраку в салоне, одето не хуже, чем публика на иной премьере. Все время поступают радиogramмы. Их раздает комендант экспедиции Голубенков. Его всегда окружает кольцо нетерпеливых людей. Хотя я знаю, что мне, вероятно, ничего сегодня не пришлют, однако держусь поближе к Голубенкову. Тут видишь, что значит хотя бы два словечка из дому.

Торжественное собрание экспедиции. Говорит первый помощник капитана Рябинин. Зачитываются радиogramмы с «Оби» — она впереди нас примерно на восемь тысяч миль, — из Мирного, из Главсевморпути, от академика Бардина и т. д.

В два часа — праздничный обед. На четыре человека выдается по бутылке водки и по бутылке грузинского вина. Пьем за нашу родину, за успех экспедиции, за здоровье «Кооперации» и ее капитана. Начальник рейса Александр Павлович Кибалин поднимает бокал за здоровье тех, кого мы любим, — за наших жен и невест. Аплодисменты, переходящие в овации. Все встают. После обеда настроение у всех приподнятое, но все это не выходит за рамки праздничного веселья. Народ здесь дисциплинированный.

В пять часов в музыкальном салоне начался концерт экспедиционной самодеятельности. Правда, молодой коллектив, созданный лишь несколько дней назад, не смог пока приготовить очень уж обширной программы. Но все номера исполнялись хорошо и еще лучше —

У меня есть свои любимые песни. ♪

судне в Атлантике по десять раз в день играли «Рябину»:

Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы...

И я всегда слушал ее с удовольствием. И здесь — та же «Рябина». Эта песня словно специально создана для кораблей дальнего плавания, долгой разлуки и скрываемой тоски по дому. Она грустная, красивая и задевает у всех нас почти одни и те же струны.

После концерта в салоне начались танцы. Среди шестидесяти членов экипажа всего семь или восемь женщин — поварихи, стюардессы, уборщицы. По случаю праздника они свободны. Все они в зеленых платьях форменного покроя. Их наперебой приглашают танцевать, окружают вниманием. Корабль покачивается, палуба временами накрывается градусов на десять, но это никого не смущает.

Вечером — кино.

В долгом плавании замечаешь, что молодежь или люди, впервые оказавшиеся вдали от берегов, начинают представлять себе землю, родину несколько иначе, чем на суше. Лицо земли как бы видится им отчетливее, его характерные черты становятся более резкими, над ним золотой дымкой парит возрастающая со временем и расстоянием нежность, с которой мы относимся к своему краю. Вот эта-то самая нежность, эта любовь суровых тружеников и определяет сегодня все наше настроение. Кроме того, выделяется и еще одна черта, обусловленная составом нашей экспедиции, где чуть ли не каждый — ученый или техник: гордость за свою отечественную науку. Тут отнюдь нет хвастливого пренебрежения к Западу, нет никакого «шапкозакидательства». Но есть твердое убеждение в том, что советской науке не приходится конфузиться ни перед кем в мире!

Мои мысли бродят по эстонским городам, дорогам, деревням и проливам. В уме складывается мозаика, составленная из разноцветных осколков: из людей, из их труда, их забот, их радостей и песен, из холмистых озерноглазых пейзажей Южной Эстонии, из каменистых равнин Северной Эстонии, из холодных серо-стальных проливов, из пылающих красок осеннего леса на островах. Возможно, я видел бы все это еще отчетливее, если бы у меня была карта, формирующаяся в моем сознании, не

была покрыта броней стертого поэтического словаря, в котором часто не найдешь ненависти к тому, что следует ненавидеть, и любви к тому, что следует любить, в котором нередко отсутствует чувство неоплатного долга перед своей родиной, своей страной и своим временем.

А из центра возникшей в сознании карты на меня смотрит продолговатый синий глаз Вьртс-озера. И я вспоминаю Уитмена:

Земля! Ты чего-то ждешь от меня?
Скажи, старина, чего же ты хочешь?

А старина отвечает:

Жду, чтоб мои сыновья изменили меня!

8 ноября 1957

Бискайский залив

Бискайский залив спокоен. Где-то впереди шторм, и позади шторм. А «Кооперация» плывет в зоне затишья. Конечно, мы идем не по середине залива, а по краю, который обрезается на западе Атлантическим океаном. Тихий, задумчивый день. Сегодня не работают. Все сидят по каютам маленькими группками, состоящими в большинстве случаев из людей одной специальности. У многих из этих групп состав уже стал устойчивым.

Днем светит солнце, на серой спине Бискайского залива появляются большие травянисто-зеленые пятна. Сегодня впервые встретили дельфинов. Их было шесть. Они около часа играли у носа, в волнах форштевня, ныряли, выскакивали и всячески забавляли нас. До чего ж они похожи на поросят!

Попадают не то чтобы несчастные, но серьезные лица. У тех людей, которые еще не получали радиogramм, появление коменданта Голубенкова вызывает известное оживление, но, если он не подходит к ним и не протягивает радиogramмы, наступает реакция: забытые мужья нервно курят, выходят из курительного салона на веранду, снова возвращаются с веранды в салон, отправляются ненадолго на пассажирскую

да поднимаются на шлюпочную и, наконец, взбираются на верхний мостик. Их руки совершенно им не подчиняются, словно у молодых актеров, впервые играющих неудачников. По-видимому, и я выгляжу не лучше — мне тоже нет радиограммы. К Голубенкову я не подхожу и ничего не спрашиваю, — он знает меня и сам пришел бы ко мне в каюту. Плакаться никому не хочется. Один из несчастных уже пробовал жаловаться на свою жену. Его утешили следующим образом:

— А ты как думаешь? По случаю праздника жена не иначе как загуляла где-нибудь, плясала до утра, теперь у нее на уме только кавалеры. Один раз вспомнит о тебе, а двадцать раз забудет. Чего ж ты нервничаешь?

Чехов где-то говорит, что если уж человек шуток не понимает, то пиши пропало. Этот товарищ не понял. Да и, по правде говоря, утешали его несколько сурово. Через полчаса я вышел на палубу. Бедняга стоял, облокотившись на поручни, смотрел на Бискайский залив и, наверно, ничего не видел.

В море надо уметь и посмеяться над самим собой, уметь хотя бы на время расправляться со своими заботами и черными мыслями. Без этого очень тяжело.

Васюкову, как раз когда у нас в каюте собралось несколько моих и его друзей, принесли радиограмму. Под нею была подпись: «Сыновья» (второму, младшему, шесть месяцев). Васюков принялся отплясывать на койке какой-то невероятный танец, выражавший наивысшую степень радости. Держа в левой руке радиограмму и показывая ее всем, он одновременно писал правой ответ. У него связь с землей железная.

Ветер к вечеру крепнет, «Кооперация» уже отвешивает глубокие поклоны Бискайскому заливу. Возвращаясь в очередной раз с палубы в каюту, увидел, как ветер, ворвавшийся в открытое окно, читает книгу Нансена «На лыжах через Гренландию». Ветер перелистывает страницы быстро-быстро, ни одной не пропуская и задерживаясь на секунду лишь на вклейках из меловой бумаги.

Вечера и ночи уже очень темные. Луны сегодня нет, всюду грозовые тучи. Гремит гром. Вспышки над Бискайским заливом хотя и далекие, но ослепительно яркие. Освещаемые волны кажутся черными, как антрацит.

В кое-где белеют гривы пенистых гребней.

В своеобразное явление природы — ночную радугу — привнесла с правого борта — на западе. Не та-

кая четкая, как дневная, она, однако, была хорошо видна на фоне черных облаков.

Вечером несколько человек собралось у капитана. Он устроил небольшой прием в честь праздника. Каюта капитана расположена выше остальных кают, качается она сильнее. Несколько тарелок разбилось. Разговор вертелся вокруг «Пингвинов». Бурханов большой спец по этой части. Выяснилось, что на испытаниях в море «Пингвины» выдерживали волнение в пять баллов. Капитан рассказал много интересного о «Кооперации», о ее рейсах, а особенно много о ее винте. Сейчас на судне поставлен стальной винт. Согласно теории, лишь стальной винт способен уцелеть в условиях Арктики и Антарктики. Многие, однако, сомневаются в этом. Прежний винт «Кооперации», бронзовый, плывет с нами в трюме. С ним мы делали бы на две мили в час больше.

Оказывается, винты — целая область специальной науки.

9 ноября

Атлантический океан

Где-то слева от нас Португалия.

Все пишут письма родным или друзьям. Завтра или послезавтра нам должна встретиться плавбаза «Казань». Если волна позволит передать на нее письма, она через несколько дней доставит почту в Одессу. Я тоже пишу.

Днем была лекция профессора Маркова об Антарктике. Состоялась она в музыкальном салоне, куда собралась чуть ли не вся экспедиция. Несколько данных об Антарктике:

Общая площадь — 14 100 тысяч квадратных километров материковой земли, куда следует отнести и 930 тысяч квадратных километров ледников. Средняя высота — 2200 метров (на других материках она равна 850 метрам). Эта необычайно большая высота обусловлена льдом, ледяной шапкой. До сих пор ученым еще не удалось как следует заглянуть под эту шапку, и что под ней находится — знают плохо¹. Огромная толщина льда создает давление громадного веса на каждый квадратный

¹ Третья экспедиция во время похода к Полюсу относительной доступности провела сейсмозондирование толщины льда — основные особенности в структуре подледного ложа

километр антарктического материка. Лед скрывает его от нас. Изю всех ледяных масс, ледяных ресурсов мира 86 процентов, а может быть, и больше приходится на Антарктику. Поистине шестой материк можно сравнить с женщиной в кринолине. Лед делает его более широким и высоким. Высота Южного полюса 2800 метров.

Карты Антарктики, даже новейшие, все еще неполны, неточны, и в них много ошибок.

По кораблю ходит из рук в руки книга Маркова «Путешествие в Антарктику». Ее надо обязательно прочесть.

11 ноября

Атлантический океан

Сегодня на траверзе Гибралтара с нами встретила «Казань». Погода была дивная, вода синяя-синяя и ослепительно сверкала на солнце. «Кооперация» и «Казань» приветствовали друг друга продолжительными гудками. Между нами всего лишь какой-нибудь кабельтов. На бортах обоих судов полно народу — лицо к лицу, плечо к плечу. Думаю, что на «Кооперации» по меньшей мере двести фотоаппаратов. Они щелкали без передышки. «Казань» — неплохой корабль. Не такой, конечно, как «Кооперация», — плавбаза все-таки. С «Кооперации» спустили шлюпку. На веслах — четверо матросов, за рулем — старпом, или, по нашей терминологии, первый штурман, — он должен передать письма. С высоты мостика шлюпка казалась маленьким белым жуком. А писем, в основном без марок, было около пятисот. Почте доход.

Вчера я думал о том, как поэтично и красиво можно описать встречу двух кораблей в океане.

Но все это останется ненаписанным, потому что я решил серьезно отнестись к своим кинооператорским задачам и, зарядив «Киев» новой кассетой, вышел на палубу.

Все кассеты — я пробовал и две свои и две чужие — заедали.

В какой-то книге мне попало выражение «пенистая злоба». Оно наилучшим образом характеризует мое состояние. Сочувственные взгляды, готовность всех прийти на помощь и дружеские советы приносили мне лишь мимолетное облегчение. Жаль, что эта техника не моя собственная! Глубина океана тут пять тысяч метров... вернулась, и ее подняли.

«Кооперация» пошла дальше своим курсом на юг, а «Казань» повернула прямо на восток, по направлению к Гибралтарскому проливу. Доброго пути!

Днем корабельный радиоузел сообщил, что сегодня вечером состоится торжественное открытие кинотеатра «Волна» — событие в своем роде историческое. Всех попросили принять в нем участие. Сегодня и впредь будут показываться лишь те фильмы, где много любви и мало крови.

Кинотеатр этот действительно своеобразен. Проекционный аппарат поставлен на шлюпочную палубу, а экран прикреплен к кормовой мачте. Зрители всюду — на спардеке, на трапах и у поручней, но главные счастливицы сидят на «Пингвинах». Это привилегированная публика, то есть водители «Пингвинов» и механики, те, кто не забывает об этих машинах и днем. Правда, их места расположены слишком близко от экрана, но зато они могут растянуться на брезенте и в скучных местах спать. А надо всем этим мягкая субтропическая ночь, по-негритянски черная. Когда «Кооперацию» качает, на небе колеблются большие и очень яркие звезды. Показывали египетский фильм «Любовь и слезы». В наиболее трогательных местах с «Пингвинов» доносились тихие вздохи.

12 ноября

Атлантический океан

Океан прямо-таки неправдоподобно, невероятно синий, интенсивно-синий. Не могу подыскать точного слова, чтоб определить эту синеву. При солнце на океан нельзя смотреть без защитных очков. Он слишком ярок.

Становится все теплей. Приближаемся к тропическому поясу.

Меня все время мучает, что я еще не пишу пьесу, мучает ощущение того, что я ничего не делаю, а если и делаю, так слишком мало. Глупое, угнетающее чувство. Дни уходят так быстро!.. До Кейптауна пока что не меньше двадцати дней. За это время надо хотя бы окончить второе действие, чему экваториальная жара, вгоняющая в пот, конечно, будет мало способствовать. Решаю приступить к работе 14 ноября. Я не такой чтобы приниматься за что-либо серьезное в пятницу еще тринадцатого.

Весь день плыли между Канарскими островами. Слева, правда, очень далеко, виднеется их гористый, высокий рельеф. Острова и вершины гор окутаны мягкой туманной дымкой. Даже самые сильные бинокли не помогают. Хотя я и вправе сказать, что видел Канарские острова, но виднелись они так же неразлично и смутно, как во сне. Скорость у нас жалкая, у «Кооперации» работает лишь один дизель. Делаем каких-то шесть миль в час. Если так пойдем и дальше, то сомнительно, чтобы мы к Новому году добрались до Мирного.

Дивная теплая погода. Каждый раз, как выхожу на палубу, меня поражает темная синева океана. Она такая ровная и чистая, словно выдумана поэтами. Для нас, детей серого моря, это живая сказка. Я могу смотреть на нее все те двадцать дней, в течение которых мы будем плыть по тропическому поясу. Хочу запомнить эту синеву навсегда. Ведь неизвестно, когда опять попаду сюда. Индийский океан, через который «Кооперация» поплывет обратно, наверно, представляет собой нечто другое.

Видели летающих рыб. В сумерках нас долго провожало миганье какого-то мощного маяка.

Самочувствие скверное. Каюта кажется клеткой, нет покоя и на палубе. Тяжело смотреть в глаза товарищам.

За последние годы я научился довольно легко переносить критику, но все еще по-прежнему донимает грызущее чувство вины из-за какой-нибудь незначительной с виду ошибки — по-прежнему падаю духом из-за недоброжелательного слова или хотя бы только интонации. Донимает меня чувство вины и сегодня. Я легкомысленно и бездумно подписал открытое письмо, адресованное в радиогазету. Подобные вещи со мной случались и прежде. В письме говорилось о воде — о воде для мытья.

Уже начиная с Бискайского залива у нас течет из краев соленая вода. От нее сохнет и дубеет кожа, щиплет глаза, а волосы становятся похожими на разлохматившийся смоляной канат. Мыло, которое мы взяли в Киле, не годится для мытья соленой водой. В Киле произошла какая-то путаница, и нам дали мыло, которое используют для дезинфицирования. Оно не мылится и противно чешет. Это вызвало протест у некоторых членов экспедиции в связи с чем и было в конце концов составлено мое письмо. Авторов я не знаю, но письмо под-

писал. И сразу понял, что это глупость. На корме резервуар с пресной водой — налей себе ведро, отнеси в каюту и мойся. Никто этого не запрещает — вода не лимитирована. Мне следовало бы знать, каков водяной режим на кораблях дальнего плавания. И наконец, я лишь временный участник экспедиции, мне не предстоит зимовать в Мирном или перебираться на «Обь» к морской экспедиции. У меня нет оснований высказывать те претензии, какие могут себе позволить члены экспедиции. Ко мне обратились явно потому, что я числюсь по списку корреспондентом «Правды».

А за всем этим кроется желание побывать в Дакаре.

14 ноября

Атлантический океан

Сегодня общее собрание экспедиции. Первым обсуждался вопрос о воде. Заход в Дакар, в котором мы не взяли бы на борт ничего, кроме воды (все остальное уже заказано в Кейптауне), обошелся бы в четыре тысячи золотых рублей. Много было разговору о письме. Из ста шестидесяти шести членов экспедиции его подписало лишь тридцать семь человек. Главным перлом была попавшая в письмо при редактировании фраза, которую громко прочел вслух Георгий Иванович Голышев, избранный на срок плавания до Мирного секретарем оргбюро партгруппы. Она звучала примерно так: «Тем самым командование корабля и руководство экспедиции берет на себя тяжелую ответственность за жизнь двухсот человек». Про такие фразы говорят, что их идейный вес чрезмерно велик.

Все разрешилось мирно. В Дакар мы не пошли. Но этого «послания тридцати семи» я не забуду до смерти.

Вторым вопросом было вино. На плавание в тропиках предусмотрено по триста граммов сухого вина в день на каждого. По-видимому, не всем было ясно, как быть: вычитать ли стоимость вина из денег, полагающихся на питание (в тропиках это шестнадцать рублей в день, от которых осталось бы только девять рублей), или покупать вино за свой счет. Расход в восемьдесят — сто рублей посилен каждому. Но обсуждение затянулось. Нашелся человек, который стал доказывать, что девять рублей ему хватит и что все остальные сто шестнадцать участников экспедиции — обжоры. Исход

(он выразился именно так), он желает, чтоб над его рационом был установлен специальный контроль и чтоб ему выдавали вино бесплатно. Всех развеселило это предложение, и его единодушно провалили, сопроводив громогласными и обстоятельными комментариями.

Где бы мы ни находились, куда бы ни плыли, всюду человек возит с собой основные свойства своего характера, в том числе жадность и мелочность. Но если бы на «Кооперации» плыли ангелы и боги, мне бы не было никакого смысла торчать здесь, несмотря на такое синее море и такое теплое солнце.

На носовых люках, на больших тракторных санях соорудили плавательный бассейн. Работа шла споро, с азартом, и бассейн, маленький, но глубокий, получился удачным. Выяснилось, что очень многие орудуют топором и пилой не хуже плотников. Особенные мастера на все руки — радисты. Лишь мои послания на эстонском языке они порой приносят из радиорубки назад, — несмотря на все мое старание писать поразборчивей, почерк мой плох и отдельные буквы непонятны.

Работает два кружка английского языка — для начинающих и для более подготовленных. К пьесе я еще не приступил. Слишком жарко. А главное — все не выходит из головы эта дурацкая подпись.

15 ноября

Атлантический океан

Сегодня в 5.40 под 17° западной долготы пересекли тропик Рака. Погода по-прежнему отличная. Бассейн полон народу, все кричат, толкаются, поднимают фонтаны брызг. Корабль начинает все больше походить на плавающий санаторий или дом отдыха. Расхаживаем по палубе в купальных трусах. У меня небольшой жар — слишком долго пробыл на солнце. Оно здесь коварное. Температура воды в бассейне 25—26 градусов, и купанье освежает лишь на минуту. Как только кожа обсохнет на солнце, она оказывается сплошь покрытой солью. Мне пришла в голову забавная мысль: с каким удовольствием всех этих людей на баке, которые разгуливают после купанья на солнце, лизали бы телята! Они ведь так любят соль.

Видели несколько дельфинов. Но нас больше интересуют летучие рыбы. Они в самом деле летают, как рыбы, своими распростертыми плавниками напо-

минают ласточек. И в их полете есть что-то от полета ласточек. Очень грациозны эти рыбки и красивы — на солнце переливаются их белые животы и темные спинки. Некоторые выпрыгивают из воды на два метра и пролетают, если судить на глаз, не меньше ста метров.

Работа не клеится. В каюте 30 градусов и ужасно душно. Открыв дверь и включив вентилятор, мы снизили температуру до 28, но чуть погодя она поднялась до 32 градусов. На палубе, конечно, еще жарче.

Море спокойное, волны нет. Голова немного кружится. С этим солнцем надо быть осторожным, а не то попадешь в руки к врачам, и тогда — прощай, бассейн, прощай, дельфины! Уж они, врачи, умеют устанавливать жесткий режим, все уши просверлят своими разговорами о разумном, по их мнению, питании, о вреде курения и об опасности солнца. Несколько дней назад корабельный врач заявил мне:

— Я сделаю вам прививки от холеры, оспы и чумы. Это очень полезно.

Стараюсь держаться от него на почтительном расстоянии.

16 ноября

Атлантический океан

Не верится, что сегодня 16 ноября. Самое настоящее, устойчивое и, как кажется, вечное лето. Волны нет — поезд и то больше качает, чем наш корабль. Порой совершенно пропадает чувство времени и пространства, — кажется, что ты где-то в Эстонии в самый жаркий июльский день. Нежный ветерок, над головой безоблачное небо. Я настолько освоился с каютой, словно она всегда была моим кабинетом. Конечно, я еще постигну то чувство, которое преследовало Джозефа Конрада и которое он называл «каютобоязнью», но пока что до этого еще тысяча миль. Лишь когда задумаюсь, понимаю вдруг, что я в океане, что мы приближаемся к экватору и что по ночам на нас уже смотрят чужие звезды. «Кооперация» идет с приличной скоростью, покрываем за день больше двухсот сорока миль. Работают оба судовых дизеля, это две тысячи восемьсот лошадиных сил. и наша скорость равна одиннадцати милям в час. Пр-но чувствовать под ногами могучее биение

Очень много летучих рыб. Дважды попал

финьи стаи. В каждой по несколько десятков дельфинов. Они носятся перед самым кораблем, в волнах форштевня, выскакивают из воды, ныряют, поворачиваются на бок. Палуба полна зрителей, наиболее удачные прыжки пытаемся фотографировать. Всех нас поражает то, что дельфины, плывя перед нами с двадцатикилометровой скоростью, двигаются так, словно кто-то их тянет за невидимую нитку. Словно где-то раньше им дали толчок, и они мчатся только по инерции. Чудесные создания! Сколько разнообразия, сколько радости от них!

Самое оживленное место на корабле — бассейн. Здесь круглый день бесплатный цирк. В соленой воде, доходящей до груди, идет война всех против всех. Здесь борются, применяя самые классические обманы, топят друг друга, щекочут пятки. И если иной блаженный зритель, загорающий на краю бассейна и хохочущий во всю глотку, зазевавшись, то от чьего-нибудь нежданного толчка он может слететь в воду вниз головой. Лишь ранним утром здесь не таклюдно.

Днем состоялась лекция кандидата наук Голышева: «Исследование верхних слоев атмосферы с помощью ракет». Интересная лекция. После нее на лектора градом посыпались вопросы.

Просидел несколько часов над пьесой, переписал начало первого действия. В тропиках все же тяжело работать. Занялся подготовкой нового номера стенгазеты. Достать материал очень трудно. Начинаешь агитировать человека серьезно и деловито, а он тебя — бух в бассейн! А потом спрашивает:

— Ведь так оно лучше, Юхан Юрьевич? Что за дурак станет писать в такую жару? Пошли дельфинов смотреть.

Следующий номер должен выйти ко «дню Нептуна», то есть к тому дню, когда мы пересечем экватор.

*18 ноября
Атлантический океан*

Сегодня нам сообщили о прибытии «Оби» в Мирный.

Жара. Я уже десять раз побывал в бассейне и чувствую себя похожим на кильку в рассоле. Весь день во рту жгуче-соленый вкус морской воды. Как ни странно, это спасает от жажды. Влажность воздуха очень велика.

Чемоданы, туфли и даже перчатки в кармане ватника покрыты белым налетом.

Опять пытался взяться за пьесу. Не выходит. На бумаге образуется какая-то смесь из пота и чернил. Так же было и вчера. И еще насморк — он всегда появляется у меня в самое жаркое время года, а не в ту пору, когда чихают все порядочные люди. Папиросы сырые, вернее — мокрые. Приходится при курении сосать их из всех сил, отчего щеки западают, как у дистрофика.

Хорошо помогает сухое вино, смешанное с водой. Повсюду — на палубе, на баке, у шлюпок и в бассейне — раздается новомодное словечко «тонус». Когда говорят: «Пойдем поднимем тонус», — это значит, что тебя приглашают в каюту выпить вина. Многие не любят сухого вина из-за того, что оно слабое и кислое. Поэтому у тех, кто его любит, имеются дополнительные ресурсы. Все время из иллюминаторов летят в воду пустые бутылки. Начиная с того места, где скрещиваются тропик Рака и 17-й западный меридиан, путь «Кооперации» отмечают плавающие по океану бутылки, которые содержали в себе когда-то грузинское вино № 23.

Сегодня в 12.00 под 10°04' северной широты и 17°09' западной долготы «Кооперация» по-прежнему покрывает в час десять с половиной — одиннадцать миль. Это неплохо. Приближение экватора ощущается в воздухе. Церемония морского крещения обещает быть интересной. В коридоре рядом со мной промелькнул некий современный король Лир — красная мантия, длинная борода из мочалки, корона, ключ от экватора и серебряный щит. Не знаю, откуда он появился и куда исчез. Лишь немногие посвящены в тайны предстоящей церемонии.

По радио все время передаются какие-то сообщения. Или, точнее говоря, распоряжения и запрещения. Не было еще ни одного сообщения, которое что-нибудь разрешало бы. Нельзя курить на всех палубах, кроме шлюпочной, специально для этого отведенной; нельзя курить на койке, нельзя бросать окурки за борт — ветром их может принести назад, а пожар на корабле, особенно если у него такой груз, как у «Кооперации», — самая опасная вещь; нельзя ходить по служебным помещениям без рубашки; нельзя появляться на баке раздетым; нельзя выносить на палубу постельное белье — преступивших эту заповедь грозят оставить до Мирного без простынь. Но наиболее суровая борьба ведется с неудержимым стре-

млением ходить нагишом. Ведь на корабле есть женщины.

Получил для стенгазеты серию карикатур, изображающих эволюцию в одежде участников экспедиции.

Первая. После отплытия из Калининграда на палубе сидит в плетеном кресле печальная личность. На ней ватник, капюшон натянут на нос, на ногах унты, руки в меховых рукавицах. Даже по спине человека видно, что он страдает морской болезнью.

Вторая. Ла-Манш. Та же фигура с фотоаппаратом на шее, в легком, даже щегольском наряде.

Третья. Субтропики. Тут уж мужские телесные красоты более на виду — человек в одних трусиках.

Четвертая. Тропики. Голый человек вешает на ванты сушиться купальные трусы. Это все та же фигура, что и на предыдущих рисунках, но ее сложение изменилось. Ноги вдруг оказались очень кривыми и тощими, живот — словно тыква. Если не считать этого неожиданного искривления ног, вся серия очень точно подметила одну из черт тропических будней «Кооперации». С некоторыми людьми действительно произошла подобная эволюция.

Научная работа, которая велась в умеренном климате весьма энергично и которая после тропиков снова оживет, несколько замерла. На палубе можно сыграть в домино и в карты с кандидатами наук. И в то и в другое играют с большим азартом, принимают всерьез и победу, и поражение. Это касается и меня — выигрыш поднимает настроение.

Вечером была гроза, потом шел дождь. Во время киносеанса вдали непрерывно сверкали ослепительные молнии. Звезд не было. Лишь с правого борта, на западе, мерцала большая звезда. Она такая яркая, что больно смотреть. Это Венера.

19 ноября

Атлантический океан

В 12.00 координатами «Кооперации» были 7°11' северной широты и 15°12' западной долготы. Мы все с такой же хорошей скоростью приближаемся к экватору и в то же время сильно отклоняемся на восток.

Где-то за сверкающей водой — Либерия. Но до Кейптауна мы так и не увидим африканского материка, тех

берегов, которые видел во сне хемингуэзевский старик, берегов с резвящимися львами и сверкающими песками.

Радисты образуют, вероятно, самый железный коллектив на «Кооперации». Почти все они работали на Севере за Полярным кругом. Все они знают друг друга, у них особая профессиональная дружба. Борис Чернов, проработавший на Севере одиннадцать лет, впервые за долгое время видит здесь теплое лето. Другие тоже. Мир был обращен к ним той своей стороной, о которой у многих из нас чрезмерно романтическое представление. На самом деле она не так привлекательна. Радисты хорошо знают летчиков, со всеми ними они держали когда-то радиосвязь.

Пишу эти строки в музыкальном салоне. Делается новая стенгазета. Мои хорошие друзья Чернов и Фурдечский склонились над большим листом ватмана и пишут заголовки. У другого листа трудятся аэрологи Торжуткин и Белов. Тут же сидит и магнитолог Гончаров, один из наших лучших и активнейших помощников. У него уже отличные отношения с командой, и он добывает нам карикатуры.

Затем в салоне состоялась генеральная репетиция нептуновских торжеств. Нептун сидит в кресле, словно король на троне, а рядом с ним его свита — морские черти (эти пока без костюмов — к празднику их, очевидно, облачат в синие набедренные повязки). Решено, что чертей будет пятнадцать. Желающих больше. Но в черти больше не берут. Кроме того, какой-то находчивый человек распространил слух, что чертей, как некрещенных, лишат их нормы вина. Это значительно ослабило натиск добровольцев.

Здесь же и доктор Шлейфер, стоматолог, и Борис Галкин, написавший сценарий торжеств — сплошь в стихах, — а также разные наблюдатели вроде меня. Я немного страшусь 21-го числа: в этот день мне предстоит оказаться лицом к лицу с его величеством Нептуном, сопровождаемым морскими чертями и ассистентами.

20 ноября

Атлантический океан

Прохладный день. Сильный встречный ветер. Днем шел дождь. Не тропический, не проливной, а теплый, мелкий и мгlistый. Горизонт вокруг «Кооперации» су-

зился. Стояли на палубе в купальных трусах и мылись дождевой водой. К сожалению, дождь кончился так же неожиданно, как и начался, и теперь у меня все волосы в мыле.

В двенадцать дня нашими координатами были 3°47' северной широты и 12°50' западной долготы. Берег Африки отодвигается все дальше, между ним и нами — дуга Гвинейского залива.

Весь день на корабле проводятся закрытые собрания, на которых обсуждается церемониал нептуновских торжеств. Мы по-прежнему занимаемся стенгазетой. Я уважаю первого помощника капитана Рябинина, но именно из-за него у нас возникают в редакционной работе трудности. Стенгазета — орган команды корабля и экспедиции. Благодаря первому помощнику дружеская критика разрешена только по адресу участников экспедиции. О корабле нельзя проронить ни словечка. Между Рябиным и редколлегией произошел долгий спор. Подпись под одной из наших карикатур гласит: «Женский час на дизель-электроходе «Кооперация». Речь идет о послеобеденном времени с двух до трех часов, когда бассейн предоставляется женщинам. Все остальные должны покидать его к этому сроку. И покидают, но в последнюю минуту. Карикатура изображает, как на баке в купальных костюмах появляются женщины, а мужчины сломя голову убираются из бассейна.

Рябинин. Это оскорбление женщин.

Фурдецкий. Не вижу никакого оскорбления.

Рябинин. Сочините другую подпись, которая сделала бы содержание карикатуры абсолютно ясным.

Белов. Подпишем: «Восьмое марта в миниатюре»

Рябинин. Не годится. Политически неверно.

Чернов (*после обстоятельного изучения карикатуры, мне вполголоса*). Юхан Юрьевич, на карикатуре десять задниц.

Фурдецкий (*украдкой взглянув на карикатуру*). Помоему, девять.

Один из членов редколлегии (*тихо*). Накрылся этот номер...

На карикатуре и в самом деле из бассейна выскакивают десять мужчин.

Я (*тихо, за спиной Рябинина*). Но они же не могут оставаться в бассейне.

Один из членов редколлегии. Товарищ Рябинин, в газете десяток...

Второй из членов редколлегии. Тссс!

Рябинин. Что в стенгазете?

Один из членов редколлегии. Хорошая, говорю, стенгазета: ее десятки прочтут.

Постепенно мы достигаем соглашения с Рябининым и меняем только одно слово. Он по сути хороший, сердечный человек, но ему, как и всем нам, очень дорога честь корабля. Потому он и стоит всеми силами на защите морали.

Очень трудно быть ответственным работником, особенно в тропиках.

21 ноября

После пересечения экватора

Сегодня в 16.28 пересекли экватор под 10°04' западной долготы. И сейчас, чернильно-черной тропической ночью, уже в нескольких десятках миль к югу от экватора, в моей голове гудят все колокола таллинских церквей и бьют мощные трубы органов. Меня окрестили, наградили дипломом и на двадцать тысяч морских миль обручили с соленым океаном, пока что теплым, а в будущем ледяным. Эти двадцать тысяч миль мы проплывем самое малое за три или за три с половиной месяца.

Вопрос о том, будут ли они моими последними милями или нет, остается открытым. Я знаю, что на обратном пути в Таллин моя страсть к путешествиям может превратиться в пепел и клочья. Я знаю, что глаза к тому времени уже устанут смотреть на бесконечный водный простор, синий или серый, что я буду сыт монотонностью моря по горло, что мои чувства уже не смогут воспринимать эти порядком однообразные впечатления и захотят чего-то иного. К счастью, у меня нет иллюзий относительно моря.

В самом деле, в океане начинаешь порой принимать всерьез мрачное утверждение Анахарсиса, жившего за шестьсот лет до нашей эры: «Люди бывают трех родов: те, кто живы, те, кто мертвы, и те, кто плавает в море». Нигде — разве что кроме тюрьмы — человека не преследуют так неотступно чуждые ему тени, свои бывшие ошибки и людская неверность, подлинная или мнимая. Надо иметь много силы, чтобы в тяжелые дни взгляд, обращенный внутрь, не цеплялся с болезненной страстью за все мрачное и не выуживал бы его на поверхность,

пытаясь утопить все остальное под серыми, тяжелыми волнами. Те двери в нашей душе, что ведут в ночь, изрядно расшатываются в море. Есть такие двери и во мне. Я знаю, что ураган не так страшен, как то, что бушует в нас самих, расшатывая даже то, во что твердо верили на земле. Мария Ундер пишет:

Платком я взмахну и — в дорогу.
Надежда — как водопад:
Вода сорвалась с порога,
И нет уж пути назад.

У скольких из нас в печальный, ненастный день вера и надежда уподобляются этой сорвавшейся с порога воде! И, глядя на море, мы словно прислушиваемся к водопаду, и взгляд у нас как у старых ожесточившихся людей. Такие дни бывали и будут еще. Что делать? Если бы не было *работы*, задания, обязанности, если бы не было веселья, юмора, иронии над самим собой и хороших людей, если бы не было *стремления к знанию*, то для человека с таким слабым характером, как у меня, все это могло бы стать опасным. Нансен превосходно сказал: «Человек стремится к знанию, и, как только в нем угасает жажда знания, он перестает быть человеком». Очевидно, главным образом, от того, сколько мы платим или готовы заплатить за счастье или чувство удовлетворения, и зависит, насколько они велики. Но жадность к счастью у людей неодинакова. Одни платят за чувство удовлетворения дешево, другие дорого.

Полярные исследователи, все без исключения, платят дорого. Вся история изучения Арктики и Антарктики — это история достижений, оплаченных огромными усилиями, страданиями и порой гибелью людей. Борис Чернов, работавший радистом на острове Диксон, так охарактеризовал условия работы в Заполярье и свое тамошнее положение: «Одиннадцать лет я никакой жизни не видел».

И вот теперь, на двенадцатом году, он плывет в Мирный. И все эти люди подчиняются не только приказу, но и чему-то иному, более важному, более существенному.

Я совершил три неудачные попытки попасть в антарктические воды. В 1950 году я пытался получить командировку на китобойную флотилию «Слава». В 1953 году добивался того же. В 1956 году хотел поехать в Антарктику на танкере. И вот теперь, в 1957 году, я плыву

к Южному полюсу. Предоставлением такой возможности я крайне обязан главному редактору «Правды» Сатюкову.

Но зарождение этого желания относится к гораздо более раннему времени — к 1948 году, когда я впервые прочел книгу Бэрда «Полет на Южный полюс». Как тогда, так и теперь меня интересует прежде всего море и жизнь корабля, сам корабль. С ними тесно связана моя будущая работа — таковы у меня, во всяком случае, планы. Рейс, который мы совершаем, даст достаточно хорошее представление о морях и океанах, он достаточно продолжителен, чтобы в воспоминаниях и впечатлениях случайное успело свестись к минимуму. Мы увидели и увидим Северную и Южную Атлантику, субтропики, тропики, «ревушие сороковые» широты (по данным метеорологов, там уже с неделю неистовствуют сильные штормы), Антарктический Ледовитый океан... На обратном пути мы увидим Индийский океан, Красное, Средиземное и Черное моря. Длина нашего морского пути будет почти равна длине пути вокруг земного шара. Если не считать Средиземного моря, мы сделаем петлю вокруг Африки. У меня концы этой петли сомкнутся в Таллине.

Не думаю, что после рейса я опять затоскую по морю. Но пройдет полгода, год, может быть, полтора, и я снова взберусь по трапу со своими чемоданами и предъявлю свои бумаги. А потом где-нибудь у Нордкапа или Курильских островов буду обвинять себя, как прокурор: «Какой дьявол погнал тебя сюда? Неужто не смог выдумать ничего лучшего? Вертится, как уж на сковородке!» И будут принесены новые клятвы: отныне я всеми десятью пальцами вцеплюсь в землю, отныне я обеими руками буду держаться за свою любимую!

А если я нарушу эти клятвы, так только потому, что в море выпадают дни вроде сегодняшнего, праздничные, чудесные, незабываемые.

Ну и ночь! Теплая и такая темная — лишь несколько одиноких звезд. Не могу подыскать для нее другого слова, как «всепоглощающая». За бортами «Кооперации» плещет вода. Васюков спит сном праведника. А из коридора доносится веселый, пьяноватый бас Нептуна, уже скинувшего свои одеяния:

— Дети мои!

Еще до крестин, в три часа, по радио сообщили, что всем впервые пересекающим экватор следует в 16.00 явиться на бак. Очки и часы оставить в каюте. Фотоаппараты взять с собой. Надеть все летнее и нарядное.

Погода на диво хороша: слегка прохладный, самый приятный ветерок и солнце. Перед бассейном выстроена эстрада, на которой должны расположиться руководители церемонии, главные шишки. Через бассейн проложен качающийся дощатый мостик. На другом краю бассейна стоит большая бочка, покрытая марлей, — в бочке вино, предназначенное для крестников. Разглядеть остальные подробности трудно — фотоболельщики заняли самые лучшие места. Они даже висят на передней мачте и на вантах. Я попытался было наладить «Киев»... Но не будем больше о нем говорить.

В четыре часа на палубе появились удивительные рожи — все они пробирались к баку. Оркестранты — то есть гидролог Извеков, метеоролог Лободин, радист Сулин и аэролог Маевский, все размалеванные и в масках, — заиграли церемониальный марш. Впереди всех шагал главный черт — геофизик Губанов, весь изукрашенный всяческими греховными фигурами. На голове у него рога, на лице — сатанинское выражение. А следом за ним шествовал Нептун в своей красной царской мантии, усеянной звездами, в короне и с бородой до пояса, — словом, очень импозантная фигура. Это один из наших старейших, а может быть, и старейший полярник Иван Моисеевич Кузнецов. В первой антарктической экспедиции он был каюром, сейчас едет механиком. Семья Кузнецовых хорошо известна среди полярников — как Иван, так и его братья Федор и Григорий. Они потомственные поморы и уже десятки лет живут за Полярным кругом. По всему видно, что Иван Кузнецов силач. У него округлая рыжая борода, большое обветренное лицо, синие глаза, могучий нос, уже лысеющая голова и плечи вдвое шире моих. Для Нептуна он подходит отлично.

За Нептуном следует протоколист с огромными фанерками под мышкой, затем лекарь — доктор Шлейфер, а позади всех — черти попроще и прочие деятели. Это было впечатляющее зрелище, когда все начальство расположилось на эстраде, а черти с размалеванными мордами и телами влезли на край бассейна и принялись кроважно плясать на всех нас, стоявших на баке. Их мускулистые руки не сулили нам никакой пощады.

Затем Нептун произнес:

Что привело вас на экватор?
Вы из каких идете стран?
И где здесь славный ресторатор
И этот самый... капитан?

Оркестр начал играть песенку о капитане из «Детей капитана Гранта». И под ее звуки в сопровождении помощников и в полной парадной форме появился капитан «Кооперации» Янцелевич, который обратился с приветственной речью к царю морей, защитнику судов, повелителю бурь и самодержцу крабов, раков, русалок и прочей морской живности. Капитан сказал, что мы рады встрече, что мы плывем в Антарктику и везем туда всевозможное снаряжение. Пропустите, мол, через экватор — будет его величеству Нептуну от ресторатора водка, а от остальных почет и уважение. Тут Нептуну подали большой бокал, который он и осушил. О качестве водки он не сказал ничего худого, но протоколист прошипел с крайне недовольной миной, что руководство экспедиции слишком все экономит и даже везет с собой в Антарктику бухгалтера. Тем не менее Нептун, произнеся соответствующие слова, передал капитану золотой ключ от экватора длиной больше метра, а капитан предъявил Нептуну судовые документы. Все это время черти вертели головами и выискивали среди нас свою первую жертву.

Вдруг все — и капитан, и Нептун, и черти — отступили на второй план. Под грустную мелодию появилась Морская дева, которую изображал радист Яковлев. Она была в сделанных из тельняшки узких полосатых штанах, доходящих до икр, в развевающемся платье из марли, с длинными золотыми волосами, с ватной грудью и пышными бедрами. Держалась она грациозно. В движениях рук была мольба и ласка. Дева пыталась показать себя в наилучшем свете. Но лицо ее недвусмысленно говорило о том, какие безнравственные вещи творятся за спиной у Нептуна. Щеки Морской девы были нарумянены, под глазами темнела синева от ночных кутежей. И Нептун, к которому она сразу же полезла целоваться, отпрянул назад. Печать любви украсила щеку Огорокова, четвертого помощника капитана. Затем Морская дева произнесла тонким голосом речь, идея которой заключалась в том, что матросы и участники экспедиции, уставшие от долгого плавания, могут провести два-три дня у ее сестер, а потом, если захочется, вернуться на корабль. Речь сопровождалась красноречивой и вполне недвусмысленной игрой глаз. Оркестр заиграл танец из

фильма «Господин 420». И Морская дева начала танцевать под эту музыку, сперва среди чертей, потом на мостике, перекинутом через бассейн. Танец был столь же выразительным, как и лицо девы, как ее развевающееся платье и полосатые штаны, как движения ее рук и показывание бедрами. Много таинственного еще скрывается в водах океанов.

Появились ученые мужи. Они пожаловались на то, что «Кооперация» порой тащится слишком медленно, что, не избрав из ученой среды ни одного черта, их дискредитировали, из-за чего они слишком попали под власть бесов, что они мечтают о ледовом материке, но, поскольку тот далек, их мысли перекинулись на валюту. Представители науки сообщили, что ими на борту «Кооперации» написана диссертация и что они просят разрешения преподнести оную его величеству Нептуну. Нептун почтительно принял диссертацию, раскрыл ее и обнаружил под обложкой бутылку, завернутую в паклю. Попробовал — вода, и за борт! Тогда придворный врач Нептуна, доктор Айболит, принялся осматривать представителей науки. Пока длился медосмотр, исполнялся похоронный марш. Доктор нашел, что у мужей науки все не в порядке, и прописал им купание в бассейне. Под звуки «Калинки» наука полетела в бассейн. — головой вниз, ногами вверх. Черти отнеслись к своей задаче с полной серьезностью: крестины так крестины!

Оркестр заиграл «Трех танкистов». Появились представители транспорта. Они рассказали о «Пингвинах» и преподнесли Нептуну в подарок бутылку смазочного масла. Один из чертей, личный дегустатор Нептуна, попробовал его и скривил страшную рожу. Бутылку — за борт, службу транспорта — в бассейн.

Оркестр заиграл «Мы, друзья, перелетные птицы». Появились Фурдецкий и Афонин — в черной нарядной форме, в белых сорочках со строгими черными галстуками, в начищенных туфлях. Они представились Нептуну, рассказали ему о летчиках, а потом попытались дать взятку — в виде бутылки, разумеется. Нептун оскорбился, и проворные черти тут же отправили летчиков в воду во всем их параде. Долговязый Фурдецкий, ростом больше шести футов, прежде чем плюхнуться в воду, сделал в воздухе полуторное сальто. Над бассейном мелькнули его желтые сандалии. А маленького по сравнению с ним Афонина черти швырнули так энергично, что тот завертелся над водой кубарем.

Снова зазвучала «Калинка». Все черти пустились под нее в пляс — их набедренные повязки развевались, их ботинки выделяли невероятные кренделя. А потом началось поголовное крещение. Черти врывались в толпу зрителей, хватали их за руки и за ноги, и люди летели в бассейн — кто головой, кто брюхом, кто спиной вперед. Только с женщинами обходились деликатно. Я угодил в руки довольно свирепых чертей и благодарил судьбу за то, что бассейн у нас глубокий. Взлететь вверх и с высоты в два метра шлепнуться в воду — уж тут потом пофыркаешь.

Мы выползли на другую сторону бассейна, а там стояла на диво прекрасная Морская дева, которая подносила каждому крещеному большую поварешку вина из бочки.

Палуба выглядела презабавно. С десятков людей, вполне или почти вполне одетых, текла вода, а сами они отдувались. Черти с «Кооперации» делали свое дело на совесть. Когда народу стало мало, они пошли искать укрывающихся. Судьба последних была плачевной. Я видел, как шестеро чертей волокли какого-то дезертира, — по отсутствию туфли на одной ноге и по другим признакам можно было догадаться, что с чертями шутки плохи.

Вечером был торжественный ужин. С вином. Затем капитан выдал дипломы.

Конец — делу венец. А венцом сегодняшнего дня был праздник Нептуна и его чертей в музыкальном салоне. В жизни не видел ничего столь дикого, столь безумно веселого, столь безудержного и столь дьявольского в самом серьезном смысле этого слова. Чертям и некоторым гостям главный черт поднес теплой прозрачной жидкости и по куску хлеба с огурцом и грибами. Напиток оказался разведенным спиртом, причем гримасы гостей и слезы на глазах показывали, что разводился он скорей для приличия. Произносились тосты, отличавшиеся своей краткостью, сочностью и ясностью мысли. Черти пели. Черти отплясывали русские пляски, гармонисты играли все в более быстром и быстром темпе, руки плясунов мотались, а за ногами уже нельзя было уследить. Салон был полон веселых молодых парней, ни одному из которых не стоялось на месте. И весь этот шум перекрывал отеческий голос Нептуна:

— Дети мои!

Винт «Кооперации» делает сто тридцать оборотов

в минуту, сто тридцать раз в минуту корабль пронизывается слабым толчком, но во время праздника чертей корабль сотрясало куда сильнее и чаще.

22 ноября

Атлантический океан

Встретились с «Товарищем», учебным кораблем Одесского мореходного училища. Чтобы не разминуться с ним, «Кооперация» уклонилась на несколько миль к западу от той кривой, которой обозначен наш путь от Ла-Манша до Кейптауна. «Товарищ» совершает дальнейшее плавание. Он побывал в индийских портах, в Джакарте и в Кейптауне. Последняя стоянка до встречи с нами у него была на острове Святой Елены. В родной порт он прибудет в феврале. Писем с ним мы не отправили: обычным путем из Кейптауна они дойдут скорее.

У «Товарища» на передней и центральной мачте прямые паруса, а на задней — гафельные. В том, как белели вдали на синем фоне океана эти паруса, освещенные солнцем, как он, казавшийся очень высоким, шел к нам, было столько напоминавшего мне о несбывшихся мечтах моего детства! Между прочим, это первый большой парусник, который мы встретили за все плавание. Мало их осталось. И когда встретишь один настоящий, то это впечатляет так же, как если бы в наш музыкальный салон вошел лорд Байрон.

Мы обменялись кинофильмами. Суда стояли рядом, и к небу как с «Товарища», так и с «Кооперации» взлетали мощные «ура». Но тут ветер и волны подогнали к нам «Товарища» слишком близко, и курсанты ретировались с бушприта, который уже покачивался над «Пингвинами». С угрожающей медлительностью бушприт мотался от люка к люку, скребя сверху по борту «Кооперации», — корпуса кораблей составляли огромное «Т». Затем бушприт добрался до самого высокого места кормовой палубы — и полетели щепки. «Товарищ» учинил у нас на корме изрядный беспорядок, одна из наших спасательных шлюпок нуждается в серьезном ремонте. Выражение «столкнуться нос к носу» в применении к кораблям перестает быть шутливым. Для них это дело серьезное.

Встреча с «Товарищем» вновь пробудила во мне одну

мысль, которую я подспудно вынашиваю уже давно. А именно: мысль написать пьесу об одном из самых своеобразных и колоритных людей в истории эстонских мореплавателей, о Михкеле Ууэтоа, об этом «диком капитане», известном нашим отцам под именем Йынния с острова Кихну. Независимо от того, кто эту пьесу напишет, она, по-моему, должна быть песенным зрелищем. Но прежде чем приступить к ней, надо хоть немного поплавать на паруснике. Лучше всего для этого подходит «Вега», учебный корабль Таллинской мореходной школы. Следует взять с собой в плавание режиссера Пансо и декоратора.

Расставшись с «Товарищем», мы взяли курс на юг. Вечером была лекция Бурханова о роли наземного транспорта в работах третьей экспедиции. Проблема эта крайне сложная. Одним из наиболее трудноразрешимых вопросов был для конструкторов вопрос о том, как избежать падения мощности моторов на высоте в четыре тысячи метров и более, да еще при семидесяти — восьмидесятиградусном морозе. Тот же вопрос стоит перед летчиками, особенно в отношении старта. У нас есть большой опыт двух предыдущих экспедиций, но «Пингвины» — это новые машины, и они едут в Антарктику впервые. Они вышли из заводского цеха незадолго до отплытия «Кооперации», и их истинные, практические достоинства будут определены только в Антарктике. «Пингвин» является детищем двух заводов — Ленинградского имени Кирова и Волгоградского тракторного, и по всем данным машина получилась очень удачной. У нее закрытая кабина, отличная теплоизоляция, в ней даже при самых низких температурах, возможных в природных условиях, могут жить и работать пять человек. «Пингвин» располагает компасом и радиопередатчиком. Мощность мотора 240 лошадиных сил, то есть на тонну веса приходится по 15 сил, так как «Пингвин» весит 16 тонн. По-видимому, предстоит еще испытать в условиях Антарктики его пригодность в качестве амфибии, но на больших высотах и при очень низких температурах он должен показать себя с наилучшей стороны.

После лекции мы разбились на группы, и водители «Пингвинов» познакомили нас со своими машинами.

Написал полстраницы пьесы. Смешно, но времени не хватает. После того как кончаю вечером писать дневник, «раздирает рот зевота шире Мексиканского залива».

И я засыпаю. Тем самым еще раз подтверждается тот факт, что эстонские писатели умеют спать на любой широте.

24 ноября

Атлантический океан

Утром были на траверзе устья Конго. Погода туманная, свежо, ветер пять баллов. По-прежнему читаю книгу Маркова. Вечером показывали «Карнавальную ночь». Это на самом деле хорошая кинокомедия. А в море люди особенно любят веселое.

Уже несколько вечеров выискиваю для себя удобное место на время сеанса. Сегодня нашел. Это — спасательная шлюпка № 5 на корме. Здесь гуляет ветер, здесь над головой ночное небо, здесь у тебя такое чувство, будто ты один. Со шлюпки видишь глянцево-черный океан.

Не могу заснуть. Кто-то на палубе с отчаянием и фальшью распевает цыганские романсы, песни Ива Монтана и «Шумел камыш». Певец раздобыл в музыкальном салоне гитару, благодаря чему его выступление превратилось в настоящую пытку.

В соседней каюте тоже не спят, хотя уже за полночь, а на корабле встают в семь утра. Но никто из нас не вмешивается. У товарища день рождения. Пусть хотя бы поет! И грустен не только голос певца. Грустны и мои мысли.

26 ноября

Атлантический океан

В 12.00 нашими координатами были 12°44' южной широты и 2°20' западной долготы. Быстро приближаемся к нулевому меридиану. На востоке, в сотнях миль от нас, — Ангола, португальская колония на западном побережье Африки.

После встречи с «Товарищем», как и за несколько дней до того, совсем не встречалось кораблей. Это объясняется огромностью океана, тем, что мы уклонились от обычного морского пути, и тем, что Суэц функционирует исправно. Мало судов огибает мыс Доброй Надежды.

Встретили большую стаю дельфинов. Погода прекрасная. Интересно, что на той же северной широте очень жарко, а здесь уже прохладно. Подлинный экватор, то есть полоса наибольшей жары, пересекающая Атлантику, проходит значительно севернее географического экватора. До Кейптауна остается семь-восемь дней. На юге, в сороковых широтах, по-прежнему бушуют одиннадцатибалльные штормы. Посмотрим, как встретит нас море там.

Сегодня счастливый день. Посидел над пьесой, и работа начала двигаться. Те две страницы, что я написал, кажутся мне довольно сносными. Может быть, это объясняется тем, что я всегда, когда пишу, гоню от себя всякие сомнения, подстегиваю свою веру в себя и в непогрешимость своего решения. Без этого невозможно. Сомнения, душевные муки, потеря веры в свои способности, такое чувство, будто ты кого-то убил, — все это начинается после окончания работы. А пока что весь этот инквизиторский набор висит в шкафу, туго перетянутый брючным ремнем.

По совести говоря, я немного сомневаюсь в сценичности своей пьесы. И жаль, что такие опасения появляются всегда в тот момент, когда берешься за работу. Тут кончается самый лучший, самый богатый фантазией, самый волнующий период, в течение которого вещь, еще не обремененная грузом усилий и обязательств, существует только в воображении. Она все разрастается, постепенно приобретая все более устойчивую форму. Вырисовываются главные черты отдельных характеров. Отрывочные реплики, отрывочные диалоги уже обозначают, словно пунктир на карте, их пути, их метания. Но пока что мы видим свое неродившееся произведение, как видит осенний лес близорукий человек, различающий лишь большие сливающиеся пятна разного цвета.

Мучение для меня начинается лишь тогда, когда душу стихотворения, рассказа или пьесы приходится загонять в какое-то тело — в форму. Задуманное часто оказывается на бумаге бескрылым и бесцветным, скучным, словно чернила, втиснутым либо в слишком узкие, либо в слишком широкие рамки. Оно или не помещается в них, или не заполняет их.

Приступая к новой работе, я испытываю то же чувство, что переживаю иногда и по утрам, если видел во сне, что легко и свободно написал стихотворение.

Рифмы сталкиваются со звоном,
И слова сверкают, как щиты...

Но если и запомнишь из сна какую-нибудь строку, то видишь, что рифмы никуда не годятся, что мысль лишена логики, что во сне существуют иные законы и ограничения, чем наяву. Говорят, что поэтам, больным язвой желудка, снятся совершенно готовые и безупречные стихотворения, которые остается лишь записать утром на бумаге. Завидую стилю, дисциплине и эрудиции этих сновидцев, но, к счастью, желудок у меня вполне здоровый и на сны мне надеяться не приходится. Да и вряд ли можно сочинить во сне что-нибудь объемистое.

До сих пор я чуть ли не ежедневно только тем и занимался, что бился над композицией, заботы о которой часто угнетали меня и во время отдыха. Учитывая это, следовало бы, наверно, на первых порах вообще отказаться от драматического жанра. Но я редко оставлял на полпути начатое.

Несчастье в том, что я очень плохо знаю сцену, ее законы, ее приемы.

В этой пьесе, описывающей весьма мрачную сектантскую среду, нельзя идти и по линии высмеивания верующих, хотя бы эта линия и приводила к успеху. Не веря в бога, я верю в божественное в человеке. И сегодня, прежде чем приступить к пьесе, я перечитал написанную мною в Таллине в начале сентября характеристику сектантки Леа Вийрес, главной героини пьесы.

«*Леа Вийрес*. Светлая, милая, человечная. Она хочет, но никак не может замкнуться в тесной сектантской скорлупе. Поначалу она принимает и признает сектантскую *антисоциальную и человеконенавистническую философию*, но не может подчинить ей свое «я», смелое, ищущее, страстное и привязанное ко всему земному. Главная проблема: *прорыв человечности, любви и воли к жизни сквозь учение безволия, равнодушия, фатальности, невмешательства в жизнь и т. д. и т. д.*».

Судьба, повсюду за тобой послушно
Я следовал до нынешнего дня.
Благослови ж теперь великодушно
Мое перо — не позабудь меня.

Я не знаю, чем готов пожертвовать, лишь бы моя главная героиня удалась. Если не удастся она, не удастся все. Я все-таки очень ее люблю. Я еще в ранней юности

полюбил человека, у которого для образа Леа Вийрес будет взято больше, чем у кого-либо другого. Тяжело и больно подступаться к проблемам, которые для этого человека являются вопросами жизни и смерти и которые я должен разрешить абсолютно неприемлемым для него образом. Ведь человек этот до сих пор не пришел и никогда, наверно, не придет к тому, к чему я приведу свою Леа в конце пьесы. Но писать о живых людях — это значит задевать их и порой несправедливо обижать.

Вечером показывали фильм «Когда поют соловьи». Уже не каждый вечер досиживаешь до конца картины — мы пресыщены кино. Не досмотрел до конца и сегодня. Светила луна, от нее ложилась на воду широкая, серебристо-синяя дорожка, сужающаяся у самого корабля. Никогда не видел такой опрокинутой луны. Она была похожа на большую и плоскую золотую чашу, подвешенную вверх дном над скатертью океана.

27 ноября

Атлантический океан

Сегодня в 12.00 наши координаты — 15°25' южной широты и 00°52' восточной долготы. Порой выглядит солнце, хотя небо над южным полушарием вообще-то гораздо пасмурнее, чем над северным. Уже несколько дней подряд сила и характер волн совершенно одинаковы. На доске, висящей в курительном салоне, сила волн уже четвертый день определяется в три балла. Океан бывает красивым, привлекательным, волнующим, даже очень волнующим и в шторм, и в полное безветрие, и на закатах. Но он бывает и таким монотонным, что самая безлюдная пустыня показалась бы в сравнении с ним чудом разнообразия. Чтобы понять это, мало одного дня и даже одной недели. Завтра кончается четвертая неделя, как мы в плавании, и потому у нас есть основания быть несколько менее восторженными и романтичными. «Кооперация» почти не качается, волна в три балла для нее пустяк.

Писал пьесу. Дело идет. Думаю, что завтра закончу первое действие. А главное, начинает вырабатываться совершенно твердый рабочий ритм, которого мне так вопиюще недостает в Таллине. Вернее, у меня слишком мало характера и слишком много административного тщеславия, чтобы выработать его там и закрепить. Но

у океана есть свой ритм, и он его тебе навязывает. Даже у волны в три балла столько последовательности, упорства и вечного стремления вперед, что после того, как поглядишь с час на эти бугры без гребешков, отправляешься в каюту и говоришь себе: «Потащим воз дальше!»

Вечером опять кино. За то время, что мы в море, я видел самое малое фильмов двадцать. После них бывает то же ощущение, что и после напряженного рабочего дня: выкурено слишком много папирос, в голове у тебя пусто, и ты со страхом уклоняешься от всякой серьезной мысли, требующей каких-то усилий. Все фильмы сливаются в какую-то сплошную серую массу.

По определению Стендаля, существуют: сердечная любовь, рассудочная любовь, любовь-страсть, любовь-влечение и любовь-привязанность. В кино существуют: любовь-влечение (?), любовь, кончающаяся свадьбой, любовь, еще не кончающаяся на экране свадьбой, и заботливая привязанность второстепенных действующих лиц к героям первой величины, привязанность, отказывающая себе во всем: в хлебе, в любви и в фантазии.

Часто в конце сеанса Васюков рычит как полярный медведь.

28 ноября

Атлантический океан

В полдень наши координаты 18°15' южной широты и 2°08' восточной долготы. Приближаемся к берегу Африки. Океан по-прежнему пустынен. Видели первого альбатроса. Летучих рыб давно уже не видно, но отдельные дельфины еще попадаются.

В общем, хороший день. Кончил первое действие. Завтра перепишу его начисто. Конец действия получился очень мрачным. Удался он или нет, не знаю. У меня есть склонность к мрачным вещам, хоть они мне обычно не удаются. Но в данном случае я *должен был* довести свою Леа до краха, до грани самоубийства, поскольку без этого «пробуждение» столь жизнерадостной девушки было бы совершенно необоснованным и нелогичным.

Весь день в голове вертятся мотивы из «Хвалы агнца» и «Победных песнопений». Выходит, что я немало их помню и весьма сведущ в духовной письменности. Хорошо, что мои друзья не знают эстонского. Репертуар та-

кого рода произвел бы на них весьма странное впечатление. Во время обеда у меня был длинный спор с Бурхановым об отношении к вере и о том, что, собственно, следует понимать под словом «верующий». Подход Бурханова к этому вопросу необычайно интересный и гуманный. Он не раз ставил меня в трудное положение и заставлял ломать голову.

Сегодня перечитал свои заметки, выписки из библии, из сектантских молитвенников (при чтении последних у меня всегда растет уважение к Мартину Лютеру) и из «Паломничества христианина». Удивительно, что за рай создан человеческой фантазией! И какими мрачными красками расписывает она грешную землю! Мир — это долина слез, иссохший колодец, брэнность, греховность, хворости, преддверие ада, грядущий мрак, обманчивая пустота, засуха, хлад. Тут по преимуществу живут нищие, изнуренные, измученные, падшие души, грешные, убогие, пропащие. А над всем этим черный свод унижения, униженности и унизости. Но какими бы черными красками ни изображался мир, он все же выглядит реальнеерая. Все описаниярая внушают мне те же мысли, к каким пришел и Гек Финн в разговоре с тетей Полли (это блистательнейшие страницы Твена). Чинность, парадность, ходишь весь в белом с лютней в руках и поешь. Сплошная нивелировка — у льва будет овечье сердце. Улицы из золота, море из стекла (?), стены из яшмы, ручьи, пальмы... Критики нет, да ее и не нужно, ибо всякая нужда в силе, ведущей вперед, отсутствует. Из словаря исчезнет слово «заблуждение». У магометан хоть есть в раю женщины, а тут... Христианский рай в известном отношении напоминает антарктический материк. Ведь когда Бэрд после зимовки на барьере Росса спросил у одного из спутников, чего ему наиболее остро не хватало, тот ответил:

— Искушений!

Как рай, так и ад — плоды коллективного творчества. То, что ад вышел удачнее, ничуть не удивительно. В древнем мире, в середине века, в новые и новейшие времена ада на земле было сколько угодно. А рай приходилось выдумывать. Может быть, поэтому все мы в «Божественной комедии» знаем «Ад», «Рай» же читали очень немногие. А ведь это Данте!

На странные мысли может навести ночной океан и волна в три балла.

Сегодня был красивый закат. Пурпурный сверкающий

океан выглядел при всем своем ленивом спокойствии могучим и гигантским. Этаким спящий лев. Солнце заходит здесь очень быстро. И после того как океан проглотил верхнюю половинку солнца, над тем местом, где оно исчезло, еще сверкала несколько секунд корона из зеленых лучей. Редкостное, незабываемое зрелище.

29 ноября

Атлантический океан

Все время до обеда и после сидел над пьесой, переписывал ее.

Местоположение в полдень — $21^{\circ}22'$ и $4^{\circ}43'$. Погода по-прежнему превосходная. Волна слабая. Если посмотреть на карту, то мы недалеко от берегов Африки, но это только на карте. В пределах видимости ни одного корабля и никаких признаков близости земли. Уже больше недели держится все одна и та же температура и с одной и той же силой дует ветер.

Приближаемся к Кейптауну. Должны туда прибыть 4 декабря. В связи с этим на «Кооперации» царят возбуждение и суета. С каждым часом повышаются акции тех, кто говорит по-английски. В первый день мы поедем на мыс Доброй Надежды. Второй день потратим на город. Корабль стал похож на какую-то биржу, то и дело слышишь слово «валюта». Тех, кто во второй раз попадает в Кейптаун, то есть участников первой антарктической экспедиции, расспрашивают о ценах. Я тоже произвел небольшую разведку, чтобы осведомиться о ценах. Говорят, хорошее виски стоит полтора фунта стерлингов. Гм-гм! Васюков выразился по этому поводу кратко:

— Акулы империализма!

Вечером показывали фильм «Если парни всей земли...». Этот сеанс запомнился мне как нечто промежуточное между реальным и нереальным. Где-то выше я уже говорил, что экран прикреплен к задней мачте. Вообразите себе, что на этом белом прямоугольнике качается рыболовный тральщик со своей командой в двенадцать человек и с угрозой смерти на борту. Их координаты — 68° северной широты. Но волнующееся на экране море почти полностью сливается с океаном за нашей кормой и бортами, отчего объем экрана становится

бесконечным. Как будто эти двенадцать парней оказались на «Кооперации». На экране говорят по радиотелефону, и в этот разговор врывается морзянка нашего передатчика. Это чувство полного слияния с героями, чувство близости охватило не меня одного — мы все очень сильно переживали то, что происходило на экране. Картина хорошая.

Вблизи кормовая мачта «Кооперации» кажется очень высокой и мощной, особенно ночью. Она перерезает освещенные луной облака, выписывает на них зигзаги и петли, медленно скользит поверх звезд. Верхушка мачты словно горит сама по себе — на нее и на антенну падает свет мачтового сигнального огня. Если основание мачтыросло в палубу, как дерево в землю, то ее верхушка сродни облакам, мелькающим между вант, черносинему небу и ярким звездам. Сегодня вечером впервые это заметил.

30 ноября 1957

В восемь часов по гринвичскому времени мы пересекли под 7° восточной долготы тропик Козерога. Вышли из тропического пояса. Но после экватора жара не очень-то чувствовалась. Погода в меру прохладная, такая же, как на Балтийском море в середине или в конце июня.

В полдень заметил, что океан залит необычайно ярким светом. В последние дни это случалось редко. Выйдя на палубу, я не сразу обнаружил солнце. Оно было в самом зените, прямо над головой. Казалось, что мачты, поручни, «Пингвины», кресла и шлюпки утратили присущее твердым телам свойство отбрасывать тень.

Видели нескольких альбатросов, у одного размах крыльев был не меньше полутора метров. Они скользят рядом с кораблем и совсем не шевелят крыльями. При таком расходе энергии можно покрывать немалые расстояния. Могучие птицы.

Привел в порядок записи последних дней. Тоже работа. После отплытия из Кейптауна снова примусь за пьесу. Может быть, удастся закончить второе действие до штормов на сороковых параллелях... Их нам никак не миновать. Последнее действие отложу на обратный путь, на Индийский океан. Южный Ледовитый океан и Мирный — это такие места, где надо будет смотреть, смотреть и смотреть.

Было еще одно большое событие — стрижка. В последнее время у нас это ремесло необычайно процветает. Приближается Кейптаун. Моим парикмахером был мастер парашютного спорта Медведев. У него на счету уже полторы тысячи прыжков. Он один из немногих, кто прыгал в районе Северного полюса.

Стрижка сопровождалась обменом мнений, демонстрирующих наши обширные познания в данной области. Бокс, полубокс, стрижка «под горшок», «под стилигу», «Бульба» (у одного из участников нашей экспедиции вся голова острижена наголо, лишь на темени оставлен чуб, — это и есть «Бульба»), á la Жерар Филип, á la голая репа и т. д. и т. д. Один из собеседников считал, что такой выпуклый затылок, как у меня, уже вышел из моды и что парикмахеру следует его замаскировать. Было предложено несколько соответствующих способов, заставивших меня содрогнуться от страха за свою жизнь и за сохранность содержимого своей головы. Васюков тоже отпустил несколько критических замечаний по адресу моего черепа. Это было отнюдь не умно. Его собственный затылок вытянут назад еще больше, чем у меня, и он носит шапку шестьдесят второго размера. У него, несомненно, самая большая голова на всей «Кооперации» и даже на всем тропике Козерога. Пословица о бревне в своем глазу и о щепке в чужом еще не утратила своего значения. Но сейчас мы оба с Васюковым обкорнаны и у нас торчат уши.

Видели сегодня хороший фильм «Разные судьбы». Очень емкая, художественная, правдивая картина. После того как по радио пожелали спокойной ночи и на спардеке погасили свет, группы спорщиков перебрались в коридоры. У каждого свое отношение к «Разным судьбам», но у всех оно положительное. Одна из групп стоит у двери нашей каюты, тут собрались радисты Якунин, Яковлев, Чернов, Сушанский и начальник складов Сергеев. Поскольку фильм отличается правдой жизни, то его психологическая разработка споров не вызывает. Но уж и квартиры же в нем! Композитор занимает огромные апартаменты, родители Татьяны тоже живут не хуже Рокфеллера. И это повод для дискуссии. Квартирный вопрос, как и все прочие жизненные вопросы, занимает умы и здесь. Другая группа состоит из конструкторов, транспортников и Бурханова с Васюковым. Васюков уже дошел до анализа драматургии Островского, но слушающий его Бурханов с сомнением шурится. В курительном

салоне собрались летчики, метеорологи и некоторые участники предстоящей морской экспедиции на «Оби». Разные судьбы сходятся в группы и опять расходятся, бродят по коридорам и совсем не думают спать. Чудесный народ!

2 декабря

Атлантика

До Кейптауна осталось меньше четырехсот миль. При нормальной скорости мы добрались бы туда уже четвертого в начале дня. Но, очевидно, прибудем после обеда. Сильный ветер в семь, а временами и в восемь баллов, волна встречная, в шесть баллов. Это сбивает скорость. Океан сегодня красив. Крепкий ветер уже вздымает воду, ходят волны, наш бак обдаёт густыми брызгами. Океан кажется на глаз серо-синим, а сквозь бинокль — блекло-серебристым.

«Кооперацию» провожает множество альбатросов. Красивые птицы! Не шевеля крыльями, скользят они с волны на волну, скрываются в провалах меж волн, взлетают на гребень, а порой воздушный ток подбрасывает их вверх. У них очень длинные мечевидные крылья, но, сколько я ни смотрел на альбатросов, еще ни разу не видел, чтобы они взмахивали крыльями дважды подряд. Они планируют, летят против ветра. Сегодня день альбатросов — для экспедиции они все еще новые знакомые.

3 декабря

Координаты в полдень: 30°08' южной широты и 15°20' восточной долготы. Ветер сильный — восемь баллов, волна — шесть-семь баллов. При шести баллах у форштевня начинает взлетать вода, при семи ветер еще яростней налетает на корабль, а при восьми баллах уже предчувствуется шторм. Днем снимал на баке альбатросов. Ветер пригнал их к самому объективу «Зоркого». Потом через борт начала бить волна, и я вернулся в каюту промокший, а объектив аппарата покрылся солью.

Редко удастся слышать такой ровный гул океана, как сегодня. Гул этот мощный, он проникает в каюты, во все помещения, и на второй день кажется, что ты слышал

его всегда и будешь слышать всю жизнь. «Кооперацию» сильно качает. Сегодня волна отличается особым свойством: те, кто не держатся за что-нибудь, ходят фокстротным шагом, независимо от того, умеют они танцевать или нет. Да, это настоящий океан.

Мы уже тридцать три дня в море. В жизни бывает так, что в самые заурядные, серые, посконные будни врывается вдруг праздничное чувство. Его порождают приятная новость или доброе слово, успешная работа или ее окончание, счастливая идея или пресыщение серьезностью, взглянувшие на тебя красивые глаза или какой-либо другой неожиданный случай. Это чувство может вызвать и баня. Нынешнее мое чудесное настроение, видно, объясняется тем, что погода свирепая, что сегодня банный день и что завтра мы ступим на твердую землю Южной Африки.

Банный день называется на корабле «санитарным авралом». Длится этот аврал двенадцать часов — с восьми утра до восьми вечера. За это время следует вынести на воздух и выбить матрацы, одеяла, подушки и ковры, хорошенько убрать каюту, вымыть пол, убрать на столе (по моей вине самое неряшливое место в нашей каюте — стол), принять ванну, выстирать самое необходимое из белья и т. д. и т. д. При ветре в восемь баллов санитарный аврал становится особенно сложным предприятием. У второго люка волна бьет через борт, и все промокает, подветренная прогулочная палуба забита матрацами, и пристроить свою постель очень трудно. А только отыщешь свободное местечко, как оказывается, что тут надо мыть палубу, и ты носишься со своим матрацем, словно грешница с незаконным дитятей.

Утром у нас не было тряпки, а без тряпки пол не вымоешь. Я попытался найти боцмана, но не нашел. И Васюков тоже. Но потом Васюков отыскал на палубе повешенный кем-то мешок (очевидно, из-под угля), сунул его под полу и притащил в каюту. Мы почувствовали себя богачами. Васюков сказал мне:

— Какое счастье, Юхан! Гляди — мешок, целый мешок!

И я ответил серьезно:

— Действительно счастье!

Все на свете относительно.

Четверть часа спустя каюта была залита водой, все наше добро было нагромождено на койки, а мы оба метались как на пожаре. Боялись, что придут за мешком.

Сейчас все сверкает. Мешок мы спрятали. Несмотря на советское воспитание, в нас еще сохранились пережитки собственничества.

Чудесно сидеть в ванне, в которой ходят в такт качанию корабля волны теплой и *пресной* воды. Мыло мылится, волосы на голове становятся пушистыми, а мысли в голове — воздушными. И, вымывшись, ты приступаешь к стирке.

Я выстирал три сорочки, легкую куртку и две пары носков. Сколько мыла истратил! Но хуже всего то, что, когда я повесил сушиться свою куртку на палубу, она показалась мне более грязной, чем была до стирки. Будем надеяться, что это объясняется освещением.

4 декабря

Интересно, прибудем ли мы в Кейптаун до полуночи? В ночь на сегодня волнение перешло в шторм, «Кооперацию» подбрасывало и сотрясало, — когда она ныряла в провалы меж волн, казалось, что ее многотонное тело спускается по лестнице и на каждой ступеньке спотыкается. Шторм был встречным, сегодняшний шестибалльный ветер — тоже встречный, корабль теряет скорость, и поэтому мы опаздываем.

После обеда впервые увидели берег Африки. Песок, не очень высокие скалы с выделяющимися пятнами белого камня, купола гор, маяк, два-три дома. Видишь простым глазом, как взбивается пена у подножия скал. Но все пасмурное и неотчетливое. Кто-то уверяет, что видит женщин, загорающих на пляже, однако окуляры бинокля убеждают нас: это мираж. Но вот береговой выступ исчезает за кормой, а с правого борта к нам долетают приветствия какого-то маяка.

Альбатросов больше не видно. Они птицы открытых морей и не летают так близко от берега. Но зато за нами следует целая стая привычных чаек. Рядом с кораблем проносятся одинокие дельфины, почти у самого борта высовывается наружу круглая, как набалдашник, голова тюленя. Здесь на тюленей не охотятся, и они держатся смело. Но настоящее их царство еще впереди, оно гораздо южнее.

После захода солнца началась ужасная толчея и суматоха — все устремились на левый борт. Кто-то крикнул: «Спутник!» — и всем захотелось занять наблюдательный

пункт получше. Но ничего не обнаружилось — ни спутника, ни крикуна.

23.00. Перед нами Кейптаун. Зарево его пестрых, сверкающих огней переливается над ночным океаном и отбрасывает на воду яркую рябь. Странно видеть в такой близости от себя чужие огни и светлые квадраты окон в жилищах незнакомых людей. Гудки машин, световые рекламы и стрелы прожекторных лучей над морем. Ветер доносит с земли запах хлеба.

Горы, высящиеся над Кейптауном, сначала привели нас в замешательство. Мы приняли их за штормовые тучи, темные и тяжелые. Но когда мы подплыли к городу, горы как бы отделились от неба. Они высились темным горбистым массивом, похожим на спящего верблюда. А вокруг этого гигантского животного белели, словно ромашки, огни Кейптауна.

Бак черен от людей. «Кооперация» бросает якоря. Ночь мы проведем на рейде.

5 декабря *Кейптаун*

Утром на борт поднялся лоцман. «Кооперация» причалила к молу. Мы стали рядом с большим американским судном «Сити оф Йорк». Кейптаунская гавань все-таки представлялась мне более крупной и оживленной. А она не такая большая. Даже краны кажутся слабенькими. Корабли приплывают и отплывают редко. Летом на таллинском рейде больше движения.

Первое, что мы заметили в порту и что увидели потом еще более отчетливо, — это резкая грань между миром цветных и белых. Как видно, рубеж между ними — это рубеж между богатством и бедностью. Негры таскают мешки, шестеро негров тянут какую-то большую повозку, нагруженную обрывками канатов. Вообще вся грязная работа предоставляется цветным. Но русский эмигрант с бычьей шеей втолковывает у трапа участникам экспедиции, что в Южно-Африканском Союзе имеются и негры-буржуи. Слово «буржуй» он произносит так благоговейно, словно оно способно отмыть добела и негра, возвысив его до лика святых европейцев.

Солнце светит, небо сияет, ветер теплый. С горы, выглядевшей днем иначе, чем ночью (она теперь напоминает огромный каменный стол), широким водопадом

ниспадает ослепительно белый туман. А под ним дома со сверкающими на солнце окнами и красными крышами, городские кварталы с весьма узкими улочками. Глубокая и спокойная синева океана обнимает город. Под самым боком у корабля жарит на солнце свою черную голову купающийся в портовом бассейне негр.

Нам выдают деньги — фунты стерлингов. На пристани уже стоят три автобуса, которые должны отвезти нас на мыс Доброй Надежды. Кладу в карман свои фунты, вешаю на шею «Зоркий» и «Киев». Поехали!

Поездка на мыс Доброй Надежды надолго запомнится. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне хотелось бы, чтоб у меня была небольшая, хоть в несколько дней, дистанция для более или менее упорядоченной расстановки и систематизации мыслей, впечатлений, цветов и светотеней. Мне понадобился бы не один день, чтобы передать красочность этих двух братьев, Индийского и Атлантического океанов, описать, как они с двух сторон ласкают своими теплыми руками классически стройную шею Африки, как эти руки встречаются на ее скалистом лбу, обращенном к югу.

Я всегда терпеть не мог экскурсий, домов отдыха и тому подобных вещей, от которых зачастую остаются лишь чувство большой усталости и поверхностные впечатления, забывающиеся после первой чашки кофе. Я думаю, что многие экскурсии столь же поверхностны и легковесны, как знания тех писателей, которые допрашивают своих будущих и заведомо неудачных героев совершенно по-прокурорски, а то и по-сыщицки, полагая, что раскрыть природу человека так же легко, как кухонный шкаф. Конечно, и такой метод что-то дает, но почти всегда это «что-то» хуже, чем ничего.

Поездка на мыс Доброй Надежды была экскурсией другого рода. Во-первых, ее участники были не чужими друг другу, недели плавания нас сблизили. Во-вторых, после более чем месячного непрерывного плеска океана, после вибрации и качки земля кажется милее. Чувствуешь себя удивительно уверенно, ступая по гравию, камню или песку. Но самое главное — величие и красота самой природы. Горы, дорога, лучезарно белый песок. Горы эти не особенно высоки, и местами их светлые камни покрывает трава. И все же они необычайно впечатляют. Все время чудится, что вот-вот из щели между

какой-нибудь озаренной вершиной и низким облаком выглянут пламенные и грустные глаза Демона Черного материка. Более того, я был уверен, что у Демона окажется лицо нашего кинооператора Эдуарда Ежова, славного Ежова, чьи золотые руки наконец заставили работать (только надолго ли?) мой «Киев».

Горы слева. У их подножия вьется змеей асфальтовое шоссе. Оно узкое, как все горные дороги. А справа следует за нами, не отставая от нас даже сегодня, Атлантический океан, серый и спокойный. Из скалистых бухт смотрят на меня его умные и суровые, как у старых эстонских островитян, глаза. Я знаю тебя, мой друг, и хотел бы рассказать тебе историю о том, как в стародавние времена два рыбака с острова Кихну возвращались домой с заработков на рижской каменоломне, как они остановились на ночь в Пярну, как попали в гости к веселым девушкам и как один из них пришел утром к выводу, что хорошего не должно быть слишком много. Ведь и у тебя такой нрав, что если ты спокоен, так чересчур, а если принимаешься колотить нас своими серыми кулаками, так тоже не знаешь удержу. Нет у тебя ни размеренности, ни систематичности, ни дисциплинированности, отличающих участников экспедиции, которые через определенные промежутки останавливают автобус у придорожных баров и проверяют, не фальшивые ли у них деньги. Нет, не фальшивые! За них можно получить виски, ром, коньяк, содовую, сигареты и почти даровое пиво. Нельзя сказать, чтобы на «Кооперации» властвовал сухой закон, но многие из нас считают, что какую бы слабость мы ни испытывали к горячительным напиткам на суше, с морем они сочетаются плохо. Но сегодня — другое дело. В барах совершенно вавилонское смешение языков, слышатся одновременно обрывки английских, немецких и русских фраз. Один из барменов так похож лицом на знакомого мне таллинского историка, что я пытаюсь заговорить с ним по-эстонски. Но он вовсе не эстонец, а голландец, и мы переходим на язык, понятный каждому. Поднимаю палец и говорю: «Bier!» Потом поднимаю второй палец и снова говорю: «Bier!» Чтобы укрепить дружбу, поднимаю затем два пальца сразу и говорю: «Ром!» Если бы наши эстонские историки так же хорошо понимали друг друга и достигали бы столь же результативных итогов!

На воздухе так ослепительно светло, что ощущаешь в глазах резь. Больно смотреть на песок, который свер-

кает на солнце так же ярко, как февральский снег. А в барах прохлада и сумрак. Те, которые мы посетили, были предназначены только для белых. Бармены в них тоже белые. И здесь негры делают лишь черную работу — моют стаканы, подметают полы, подстригают кусты перед баром. Держатся они робко и как-то незаметно. Непонятно, в связи с чем в ушах у меня зазвучали строки из шахтерской песни:

Шестнадцать тонн угля — дневной урок таков,
Состаришься ты рано от шахты и долгов.
И не уйти, покуда господь не призывает:
Ты — собственность компании, ее рабочий скот.

Становятся понятными негритянские песни с их детскими и конкретными представлениями о небе, о ведущей туда бесплатной железной дороге, о заранее положенных на край облака ботинках, пиджаках и банджо; о белых, которым оплачивают там за все их несправедливые дела на земле.

Едем дальше. Горы становятся ниже. И вдруг, совершенно неожиданно, появляется слева Индийский океан. Пожалуй, с Атлантического океана можно добросить до него камнем. Но не то странно, что два океана оказались здесь так близко друг от друга, а то, что целый континент, Черный материк, становится здесь таким узеньким. Вблизи берега Индийский океан синее Атлантического. А вдалеке он такой же холодный, как и его англосаксонский брат: у обоих сливающаяся с небом корма серо-стального цвета. Ну ладно, на Индийский океан мы еще посмотримся вдоволь. Я и без того сегодня многословен.

Мыс Доброй Надежды отделен от Черного материка высокой оградой. Тут заповедник. На шоссе — ворота. А в этих воротах сидит одетый в хаки ветеран с соломенно-желтыми усами. Он совершенно сливается с каменным бесплодным пейзажем, кажется его неотъемлемой частью. В его тусклых, выцветших глазах видишь и сверкание песков, о котором я уже говорил, и пористую старость гор, и полное равнодушие. Может быть, он сидит здесь со времен бурской войны...

На шоссе выходят три зебры. Мы вылезаем из автобусов, аппараты начинают щелкать, и мой «Киев» тоже запечатлевает на пленке три мотающихся хвоста. Зебры не удостаивают нас ни малейшим вниманием. Они толсты и спокойны — ни дать ни взять полные дамы с пляжа в Пярну, которые думают лишь о том, как бы

похудеть, и тем не менее очень мало двигаются. Сходство увеличивается еще благодаря природным пижамам зебр — их полосатым шкурам.

Мыс Доброй Надежды производит сильное впечатление. Мы долезли до маяка. Слева — Индийский океан, справа — Атлантический, а впереди та воображаемая полоса, где воды двух океанов смешиваются. Ни высота, ни крутизна скал не поражают так наши чувства, как огромность, бесконечность и спокойствие океана. Даже посреди океана не ощущаешь их так остро, как здесь.

Подобный пейзаж — объятия океана с материком, суровость скал, клочья взлетающей пены, — наверно, помогает воспитывать поэтов. Те, кто растут среди можжевельников, орешников и валунов, рано или поздно переходят на прозу.

Возвращаемся.

Вечером к нам на корабль пришли в гости представители японской антарктической экспедиции. Гости заполнили музыкальный салон. В совершенно одинаковых синих костюмах, они казались очень молодыми и похожими друг на друга. В действительности они не так молоды. От нас их принимали Голышев и профессор Бугаев, из летчиков — Фурдецкий, из радистов — Чернов, из транспортников — Бурханов. Переводчиком был Олег Воскресенский, штурман дальнего плавания и навигатор антарктической материковой экспедиции. Я был, так сказать, представителем прессы. Все тотчас разбились на группы по профессиям. Фурдецкому, которого окружили японские летчики, не удалось получить переводчика — большинство наших «англичан» уехало в город. В записных книжках тотчас появились рисунки самолетов, схемы расположения моторов, цифры, обозначающие число лошадиных сил и высоты полетов, наброски ледовых аэродромов. Люди, имеющие дело с техникой, хорошо понимали друг друга. Бурханов познакомил японцев с «Пингвинами». Машины — ничего не скажешь — хорошие. Нет даже нужды в японской вежливости, чтобы признать это.

Не знаю, что напишет в свою газету об этой встрече мистер Хикида, корреспондент «Асахи». Среди встретившихся тут коллег мы наверняка хуже всех понимали друг друга. Мистер Хикида говорил по-английски, я по-русски, так что и тут приходилось прибегать к пальцам. Отдельные слова мы понимали, но, поскольку речь шла о литературе, этого было недостаточно.

— Достоевский, — говорил мистер Хикида, — very good!¹ — Поклон, улыбка.

Я тоже отвечаю поклоном, улыбкой и «very good'om».

— Толстой! Very, very good! — Поклон, улыбка.

— Эренбург! — Та же церемония.

Мы посидели в моей каюте, мистер Хикида закурил «Казбек» (сперва вставив его в рот обратным концом), а я попробовал японскую сигарету. Со стороны наша сердечная беседа могла показаться беседой немых. Я подарил Хикиде свою юмористическую повесть «Удивительные приключения мухумцев», содержание которой несколько позже изложил по-английски Воскресенский, весьма вольно толкуя иллюстрации. Хикида вручил мне свою визитную карточку и открытку с японским пейзажем, на обороте которой значилось: «With Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year»².

Я подчеркнул слово «Christmas».

Мистер Хикида воскликнул:

— No! — И начал что-то говорить о теологии, наверняка не о европейской.

Мы обменялись с гостями научной литературой.

Они побыли на «Кооперации» до поздней ночи. Капитан организовал угощение. Это еще вопрос, в самом ли деле гости так плохо знали русский язык, как могло показаться. «Бродягу» и «Стеньку Разина» поняли потом довольно многие, равно как и некоторые русские слова, которые обычно не печатают. Правда, сомнительно, чтобы они знали их точное значение. Во всяком случае, одно из них прозвучало в их своеобразном произношении как ласкательное.

6 декабря 1957

Сегодня большую часть дня провел с Олегом Воскресенским в городе. Фунты стерлингов жгли карманы, надо было от них отделаться. И вот они просто-напросто растаяли на глазах. Вспомнилось, как мой отец уже в старости как-то жаловался: его, мол, беда в том, что, сколько он ни покупал бумажников, сколько ни менял их, ни разу

¹ Очень хорошо! (англ.)

² «Желаем веселого рождества и счастливого Нового года» (англ.).

не попадалось такого, чтобы деньги в нем удерживались. И у меня самого уже перебывало пять бумажников, но все они отличались тем же свойством. Это тем более странно, что я больше всего в жизни ненавижу хождение по магазинам. Если днем мне предстоит что-то купить, то я уже с утра не в духе. Я весь киплю и клоочу от недовольства, хоть и сам понимаю, что это бессмысленное недовольство беспомощного человека.

Но Воскресенский настолько симпатичен, что на этот раз я не перенес никакой нервной лихорадки. Благодаря его хорошему английскому языку, переговоры с продавцами оказались простым делом. В тех лавках, агенты которых совали нам в руки проспекты еще на корабле, мы покупали мало. Кейптаун, увиденный нами, — это Кейптаун торговый. Стоит лето, а на витринах рождественские рекламы. Продавцы необычайно услужливы. С нами увязался собственник одной лавчонки, русский, и мне кажется, что он сознательно выбирал не самые лучшие магазины. Он без конца говорил о *своем* магазине, о том, сколько фунтов стерлингов оставили в нем китобои со «Славы», и т. д. Продолжалось это до тех пор, пока один из его конкурентов не спросил:

— А вы что, спутник этих господ?

И тут наш разговор перешел на спутник.

Наш провожатый даже забыл на полчаса о своей лавке со всеми ее достоинствами и выразил самый неподдельный восторг. Дело понятное. Спутник вертится вокруг Земли, а вокруг спутника вертятся мысли людей с самыми разными взглядами, их восторг или злоба, их политические страсти и представления о завтрашнем дне. Мы, участники экспедиции, знаем о втором спутнике довольно мало. Лишь вчера до нас дошла «Правда» от 13 ноября, и сегодня мы уже несколько просвещенней по части спутника. Потрясающее достижение! Мы и впрямь испытываем гордость, хоть и не умеем выражать ее так на диво темпераментно, как кейптаунцы.

Одного дня мало, чтобы составить себе представление о городе с более чем полумиллионным населением. У меня остались в памяти пестрота кейптаунских улиц, цвет негритянских лиц — от светло-коричневого до черного, яркие, порой даже непривычные для глаза, кричащие краски нарядов, прохлада магазинов, некий пресыщенный господин в баре, задравший на стол свои ноги в больших желтых туфлях, фокусническое проворство официантов, хорошее шотландское виски. И конечно,

кока-кола. Реклама этого напитка и трехпенсовые бутылочки неотступно преследуют тебя, в самом прямом смысле этого слова. Запомнились двухэтажные автобусы, в которых на первом этаже ездят белые, а на втором — негры и прочие цветные. Специальные бары для негров, которые выглядят (во всяком случае, снаружи) бедно и грязно.

Но я еще не познал душу города, все его лики, его жизненный ритм. Чужим приехал, чужим уеду.

Часть наших, в основном москвичи, получили тут письма из дому. Ленинградцы не получили. И Таллин, видно, слишком далеко отсюда. Я втайне надеялся, что мне что-то придет. Но не пришло. И мы подняли рюмки с ромом, полученным нами через флотских снабженцев, за здоровье тех, кто не получил писем. Грустный тост.

Сейчас мы уже в океане. Впереди Южный Ледовитый океан, холодный и пустынный. Едва ли мы встретим до Мирного хоть один корабль.

8 декабря 1957

Пересекли сороковую южную параллель. Все наши опасения или надежды относительно погоды оказались напрасными. Океан очень спокойный, очень серый, очень монотонный. Нам везет. «Оби» здесь досталось так, что только держись да приноси обеты. Скорость у нас хорошая.

Вчера вечером долго сидели большой компанией, и каждый расхваливал свой родной город. Таллину перепало много лавров. Обменивались мнениями об увиденном в Кейптауне. Пели.

9 декабря 1957

Наши координаты — 42°50' южной широты и 25°20' восточной долготы. Океан спокоен, скорость ветра — четыре метра в секунду. Уже становится прохладнее, температура воздуха сегодня 9,2 градуса, воды — плюс 10,7 градуса. Мы держим курс не прямо на Мирный, а на острова Принс-Эдуард. Торопимся миновать сороковые параллели, чтобы скорее попасть в спокойные воды.

10 декабря 1957

Координаты в полдень — $43^{\circ}53'$ южной широты и $28^{\circ}16'$ восточной долготы. Уже довольно свежо. Это, разумеется, особенно ощутимо после тропиков, субтропиков и Кейптауна. Температура воздуха плюс 6 градусов, воды — плюс 7,2 градуса. Сегодня под вечер миновали острова Принс-Эдуард. Мы их не видели, они остались слишком далеко на востоке.

Плохой, тягостный день. Читал О'Нила, и на меня сильное, но угнетающее впечатление произвели его «Китовый жир» и «В опасной зоне». В «Китовом жире» особенно мастерски и с большой психологической достоверностью передана борьба между хрупким человеческим характером и монотонностью моря. Если характер слаб, то эта монотонность, хватка которой железна, неминуемо побеждает.

В «Красном и черном» Стендаля уже попавший в тюрьму Жюльен Сорель, оценивая свой запас внутренних сил, приходит к выводу: «Ну, вот я и опустился уже на двадцать градусов ниже уровня смерти...» Мне об «уровне смерти» говорить не приходится, тем не менее в длительном плавании у человека должен быть свой внутренний уровень, ниже которого опускаться не следует. А у меня сегодня минус два градуса.

Идет дождь пополам со снегом. Видимость — и в море, и в душе — плохая.

11 декабря 1957

Координаты в полдень — $48^{\circ}53'$ и $31^{\circ}41'$. Уже намного холоднее, чем вчера, — температура воды плюс 4,9 градуса, воздуха — плюс 2,8 градуса. Если прежде пунктом всеобщего средоточия была шлюпочная палуба, то теперь там немногочисленно даже во время киносеансов, не говоря уж о середине дня. Ватники входят в почет. Я с недоумением гляжу на свою серую шляпу, висящую на стене, — не то швырнуть ее за борт, не то подарить в Мирном какому-нибудь пингвину. По Анатолю Франсу, пингвины так же кокетливы, как и люди, особенно представительницы женского пола. А жалеть мне свой колпак нечего — не редкость. Во всяком случае, теперь он самая нелепая вещь в нашей каюте.

Наиболее людно теперь в курительном салоне. Сейчас, в полдвенадцатого ночи, я у себя слышу, как стучат по столу игроки в домино. В карты играют многие, а в домино все. Я старый, довольно азартный картежник и могу понять эту слабость, но столь серьезное отношение к домино вижу впервые. Когда я сегодня после обеда был побит такими «профессорами» домино, как Голубенков и летчик Рыжков, то не на шутку рассердился на своего партнера: зачем он забивал все мои тройки, которыми мы могли бы допечь своих противников. Самое худшее то, что проигравших тотчас выгоняют из-за стола: желающих поиграть слишком много. Вспоминается рассказ Нансена о том, как во время его плавания на «Язоне» в Гренландию тюленеловы играли с утра до полуночи в карты. На «Кооперации» некоторые пары тоже принимаются стучать с утра. Проигравшие снова занимают очередь, и так у них тянется до позднего вечера.

12 декабря 1957

Скорость у нас приличная. Вчера прошли двести тридцать пять миль. Сегодня тоже делаем по десять миль в час. Если так пойдет и дальше, 23—24 декабря прибудем в Мирный. Это было бы чудесно!

Сегодня ночью пересекли пятидесятую параллель. Теперь начнут выдавать усиленную норму питания, полярную норму. Но и до этого на «Кооперации» кормили очень хорошо.

В полдень нашими координатами были: 51°54' южной широты и 35°33' восточной долготы. Температура воздуха плюс 3,5 градуса, воды — плюс 3,2 градуса. Безветрие.

Встретили первый айсберг — привет из Антарктики. Он появился с правого борта и постепенно все вырастал и вырастал. Ярко-белый с синими тенями айсберг напоминал плавающий скалистый остров с двумя церквами. Как только мы смещались по отношению к нему, изменялся и его вид. То он был похож на свежeweымытого белого барана, бодливо склонившего рогатую голову, то на гигантский самолет, стартующий в противоположную от нас сторону.

Видели много китов.

«Киев» опять не работает.

Прекрасная погода. Хорошая скорость. Любо смотреть на карту, от самого Кейптауна расстояния между красными точками, отмечающими пройденный за день отрезок, остаются одинаковыми: по двести сорок миль или чуть меньше. Возможно, что мы в самом деле покроем за пятьдесят дней одиннадцать тысяч морских миль, то есть двадцать тысяч километров, которые отделяют Калининград от Мирного. Местоположение в полдень: $54^{\circ}16'$ южной широты и $39^{\circ}58'$ восточной долготы. Температура воздуха плюс 3,3 градуса, воды — 1,9 градуса.

Днем проплыли сквозь огромную стаю косаток, китов-хищников. Стадо примерно голов (или лучше сказать — хвостов) в сто пятьдесят — двести. Менять ради «Кооперации» свой курс они не стали. Это жуткие хищники — гроза тюленей, пингвинов и даже больших китов.

Косатки не особенно велики. С первого взгляда их можно принять за мичуринских дельфинов. Темные спины с высокими плавниками то исчезают, то опять появляются — киты эти одинаково хорошо плавают и по воде и под водой. Разглядывая их с борта, не находишь в них ничего страшного. Но наши биологи говорят, что в брюхе одной такой рыбешки нашли двенадцать тюленей, а тюлень весит столько же, сколько я.

Зоолог Зенькович, плывущий с нами в Мирный, где он переберется на «Обь», к морской экспедиции, большой знаток китов, пишет, что эти жадные хищники окружают и уничтожают целые стада моржей, что они нападают на других китов и вырывают у них из пасти языки...

Совсем на закате «Кооперация» прошла довольно близко от большого айсберга. Он высился над океаном, словно громадная сахарная голова, которую хозяйка начала раскалывать, да так и оставила. Голова уцелела, но от нее все же отбили два небольших куса, которые лежат рядом на синем столе. Правда, семь десятых этой глыбины под водой, но и того, что видно, тоже хватает. Ее окраска удивительно чиста — белая с синеватым оттенком, в затененных местах — совсем синяя. Надводная часть айсберга на несколько метров снизу невероятно тщательно отполирована волнами. Лед сверкает, словно самый дорогой мрамор. Все это простое и величественное, без архитектурных излишеств. Одна из сестричек

этой махины, этого белого утеса напомнила мне старинный сужающийся книзу лакированный комод с резным верхом. Вряд ли хоть один корабль созерцал когда-либо такой большой и такой белый комод.

Айсберг со всех сторон разный. Когда ледяная гора уже осталась за кормой «Кооперации», когда на фоне ее белой стены уже заалел наш вымпел, она оказалась похожей на замок с башнями, фортами, службами и с необъятным крепостным рвом вокруг — океаном. Все эти постройки покоятся на большом подводном плацдарме, через который, взметая брызги, перекачиваются волны.

Вечернее освещение. Заходящее солнце. Серо-стальная вода. И сверкание удаляющегося айсберга, краски которого так чисты и прозрачны, что сердце начинает биться быстрее.

15 декабря 1957

Разговаривал вчера с капитаном. Возможно, что «Кооперация» прибудет в Мирный еще 21 декабря. Ее сразу начнут разгружать. «Кооперации» было дано твердое распоряжение: вывезти вторую антарктическую экспедицию двумя партиями; доставить первую партию в Александрию, вернуться оттуда в Мирный и забрать остальных участников экспедиции, которых надо отвезти в Калининград или в Ригу. При этом варианте судно пробыло бы в Мирном дней десять. Если же вторую экспедицию удастся забрать всю сразу, то мы простоим в Мирном сорок — пятьдесят дней. Пока что наиболее вероятен первый вариант — с двумя заездами.

Моим первоначальным намерением было тотчас вернуться с «Кооперацией» в Александрию. Но вчера, а также нынешней ночью и утром меня одолевали тяжелые сомнения. Как мне поступить? Проплыть одиннадцать тысяч миль и прожить в море пятьдесят дней с тем, чтобы пробыть в Мирном, в который я наверняка больше никогда не попаду, лишь несколько дней, — это не решение. А если и решение, так легковесное, туристское. Руководство экспедиции согласно, чтобы я задержался в Мирном до возвращения «Кооперации» из Александрии. Отплыв с первым рейсом, я вернулся бы в Эстонию в феврале; отплыв со вторым, попал бы туда в начале мая. Во мне уже созрело убеждение, что мне ничего

больше не остается, как задержаться в Мирном. Пишу эти строки с весьма тяжелым сердцем и смешанными чувствами. Я уже очень стосковался по Эстонии, по островам, по домашнему теплу, по своей комнате, в которой достаточно места, чтобы во время раздумья расхаживать из угла в угол, и которая не качается и не трясется без конца. Пока что во мне еще идет изнурительное сражение между рассудком и сердцем. Все зависит от того, на какую чашу весов лягут слова «я должен». Речь идет о трех месяцах жизни в мертвых льдах Антарктики.

Что говорит против этого?

1. На кой черт тебе тратить три месяца жизни на антарктический лед, до которого тебе никогда не было и через год-другой опять не будет никакого дела?

2. Ты не научный работник и не очень-то разбираешься в тех задачах, которые стоят перед нашими исследователями.

3. И после этих трех месяцев Антарктика останется для тебя такой же *terra incognita*¹, какой и была.

4. Ты выехал прежде всего затем, чтобы пожить на большом корабле и повидать моря да океаны. Ты видал их и видишь, причем посматриваешь порой на них тем же взглядом, каким арестант смотрит на надзирателя. Антарктика — тот же океан, океан вечных льдов, тот же тюремный надзиратель.

5. В Эстонии тебя ждут дорогие тебе люди. Там, используя выражение Минни Нурме, твои «земные корни». Не оборвутся ли они, не померзнут ли? Там твое рабочее место. Там кафе «Москва» со своей музыкой, с хорошим коньяком и разговорами, что вертятся вокруг вопросов культуры, личной жизни твоих знакомых (для писателя это бесконечно важная область знаний) и прочего.

6. Не боишься ли ты, что твоя задержка в Антарктике будет истолкована кое-кем как бегство от жгучих жизненных проблем и как увиливание от общественной работы?

7. Тот, кто добровольно едет в Антарктику, не вынуждаемый к этому ни профессией, ни образованием, тот человек слегка рехнувшийся (будь маршрут в десять раз короче, и то многие наши писатели пришли бы к такому же выводу), а тот, кто добровольно там остается, несмотря на возможность уехать, просто набитый дурак.

¹ Неведомая земля (лат.).

8. Еще сто с лишним самых убедительных аргументов.

Что говорит за то, чтобы задержаться в Антарктике?

1. Надо повидать, что же там такое делается, и понять это.

2. В Александрию не обязательно ехать через Мирный, есть более короткие и простые пути.

3. У меня девяносто шансов из ста, что мне удастся полетать на самолете над антарктическим материком (в том случае, если я там останусь), и десять шансов из ста, что меня возьмут на тракторный поезд, который направляется в глубь антарктического материка.

4. Что бы там ни произошло, это не обойдется без участия тех людей, с которыми я нахожусь вместе уже полтора месяца, но которых еще не видел в деле.

5. Десятки более достойных и хороших людей, чем я, пускались в более тяжелые маршруты, не раздумывая перед этим по несколько часов над тем, легко это или трудно. *Надо остаться.*

Все. Это дело решенное.

Уже который день пытаюсь начать второе действие пьесы. И все никак не удается. В голову лезут другие идеи, связанные с кораблями и с морем, мысли меняют направление и окраску. Сегодня ценой отчаянного напряжения удалось написать одну сцену.

Над океаном низкий молочный туман. В нескольких десятках метров уже никакой видимости. Долго следил на капитанском мостике за экраном радиолокатора: океан впереди чистый — ни одного айсберга. Идет мелкий снег.

В полдень сирена «Кооперации» вдруг начала подавать короткие гудки. Учебная пожарная тревога. Через палубу, затянутую туманом, побежали на корму, к месту «пожара», члены команды в пробковых поясах. Настрое-ние же было подлинно тревожным, — наверное, из-за тумана.

16 декабря 1957

Пытался писать пьесу. Ничего не выходит. За полдня — две реплики, и те не удовлетворяют. Вечером спрячу рукопись на самое дно чемодана. Может быть, как-нибудь в Антарктике, когда забушует пурга, я снова ее достану, а может быть, и нет. Жаль, что не сумел кон-

чить второго действия еще в океане. Но ведь не факт, что в Таллине я смог бы кончить за это время пьесу. У меня остается два действия на обратный путь, на океан. Надеюсь, что к тому времени я освобожусь от этого внутреннего возбуждения, которое рождает океан, лед и близость материка — холодное дыхание, обдающее нас с юга, с правого борта. И наконец, насколько мне известно, никто еще не писал пьес между 60-м и 70-м градусами южной широты.

Сегодня в полдень нашими координатами были 61°36' южной широты и 57°33' восточной долготы. День у нас начинается на час раньше, чем в Москве. Ночи уже очень светлые, но какие-то не такие, как в Северной Атлантике. Температура воздуха около нуля, воды — 0,6 градуса выше нуля.

В книге Бэрда впервые встретил выражение «приплод барьера». Сегодня в океане уже много льда.

Горизонт покрыт зубчатыми конусами, кубами и полушариями маленьких айсбергов. Эти холмы всевозможной формы, мимо которых мы все время проплываем и которые делают линию курса «Кооперации» ломаной, кажутся детьми больших айсбергов, а большие айсберги — детьми ледников и ледяных барьеров. «Приплод» — в самом деле верное и точное слово. С каждым часом все больше и больше льда, не обычного льда, а одиноких айсбергов или их осколков. Многие из них низкие — всего в метр-другой высоты, они доживают последние дни. Вода на несколько метров вокруг них прозрачно-синяя и на вид теплая. Видели небольшой, диаметром в три-четыре метра, ледяной островок, источенный снизу водой. Он был похож на рыжик, выросший в синей траве.

Возможно, что «Обь» выйдет к нам навстречу, если «Кооперация» не сможет своими силами пробиться сквозь лед вблизи Мирного, в море Дейвиса. Волнующие дни — вокруг нас уже мир льдов, а впереди материк льдов.

Должен написать несколько писем в Эстонию. «Кооперация» отвезет их вместо меня в Александрию, а оттуда их доставят в Советский Союз участники второй экспедиции.

Но больше всего меня сейчас интересует лед, лед любой формы и величины.

Сегодня в полдень нашими координатами были 62°10' южной широты и 65°31' восточной долготы. Свежо, облачно.

Утром обменивались с Васюковым соображениями о том, что мы скажем, когда вернемся домой, то есть что мы скажем такого, чтобы представить себя великими героями, мореплавателями и завоевателями Антарктики. Мы выдумывали всевозможные опасности, поединки с китами-косатками и жуткие штормы, во время которых вели себя героически. Мы вспомнили, на сколько градусов накренилась порой «Кооперация» при качке, и увеличили эту цифру в полтора раза.

В тесной каюте человек кажется очень большим и могучим. Отсюда возникает ощущение силы. Наверно, от этого ощущения и оттого, что здоровье у меня сейчас лучше, чем было когда-либо после войны, возникает желание подраться. Каждое утро у нас с Васюковым происходят боксерские матчи. Их зачинщик — Васюков. Когда мне никак не удастся его одолеть, я хватаю нож, выставляю серо-стальное лезвие и кричу:

— Я человек с финским характером!

Это всегда помогает. А сегодня, в самый разгар наших разговоров, наших необыкновенных историй, нашего полета фантазии и всех тех чудес, о которых мы намереваемся петть дома, произошла небольшая размолвка: мы оба начали хвастаться своей силой.

В а с ю к о в. Тут я ей (то есть жене) расскажу, как вместо зарядки лупцевал по утрам председателя эстонского Союза писателей. До тех пор лупцевал, покамест тот не залезал под койку — одни пятки торчали.

Я. И не стыдно тебе так врать, Костя!

В а с ю к о в. Подумаешь! Чуть прибавить — оно красивей получится. Маша (то есть его жена) всему поверит. Да и кто ты в самом деле есть — таллинская килька. У меня силы больше.

Я. Ладно, Костя, ладно! Я ничего не спущу, за все с тобой рассчитаюсь. Уж я расскажу, как ты тряся в углу от страха, когда я кулак заносил.

В а с ю к о в. Наивный человек! Думаешь, кто поверит?

Я. Поверят! К тому же это правда. Если хочешь знать, я даже напишу об этом в книге, и ее напечатают.

Пусть твои сыновья прочтут, как их отцу доставалось в Южном Ледовитом океане от таллинской кильки. Даже кричал, бедный.

Переходя ко все более страшным угрозам, мы провели в том же духе еще немало времени. Окончательный итог был таков: все в каюте перевернуто вверх дном, а Васюков отдувается на своей койке.

В а с ю к о в. Мирное сосуществование! Человек должен быть солидным!

Я. Солидным! Посмотри, как ты выглядишь!

В а с ю к о в. А что, в Эстонии так принято: носить галстук на спине?

Я (*поправляя галстук*). Завтра в пять утра получишь взбучку.

Самым худшим во всем этом оказалось то, что опрокинулась чернильница. Залит весь стол. Чернила просочились под стекло. Мы целый час оттирали это стекло и стол, а потом свои руки и носы. Эта чернильная работа скрашивалась хвастливыми речами об Антарктике, о той Антарктике, которой никто еще из нас не видел и которую мы оба выдумали для других.

Сегодня двадцатипятилетний юбилей Главсевморпути. К обеду выдали по стакану разведенного спирта. Настроение хорошее. В подходящем месте отмечаем мы эту дату — среди айсбергов.

Представление, будто южная, ледовитая часть Индийского океана безжизненна, ошибочно. Тут жизни и разнообразия даже больше, чем в тропиках, и зрелищ тоже больше.

Льда сегодня очень много. «Кооперация» в поисках свободной воды лавирует между льдин. Линия ее пути совсем кривая. Много бугристых айсбергов высотой метров в десять и больше, а в ширину и в длину в несколько сот метров — настоящие плавающие острова. В более старых из них вода выгрызла пещеры. Они вроде ворот крепости из восточной сказки, вроде дверей к ледяному сердцу. Большие айсберги вызывают противоречивые чувства: понимаешь мощь и красоту природы, широту и ледяную глубину океана, свою крохотность и свою мощь, испытываешь ощущение одиночества и невозможность выразить в словах то, что видишь. Когда смотришь на этих зубчатых гигантов, которые сливаются вдаль в гористый морской пейзаж, то чудится, что вот-

вот где-то за ними возникнет видение белого города с огнями, улицами, людьми.

Много тюленей, и нередко крупных. Они лежат на льдинах и лишь после того, как мы поднимаем крик, поворачивают к судну свои круглые головы. Разевают пасти, смотрят вверх, но не находят в нас ничего нового и занимательного. И когда корабль проплывает, продолжают спокойно спать.

Попадают косатки. Много птиц. Льды и океан.

19 декабря 1957

Сегодня, как и вчера, океан ровен и холоден. Мы плывем на восток между 61-й и 62-й широтой, разрезая носом меридианы, как масло ножом. За сутки, со вчерашнего полдня до сегодняшнего, прошли расстояние от 72°49' до 80°19' восточной долготы. Льда меньше, попадают лишь одинокие айсберги.

Сильный ветер в шесть-семь баллов, волна в четыре балла. Температура воздуха все время держится около нуля, температура воды 0,4—0,6 градуса выше нуля. На палубе не очень-то весело. На горизонте мгла, грань между небом и морем исчезла, холодный ветер забирается в рукава и за ворот. Вдали видны одинокие белые айсберги, кажущиеся во мгле призрачными. Подплывая к иным поближе, видим, что об них разбиваются волны. Высоко взлетает белая пена, айсберг слегка качается и напоминает безмачтовое судно с огромным корпусом. Вдали же айсберги похожи на невест в белой развевающейся фате, очень красивых и очень холодных невест очень старых женихов. Долго рассматривал один айсберг. Он был метров сто в длину, с крутыми боками и сверху гладкий, как стол. Видно, не так давно оторвался от какого-то ледяного барьера — волны еще не выгрызли в нем пещер. От разбивающихся волн взлетала вверх белая пена, которая окутывала его ледяными кружевами и скрадывала его резкие и величественные очертания. Вспомнилось название сборника стихов Вальмара Адамса «Поцелуй в снег» — белая пустота обложки с красным ртом посередине, — и мне стало холодно. Тот, кто так рвется целовать снег, пусть приезжает сюда. Всем хватит. Даже двум с половиной миллиардам человек не растопить поцелуями айсберга средней величины. И вообще... Есть красивая старинная песня:

Дай мне губы — развей мои муки,
Подобнее, волшебница, будь!
Положи свои белые руки
Вот сюда, где болит моя грудь.

Ну да к дьяволу!..

Вечером было открытое партсобрание. Обсуждали вопрос о разгрузке. «Кооперация» будет разгружаться в форсированном порядке — изо всех четырех люков сразу. Кроме трактористов, экипажей «Пингвинов», отдельных научных работников и некоторых членов экспедиции, в разгрузке примут участие все. Может быть, управимся за четыре дня. Чем раньше «Кооперация» отбудет в Александрию, тем лучше, тем она скорее вернется за остающимися.

Меня прикрепили к бригаде метеорологов. Бригадиром у нас Виктор Антонович Бугаев. Мы будем разгружать трюм из первого носового люка. Там бензин и прочее жидкое топливо. Поэтому наше разгрузочное место самое ответственное. Спички и папиросы придется оставлять в каюте. Будем работать в две смены по двенадцать часов в день.

21 декабря 1957

Координаты в полдень — $63^{\circ}17'$ южной широты и $90^{\circ}43'$ восточной долготы. До Мирного осталось меньше четырехсот километров. За последние шесть часов прошли всего-навсего девятнадцать миль. Впереди, сзади и с боков плавают большие ледяные острова, изборожденные водомоинами и разводьями. «Кооперация» работает как ледокол, и работает хорошо. Любо смотреть на сражение корабля со льдом. Он не налетает на льдины или ледяные острова с разгону, а подходит к ним осторожно и, навалившись носом на кромку, вламывается в лед. Ледяной остров подается вперед, медленно кружится, вслед за ним начинают кружиться льдины поменьше, а сам он отодвигается в сторону или раскалывается пополам. Порой мы едва ползем. Форштевень, разрезая льдины, оставляет на их краях следы краски. В этой борьбе у льда то преимущество, что он старый и крепкий, а преимущество корабля в его силе да еще в терпении, хитрости, осторожности, решительности и сметке его капитана. Анатолий Савельевич Янцелевич не в первый раз попадал в эти воды, не в первый раз проходил сквозь льды. Он знает, что может и чего не

может «Кооперация». Порой мы тащимся самым медленным ходом, а порой судно, дрожа всем корпусом, дает полный вперед, — чувствуешь, как оно всей грудью теснит льдину и та поддается. Каждый раз, как начинается такая схватка, все мои мускулы напрягаются, словно этим можно помочь кораблю.

А когда судно задевает боком большую льдину, то его так встряхивает, словно невидимые ледяные лапы какой-то антарктической твари вцепились в его борта и киль.

Вчера получили по радио сообщение из Мирного о том, что «Обь» не выйдет нам навстречу. Считают, что «Кооперация» сумеет пройти и сама. «Обь» находится сейчас в пяти с половиной километрах от Мирного, но если добираться до нее по льду на тракторах, то надо проехать семнадцать километров, а это слишком далекий путь. «Обь» пробивается к Мирному и делает по километру в день. А чем ближе подойдет к Мирному «Кооперация», тем скорей мы ее разгрузим. По фарватеру «Оби» мы, несомненно, сможем подойти к берегу довольно близко.

Сегодня впервые встретились с советским послом антарктического материка — с самолетом Москаленко, вылетевшим на ледовую разведку для «Кооперации». Во второй вылет самолет сбросил нам ледовую карту. Она упала на ванты задней мачты. Вот сноровка!

Появились первые — пока еще маленькие — пингвины. Они стоят на льдинах, словно мальчики в черных пиджаках с белыми жилетками, и смотрят на корабль. Попался и один большой пингвин — императорский, но он был слишком далеко.

Иногда видим тюленей. Одна пара спала как раз на нашем пути, и пришлось потревожить ее сон. Они заворачивались на льду под нашим бортом, рассерженные не меньше людей, которым не дают поспать. Это были тюлени-крабоеды, у которых шкура бывает желто-серой или желто-сери-белой.

Провел на палубе полчаса без защитных очков. Свет очень яркий. Болят глаза.

22 декабря 1957

Сегодня впервые после Кейптауна вновь удалось ступить на твердую землю. Вернее, на лед, но на такой, который уже составляет одно целое с шестым континен-

том. Среди сияющего ледяного поля высятся плоские айсберги, одинаковые и невыразительные. В их облике нет беспокойства и переменчивости, характерных для уже оторвавшихся плавучих гигантов. А позади них вздымается синеватый, переливающийся на свету, волнующий антарктический материк, погребенный подо льдом.

Так это и есть тот материк, о котором я столько думал последние годы, к которому меня влекла какая-то непонятная, настойчивая и необъяснимая с точки зрения логики сила, сила, питавшая и поддерживавшая мое воображение, мои книги и, вероятно, мое желание быть смелее и лучше, чем я есть? Но тот ли он самый, совпадет ли он с тем смутным представлением о нем, которое я составил из обрывочных сведений? Конечно же тот самый, но и не совсем тот самый.

Джозеф Конрад пишет: «У каждой травинки на земле есть свой источник жизненной силы, источник стойкости; так же и человек держится своими корнями за ту почву, которой он обязан жизнью и верой».

Разве я приехал сюда в поисках земли, что вернула бы мне утраченную веру в людей и в жизнь? Нет. Я ведь никогда не терял этой веры. Возможно, меня привело сюда то грызущее беспокойство, свойственное нам, парням приморских деревень, с самого детства и заставляющее нас блуждать по белу свету, не столько, правда, в поисках счастья, сколько в поисках хлеба. И, однако, у каждого из нас, как у той травинки, есть свое место на земле, своя тихая гавань, в которую мы всегда возвращаемся и заветное наименование которой высечено у нас на затылке, как у корабля на корме. Надпись эта порой заволакивается, но потом проступает снова, четкая и зовущая. Как это ни странно, но лишенные такой гавани люди, казалось бы свободные и ничем не связанные, судорожно пристают к какому-нибудь местечку поспокойнее, бросают свои жалкие якоря, и киль их судна быстро покрывается ракушками и слизью.

Чувство своего места, своей гавани развито у меня сильно. Не будь его, у меня, наверно, никогда не достало бы смелости закрыть за собой дверь своего дома с наружной стороны и оставить за воротами скулящего пса.

Есть еще одна глубоко личная причина этого регулярно одолевающего меня беспокойства. Неспособность привыкнуть к городу. Я живу в Таллине уже тринадцать лет, но еще не сумел стать порядочным горожанином и почувствовать, что именно здесь мое место. Хуже того,

я хорошо вижу, как обрастаю в городе какой-то ржавчиной, погрязая в благодушии, в лени мысли, в потребности оправдывать свои слабости и все то легковесное, что под соусом красивых слов может сойти за сносное и съедобное блюдо. Эта легковесность, перебродивши в поэзии, может выглядеть очень привлекательно. Она ведь будет говорить о сложности вашей души, о глубоком самоанализе, о том, насколько смехотворна в своей ничтожности политика по сравнению с величию вашего собственного «я». На литературных вечерах девушки с красивыми тоскующими глазами одарят вас за эту поэзию красными цветами. Такова база целого в своем роде направления в современной эстонской поэзии, и не только на мою голову обрушивались туманы от поборников этого направления. Отнюдь не так уж безопасно стучаться в дверь, на которой намалеваны цветки и нежные слова: «Не тронь меня!»

Конечно, глупо обвинять город! Обвинять надо самого себя. Только уж теперь эта кадрили чувств, доводов, доказательств и предположений не увлечет меня, не заставит плясать под свою дудку.

Ночью лед остался позади. Ширина ледяного пояса, пройденного нами, равна двумстам милям. Затем — вблизи побережья Антарктиды, в море Дейвиса — вода была чистой, и «Кооперация» плыла с хорошей скоростью. Днем прошли мимо острова Дригальского. Он целиком погребен под снегом и льдом, его плоский силуэт настолько сливается с айсбергами позади и низкими тучами, что неопытный глаз может принять его либо за причудливую ледяную гору, либо за расширяющееся книзу скопление тумана.

— Справа по борту берег Антарктиды! — раздалось после обеда по радио. Но поначалу мы только и увидели вдали что широкие, плоские и низкие айсберги, которые теснились и закрывали друг друга, высясь над сверкающим ледяным полем, над тем самым полем, что уже порядочное время тянулось вдоль нашего правого борта. Лишь позже мы увидели антарктический материк, возникший не из серого моря, а из белых льдов. А над ними торчала вдали голая скала, сперва принятая нами за «Обь». Справа, в нескольких десятках метров от нас, тянулась кромка припая. На нем темнели уходящие вдаль следы гусениц — тут была первая разгрузка «Оби» (очень

сложная и трудная). По кромке важно разгуливали императорские пингвины, полные и очень солидные. Кое-где виднелись тюлени.

Сейчас мы стоим там, откуда «Обь» начала пробиваться сквозь лед к Мирному, до которого, стало быть, десять — двенадцать километров. Путь «Оби» отмечен широким и бугристым, уже замерзшим каналом, пройти сквозь который «Кооперации» не под силу. Корабль замер. Вокруг ослепительно белые льды, на которых кое-где чернеют пингвины и высятся далекие айсберги, а впереди — Мирный, едва-едва видный отсюда.

Вечером на лед опускается моноплан «Як» с начальником экспедиции Евгением Ивановичем Толстиковым (он приехал сюда раньше, с «Обью») и капитаном «Оби» Маном. Состоялась первая встреча с нашим руководителем. Толстиков, который представлялся мне на основании того, что я читал о нем и слышал от спутников, седым человеком почтенного возраста и с могучим басом, оказался молодым мужчиной атлетического сложения, говорившим довольно тихим, душевным голосом и умевшим бросить вскользь теплую шутку. После этой встречи стало ясно, что разгрузка не начнется ни сегодня, ни завтра, так как «Обь», с трудом пробиваясь вперед, все еще прокладывает нам дорогу, а везти в Мирный тысячу восемьсот тонн нашего груза на тракторах — дело нештучное.

Через несколько дней должен направиться в глубь антарктического материка, к уже созданной станции Восток и только еще создаваемой станции Советская, санно-тракторный поезд. Вероятно, «Пингвины» не войдут в этот поезд, так как он уже составлен. «Пингвины» все еще стоят на «Кооперации» и краснеют от стыда.

Толстиков рассказал о внутриконтинентальных антарктических станциях. На Пионерской и Оазисе условия жизни оказались более легкими, но на Востоке, на Комсомольской и на только еще создаваемой Советской они очень трудны и сложны, особенно антарктической зимой. Температура падает до 70 градусов ниже нуля и больше, но главная беда — недостаток кислорода. Станция Восток находится в районе геомагнитного полюса, на высоте в три тысячи пятьсот метров выше уровня моря, а Советская — на высоте в четыре тысячи метров. Давление воздуха там 450—460 миллиметров. Но пока что говорить об этом рано, следует самому подышать этим воздухом.

Завтра на «Кооперации» станет тише. На вертолетах отправят в Мирный тех, кому предстоит выехать с тракторным поездом, тех, кого пошлют на внутриконтинентальные станции, некоторых ученых, кое-кого из участников морской экспедиции, летную группу.

Необыкновенный вечер — условный вечер длинного полярного дня. Солнце низко висит над ослепительно белым льдом, оно не заходит, а лишь изредка заволакивается облаками. Небо на севере такое, какого я никогда в жизни не видел. Наложенные друг на друга все краски, кроме черной. Краски, среди которых преобладают золотисто-желтая, оранжевая, красная и сине-зеленая, сливаются друг с другом, образуют промежуточные тона и словно поют в этой тиши.

Ветра нет, одно белое безмолвие, не нарушаемое больше ни вибрацией винта, ни шумом моторов. По льду шествуют к материку тихие, чинные и торжественные процессии пингвинов. Впереди, на бугристом льду фарватера «Оби», спит одинокий тюлень. На западе небо покрыто неподвижными сине-черными облаками. Очень длинные тени.

Безмолвие здесь такое, что ощущаешь его всей кожей, всеми порами. Непривычное и грозное безмолвие, словно прячущее в своих ледяных объятиях долгие ночи и снежные бури.

23 декабря 1957

Когда «Кооперация» шла вдоль кромки припая, Фурдешский сказал, указывая на одного императорского пингвина, который, склонив голову набок, следил за проходящим мимо кораблем:

— Пародия на человека!

Лицо мое словно горит в огне, оно стало таким красным (особенно нос), будто я выпил целый литр спирта. Это от здешнего солнца, от сильного ультрафиолетового облучения и оттого, что я вместе со всеми три часа подряд наблюдал на льду пингвинов — пародию на человека и, стало быть, на меня самого. Они кишат вокруг корабля маленькими, в несколько голов, стайками. Это славные птицы, смелые, дружелюбные и, если надо, весьма воинственные. Они расхаживают по гладкому льду, словно люди, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу. По снегу же, изрытому следами сапог, они предпочи-

тают ползти на брюхе, помогая себе концами крыльев. К этому способу они особенно охотно прибегают тогда, когда их старший брат — человек — становится назойливым и надо поскорее от него убраться. Когда пингвин ползет так по льду, отталкиваясь рудиментами крыльев и подняв голову, он совсем утрачивает свое сходство и с человеком и с птицей. Вспоминается сказка Мамина-Сибиряка, в которой ворона говорит про канарейку: «Нет, это не птица!» Ползущий пингвин несколько напоминает тюленя, а еще больше черепаху. Лишь поднятая голова, единственная птичья часть тела, мешает принять его за млекопитающее или земноводное. В воде же, когда пингвины сообща ловят рыбу, они двигаются с большой скоростью и выскакивают порой наверх, словно дельфины. Это очень дружные птицы, очень семейственные, хотя на глаз невозможно определить степень родства между тем или иным пингвином. И, разумеется, самая приметная из их черт — солидность. Перед объективами фотоаппаратов они, лишь изредка пошевеливая своими крылышками, стоят в такой важной позе, будто ждут от нас, пришельцев с севера, предъявления посольских верительных грамот. Важность свойственна и пингвинам Адели, и императорам, но, поскольку первые более мелки, важности в них вмещается меньше, и потому они более откровенно проявляют свое любопытство.

Императорские пингвины вдвое, а то и более чем вдвое выше своих братьев и в несколько раз тяжелее. Они аристократичны, хорошо воспитаны и не суются так близко, как маленькие пингвины. В остальном же те и другие схожи.

По сверкающему бесконечному ледяному полю движется свадебная процессия в черном. Впереди шагают четыре здоровенных императора. Самый первый — это, очевидно, музыкант — время от времени поглядывает назад — не отстал ли народ. А в конце процессии семнадцать пингвинов Адели — ни дать ни взять детишки, прихваченные взрослыми на свадьбу и послушно плетущиеся сзади. Потом, через какое-то время, четверо старших начинают ползти, — видно, пиво в голову ударило. А восемь малышей знай скачут следом.

(При виде этой картины мне вспомнились забавные рассказы о мухуских свадьбах. Те, кого отяжелевшая голова и сила земного притяжения заставляли растянуться на брюхе, добирались домой ползком, вспахивая носом землю и отталкиваясь сзади подкованными сапогами,

и хоть без компаса, а дом свой человек находил. Рубцы и царапины на мухуских камнях, принимаемые учеными мужами за следы ледникового периода, наверняка появлялись во время свадеб, длившихся по две недели).

Весь лед, даже вдали от воды, усеян черно-белыми группами пингвинов. О безжизненности и говорить не приходится. Правда, пингвины тихий народ, и к тому же голос у них такой, что было бы умнее с их стороны не подавать его вовсе.

Шеклтон пишет:

«Императорские пингины всегда величественны. К незнакомцу они приближаются несколько небрежной походкой. Кем бы ни был встречный, собакой или человеком, они останавливаются на почтительном расстоянии от него, а затем их вожак выступает вперед и отвечает церемонный поклон, столь глубокий, что клюв пингвина почти касается грудных перьев. В такой позиции вожак произносит длинную речь, пересыпаемую отрывистыми, мычащими восклицаниями, — столь же непонятные речи любят произносить в свои бороды и ученые профессора. Закончив свой глубокомысленный монолог, пингвин из вежливости стоит еще несколько секунд со склоненной головой, а потом размашисто вскидывает ее, высоко задирая клюв, насколько то позволяют шейные позвонки, и пристально вглядывается в лицо чужака: все ли тот понял. Коль нет, то вся процедура начинается сначала, и если зритель по добродушию терпеливо все это сносит, вперед выходит какой-нибудь другой шутник и, отпихнув оратора в сторону, совершает еще раз ту же торжественную церемонию в том же самом порядке. Пингины явно считают людей своими родственниками, побегами того же ствола, немного, правда, некрасивыми и слишком крупными».

В этой истории справедливо все, кроме одного: речей императоры не произносят. Может быть, перед первой экспедицией они и выступали, но перед третьей не считают нужным этого делать, да и период собраний у них, по-видимому, миновал. (В Таллине тоже так: все длинные речи произносятся зимой, а летом либо ломают голову над тем, с чем бы выступить осенью, либо стараются понять, зачем зимой столько ораторствовали.) А тут сейчас поздняя весна.

Таково было наше первое знакомство с пингвинами.

Весь день вертолет то поднимается в воздух, то приземляется рядом с «Кооперацией». У нас тесная связь с Мирным. Многие перебираются туда.

«Кооперацию» соединяет с морем узкий канал. По нему вчера и сегодня ночью приплывали киты. Сперва двое, потом пятеро. Прямо у самой кормы появлялись из воды их черные громадные спины. Они фыркают (в описаниях говорят «отдуваются») почти как лошади. Интересно, что они тут ищут, что находят?

Удивительное возникает чувство, когда видишь этих гигантов под косыми лучами полуночного солнца.

24 декабря 1957

Стоим на месте. «Обь» с большим трудом прокладывает нам дорогу, медленно продвигаясь вперед. Мы начнем выгружаться лишь у приличной, прочной кромки, не то разгрузка нам дорого обойдется.

Привожу в порядок последние записи. Кажется, что корабль вымер, стал безжизненным и неуютным. Даже в каюты просачивается белое безмолвие, которое, конечно, может внезапно смениться свистом в вантах и бушеваньем пурги. Но сейчас мертвая тишина. Каюты пусты, ресторан пуст, лишь изредка слышатся шаги на палубе. Большая часть людей в Мирном.

Вечером встретился у капитана с начальником второй экспедиции Трешниковым и со своим коллегой, корреспондентом «Правды» Введенским. Трешников, вернувшийся два дня назад с Востока и вчера летавший с Голышевым и Толстиковым на Полюс относительной недоступности, — человек молодой и крепкий, весящий больше ста килограммов, с лицом красным, как у индейца. Полярное солнце на куполе Антарктиды, очевидно, еще более интенсивное, чем здесь, обработало и его.

Введенский зимовал в Мирном и поплывет на «Кооперации» в Александрию.

25 декабря 1957

Сегодня утром рядом с «Кооперацией» опустился большой самолет. Полетел на нем в Мирный. Из-под крыльев самолета убегал назад лед, кое-где изрезанный длинными трещинами. Сравнительно недалеко от Мир-

ного чернел корпус «Оби». Интересно, когда же мы наконец начнем разгружаться?

Первое знакомство с Мирным. Аэродром хороший, расположен у самого поселка, и самолетов у нас много. Мирный ютится между выглядывающих из снега скал, напоминающих своей бурой окраской наш эстонский сланец. Дома с плоскими крышами и высоко расположенными окнами разбросаны там и сям, словно раскиданные ребенком кубики. Очень много снега, по-летнему мягкого, изборожденного вдоль и поперек следами тракторных гусениц. Наверно, ни на какой широте, ни на какой долготе не найдется второго поселка с таким количеством техники, как этот. Поначалу даже трудно понять, чего тут нет.

Разговаривал с Толстиковым. Он ничего не имеет против того, чтобы я здесь задержался. По-видимому, я поселюсь в доме № 2, в котором сейчас живут Введенский и кинооператор. Надеюсь, что полетать удастся вдоволь, — мой небольшой вес не обременит ни один самолет.

Дома в Мирном могут показаться со стороны какими угодно, только не красивыми. Плоские коробочки, зимой совершенно исчезающие под снегом. Но внутри они очень уютные и к тому же замечательно теплые. На полу и на стенах — ковры. И довольно-таки чудно видеть в комнате, находящейся на антарктическом материке, самый обычный платяной шкаф, диван, никелированную кровать и книжную полку-секретер. Настолько это противоречит всему, что мы читали о первых экспедициях на Южный полюс, во время которых вес и объем вещей являлись одной из сложнейших проблем!

Введенский принял меня, как Ротшильд. Пакет, присланный ему с «Кооперацией» из Ленинграда, содержал и благие дары цивилизации, и бок о бок с ним — пагубные, иными словами — жидкие. Коньяк был подобен летнему небу Антарктики — без единой звездочки, то есть «Ереван». К нему имелся великолепный соленый шпик — снежно-белый, ледяной, с блестящими крупинками соли. Но это еще не самое важное. Гораздо важнее то, что он местный: свинью в ранней юности доставили на корабле в Мирный, она выросла на шестом континенте, и жизнь ее оборвалась тут, под безжалостным ножом полярников, но все-таки за свой недолгий век она прошла такой путь, какой не снился ни одному поросенку. Когда человек уминает столь необыкновенный шпик,

в нем волей-неволей пробуждается поэт. И после того как я ушел от Введенского, снег мне показался еще более белым, тропка — более узкой, а расположение домов — еще более беспорядочным. У зеленых самолетов было вдвое больше пропеллеров, чем утром, на их фюзеляжах сверкал какой-то золотистый отблеск. Я тихо запел:

Я помчался бы с северным ветром
В край метелей и вечного льда...

И на мои глаза навернулись слезы умиления.

Пока что отложу описание Мирного, поскольку сегодня он у меня получился бы прямо-таки райским местом. За нынешний день с «Кооперации» вывезли на самолетах тридцать тонн груза. Понемногу продвигаемся по фарватеру «Оби» к Мирному и уже окружены льдом со всех сторон.

26 декабря 1957

Сегодня утром санно-тракторный поезд направился из Мирного в глубь антарктического материка — на Комсомольскую, на Восток и на только еще создаваемую Советскую.

Сажу на корабле. На душе такое паршивое чувство, будто я повис в какой-то пустоте. Мы вроде в Антарктиде, а вроде и нет. «Обь» все еще прокладывает нам дорогу, и такие люди, как я, не связанные прочно с определенным научным отрядом, не имеющие определенного задания, чувствуют себя лишними. В Мирном у всех дел по горло, и не хочется болтаться у людей под ногами. Старики, то есть участники второй экспедиции, передают новеньким, то есть участникам третьей экспедиции, вещи и снаряжение, сообщают научные данные. Все это новое, непривычное, имеющее отношение не столько к Мирному, сколько к условиям жизни и климату на внутриконтинентальных антарктических станциях. Слышать одни разговоры — это могло бы удовлетворить меня в Таллине, но не здесь, вблизи полярных станций, которые хотелось бы повидать самому. Так что требуется терпение, умение ждать, но этих качеств я взял с собой из Таллина слишком мало.

На «Кооперации» тихо. Дважды в день эту тишину нарушает приземляющийся вертолет, отбрасывающий на

стены каюты тени огромных вращающихся лопастей подъемного винта. Сейчас тишина — мой самый ненавистный враг. Она, вроде злыдня в шапке-невидимке, просовывает свои холодные руки в окно каюты и сжимает мое горло. Это слышимая тишина, белая река времени, и дно у этой реки скользкое. Интересно, что ощущают другие?

Здесьнее солнце сделало свое дело. Кожа на лице облезает, губы распухли.

27 декабря 1957

«Обь» сегодня подошла к нам по тому самому каналу, который так долго пробивала для себя и для «Кооперации». «Обь» накренилась на правый борт. Она ломает лед совсем иначе, чем наше судно. «Обь» как бы наваливается всей тяжестью своего корпуса на лед впереди, и тот слегка вздымается под ее черными бортами. Она оставляет за собой довольно узкую дорогу, по которой спокойно плывут следом осколки. Ну и сила! У «Оби» не такой, как у нас, форштевень, он нависает надо льдом, словно карниз.

Когда «Обь» добралась до «Кооперации», началась пурга. После тихой и солнечной погоды, стоявшей с 22 числа, мы увидели совсем другое лицо Антарктики, отнюдь не праздничное, а будничное. Уже вчера вечером, а особенно сегодня утром можно было наблюдать, как пингвины покидают кромку припая и длинными шеренгами направляются на материк. Небо затянулось тучами, контуры айсбергов стали расплывчатыми, видимость ухудшилась, свет перестал резать глаза до боли.

Сейчас бушует метель в восемь-девять баллов. «Обь» стоит за нашей кормой, ее толстая труба и короткие мачты, видные сквозь ванты, кажутся пристройками «Кооперации». По палубам проносятся вихри. Метель обладает свойством делать корабль каким-то маленьким, а мачты низкими; их вершины при особенно сильных порывах совсем исчезают в небе, которое стало близким-близким, которого попросту нет. Белый корпус «Кооперации» совсем сливается с пургой, с ее белыми волнами, — они порой чуть ли не целиком захлестывают черный силуэт «Оби», оставляя на виду лишь трубу или желтые мачты, ступенчатый нос или круглую тяжелую корму. Небо сливается с ледяным полем, видимость не

больше десяти — двенадцати метров, и кажется, будто уровень льда у бортов «Кооперации» от рывков все поднимается и поднимается.

Скверная получилась бы история, если бы лед начал двигаться, закрыл бы канал и «Оби» пришлось бы вновь прокладывать нам дорогу. Все мы ждем не дождемся того момента, когда можно будет разгрузить «Кооперацию» и отправить ее в Александрию.

Хорошо, если в такую пургу есть крыша над головой, если сквозь залепленный снегом иллюминатор пробивается свет, если ты можешь спать на койке и если рядом с тобой друг, который убежденно обзывает тебя ослом, поскольку в связи с внезапной пургой ты осмелился сказать несколько слов о метеорологии, этой науке наук, и внес предложение: после того как лед тронется и закроет нам дорогу, поручить пробивать его заново не «Оби», а метеорологическому персоналу экспедиции.

29 декабря 1957

Мы словно в крынке с молоком. Никакой видимости. Не у Первомайского ли начинается так одно стихотворение: «Снег летит и летит...»? Снег летит, покрывает прогулочную палубу, «Пингвинов», шлюпки, накидывает свою белую гардину на «Обь», сливается со льдом и с небом, и мир становится маленьким, стиснутым, укутанным в спокойную и плотную белизну. Это может продлиться еще несколько дней. Я достал пьесу. Не пошло. Она требует большего простора и другой погоды, более злой.

Но от белой стены отделилось сегодня одно выражение, уже давно занимающее мои мысли. Это выражение ходило за мной по пятам на корме, на баке, на ходовом мостике, на заснеженной палубе и притащилось за мной в каюту. Я его уже забыл, но теперь оно вспомнилось, теперь оно пришло ко мне, и пришло не как друг. Это выражение — «*болевой порог*», медицинский термин.

Осень 1956 года была для нас с женой крайне трудной. Двое очень близких нам юношей, кончавших школу, заболели детским параличом в настолько тяжелой форме, что мы в течение нескольких недель каждый стук в дверь принимали за стук костлявой руки смерти и при каждом телефонном звонке все в нас сжималось. В это время я часто сталкивался с врачами.

Однажды мы сидели с доктором Мойссаром в кафе «Москва» и говорили о состоянии больных. Один из них очень страдал. Спокойный, участливый и в то же время обстоятельный, как юрист, доктор Мойссар сказал после недолгого раздумья:

— Да, у него низкий болевой порог.

Может быть, это было эгоистично и жестоко, может быть, это было нечутко по отношению к тому, чью жизнь в таллинской инфекционной больнице поддерживали кислородными подушками, но я вздрогнул и, забыв обо всем, ощутил вдруг зависть к той словесной находке — «болевой порог». Не менее сильную, чем муки ревности. Во мне проснулось то собственническое чувство писателя, который, напав на новое, емкое выражение, охватывающее целую проблему, а то и ряд проблем, пытается сохранить его для себя одного до тех пор, пока не сможет вернуть его читателю, бросить его, как лот, в темный колодец человеческих ощущений и судеб, расширив и прояснив его значение. Тогда оно обрстет хрупкими лесами событий, конфликтов, душевных крахов, счастья и несчастья, тогда оно будет связано даже с самыми второстепенными линиями сюжета. И все эти леса только благодаря ему и смогут держаться.

В нашей литературе выражение «болевой порог» мне не попадалось. И, однако, все, что писалось о человеке с незапамятных времен, непосредственно связано с этим понятием. Болевой порог каждого из нас, может быть, вообще является одной из главнейших проблем в жизни и в литературе. Ведь в значительной степени от него зависит наше отношение к окружающему, активное или пассивное.

«Болевой порог», это выражение весом в сто тонн, пригодно для словаря любого писателя, каков бы ни был его стиль и какой бы цветовой гаммой ни располагал его язык. Это выражение вполне применимо не только в медицине, но и в общественной жизни, оно один из главнейших советчиков и руководителей общественных и государственных деятелей. Порог этот есть у всех нас, но высота его бывает различной — у эгоистов и бездушных карьеристов она достигает крайнего предела.

Я считаю, что у писателя может быть тысяча всевозможных недостатков и это еще не помешает ему быть писателем. Но если ему недостает *таланта* и если у него *высокий болевой порог*, то и дела его безнадежны. Приходилось, конечно, слышать, как отсутствие таланта и ожи-

рение мозга порой очень ловко и убедительно объяснялись тем, что социалистический реализм вставляет несчастному писателю палки в колеса. Эта знакомая песня сопровождается примерно следующей аргументацией: Стендаль называл роман зеркалом, которое везут по большой дороге. То оно отражает синеву неба, то грязные лужи. (А Стендаль в самом деле это говорил.) И далее: зачем вы, лакировщики, профаны, подхалимы, слепые щенки и т. д. и т. д., требуете, чтобы мои глаза, зеркало души моей, отражали бы и синеву неба, если я, непонятый и преследуемый, люблю только грязные лужи? Затем следуют рассуждения о свободе творчества, о страхе перед критикой недостатков нашего общества, раздаются, словно орудейные залпы, великие имена Гоголя и Щедрина, бьют противника по голове «Баней» Маяковского. Но стоит очнуться, как сразу поймешь, что мир вокруг все тот же, люди те же, что свой насущный хлеб приходится по-прежнему зарабатывать трудом, что над твоей головой все та же небесная синева, а на дороге еще хватает грязных луж. Понимаешь и то, что спорил с человеком, который зарабатывает свой насущный хлеб процеживанием грязи, что, если бы случилось чудо и всемогущим декретом были бы ликвидированы однажды все грязные задворки в жизни и в людских душах, этот несчастный остался бы без куска хлеба и без гонораров, ибо творческая почва под его ногами превратилась бы в прах. И как бы ловко подобный товарищ ни прятался за бородой Маркса, все ж таки видишь, что он смотрит на наши недостатки как на средство существования и что его болевой порог стал угрожающе высоким.

У нас, писателей, болевой порог должен быть невысоким по отношению ко всему вокруг, что болит и вызывает боль. Хорошо, если людские горести мучают нас, прорываются к нам беспрепятственно, становятся частью нас самих, скребут по нашим сердцам. Тогда мы, правда, скорее изнашиваемся, раньше седем, тогда в нашей жизни нет подлинного покоя, но жить иначе нет смысла. В конце концов, та ноша, которую взваливают на себя люди с низким болевым порогом, которая и наш крест, и наше богатство, эта ноша в силу своей серьезности, жизненности, сложности, а порой и неразрешимости никогда не позволяет опускаться до приторной жалостливости, до слезливого сочувствия, вызывающего подозрение, что писатель рассчитывает (и порой не напрасно) получить лавры не за то, что он разобрался в причинах

явления, а за то, что он пережевывал его следствия, высосав из них все сентиментальные соки и поднеся их в переработанном виде читателю.

Самая плохая литература — жалостливая.

Некрасов пишет:

...Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок.

Высота нашего болевого порога зависит не от усердия, с каким мы упиваемся видом горестей вокруг, — она зависит от другого. Утыкано ли в интересах душевного покоя наше писательское «я» гвоздями или нет — вот что главное.

30 декабря 1957

Прекрасный день. «Обь» стоит рядом, и на ее борт переправляют «Пингвинов» с палубы «Кооперации». Может быть, завтра начнем разгружаться. Я уже сыт бездельем по горло.

31 декабря 1957

Сегодня с «Оби» запустили две метеорологические ракеты, которые взлетели вверх на восемьдесят километров. Это было мощное зрелище: грохот взрыва, а затем довольно медленно отделившаяся от носа корабля ракета, ладная, стройная, с хвостом рыжего пламени. Быстро набирая скорость, она устремилась к облакам и скрылась за ними. Наверно, очень немногие отмечали Новый год столь необычным фейерверком.

На «Кооперации» царит предпраздничное настроение, совершенно такое же, каким оно бывает перед праздниками на суше, знакомое и домашнее. Бродим, курим, обмениваемся мыслями о том, что сейчас делается на Большой земле, и оттенок у этих мыслей неуловимо грустный. Среди нас много участников второй экспедиции, которые уже больше года не были дома. Новогодняя елка, хоть она уже осыпалась и лишилась многих вет-

вей, все еще напоминает о лесе, об эстонском лесе, со мхом, со стройными стволами, с белыми березками, с молоденьким подлеском. Здесь, где в нескольких метрах от «Кооперации» торчат изо льда голые бурые скалы острова Хасуэлл, оживляемые лишь пингвинами, мелкими птицами и ворочающимися тюленями, скалы, над которыми ни разу не пролетала пестрая бабочка, на которых не росло ни одной травинки, здесь, где у тебя на виду спит в своем ледяном тулупе антарктический материк, эта осыпавшаяся елочка имеет совсем иное, символическое значение.

1 января 1958

Новый год наступил здесь на четыре часа раньше, чем в Таллине, в остальном же он не отличался от любого другого Нового года. Мы сидели до утра вместе и пели. В музыкальном салоне играла гармонь — там танцевали. Люди с «Оби» приходили к нам, мы ходили на «Обь».

Чудесный, солнечный день.

Посмотрим, что мне принесет 1958 год. Жду от него большего, чем дал мне прошедший год, порядком-таки пустой. Лишь конец года, два последних месяца на «Кооперации», были прожиты более напряженно и творчески. Надеюсь, что эти два месяца оставят след в моей будущей работе. 1958 год должен быть лучше хотя бы потому, что его заполнит Антарктика, а затем — воспоминания о ней. По прошествии известного времени впечатления оживут с новой силой, нахлынут на меня властно и неотступно.

2 января 1958

Сегодня приступили к разгрузке. Чертовски приятно после долгого перерыва опять заняться физическим трудом. К борту «Кооперации» подъезжают трактора с саними, работают судовые лебедки, а наша метеорологическая бригада под руководством своего замечательного начальника, профессора Бугаева, перекачивает бочки в первом трюме.

Но после обеда все вдруг неожиданно оборвалось. От «Оби» к «Кооперации» поползла по льду длинная трещи-

на. Она все приближалась и приближалась, и от четвертого люка умчался прочь трактор с саними. Затем от большой трещины ответвилась маленькая, расколовшая лед почти до самого носа «Кооперации». Трактора уехали. Сегодня больше работать нельзя.

Получили приглашение на вечер, который устраивают участники тракторной экспедиции. Их тракторный поезд проделал тяжелый и опасный путь длиной в четыре тысячи километров — от Мирного до станции Восток и обратно.

3 января 1958

Вчерашний вечер, душевный и запоминающийся, прошел с подъемом. Участники тракторной экспедиции, эти скромные и тихие люди в меховых кожанках, совершили подлинный коллективный подвиг. По правде сказать, я еще не могу оценить всей трудности и всего значения их рейда — способен буду сделать это после того, как сам проделаю их путь хотя бы на самолете.

Познакомился со своим земляком Зиновием Михайловичем Теплинским. Он, бывший танкист, сейчас тракторист-механик, принимал участие в этой экспедиции. Теплинский прожил пять лет на Сааремаа. Долго беседовал с ним об островах, о тамошних дорогах, о рыбе, о природе, о сааремааском пиве, и я совсем забыл, как далеко отсюда до моего дома. Лишь время от времени мы выражали взаимное удивление: «Ишь ты, где встретились!»

Снова начинается разгрузка. Лед как будто стал крепче, — посмотрим, долго ли он выдержит. Работаю по-прежнему в трюме. Если б тракторов и саней было больше, а путь короче! Напрямую до Мирного четыре-пять километров, а тракторам приходится преодолевать по льду почти двадцать километров. Один конец они проходят за пять-шесть часов.

5 января 1958

Мирный

В историческое четвертое января на антарктический материк высадился представитель эстонского народа и эстонской литературы. Впервые в этом районе по-

является эстонец и вторично — островитянин. (Первым из островитян был тут барон Беллинсгаузен из имения Пилгузе.) Двадцать километров по льду, отделяющие «Кооперацию» от Мирного, он преодолел на металлических тракторных санях. Он сидел на мотке кабеля, за его спиной лежал желтый портфель с незаконченными рукописями, в ногах покоился зеленый брезентовый мешок с ватными штанами, книгами, киноплёнкой и прочими драгоценностями, справа стоял элегантный черный чемодан с чистым бельем. Губы его потрескались, кожа на лице облезла, замерзший нос покраснел. В его груди теснились храбрость, решимость, несокрушимое намерение покорить шестой континент и другие сильные чувства. Каждый раз, как из-под гусениц трактора, тянувшего сани, струей била зеленая вода, сердце его содрогалось. Он опасался, и не без оснований, что море Дейвиса поглотит трактор, тракториста, сани и персонально его самого. Затем он прибыл в Мирный и притащил свои вещи в каюту прессы, расположенную в доме № 2 по улице Ленина, где и обнаружил, что на предназначенной ему койке спать невозможно, так как она временно отдана другому лицу. Поскольку он продрог, это обстоятельство слегка его печалило. Тут его направили в ночную смену — разгружать прибывшие с «Кооперации» тракторные сани.

Если бы я попросил Васюкова описать мой переезд с «Кооперации» в Мирный, то это было бы сделано именно в таком тоне, довольно верно передающем обстановку.

До утра мы сгружали с саней бензин и соляровое масло. В четыре часа начало мести, поднялся сильный пронизывающий ветер. Брезентовые рукавицы промокли. Мои товарищи, перекатывавшие бочки, выглядели во время пурги довольно причудливо. В ватниках и в капюшонах, надвинутых на глаза, они были похожи на капучинов, разговаривающих на русском языке, пересыпаемом к тому же множеством таких неожиданных словечек, за которые римский папа никак их не похвалил бы; более того, чтоб искупить свой грех, им пришлось бы изрядно потратиться на индульгенции. Бочки были тяжелые, и, когда мы их ставили на попа, я, чтобы поддержать свои слабые силы, отпускал крепкое словцо. Говорите мне что хотите, но это все-таки помогает!

Под одним из тракторов проломился лед. Одну его

гусеницу погнуло под странным углом. Пять других тракторов его вытащили. С трактористом ничего не случилось.

Утром мне негде было лечь спать. Начальник складов Мирного Сергеев пригласил меня в свою комнату. Впервые в жизни я залез в спальный мешок. Прекрасное, практичное изобретение! Затянув «молнию» до самого подбородка, я почувствовал себя медвежонком. Может быть, я даже рычал во сне. Спалось мне, во всяком случае, хорошо! Я проспал обед и проснулся только в четыре часа дня.

Опять пойду работать в ночную смену.

6 января 1958

С девяти вечера до девяти утра был на разгрузке. Половина нашей бригады работала за поселком, там выгружали на снег бочки с горючим. Другая половина работала в Мирном. Сначала мы перетасили на склад несколько сот ящиков лука, чеснока, яблок и апельсинов. Потом пошли ящики с медикаментами, с аппаратурой для геофизиков и исследовательских станций и с фотобумагой, которая является тут очень дефицитным и ценным товаром. Сгружать ящики — это совсем другое дело, чем перекачивать бочки. Все они разного объема и разной тяжести — попадаются и громадины в несколько сот килограммов, и коробки килограммов в десять. На большинстве из них предостерегающая надпись: «Стекло! Не кантовать!» Сгружать такие ящики с саней — каверзное дело. В короткие перерывы мы ходили в столовую: для ночной смены стол всегда держат накрытым.

В последнее утро нам досталась самая сложная работа, требующая громадного терпения. Пришлось сгружать с тракторных саней длинный ящик весом больше двух тонн. Для грузчиков, имеющих тали, этот вес не представляет ничего особенного. Но в ящике была упакована предназначенная для Востока автоматическая станция, — кажется, для измерения космического излучения. Эту тонкую и сложную аппаратуру не разрешается наклонять больше чем на 15 градусов. За тем, чтобы этого не произошло, следил Коломиец, один из самых молодых участников экспедиции и самых молодых ученых, которому предстоит опекать эту станцию и на Востоке.

Коломиец бегал вокруг нас и вокруг ящика — меховой тулуп у него был на груди распахнут, а голые руки покраснели от мороза — и жалобно умолял:

— Потише, товарищи! Больше не наклонять, дорогие товарищи! Теперь чуточку подвиньте. Вот-вот, стронулся, сдвинулся, молодцы, ребята, черт бы вас побрал!.. Тише, дорогие товарищи, тише!.. Еще тише!.. Стоп!

Он разговаривал с нами тем же ласково-просительным тоном, каким разговаривают с детьми, несущими хрустальную вазу и способными в любой момент уронить ее, если их не удержит серьезное предостерегающее слово взрослого. И хотя среди нас были люди, которые по возрасту годились Коломийцу в отцы, все же его «молодцы ребята» и «дорогие товарищи» льстили нам и оказывали необычайно дисциплинирующее воздействие. Длинный ящик ни разу не накренился больше чем на 10 градусов. И когда он наконец оказался на снегу, Коломиец крепко пожал всем руки, что вообще-то не принято в Антарктике, но в данном случае было вполне уместно. Такое рукопожатие долго помнишь, оно долго будет согревать твою душу. Да и стоило посмотреть на счастливое лицо Коломийца: по-детски круглое, без единой морщинки, с блестящими карими глазами. Все в нем говорило: «Я очень молодой, очень хороший и несу очень большую ответственность!» Таким он и расхаживал вокруг своей станции — с распахнутой грудью, с большими и красными, словно рачьи клешни, руками.

Как эту махину погрузят на самолет и доставят на Восток, ни разу не накренив ее больше чем на 15 градусов, остается для меня совершенно непонятным. Ну да уж Коломиец позаботится.

«Молодцы, ребята! Дорогие товарищи!»

Вот так-то!

Утром нашей бригаде выдали спирт — граммов по сто на каждого. В полярных зонах — как на Севере, так и на Юге — принято разводить спирт соответственно номеру параллели. Наша широта $66^{\circ}30'$, — значит, надо пить 66—67-градусный спирт. Следует сказать, что после двенадцати часов работы на весьма свежем воздухе он действует хорошо, пробирает до самых пяток, до ногтей, закручивается спиралью вокруг пупа, и в голове на-

чинает слегка шуметь, — короче, напиток этот вступает в весьма интимные отношения с человеческим организмом.

Койки еще нет. В каюте прессы спит народ с Комсомольской, тут же работает начальник наземного транспорта второй экспедиции и стрекочут пишущие машинки. Нашел себе временное пристанище у своих старых друзей — у радистов Якунина и Яковлева. Из их комнаты открывается вид на море, на скалистый рейд Мирного, на остров Хасуэлл. Похоже, что в самом деле наступает лето: темная полоса чистой воды с каждым днем подступает все ближе. Может быть, через несколько дней море Дейвиса очистится от льда. Если бы не эти голые скалы, не ползающие по льду трактора, не полоса почти черной морской воды вдаль, не бугристые айсберги, белые и громадные, вид из окна комнаты радистов был бы совсем таким же, как тот, который открывается из моего окна на весенний Таллинский залив.

После войны я довольно долго бродяжил. Отчасти потому, что работа у меня в Таллине не ладится. Из написанного мною в последние годы на Таллин приходится не больше одной пятой. Я не очень связан привычкой к постоянному рабочему месту, к постоянному столу, к знакомым обоям, к уютному световому кругу настольной лампы и к тишине, необходимой для работы. И у радистов меня в первые же минуты охватило ощущение, что я дома. Оно, безусловно, порождено видом на море и тем, что радисты — отличные товарищи.

Пока мне придется быть в Мирном, буду пользоваться гостеприимством Якунина и Яковлева самым беззастенчивым образом.

7 января 1958

Первый, четвертый и, наверное, третий трюм «Кооперации» уже пусты. Во втором трюме еще сто сорок тонн груза. Надеялись покончить с ними сегодня, но разгрузку прервали. Скорость ветра на море — четырнадцать метров в секунду, кромка льда тонка и ненадежна, граница чистой воды все приближается. Стало больше трещин. Если будем разгружать дальше, может утонуть трактор. Вероятно, кончим разгрузку завтра, если погода улучшится и ледовая разведка установит надежность трассы.

Из полетов пока ничего не выходит. В Оазисе держится плохая погода, и часть новой партии зимовщиков еще здесь. Тракторная колонна в Пионерской, за спиной у нее четыреста самых трудных километров. В Пионерской тоже нелетная погода. Два самолета улетели на Восток, но я намереваюсь побывать сначала на более близкой станции — в Оазисе или в Пионерской. Попасть из Мирного сразу на Восток — это для меня слишком резкий переход.

Мирный становится для меня уже более своим. Издали его дома кажутся маленькими и низкими: разбросанные среди сугробов такой же высоты, они как бы образуют одну плоскость со снегом. Выше расположены лишь построенные на скале радиостанция, дом радиостов, электростанция, ремонтная мастерская и радиомачты.

В дверях электростанции стоит рыжебородый Нептун — Кузнецов, чье «Дети мои!» осталось в Мирном таким же громогласным и сердечным, — здесь его тоже зовут отцом. Он показал мне свое хозяйство. Электростанция сильная, в ней работают на дизельном топливе три агрегата общей мощностью семьсот киловатт. Для Мирного — это вполне солидная мощность, и недостатки в электроэнергии мы не испытываем. Станция стоит на камне, под ногами чувствуешь дрожание металлического пола, слышишь громкий и размеренный гул генераторов, который не так-то просто перекричать, и понимаешь, что советский человек пришел сюда не на один день.

В доме же, где разместилась метеорологическая служба, управляемая Виктором Антоновичем Бугаевым, где работает самым важным синоптиком Костя Васюков, где трудятся под руководством Белова аэрологи, где живут и работают местные американцы — мистер Картрайт и мистер Рубин, где, наконец, ни в один из последних дней не сумели скомбинировать приличной летной погоды, — в этом доме нет ни железного пола, ни гула генераторов, а есть лишь маленькие хитроумные аппараты, синоптические карты с нанесенными на них центрами циклонов и путями их движения. И тут раздаются весьма странные вопросы.

Бугаев спрашивает у Васюкова:

— Куда вы погоните этот циклон?

И Васюков, смерив по карте продвижение циклона,

отвечает абсолютно деловито и таким тоном, будто циклон — это ездовая собака:

— На материк.

В споре о движении циклона я услышал необычную фразу. Начальник метеорологической группы предыдущей экспедиции, известный советский синоптик Кричак, сказал:

— Нельзя быть хорошим синоптиком без фантазии.

Черт его знает, может быть, в этой науке и впрямь есть поэзия!

Дом метеорологов стоит чуть в стороне от других домов, и его легко найти. На его крыше прикреплена большая фанерная доска, на которой изображены две обнаженные кинозвезды. Одна из них, с длинными черными косами, символизирует западный ветер, а другая, со светлыми кудряшками, — восточный. Обе они пышные красотки с округлыми красивыми бюстами и т. д. Каждый метеоролог, отправляющийся производить наблюдения, устремляет взор прежде всего на них. В какой степени они влияют на климатические условия Мирного, я не знаю.

Разве человек ведает, под какой звездой он родился? Ни Васюков, чьим воспитанием я так усердно занимался на «Кооперации», ни Бугаев, серьезный ученый и серьезный человек, и не подозревали, что им когда-нибудь придется жить под обнаженными кинозвездами.

9 января 1958

«Кооперация» наконец-то пуста.

Она стоит рядом с «Обью» во льдах, на рейде Мирного, и кажется после разгрузки выросшей. Все те участники второй экспедиции, которые возвращаются на родину с первым рейсом, все сто тридцать человек уже на борту. Мирный опустел, притих и сегодня впервые оправдывает свое наименование. Все реже попадают на глаза незнакомые лица — теперь тут в основном мои спутники с «Кооперации».

В ночь на сегодня совершил первую небольшую поездку по материковому льду Антарктиды. Мы выехали на трех «Пингвинах» — два из них тянули сани с грузом мяса. Мы должны были добраться до первого склада, расположенного в двадцати километрах к югу от Мирного, по пути к Комсомольской, Пионерской и Востоку.

Кроме водителей и радистов с нами отправились Трешников, главный инженер экспедиции Парфенов и начальник наземного транспорта Бурханов. Я сидел в третьей машине, в «Пингвине» № 1, водителем которой был Станислав Ромакин, а радистом Илья Журейко.

Мы направляемся на юго-запад, справа еще видно море Дейвиса с его белой ледяной спиной, обращенной к материку, и темной водой вдали. Затем дорога поворачивает на юг. Лед все выше вздымается над уровнем моря, размеренно и неторопливо, взбегая вверх чуть приметными волнами. Тут он гладкий и целый, без разводьев. Видишь один лишь белый снег, широкие синеватые следы головных саней и самые сани с горой мяса на них. И синее небо, залитое мирным светом солнца, прячущегося за куполом Антарктиды. Единственное живое существо — это похожий на нашу ласточку маленький снежный буревестник, который кружит перед самым «Пингвином». Радисты говорят, что эти птички попадают на материке в пятидесяти километрах от берега. Любопытно, что их туда манит, — там ведь нет ни комаров, ни жуков, — словом, ничего, кроме свежего морозного воздуха, льда и неба. Если в Мирном температура минус один градус, то в десяти километрах от него она уже падает до 15 градусов. Ветер стал крепче и холоднее, по льду стального цвета пробегают низкие параллельные волны метели.

«Пингвины» вместительны. В носовой части расположен щиток приборов со всевозможными измерителями, невысокое сиденье для водителя, радиопередатчик и приемник. В кузове пол более высокий, тут стоят стол и стулья, обитые зеленой клеенкой. В задней части расположен внизу мотор. Над ним ниша, в которой можно спать или хранить весьма объемистый груз.

Видимость из «Пингвина» плохая, хуже, чем из любой другой машины, передвигающейся по льду. Лишь прямоугольное окно перед водителем сравнительно большое и необмерзающее. Из высоких же иллюминаторов по обеим сторонам не обмерзают только правые. Иллюминаторы в боковых дверях тоже обмерзают. Водитель не видит, что делается с буксируемыми саними, — задний иллюминатор находится слишком далеко от него и высоко и тоже, как правило, обмерзает. Это один из недостатков «Пингвина».

При здешнем снеге и бездорожье двести сорок лошадиных сил не ахти какая мощь. Нам было видно, что

«Пингвинам», идущим впереди, нелегко тащить свои сани. Разумеется, без саней и на более или менее приличном льду «Пингвин» без особого труда проходит по двадцати километров в час и больше. Это неплохо. Пока машины только испытываются, и главные экзамены по преодолению материковых льдов у них еще впереди.

Два передних «Пингвина» благополучно доставили свою кладь на 20-й километр. Мы туда не добрались. Примерно в двенадцати километрах от Мирного отказал мотор. Наш радист связался с Мирным, а потом с двумя другими «Пингвинами», чтобы посоветоваться с их водителями. Затем мотор заработал снова, мы проехали еще с километр, но после этого антифриз закипел, ниша над мотором наполнилась паром, и на этот раз мы стали окончательно. Ромакин принялся чинить машину, а мы с радистом легли на стулья поспать. Последнее, что я видел, перед тем как заснуть, — это синее небо сквозь открытый люк в потолке и радиста, который сидел с головы звукоизолирующие наушники.

Мы пересели на «Пингвин», возвратившийся с 20-го километра. У Мирного, на бугристой дороге, изъезженной тракторами, он несся с максимальной скоростью. Трясло так, что о сне и думать было нечего.

10 января 1958

Сегодня в полдень «Обь» и «Кооперация» покинули рейд Мирного. Более мощная «Обь» пошла по прежнему каналу впереди, а «Кооперация» — следом. Их прощальные гудки были едва слышны в Мирном. Белый корпус «Кооперации» закрывал идущую впереди «Обь», а потом оба корабля слились в одно расплывчатое пятно и вскоре пропали из виду.

Я думал, что пробуду в Мирном два месяца, но сегодня выяснилось, что у меня останется на Антарктику гораздо меньше времени — всего лишь около месяца. «Кооперация» повезет участников второй экспедиции не в Александрию, а в Порт-Луи на острове Маврикий. При нормальной скорости она доберется туда за две недели с небольшим и сумеет вернуться обратно к 20 февраля. Сколь ни приятно мне вернуться домой на месяц, а то и на полтора раньше, это обстоятельство все же меня заботит. Сроки вдруг оказались сжатыми, и теперь будет

зависеть в основном от погоды, удастся ли мне побывать в сердце Антарктики, удастся ли вдоволь полетать над ней. Прихоти климата могут сделать этот месяц весьма коротким, хоть в январе и феврале тут бывает обычно наилучшая летняя погода. На этих днях можно было полетать, но я не торопился, поскольку считал, что еще пробуду здесь до середины марта. Есть и другая причина — у меня пока что нет соответствующей одежды. На Востоке же пока 40 градусов ниже нуля, а на Пионерской — от 30 до 40. Наверно, сегодня получу теплые вещи.

Смотрел, как запускают радиозонд и следят за его полетом с помощью локатора. Очень простая и очень мудреная штука. Недостаток знаний, отсутствие подготовки по разным отраслям науки чувствительно дают себя знать на каждом шагу. Если принимать участие в следующей экспедиции, то надо хотя бы бегло ознакомиться с научными вопросами, предусмотренными ее программой.

В Мирном лишь в двух местах наука отступает на второй план. Первое из них — столовая, или кают-компания, именуемая еще рестораном «Пингвин». Здесь через день показывают кино, изредка проводят общие собрания и производственные совещания отдельных исследовательских отрядов. А самое главное — здесь нас обильно и хорошо кормят. Порций нет — ешь что хочешь и сколько хочешь. Никогда бы не поверил, что я, при своем весе в шестьдесят пять кило, смогу истреблять столько пищи — по крайней мере, втрое больше, чем дома. Так как тут много двигаешься на морозе, на очень чистом воздухе, и нередко по колено в снегу, пробуждается такой зверский аппетит, что перед обедом всегда кажется, будто способен целиком съесть на второе жареного барана. Начинаешь понимать обжору из романа финского писателя Алексиса Киви, который перед свадебным пиром выкопал в земле ямку для брюха, чтобы потом удобнее было отлеживаться.

Как-то в детстве я с почтительным страхом наблюдал за одним едоком на свадьбе. После того как он объелся, из его живота извлекли в курессаареской клинике чуть ли не пуд салаки и немало всякой другой рыбы. Мне это количество показалось фантастическим. Но в своих здешних предобеденных мечтах я пожирал куда больше, — к счастью, только в мечтах.

Вначале я робко озирался по сторонам, не сочтут ли

меня обжорой. Но достаточно мне было оказаться за столом рядом с одним механиком и одним трактористом семи футов росту и ста килограммов весу да с двумя парнями из строительного отряда — все четверо в самом расцвете сил и некурящие, — чтобы я понял: здешняя работа и здешние условия вынуждают человека есть хорошо и помногу. Впрочем, на глубинных континентальных станциях, где поварами работают врачи, люди к концу полярной зимы страдают отсутствием аппетита. То же, конечно, происходит и в Мирном, когда бесконечная ночь и дикая погода запирают людей в четырех стенах и почти лишают их возможности двигаться.

Кормят хорошо и разнообразно. У нас достаточно и мяса, и масла, и молочного порошка, и сахара, и фруктов. И несмотря на то что мы сидим за столами, покрытыми потертой клеенкой, и едим и первое и второе из одной тарелки, несмотря на то что посуда у нас по-армейски простая и прочная, к чести поваров Мирного следует сказать: эти люди знают и любят свое дело. И даю голову на отсечение, что любой повар антарктической или арктической экспедиции всегда сможет спасти положение какого-нибудь прогорающего ресторана на Большой земле. Лишь в диетической столовой они будут не у дел: в государстве крепких зубов и здоровых желудков им не приходилось ломать голову над лечебным меню.

Интересней всего в столовой по вечерам. Большинство людей уже покончило с дневной работой, первая смена радистов передала наушники второй, никто никуда не спешит. В темной, засыпанной снегом передней громоздятся на вешалке тулупы и шапки, которыми, разумеется, мы часто обмениваемся по ошибке. Я ношу уже, наверно, четвертую шапку. Но никто не обращает внимания на такие вещи.

Тут за длинными столами сидят вместе метеорология, аэрология, гляциология, авиация, ребята из строительного отряда, служба транспорта и служба радиосвязи. Когдаходишь сюда, то первое, что видишь еще из дверей, — это десятки молодых, по-солдатски остриженных голов — темных, светлых и русых, — лишь немногие тронуты сединой или совсем седые. Попробуй различить, кто здесь профессор, кто кандидат наук, чьи бывшие кудри обрамлял ореол докторского титула или славы хорошего плотника. Темы разговоров обыденные и обще-

человеческие, особенно ценится здесь веселое и сочное слово. Повсюду гул, жизнь, движение, игроки в домино стучат костями, и очередь у их стола требует от проигравших скорей освобождать места. Запоздав, появляется Васюков в своей потертой оленьей ушанке, которая прослужила ему пять лет в Якутии и служит до сих пор, потому что для его большой головы еще не сделали новой шапки. Он садится и, как это уже часто бывало, начинает, адресуясь ко мне, поносить гуманитарные науки и превозносить метеорологию и высшую математику.

На полу сливаются круги желтого света, отбрасываемого с потолка лампами, прохладный зал с темным потолком кажется огромным и таинственным. Полутьму вечерней кают-компания разрезает пополам, как ножом, вырывающийся из дверей кухни сноп яркого света, порой проецирующий на стены тени стриженных голов. Все в этом шумном, уютном и дружеском доме кажется уже знакомым и когда-то виденным. Но где? Наверно, на репродукциях картин Рембрандта.

— Вот ты, Юрьевич, — говорит Васюков, — не любишь высшую математику. И в плохую погоду поносишь метеорологию. А ведь только в науке и есть настоящая поэзия. Знаешь, кто величайший поэт двадцатого века?

Я задумываюсь.

— Альберт Эйнштейн, — говорит Васюков, и он прав.

Второе место, где науку держат на цепи в довольно будничном, привычном, рычащем, лающем и мохнатом виде, — это псарня на берегу моря. В Мирном сейчас сорок собак, то есть четыре упряжки сибирских лаек. Часть псов родилась тут, часть зимует уже давно — со времени первой экспедиции. Я успел несколько раз побывать на псарне вместе с каюром Ведешиным. Между прочим, на псарне живут только суки с щенками да молодняк, а взрослые собаки сидят снаружи на цепи. Цепи их прибиты к сваям, вмержшим в лед.

Ведешин, который отпраздновал тут свое двадцатипятилетие, родом из-под Тулы. Собаками он начал заниматься в армии. Эти умные четвероногие его любят. Как только на их горизонте показывается коренастая фигура Ведешина, собаки нетерпеливо визжат, натягивают до отказа цепи и встают на задние лапы, доверчиво глядя на хозяина.

Наверно, оттого, что я прихожу с Ведешиным, они относятся дружелюбно и ко мне. Как-то не хочется скло-

нять голову перед эстонской пословицей: «Собаке с собакой недолго снюхаться».

Славные, крепкие и интеллигентные звери. И разные. Взять хоть пса Веселого, ездовую лайку с отличным экстерьером и с такой мордой, какой я не видел ни у одной собаки. На ней написаны и задор, и нахальство, и хитрость, и добродушие, и грустная ирония. Уши торчком, острую мордочку окружают бакенбарды с окладистой бородкой — все это делает пса похожим на старого шкипера, вышедшего навеселе из кабака и подыскивающего приятную компанию.

И Сокол хороший пес, только этот держится серьезно, апатично и высокомерно.

А больше всего мне нравится молодая девятимесячная лайка Айсберг. Спина у нее черная, а грудь и передние лапы — белые. У нее совсем еще нет солидности и степенности старых ездовых собак — она молода до кончика хвоста.

У каждой из этих сорока собак свое лицо, свой характер, свой взгляд на окружающий мир и на братьев с сестрами, сидящих рядом на цепи.

Лишь в одном случае все они становятся похожи друг на друга и начинают вести себя одинаково, а в глазах у них загорается одна и та же тоска.

...На морском льду прямо под нами бредет вперевалку независимый и беззаботный пингвин Адели. Все собаки умолкают и настораживаются, один момент — и вот они уже подползли к краю барьера, настолько близко к нему, насколько отпустила каждую из них цепь. И замерли: лишь кончик хвоста шевелится да глаза влюбленно следят за смелой птицей. Пингвин замечает их и останавливается, начинает с любопытством разглядывать собак, затем подходит к ним на несколько шагов, и тогда из груди каждой лайки, охваченной дрожью ожидания и волнения, вырывается негромкий высокий звук, похожий на зудение овода: «Ну, подойди поближе!» Во взгляде любой из них можно прочесть стих Якоба Лийва:

Твое место, милый, в этом брюхе...

Но инстинкт пингвина, предупреждающий его об опасности, берет все-таки верх над любопытством. И он спокойно удаляется. Собаки вздыхают и возвращаются на свои места.

Эта сцена разыгрывается по несколько раз на день. Собаки не теряют надежды. И дабы поддержать ее, некоторые смелые пингвины даже пожертвовали своей жизнью.

У собак тут мало работы. В деле изучения Антарктики собачья упряжка — это вчерашний день. Я слышал, что большую часть собак придется, вероятно, умертвить до наступления полярной зимы. Само собой ясно, что неэкономно везти за 20 тысяч километров корм для безработных собак. Едят они к тому же немало.

Если и вправду так будет, попрошу себе Айсберга и отвезу его в Таллин.

11 января 1958

Сегодня пролетел тысячу триста километров над Антарктидой, над материком, что мертвее мертвого, из Мирного до промежуточной станции Восток-1 и обратно.

Вчера вечером надеялся, что мне удастся долететь до Востока, где самолет сбросит на парашюте груз и, не приземляясь, повернет обратно. В связи с этим отправился к Николаю Петровичу Сергееву, начальнику складов, и мое обмундирование частично заменили, а частично пополнили. Прежде всего пришлось обменять ватные штаны. В те, что я взял без примерки с калининградского склада, влезло бы кроме меня еще пол-Антарктиды. Штаны поменяли. Получил еще и унты — сапоги из собачьей шкуры, очень теплые, легкие и удобные. Получил шапку из пестрого собачьего меха, подбитую белой овчиной, и рукавицы из овчины, обшитые ветронепроницаемой тканью. Будь мой характер таким же могучим, как это снаряжение, из меня, глядишь, тоже вышел бы землепроходец.

Вылетели из Мирного в 9.10 на «Ли-2». Командир корабля — мой старый знакомый по «Кооперации», полярный летчик Николай Алексеевич Школьников, самый молодой, наверно, человек из летных командиров экспедиции. Он юный и сильный, в нем есть что-то от безмолвия того сурового мира, в котором мы сейчас находимся. Редко встречал людей с таким душевным, не назойливым чувством такта.

Самолет делает круг над морем Дейвиса. Под нами остров Хасуэлл — грудa бурых шершавых скал среди льда. В центре его виднеется синее озерко растаявшего снега. Морской лед начинает взламываться, полоса чистой воды уже подступает к берегу, а на прибрежном льду появились большие трещины. Отломившиеся от крутого барьера айсберги, все в трещинах и складках, еще стоят посреди хрупкого уже льда смиpно, но по бороздам на барьере можно догадаться, что скоро к ним прибудет подкрепление с материка.

Отчетливо выделяется путь, которым «Обь» и «Ко-операция» подошли к Мирному.

Летим над антарктическим материком. Ровно и с могучим спокойствием его рельеф все повышается. Не осталось больше ничего, кроме ясного-ясного холодно-синего неба над самолетом, волокнистых золотых облаков на низком горизонте и ослепительно белой — без единой пылиньи — бесконечной, холодной и безжизненной ледяной пустыни под нами. Сплошной лед оживлен лишь снежными застругами, отбрасывающими короткие тени. Скорость самолета сто восемьдесят — сто девяносто километров в час. Никаких воздушных ям. Мы не перестаем подниматься, но земля все приближается к нам, мчится все быстрее и видна нам все лучше. Альтиметр показывает высоту в две тысячи восьмьсот метров, но каково расстояние до льда под нами? Освещение тут обманчивое, глазомер в Антарктике подводит, но мне кажется, что до льда меньше пятисот метров.

На газовой плите греется чайник со снегом — скоро получим чай.

10.45. Мы летим на высоте трех километров над уровнем моря, температура воздуха минус 28 градусов. Лед внизу все приближается к нам, мы в трехстах метрах от этого белого тулупа земли.

11. 45. Высота три тысячи двести метров, и лед еще ближе — в пятидесяти — ста метрах. Направляясь сюда, мы оставили слева от себя Землю Вильгельма Второго, а справа — Землю Королевы Мэри, теперь же мы летим над безымянной землей. Горизонт становится пасмурным, снег уже не слепит, как прежде. Мы ползем над самым льдом, кажется, будто самолет не в силах избавиться от этого неприятного соседства. Невольно задумываешься над тем, насколько глубоко погребена под этим льдом земля, чем она покрыта — камнем, скалами или гранитом, что таится в ее недрах и долго ли уже

длится ее ледяная спячка. В конце концов остается лишь одно определенное ощущение — ощущение огромной тяжести, с которой ледяная масса давит на каждый квадратный дюйм этой почвы.

12.00. Самолет низко проносится над плоской возвышенностью, близость которой вызывает иллюзию, будто у нас непозволительно высокая скорость. Внизу по-прежнему слегка волнистый снег, которого здесь, на плоскогорье, как будто не очень много. Высота три тысячи двести шестьдесят метров.

Снова поднимаемся. Теперь наша высота три тысячи триста пятьдесят метров, но материк догоняет нас и опять виднеется под самыми крыльями.

12.15. Пролетаем над тракторным поездом. Он остается справа от нас. Девять мощных гусеничных тракторов, каждый с двумя саями на буксире, двигались в сторону Востока-1. С самолета из-за разницы скоростей казалось, что поезд стоит на месте. На бесконечной снеговой скатерти он выглядел совсем крохотным и был ничуть не похож на поезд. Тракторы едут не следом друг за другом, а либо рядом, либо на большом расстоянии один от другого. Они будто бы разбросаны по снегу. Там внизу действительно совершается что-то великое, требующее смелости, мужества, выдержки и железной дисциплины, там взаимопомощь диктуется не вежливостью, а законом жизни. Холод, мороз, кислородное голодание, затрудняющее каждое физическое усилие, бесконечная дорога в глубь материка, к создаваемой станции Советской, — все это героический ледовый гимн, творимый нашими людьми.

Я с горечью думаю о том, что хулиганов, опрокидывающих в барах столы и бьющих по лицу девушек на танцульках, изображают на картинках в газете, фельетонисты переводят на них немало иронии. И какой-нибудь пьяный болван до смерти радуется тому, что попал в газету.

О большинстве же из тех, кто сейчас справа от нас пробирается по белой странице Антарктиды, по неведомой мертвой земле, горы которой еще не названы, о ветрах которой, температурах, геологическом и гляциологическом строении и т. д. и т. п. нет точных данных, которая остается на карте Антарктики белым пятном, — о большинстве этих людей никто не пишет. Здесь и мой долг, который я должен оплатить в ближайшем же будущем.

12.30. Мы приземлились на полярной станции Восток-1. Ее координаты 72°08' южной широты и 96°35' восточной долготы, высота над уровнем моря три тысячи триста метров. Летчики выгружают кладь — бочки с горючим для направляющегося сюда тракторного поезда.

Лишь недавно тут была континентальная станция, созданная на пути движения тракторного поезда к существующей ныне станции Восток. Тракторный поезд прибыл сюда 18 марта 1957 года, до наступления полярной ночи. 30 марта метеорологи приступили к наблюдениям по сокращенной программе, которую уже 11 апреля расширили до ее полного объема. Восток-1 проработал до 30 ноября 1957 года, а потом перебазировался на Восток — в район Геомагнитного полюса.

На Востоке-1 нет ни одного человека. Теперь он служит промежуточной станцией, вернее, складом на пути из Мирного к югу — к Комсомольской, к Востоку и к создаваемой Советской. Здесь аэродром и бочки с горючим. Нельзя сказать, чтоб от Востока-1 оставалось веселое впечатление. Двадцать пять градусов мороза, пурга и пронзительный ветер дают себя знать, даже несмотря на ватную одежду. Снег под ногами плотный и скрипучий, как песок. Пытаюсь заснять кое-что «Киевом», но этот очаровательный аппарат работает на морозе до 30 градусов лишь в инструкции.

Тотчас поднимаемся снова, пока не успели остыть моторы. Хорошо видны следы гусениц и саней — их извивы протянулись на десятки километров. Очевидно, свежего снега тут немного, раз их так не скоро заносит.

Под нами Пионерская — маленькая станция во льдах и в снегу. Высокая радиомачта. И большой ярко-красный флаг, туго надутый и развернутый ветром во всю свою ширь.

Не могу себе представить, чтобы среди льда и снега какой-нибудь другой флаг мог выглядеть более красиво и радостно.

За двести километров до Мирного обедаем в самолете. Мне никогда не удавались описания трапез, характеристики блюд, дифирамбы сервировке. На маленьком столике, на краю которого подрагивают на щитке стрелки указателей скорости, высоты и угла подъема, стоит сковорода средней величины. Мы сидим вчетвером вокруг сковороды — кто на ящике, кто на чемодане, — и у каждого своя вилка и свой аппетит. На сковородке шипит картошка с подрумяненным салом, нарезанная так

же крупно, как ее нарезают в эстонской деревне. Ничего лучшего не существует.

От Мирного до Востока-1 и обратно — тысяча триста километров. Рейс длился семь часов.

Впервые я увидел облик центральной Антарктики. Она большая, холодная, беспощадная, безжизненная, однообразная и жутко красивая.

12 января 1958

Комсомольская

В 9.00 утра снова сел на «Ли-2», чтобы лететь в Комсомольскую. Нас ожидает тысяча километров тяжелой воздушной дороги.

Экипаж самолета мне знаком еще по «Кооперации». Командир Виктор Григорьев, второй пилот Иванов, радист Чернов (но не Борис), штурман Григорий Байдала (белорус), бортмеханик Алексеев. Еще летит с нами от летной группы инженер по эксплуатации Константин Генюк. На самолет погружены всевозможные аппараты и продукты для тракторного поезда, который через несколько дней должен добраться до Комсомольской. Стартуем без задержек. Чувствуешь себя в кабине уютно и по-домашнему. Хвостовая часть самолета, в которой находится груз, завешена брезентом, и мы, сидящие над крыльями, словно находимся в маленькой комнате. Газовая плита уже зажжена. И Генюк — человек с продолговатым, веселым и ироничным лицом, уже обросшим бородой (он с утра до поздней ночи не покидает аэродрома), — держит в одной руке нож длиной в двенадцать дюймов, а в другой — мороженую курицу. Он сейчас похож на разбойника с большой дороги, хотя его мысли заняты только тем, чтобы получше сварить куриный бульон.

Летим по той же самой великой воздушной трассе Антарктики, два отрезка которой — от Мирного до Пионерской и от Пионерской до Востока-1 — мы преодолели вчера. От Востока-1 трасса направляется к Комсомольской и оттуда, чуть уклоняясь на ост, до Востока. Внизу все тот же однообразный и неуклонно поднимающийся материковый лед, все тот же снег; ни единого выделяющегося пятнышка, на котором мог бы отдохнуть глаз. Самолет снова всползает по отлогому склону антарктического материка, медленно поднимается стрелка альти-

метра: 1000, 1500, 2000, 2300, 2500, 3000, 3400. Вспоминается от кого-то услышанная меткая фраза: «А потом «фоккер» вонзил когти в склон и с ревом пополз в гору». Лед в самом деле настолько близок, что кажется, будто самолет преодолевает некрутой, но неуклонный подъем с помощью невидимых когтей.

В 11.15 мы снова были над Пионерской. Наш штурман Байдала терпеливо объяснил мне устройство солнечного компаса. Этот простой и практичный прибор уже долгое время успешно служит полярным летчикам. Однако придется в Мирном заняться им еще раз: после высоты в три тысячи метров мой русский язык становится совсем плох, запас слов сильно уменьшается, и во всем, что относится к технике, я разбираюсь уже едва-едва.

Тракторный поезд добрался до Востока-1. Машины с саями сгрудились там, где мы вчера выгрузили бочки и заправлялись горючим.

Если не считать того, что высота все время медленно поднималась, продолжение полета ничем не отличалось от начала. Лед, лед, лед, по которому проносится тень нашего самолета и вихри поземки. На высоте трех тысяч метров становится трудно разговаривать, на высоте трех тысяч шестисот метров чувствуешь, что трудно дышать. Приближаемся к Комсомольской.

Приземляемся в 13.20.

Главное — поскорее разгрузить самолет. Нас приехали встречать на гусеничном тракторе начальник станции Фокин, метеоролог Иванов и тракторист-механик Морозов. Пока мы вытаскиваем ящики, экипаж самолета подкатывает под крылья бочки — на своем запасе горючего «Ли-2» не добрался бы отсюда назад.

При разгрузке высота дает чувствительно о себе знать, — кажется, будто две трети своей силы оставил в Мирном. Снимешь ящик и потом сидишь на снегу, отдуваешься. Кислородные баллоны весом в восемьдесят килограммов, которые на «Кооперации» мы легко переносили вдвоем, тут словно становятся втрое тяжелее. Поэтому очень важно экономить движения, разумно тратить свои силы. Воздух на Комсомольской холодный, у него нет ни запаха, ни вкуса, как у дистиллированной воды. Отдыхаешь, стараешься дышать поглубже, но все равно чувствуешь, что воздуха не хватает.

Останусь до утра здесь — самолет улетел обратно. Грузим ящики на трактор, садимся сами и едем на станцию Комсомольская. На станции есть два гусеничных

трактора — на них сооружены дома-коробки. В каждой коробке может поселиться человек пять. Сама станция помещается в сборном доме средней величины. В нем четыре помещения. Просторная передняя служит складом и кинозалом. Тут висят на стенах ватники и меховые рукавицы, на полках лежат продукты, одежда, постельное белье, книги и т. д. и т. п. Дверь слева ведет в камбуз и кают-компанию. Тут газовая и электрическая плиты, большой чан для снега, медные котлы, кастрюли, ящики с картошкой, большой обеденный стол, трое нар. Вторая дверь из передней ведет в машинное отделение, где находятся два дизель-мотора. Один из них работает — он дает ток для радиостанции и камбуза, для освещения и зарядки аккумуляторов. Второй в резерве. Но сердце Комсомольской, ее главное помещение — там, где расположена приемная и передаточная радиостанция, где стоит всевозможная аппаратура, необходимая для метеорологических наблюдений. Тут, всего-навсего повернув регулятор, можно узнать скорость и направление ветра, температуру воздуха и т. д. В этом же помещении живут и все четверо зимовщиков Комсомольской.

По давнишней — еще, наверно, журналистской — привычке расспрашиваю их всех: кто откуда родом, какого возраста, какой профессии, впервые ли в Антарктике, давно ли стал полярником. И это весь круг вопросов. Людям в унтах и в меховых куртках явно неловко, а мне так и вовсе не по себе. Не стоило плыть в Мирный, не стоило лететь за тысячу километров в глубь Антарктики, чтобы получить сведения, которые я с тем же успехом и в том же объеме мог получить в Москве, в Главсевморпути. Но мы, разумеется, стойко переносим эту тягостную церемонию, неизбежную в журналистском деле, — ни мне, ни им, видно, не привыкать к ней.

Итак, познакомимся.

Начальник станции Михаил Алексеевич Фокин родом из Калуги, год рождения забыл спросить, но на вид ему лет тридцать — тридцать пять, по специальности радиотехник, работает полярником с 1947 года. Позже, за обедом, мы узнали, что у него есть жена, которая справляет сегодня свое тридцатилетие. У Фокина дружелюбное лицо, светлые глаза, он среднего роста. Как и все здесь, он острижен наголо.

Метеоролог Игорь Алексеевич Иванов родился в 1931 году, окончил Ленинградский арктический техникум. Четыре года проработал на полярной станции на мысе

Стерлегова, последние два года работал на мысе Челюскин. По образованию он и метеоролог, и радист. Худой юноша с черными усиками и темными глазами.

Радист Павел Васильевич Сорокин проработал в Арктике — как на кораблях, так и на станциях — одиннадцать лет. (Вообще многие из радистов третьей экспедиции имеют десяти — одиннадцатилетний стаж работы в Арктике.) Сорокин невысокий и плотный, у него круглое лицо и веселые хитрые глаза. Отвечает он заковыристо, не формально. Вместо того чтоб рассказывать биографию, он достал фотографию сына.

— Каков?

— Замечательный!

— Погляди еще!

Я гляжу. На снимке хнычущий младенец.

— Классный экземпляр, а? — И Сорокин ударяет себя по широкой груди. — Понимаешь?

— Понимаю, Павел Васильевич.

На Комсомольской нет ни кока, ни врача. Не знаю, кто здесь исполняет обязанности врача, но за повара тут Сорокин. И готовит он весьма неплохо. Хоть и я и приехавший со мной тракторист, которому предстоит выехать из Комсомольской с тракторным поездом вместо одного своего заболевшего товарища, оба уже страдаем от недостатка кислорода, оба уже испытываем головную боль и сухость во рту, Сорокин все же заставляет нас есть. У него на это свой способ. С полной убежденностью он объясняет нам, что тот, кто мало ест, плохой, несерьезный человек, не уважающий труд повара, и его выразительные глаза при этом становятся грустными. Он умеет делать рекламу своему столу, хоть и без рекламы ясно, что тут кормят сытно и вкусно.

Четвертый зимовщик — это моторист, тракторист-механик Александр Иванович Морозов. Полный человек с круглым, легко краснеющим лицом и тихим детским голосом.

Вот пока и все, что я знаю о людях, которые первыми из экспедиции будут зимовать на Комсомольской.

Сорокин разговаривает по радиотелефону:

— Восток! Восток! Я — Комсомольская! Я — Комсомольская! Как вы меня слышите? Перехожу на прием.

«Я — Комсомольская». Координаты этого весьма неведомого «я» 74°05' южной широты и 92°27' восточной долготы. Высота Комсомольской над уровнем моря три тысячи пятьсот сорок метров. Сейчас, антарктическим

летом, температура колеблется от 20 до 40 градусов ниже нуля. Сегодня в полдень было 29 градусов мороза. Давление воздуха держится в пределах 470 миллиметров. Прошедшей зимой тут не было ни одного человека. Самая низкая температура, которую показывал оставленный здесь термометр, равнялась 74,5 градуса.

На других станциях, особенно на Пионерской, дуют необычайно сильные ветры. На Комсомольской же, несмотря на ее высокое расположение, сравнительно тихо. Максимальной скоростью ветра можно считать двадцать метров в секунду. Неизвестно, на какой глубине здесь находится почва¹.

Голова болит. В ушах гудит. Во рту пересохло. Дышу прерывисто, как рыба на песке. Не хватает кислорода.

13 января 1958
Комсомольская

Уже начиная с Калининграда на «Кооперации» велось много разговоров об антарктических континентальных станциях. И если речь шла не о Мирном или Оазисе, то всегда вспоминали о кислороде. Вспоминали как о вещи не менее насущной, чем хлеб и сон, да к тому же еще и дефицитной и потому все время напоминающей о своем существовании.

Сегодняшняя ночь была и в физическом, и в психическом отношении одной из самых тяжелых в моей жизни.

Вчера два самолета сбросили сюда бочки с бензином.

Мы свезли их на тракторах в одно место. При этом все время давали себя знать недостаток кислорода и большая высота. Поставишь стоямя одну бочку — и уже задыхаешься. Сердце колотится быстро-быстро, каждое напряжение утомляет. Зато после я собрал все остатки своей воли и писал два часа дневник.

Вместе с трактористом я отправился спать в вездеход. Нам выдали спальные мешки из оленьей шкуры, мы забрались в них и туго завязали их у горла. Я погрузился в какой-то бредовый, изнурительный полусон. И проснулся после того, как моего товарища начало тошнить. Ел он вчера мало, но выворачивало его долго.

¹ Во время санно-гусеничного похода к полюсу относительной недоступности методами сейсмозондирования было установлено, что толщина льда на Комсомольской равна 3370 м.

Самочувствие у меня было такое же, как во время высокого мучительного жара. В пересохшем рту горчило. Отчаянно бился пульс. Временами казалось, что плохо с сердцем. И головная боль была такой, какой я никогда не испытывал, — сильная, острая, пронзительная, она обхватила всю голову — ото лба до затылка. Время от времени в виски словно топором ударяло. В мозгу кружились обрывки всяких мрачных мыслей, болезненных воспоминаний, и порой из их вороха выглядывало, словно крыса, язвительное недоумение:

«Какого черта тебе здесь надо?»

Мой товарищ, спавший в своем мешке в метре от меня, тихо стонал и повторял какое-то женское имя. Я попытался снова заснуть, но бодрствование было куда легче этого сна, вернее — этого желто-серого подобия сна, утомительного, ни на минуту не прекращающего работы мозга, наваливающегося на грудь словно вата. Хочешь вздохнуть поглубже и даже вздыхаешь, но это все равно что пить из пустой кружки — жажда не проходит. Ворочаешься, пытаешься куда-то побежать, но спальный мешок сковывает тебя по рукам и ногам. Погружаешься в мутную заводь сна, а там полно глумливых физиономий и кривых рож, тут и строки из «Цветов зла»¹, и утопленники с затонувших кораблей, к тебе тянутся на вырубку чьи-то руки, но они не достают до тебя. Эта мутная заводь держит цепко, не дает вырваться, подняться на поверхность, хоть ты все время и сознаешь отчетливо, что проснуться было бы спасением.

Три тысячи пятьсот сорок метров!

Так прошла первая ночь здесь, ночь длиною с год, в течение которой все время ярко светило высокое солнце.

Утром, когда я брился, на меня смотрело из зеркала чье-то чужое лицо. На нем сквозь сильный загар проступала нездоровая серость, морщины были резкими и глубокими, глаза измученными, белки желтыми. Это был я. Долго я себя разглядывал, а в голову лезла фраза из какой-то книги, совсем к данному случаю не подходившая:

«Я старый человек и иду домой, иду домой...»

Я громко произнес ее. И тотчас понял, что сюда, на сорокаградусный мороз, за мной следом притаился мой старый враг — сентиментальность. Враг этот стоял

¹ «Цветы зла» — сборник стихотворений известного французского поэта Шарля Бодлера (1821—1867) (прим. ред.).

за моей спиной и требовал, чтобы я не противился головной боли, все еще очень сильной, а залез бы в спальный мешок, закрыл лицо оленьей полостью и завыл.

Вместо этого я начал бриться.

Надо поскорей тут освоиться, акклиматизироваться.

Недостаток кислорода — вещь серьезная.

Должен был отправиться сегодня обратно, но на Комсомольской не приземлилось ни одного самолета.

Пишу эти строки в том помещении, где живут зимовщики и стоят аппараты. По времени Мирного сейчас четыре часа утра, по московскому времени — двенадцать ночи. Тут живут по московскому времени, хотя мы на одной долготе с Мирным. Сперва кажется непривычным, когда тебя в три часа ночи зовут пить чай.

Удивительно, как быстро можно освоиться! Конечно, приходится заставлять себя вести записи, но самочувствие уже хорошее, вполне человеческое. Осталась лишь легкая головная боль, но и она либо пройдет, либо к ней привыкнешь. Но двигаться следует в меру, нельзя расходовать силы понапрасну, надо быть *разумным*.

Сегодня прилетели два «Ил-2». Приземляться не стали, лишь сбросили бочки с горючим. Занятное это зрелище. Низко, метрах в десяти от земли, проносится большой серебристый самолет, который сбрасывает зеленые бочки. Бочки взмывают искристое снежное облако, раза два отскакивают ото льда, а потом остаются лежать. Удар, конечно, очень сильный, возможность разбить бочку довольно велика, но пилоты Перов и Рыжков, которые доставляют сюда горючее, в своем роде мастера. Из четырнадцати бочек — клади одного самолета — зачастую все остаются целыми, лишь иногда разобьется одна, редко — две бочки.

Сегодня свозили бочки в одно место. Мы обвязывали их тросом, прикрепленным к трактору, и они, вздымая вихри, волочились по снегу. Трактор может забрать в один прием семь — девять бочек. Мы в перерывах сидим молча, потому что ходьба, разговоры и каждое движение утомляют. Иная бочка при падении зарывается в снег, и, чтобы накинуть на нее петлю, приходится ее сперва перекачивать или ставить стоймя. От этой работы начинаешь задыхаться.

Недостаток кислорода уже, однако, меньше дает себя

чувствовать. Вчера я не хотел курить, а сегодня уже десятая папироса. По-настоящему надо бы бросить курить — противная привычка. На такой высоте особенно противная.

14 января 1958
Комсомольская

«На том стою...» .

Эти исторические слова Мартина Лютера, сказанные им на имперском сейме в Вормсе, я повторил сегодня на крыльце «Дома правительства» в Комсомольской после того, как Фокин сообщил мне, что самолеты сегодня сбросят нам горючее, но ни один из них не приземлится. Что поделаешь. «На том стою...»

Спал отлично, спал беспробудно. Предыдущая ночь была просто злым кошмаром. Мой товарищ страдает по-прежнему, у него сильная головная боль, он ничего не ест. Но как будто и ему чуть-чуть полегче.

Снова сбрасывали бочки с горючим, и мы снова свозили их в одно место. В ближайшие дни должен прибыть тракторный поезд, он сейчас где-то между Востоком-1 и Комсомольской.

Уже начинаю чувствовать себя по-домашнему. Коллектив тут молодой, веселый, все хорошие товарищи. Надолго запомнятся часы, проведенные в кают-компании Комсомольской. Мы сидим вокруг большого стола: Фокин, Морозов, Иванов, тракторист и я. Едим и разговариваем. В конце стола стоит в белом кителе Павлик Сорокин с кухонным ножом в руке. Говорит он, как секретарь мирового суда из рассказа Чехова «Сирена». Стряпает он здорово, а реклама его стряпни не уступает ее вкусу.

— Поест человек и станет сильнее. — Сорокин поднимает большой палец левой руки. — Выпьет человек и станет смелее. — Сорокин поднимает большой палец правой руки.

Он без усталости рекламирует напиток, именуемый «Комсомольской кока-колой». В голове Сорокина непрерывно рождаются реальные и нереальные планы относительно того, как сделать зимовку на Комсомольской уютной и требующей минимального расхода энергии. Остальные при этом играют в основном роль слушателей. Сорокин читает нам лекцию о том, как надо жить

в этом мире. Мне достается за мою худобу, другим — еще за что-нибудь. Сорокин пробирает нас и воспитывает. В камбузе тепло, чувствуешь себя как дома. Я слушаю увлекательнейшие рассказы о зимовках на Севере — Сорокин, разумеется, приправляет эти истории своим соусом. Тут идут споры о технике, о литературе, о важнейших жизненных проблемах, и в памяти вновь оживают далекие лица, черты которых уже виделись неотчетливо, — давнее становится близким. Забываешь, что за стеной снежная, холодная, вьюжная пустыня, что вокруг на сотни километров ни души, что полярной ночью в ста метрах от этого камбуза метель может погубить человека, что снаружи прикосновение к железу обжигает руку. Забываешь и о том, что этим людям предстоит пережить здесь трудную полярную ночь, видишь в них лишь молодых, здоровых парней, любящих юмор и соленое словцо, людей с интересом к жизни и относящихся к антарктической пустыне так, словно это обычное рабочее место.

— На Большой земле места нам не хватило, — шутят они.

И ночью, когда ты лежишь в спальном мешке и читаешь при холодном свете полуночного солнца «Шерлока Холмса», когда в головах у тебя пыхтит маленькая железная печка, которую топят углем и бензином, когда за стеной воет пронзительный ветер, на душе вдруг становится светло и весело, и ты с благодарностью думаешь:

«Пройдет год-два. И однажды наступит тот грустный день, когда не будет ладиться работа, когда на душе станет пасмурно и тоскливо. И тогда вдруг перед твоими глазами возникнет камбуз Комсомольской со своими нарами, медными кастрюлями, дымящимся кофейником, спокойным освещением и этими четырьмя парнями вокруг стола. Ты увидишь задумчивую улыбку Фокина, увидишь Морозова, этого гиганта с детским голосом и замасленными руками, для которого этот дом кажется слишком маленьким, увидишь юное лицо Иванова и, наконец, увидишь Сорокина, который, встав у стола, размахивает ножом и спрашивает, правда ли, что у него фигура Ива Монтана. И удовлетворение на его лице после того, как ему ответят, что его невысокая и упитанная фигура скорее напоминает Наполеона».

Я знаю, что увижу их не такими, как сейчас, и все-таки это будут все те же сильные люди среди белых

снегов, которые прикажут мне по тому же праву, по какому распоряжаются писателем его *внутренние резервы*: «Не пищать! Долг есть долг!»

15 января 1958
Комсомольская

Сегодня приземлился самолет Григорьева. Была возможность улететь в Мирный, но решил задержаться здесь дня на два. Самочувствие уже вполне нормальное. Привычка к высоте и недостатку кислорода мне еще пригодится, поскольку на Востоке такие же условия, как здесь. Но главное то, что завтра-послезавтра сюда прибует тракторный поезд и это я должен обязательно увидеть.

И летный инженер Генюк на этот раз остался здесь, чтобы подсчитать запасы горючего. Кроме того, придется, очевидно, заново разбивать аэродром с таким расчетом, чтобы тут могли приземляться не только «Ли-2», но и «Ил-12». Тогда бы Комсомольская стала промежуточной станцией между Мирным и создаваемой Советской. Отсюда стартовали бы самолеты с грузами для тракторных колонн, направляющихся от Комсомольской к Советской. Между прочим, иностранная пресса пишет, что создание Советской, находящейся почти у Полюса относительной недоступности, заранее обречено на неудачу, так как тракторный поезд не в состоянии преодолеть последнего тяжелого этапа пути, и что в данном случае мы имеем дело с очередной советской утопией.

В каждом труде есть своя поэзия, свое удовлетворение, свои минуты покоя. Фокин, Генюк, Иванов и Морозов отправились собирать бочки, а я остался в камбузе помогать Сорокину. Мы чистили про запас картошку — ведь скоро может прибыть тракторный поезд и прилететь начальство из Мирного.

Какая чудесная работа! Южноафриканская картошка — продолговатая, гладкая и с нежной кожицей; нож — острый. Иная картофелина выходит из-под ножа такой чистой, красивой и отшлифованной, что потом долго любишься ею, как удавшейся строфой. Тепло, светло, никакого физического напряжения, никакого кислородного голода. Разговаривая о мировых проблемах, мы начи-
стили целый котел.

Сорокин меня спросил:

— Хотите о нас книгу писать?

Я. Хочу.

Сорокин (*оживившись*). Юхан Юрьевич, а верно ведь — о том, что подальше, легче писать? Вот если б вы об эстонских делах писали, так получили бы по башке, верно?

Я. Не понимаю...

Сорокин. Ну, когда вы пишете об ошибках и о том, что неладно, дают ведь по башке?

Я. Иногда дают. На то и башка.

Сорокин. Правильно. Напишите об Антарктике. Спокойная тема. И никакого риска. Напишите о том, как мы живем. (*Большой палец на правой руке поднимается.*) Снег, мороз, недостаток кислорода. Полярная ночь без конца без краю, температура падает до восьмидесяти градусов. Тогда уж не так легко дышится, как теперь, — легкие отмерзают. Хорошая тема (*поднимается большой палец на левой руке*), спокойная, веселая! Разве не так?

Я посмотрел на Сорокина, державшего в одной руке наполовину очищенную картофелину, а в другой нож. Его глаза сверкали. Он был глубоко убежден в том, что антарктическая тема — хорошая и веселая тема, и это его все больше воодушевляло. Я вспомнил его прибаутки, его разносторонний юмор, его умение в каждом тяжелом деле увидеть комическую сторону и подумал: «А что, если бы и в самом деле написать новеллу «Бравый солдат Швейк в Антарктике», придав Швейку черты Сорокина, его теплоту, его добродушную хитрецу, его внутреннюю силу. Черт подери! Хорошая тема, веселая тема!»

16 января 1958

Комсомольская

Сегодня тихий день. Слегка метет. Готовимся к встрече тракторного поезда. Он может прибыть в Комсомольскую завтра в первой половине дня. Поезд движется медленно, ехать по снегу тяжело.

Во время ужина Сорокин сказал:

— Юхан Юрьевич, посмотрим еще раз «Аннушку»?

— Какую «Аннушку»?

— Вчерашнюю.

Тут я понял. Речь идет об итальянском фильме «Утраченные грезы». Значит, после ужина мы увидим, как Анна Дзаккео, эта красавица, становится игрушкой

судьбы и негодяя. За пять дней эту картину смотрят уже в третий раз.

В Комсомольской есть киноаппаратура, и тут хороший зал, если принять во внимание, что зрителей всего четверо. Имеется три картины: «Весна на Заречной улице», «Утраченные грезы» и еще какая-то, которую никто не смотрит, и я даже не знаю ее названия.

Ну что ж, посмотрим «Аннушку». Морозов или Фокин будет киномехаником, а Генюк, Сорокин и я — зрителями. Чтоб в зале не было светло, завесим окна мешками. В такт неторопливому дыханию над головой каждого появляются облачка белого пара — выдыхаемый воздух стынет. Мы в унтах, в тулупах и в меховых шапках. И тут на экране появляется Анна Дзаккео с открытыми полными плечами, на нас смотрят ее прекрасные глаза. Она знакомит нас со своей семьей, потом идет на рынок и встречается с Андреа. Немного погодя мы ее видим чуть ли не в первозданном виде. На 74-й параллели, на вечном льду толщиной в три с половиной километра, в сорокаградусный мороз вид знойного итальянского берега производит несколько странное впечатление: не верится, что он существует, и в то же время становится как бы теплей. Надо сказать, что у нас в зале никогда не услышишь того двусмысленного лошадиного ржания, которое частенько пререзает тишину таллинских кинозалов во время сцен известного характера. Нам всем ужасно жаль Анну Дзаккео, эту очаровательную и славную девушку, жаль, что судьба обходится с ней так по-свински, что Андреа ударяет ее по лицу, что до конца фильма она все еще не находит своего долгожданного счастья.

Время от времени хлопает входная дверь: это Иванов выходит к своим приборам. И передняя наполняется вдруг ярким, ослепительным светом, несчастное плачущее лицо Анны исчезает с экрана, мы не видим ее грустных глаз, они стерты сверканием снега и солнца, словно бы жалеющего девушку, — лишь голос ее все еще слышен.

После конца картины мы молча сидим и курим.

— Да-а... — говорит Генюк.

— Да-а... — говорит Фокин.

— Да-а... — говорю я.

— Подлец он, этот рекламный агент, ох и подлец же! — говорит Сорокин.

— А этот, ну, Андреа, вернется к ней? — спрашивает гигант Морозов своим детским голосом.

— Куда же он денется — вернется! — утешаем мы его.
Да простят нас наши жены, но мы все, кажется, чуть-чуть влюблены в Анну Дзаккео.

17 января 1958
Комсомольская

Сегодня прибыл тракторный поезд. Мы проехали несколько километров к нему навстречу. Справа он виднелся на белой простыне снега лишь темной точкой, но потом точка выросла, распалась на несколько пятен, и наконец глаз начал различать флагманский трактор с красным знаменем и высокой радиомачтой.

Колонна порядочно растянулась — километра на два, на три. В первой группе, возглавляемой флагманским трактором, было пять машин. Отсалютовав десятью ракетами, мы подошли к ним поближе и остановились. Из красных тракторных кабин, из домиков, сооруженных на санях, посыпался народ. Среди них было много незнакомых мне людей, приплывших на «Оби». А кое-кто из них уже зимовал тут со второй экспедицией. Но увидел я и своих, то есть людей с «Кооперации». Мы целуемся, закуриваем. На чистом морозном воздухе звучно раздаются приветствия, сопровождаемые порой крепким словцом, не менее уместным, чем хвост у черта. Настроение торжественное, но в то же время и деловое.

— Мы ждали Комсомольской, словно праздника! — говорят прибывшие.

— Тяжелый был снег.

— Тросы обрывались.

— Некоторые сани чертовски перегружены!

В таком духе проходит вся эта встреча.

Пересаживаюсь в кабину трактора, который тянет за собой две пары саней — на первых бочки с горючим, на вторых жильё. Груз очень тяжелый, и потому наш трактор соединен тросами с санями предыдущего трактора, кладь которого легче. В трудных местах он нам помогает сдвинуться. Едем медленно, на первой скорости. Взметая снег, нас обгоняет трактор с Комсомольской — у него нет груза. А мы едва тащимся. Ехать по глубокому снегу трудно, и моторы движущихся параллельно тракторов работают на полную мощность. Вдруг флагман, чуть ли не встающий от натуги на дыбы, останавливается. Оборвался трос. Все тормозят, и водители

спешат на помощь к товарищу. Чуть погода мы снова трогаемся в путь.

Один радист рассказал мне следующую историю. Принимая участие в какой-то геологической экспедиции, он со своим передатчиком однажды остался один-одинешенек в сибирской тайге, в четырехстах километрах от ближайшего селения. В передатчике что-то портится, и он перестает работать. Радист кладет в рюкзак еду, надевает лыжи и отправляется за четыреста километров чинить отказавшую деталь. Он прошел по снегу через тайгу, отморозил себе пальцы и нос, провалился по дороге в реку и был на волосок от того, чтоб утонуть или замерзнуть. Наконец он прибыл на место и отдал деталь в починку.

— И знаешь, там у ребят был спирт... И горячая печка... Ух и доволен же я был!

— Отдохнул как следует?

— Отдохнул, как же! Там оказался один корреспондент из областной газеты. Ну и взялся же он за меня! Кто я, да что я, да откуда. И особенно его занимало то, что я чувствовал, когда под лед провалился. Говорю: «Холодно было». А он мне: «Нет, я не о том!» Я и говорю: «Зверски было холодно». А уж после как я прочел его статью, так сразу понял, чего он от меня хотел. Таким героем меня расписал, что только держись. А про то, как я под лед провалился, так у него красиво вышло — хоть плачь. А меня тогда больше всего зло взяло, что табак намок.

— А дальше?

— Дальше? Смотрел на меня этот газетчик, словно на икону. Самолета не было, вот он и застрял. Всю музыку мне испортил. Сам понимаешь, спирт есть, печка топится, ребята свои. А тут пей ночью втихую, прячась от этого журналиста. Днем спишь на печке и трясешься — а вдруг он назад вернется. Всю музыку мне испортил.

— А дальше?

— Дальше? Ну, починили мне деталь, и пошел я обратно.

Когда у нас на Комсомольской был в передней (лишь тут мог поместиться достаточно большой стол) маленький банкет, мне подробно вспомнилась эта история. Люди, сидевшие рядом со мной, преодолели тысячу километров отчаянно трудного пути! У них красные от солнца и ветра лица — у кого заросшие, а у кого чисто вы-

брите. В руках они держат большие стаканы разбавленного спирта. Эти люди боролись с жуткими метелями, с пронизывающим ветром, с морозом. Снег был глубокий и скверный, случались аварии. И то, что их ждет впереди, ничуть не легче. До Востока отсюда пятьсот пятьдесят километров, хотя, правда, наши тракторы один раз уже проделали этот путь. Но тем, кто направляется в Советскую, предстоит преодолеть шестьсот километров неизвестного пути по ледяному плато высотой в три тысячи семьсот — три тысячи восемьсот метров. Каждые сто метров подъема могут здесь привести к сюрпризу, — разумеется, неприятному. И любой из присутствующих знает это. Знает это начальник создаваемой станции Советская Бабарыкин, гигантского роста молодой человек в зеленом комбинезоне. Знает это Николаев, начальник тракторной колонны, знает это любой тракторист, радист, механик и каждый участник зимовки на создаваемой станции.

Но разговоры за столом вертятся вокруг других тем.

В нашу речь, конечно, врываются и метели, упоминаются аварии и прочие дорожные передраги, но все это приобретает веселый оттенок. Весьма по-мужски ругают одного руководящего товарища, на чьем попечении лежит снабжение тракторного поезда с воздуха. Хорошо, что он не слышит тех красочных и точных эпитетов, которые обрушиваются за этим столом на его остриженную наголо голову. На парашютах сбросили мороженные яйца. (По этому поводу с другого конца стола отпускается несколько замечаний.) Самолет сбросил поезду прогорклую рыбу, замерзшие апельсины и т. д. и т. п. Впрочем, всем, видно, уже надоело ругать упомянутого товарища, и разговор становится все более и более веселым: рассказываются анекдоты, сообщается о забавных происшествиях по дороге, о том, как кто-то попал впросак, как кого-то разыграли. Павлик Сорокин с графином спирта в одной руке и кофейником в другой носится вокруг стола, рекламирует свои блюда, расхваливает свою Комсомольскую, а заодно и другие станции, чтоб не показаться невоспитанным человеком. Тосты кратки и ясны. Как говорится в евангелии: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет». Кстати, на том краю стола, за которым сижу я, ни дать ни взять «тайная вечеря». В молодых лицах, обрамленных пышными бородами, есть что-то апостольское. Но Иисус Христос вряд ли сошел бы на землю, если бы его последователи оказа-

лись такими мирянами — без малейшего намека на святость.

После обеда Николаев отправляется к радисту и вступает в долгие переговоры с Мирным. Людям надо отдохнуть. Требуется профилактический ремонт техники. Надо организовать склады как по дороге к Мирному, так и по дороге к Востоку. Так что, может быть, придется задержаться дней на пять в Комсомольской. Разрешить проблему горючего. И прочие будничные дела поезда.

Завтра сюда прилетает Евгений Иванович Толстиков. Тогда все эти вопросы будут согласованы более тщательно.

Весь тракторный поезд проводит вечер на станции. Сначала показывают «Весну на Заречной улице», потом — «Аннушку».

18 января 1958

Мирный

Сегодня в Комсомольскую прилетели Толстиков и главный инженер экспедиции Парфенов. У них тотчас началось совещание с Бабарыкиным, Николаевым и Фокиным. Обсуждались маршрут колонны, проблемы снабжения, ремонта и складов. Может быть, в Советскую направят больше тракторов, чем предполагалось. Тогда они будут легче нагружены, а в пути, которого никто толком не знает, это большой плюс.

Разговор идет достаточно резкий. Дипломатическими любезностями тут не обмениваются. Бабарыкин высказал весьма тяжелые упреки по поводу снабжения и по поводу того, что на Комсомольской оказалось меньше горючего, чем было предусмотрено. Некоторых товарищей он охарактеризовал весьма язвительно. Толстиков и Парфенов часть упреков приняли, а часть сочли чрезмерной претензией Бабарыкина. Некоторые недостатки уже ликвидированы. В тот миг, когда я покидал совещание, шел спор о тонне картофеля, которую требовал Бабарыкин и которую Толстиков отказывался давать, потому что до создания станции Бабарыкину негде ее держать. Конкретность спорных вопросов, достаточно глубокая заинтересованность обеих сторон, не тратящих времени на всякую ерунду вроде гардин с цветочками, в том, чтобы создание Советской прошло благополучно, — все

это порождало уверенность, что если не через месяц, то через месяц с четвертью станция будет открыта. Уходя из комнаты, в которой стояла вся аппаратура и жили все зимовщики Комсомольской, я взглянул напоследок на пятерых мужчин, сидевших в синем табачном дыму и споривших о картошке.

Я распрощался с Фокиным, Сорокиным и Ивановым. Может быть, мне и придется еще пролетать над Комсомольской, но приземляться — вряд ли.

Эта маленькая станция на холодной макушке Антарктики стала для меня, благодаря людям, такой своей, такой близкой, такой родной, такой попросту милой, что мне захотелось как можно теплее поблагодарить хозяев, но что-то сжало мне горло, и мне не хватило русских слов. Я обнялся с друзьями в холодной передней. От нашего дыхания образовалось над головами белое облако. Мы стояли и хлопали друг друга по спине руками в огромных рукавицах. Потом я побежал к самолету, моторы которого уже ревели. Там стоял у своего трактора Саня Морозов. Ручища у него и вправду как у кузнеца, — мое плечо от его удара опустилось на полметра. Мы сказали друг другу на прощание несколько слов, и я влез в самолет. Моторы заработали во всю мощь, металлическую лестницу втянули внутрь. Громадные лыжи помчались по заснеженной стартовой дорожке. Самолет грузно и с трудом оторвался от нее. Сквозь замерзшее окно я увидел домик станции, тракторы, сани с жилыми кабинами — весь поезд, обвивший кольцом склад горючего, радиомачту, красное знамя на высоком шесте и человека, обдуваемого низкой, до колен, поземкой. Наверно, это был Иванов.

В Мирный я возвращался на самолете Перова. Сначала видимость была плохой, погода облачной, и мы летели словно в молоке. Но ближе к берегу видимость стала прекрасной. Снежный покров под нами уже не такой монотонный — и сам он, и узоры на нем все время меняются. Одно место было похоже на полянку, усеянную белыми грибами-боровиками. Ветер-фокусник намел аккуратные холмики снега — они отбрасывали тень и были абсолютно похожи на боровики.

На высоте двух тысяч двухсот метров перед нами открылась огромная ширь могучей и своеобразной панорамы Антарктики. До моря еще было девяносто километров, но казалось, что оно совсем рядом. Мы видели открытую воду, белые айсберги и даже трещины на льду.

Отсюда я впервые увидел шельфовый ледник Шеклтона — ледяной массив, который на восток от Мирного врезается выступом в море Дейвиса и круто обрывается над водой снежно-белым барьером. Ясно был виден остров Дригальского, похожий на большое пирожное с пышным верхом или на щедро обсыпанную сахарной пудрой булку, лежащую на воде, словно на черном противне. Мы различали, как материковый лед у берега прорезают глубокие трещины. Их рисунок определял формы и размеры будущих айсбергов. Море Дейвиса уже стало свободней ото льда, а лед на рейде Мирного хоть и сильнее изборозжен разводьями и уже не так плотен, как неделю назад, но все-таки еще держится.

Примерно в тридцати километрах от Мирного мы пролетели над двумя «Пингвинами». Они шли с довольно хорошей скоростью по направлению к Пионерской. Каждый волок сани, но с небольшим грузом. Тракторы, которые мы видели в Комсомольской, выглядят гораздо более мощными.

Мирный встретил нас бархатно-мягким, теплым, ароматным воздухом, которого тут сколько угодно. Хотя снег здесь глубокий и рыхлый (он уже тает), ходить тут в сравнении с Комсомольской совсем не утомительно. Чувствуешь себя как дома.

Да, как дома. Я не был здесь целую неделю. Один из моих соседей по комнате — безусловно вежливый, хорошо воспитанный, интеллигентный человек, который во время плавания страдал при маломальском волнении не только от морской болезни, но и от стыда за нее перед другими, — отказался от участия в морской экспедиции на «Оби» явно из страха перед морем и в Мирном только тем и занимается, что со слезами на глазах измеряет по карте расстояние до Порт-Луи, куда направилась «Кооперация», и обратно да подробно высчитывает, сколько он получит суточных за свое сидение в Мирном. На меня он смотрит как на болвана, поскольку я приехал сюда за свой счет и по своей воле. А душа у него настолько нежная, что он того и гляди начнет по утрам целовать руку своему товарищу. Этот милый сосед разложился так, что у меня нет уголка на столе, чтоб работать, и стула, чтоб сидеть. Слава богу, что хоть кровать не тронул.

Он любит поговорить о киноактерах и писателях — в Москве у него, безусловно, необычайно изысканные знакомства. Когда же я, не желая ни в коем случае мешать

ему, пытаюсь тихо выскользнуть за дверь со своим блокнотом, он прерывает разговор о какой-то актрисе, вся подноготная которой ему доподлинно известна, и с приторной улыбкой напоминает мне о том, что завтра моя очередь убирать комнату.

В поисках свободного стола направляюсь к радистам. И по пути на радиостанцию испытываю приступ тоски по Комсомольской, по ее людям, по камбузу, по тамошним вечерам, по чистке картошки, по той свободной, непринужденной, трудовой и подлинно товарищеской атмосфере, в которой мало кислорода, но много человечности.

А один из моих соседей, эта угасающая свеча, этот юноша с кротким женским голосом, который жалуется на то, что чай здесь пахнет пингвинами, который сейчас, наверно, подсчитывает свои суточные и удивляется тому, что он в силу жестокости жизни должен был ехать за ними в Мирный, хотя почтальон мог бы принести ему те же несколько тысяч прямо в постель, — этот мой сосед остается для меня самой неразрешимой загадкой Антарктики.

20 января 1958

Вчера весь день спал. Видно, Комсомольская меня утомила.

Сегодня по Мирному трудно ходить. Пурга. Поселок захлестывают порывы вьюги, нахлынувшие с материка. В трех шагах почти ничего не видно. Двигаться можно только боком или чуть ли не на четвереньках. Двери заносит. За стенами не смолкает унылое и грозное пение пурги. Самолеты не летают. А ведь это всего-навсего летний буранчик. Что же тут творится холодной полярной ночью, когда скорость ветра достигает пятидесяти метров в секунду?

Но надо увидеть хотя бы такую метель, чтобы полностью понять последние страницы дневника Скотта, написанные во время пурги километрах в двадцати от склада запасов. Перед ними была снежная буря и смерть, а за спиной у них лежал самый, вероятно, трагический поход в истории антарктических открытий. Листаю дневник Скотта:

«Вторник, 16 января. Лагерь 68. Высота 9760 футов. Температура $-23,5^{\circ}$ (-31°C). Сбылись наши худ-

шие или почти худшие опасения. Утром пошли бодро и прошли $7\frac{1}{2}$ миль. Полуденное наблюдение показало $89^{\circ}42'$ южн. широты. После завтрака мы собрались в дальнейший путь в самом радостном настроении от сознания, что завтра будет достигнута цель. Прошли еще около двух часов, как вдруг Боуэрс своими зоркими глазами разглядел какой-то предмет, который он сначала принял за гурий. Он встревожился, но рассудил, что это, должно быть, заструга. Полчаса спустя мы разглядели черную точку впереди и вскоре убедились, что это не могло быть естественной чертой снежного ландшафта. Когда подошли ближе, точка эта оказалась черным флагом, привязанным к полозу от саней. Тут же поблизости были видны остатки лагеря, следы саней и лыж, идущие в обоих направлениях, ясные отпечатки собачьих лап, причем многих собак. Вся история как на ладони: норвежцы нас опередили. Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование! Мне больно за моих верных товарищей...

Конец всем нашим мечтам. Печальное будет возвращение...

...Великий боже! Что это за ужасное место и каково нам понимать, что за все труды мы не вознаграждены даже сознанием того, что пришли сюда первыми! Конечно, много значит и то, что мы вообще сюда дошли.

Среда, 21 марта. Лагерь 60 от полюса. В понедельник к вечеру доплелись до 11-й мили от склада. Вчера весь день пролежали из-за свирепой пурги. Последняя надежда: Уилсон и Боуэрс сегодня пойдут в склад за топливом.

Четверг, 22 и 23 марта. Метель не унимается. Уилсон и Боуэрс не могли идти. Завтра остается последняя возможность. Топлива нет, пищи осталось на раз или на два. Должно быть, конец близок. Решили дожидаться естественного конца. Пойдем до склада с вещами или без них и умрем в дороге.

Четверг, 29 марта. С 21-го числа свирепствовал непрерывный шторм с WSW и SW. 20-го у нас было топлива на две чашки чая на каждого и на два дня сухой пищи. Каждый день мы были готовы идти — до склада всего одиннадцать миль, — но нет возможности выйти из палатки, так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-либо надеяться. Выдержим до

конца. Мы, понятно, все слабеем, и конец не может быть далек.

Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии еще писать.

Р. Скотт».

Последняя запись: «Ради бога, не оставьте наших близких!»

Все это уже читанное, знакомое. Но одно дело — читать книгу Скотта в Таллине, в тихой, спокойной комнате, и другое дело — здесь, после того как на улице, где бушует пурга, едва-едва нашел свою дверь. И снежный шторм бушует здесь не за строчками, а за стенами.

21 января 1958

«Кооперация» идет хорошим ходом. День назад она выбралась из полосы сильного, одиннадцатибалльного шторма. Она покрывает ежедневно двести сорок — двести пятьдесят миль и даже прошла в один из дней двести шестьдесят семь миль. Вполне реально, что она вернется в Мирный 12—13 февраля.

Мне все никак не удастся попасть на Восток. Самолеты не летают. Толстиков тоже все еще на Комсомольской, а без его разрешения полететь не удастся.

22 января 1958

Сегодня Мирный печален. Ночью из Комсомольской привезли тело Николая Алексеевича Чугунова, молодого инженера-аэролога. Он четвертый из советских полярников, погибших в Антарктике. Во время первой экспедиции погиб тракторист Хмара, провалившийся с трактором под морской лед. Во время второй экспедиции обломившийся барьер погубил двух курсантов с «Лены». Чугунов — четвертый.

Он отравился на Комсомольской газом, когда варил обед для участников тракторной колонны. Спасти его не сумели.

Я не знаю Чугунова, так как он приплыл сюда на «Оби», но уверен, что на Комсомольской мы встречались, даже, вероятно, болтали, а может быть, сидели ря-

дом в кино. Его спутники говорят, что он был хорошим товарищем, прекрасным человеком.

Утром, еще до того, как узнал о смерти Чугунова, читал новеллу Колдуэлла «Полевые цветы». Возможно, так мне теперь только кажется, но мне чудилось, что где-то рядом ходит смерть. В самом деле, можно написать книгу и употребить при этом миллион слов, из которых каждое будет правдой, но не в человеческих возможностях написать в прошедшем времени: «Я умер». Кто-то другой пишет: «Он умер». Чугунов умер. Наверное, завтра на Комсомольскую вылетит вместо него другой инженер-аэролог. Жизнь не останавливается, она идет вперед, тронется дальше и тракторный поезд, но уже без Чугунова. Он был молодой человек, перед самой поездкой в Антарктику женился. Дня через два мы его похороним в Мирном, на берегу моря Дейвиса.

И все-таки след его останется на белой странице Антарктиды.

24 января 1958

Очень сильный ветер, вернее — шторм. На юге — на Пионерской, на Комсомольской, на Востоке — хорошая погода. В Оазисе тоже хорошая погода, но над Мирным воеет и свистит буря. Есть в этом что-то родное, хотя из-за нее и откладывается моя поездка в Оазис. Завтра-послезавтра туда улетят три последних самолета, и потом связь с Оазисом прервется надолго, поскольку вертолет возвратится обратно в Мирный. Сгорбившись от ветра, я по десять раз на день хожу к летчикам и спрашиваю, не устанавливается ли погода и не полетим ли мы. Но погода не устанавливается.

Да, в сегодняшней буре есть что-то родное. Придя к нам с юго-востока, она сумела наконец привести в движение лед на море Дейвиса, точнее, на рейде Мирного. Там, где вчера была только узкая, видная лишь с самолета трещина, уже чернеет между кромками белого льда расширяющаяся полоса чистой воды. Сколько раз я видел ледоход на море, нагромождение льдин на берегу, но тут все иначе, движение здешних льдов исполнено медлительности и величавого спокойствия, тяжелые, словно бы чугунные айсберги упрямы, и на глаз кажется, что они не перемещаются. И все-таки лед тронулся, — значит, лето пришло, хотя вода, выглядывающая порой из-под пля-

шущей завесы шторма, на вид совсем ледяная, такая же, какой она бывает в мелких эстонских проливах с середины ноября до конца декабря.

У-хуу! У-хууу! У-хууу! — плачет над Мирным буря. На спине вертолета дрожат лопасти подъемного винта, на метеорологической площадке гудят натянутые провода, порывы бури расшвыривают птиц, пустые ящики переворачиваются с боку на бок. Но все тут, сотрясаемое сейчас бурей, уже пропитано духом человеческого жилья. Если бы еще пустить по ветру несколько осенних листьев да обломков камыша и посадить на крышу каркающую ворону с распростертыми крыльями, то была бы полная картина октябрьской непогоды в эстонской деревне. Только море в Мирном другое, более свирепое и холодное, — оно выглядит необычайно могуче со своими белыми ледяными обрывами, со своими плоскими айсбергами на черной воде.

Сегодня в девять часов вечера были похороны Чугунова.

Мы собрались у метеорологической площадки. Люди в ватниках с опущенными на шапки капюшонами шли, сгорбясь, против ветра. Шли так, словно несли на своих плечах весь лед Антарктиды и всю тяжесть смерти. Гроб, обитый кумачом, поставили на тракторные сани. В почетном карауле стояли товарищи Чугунова — метеорологи и аэрологи. Буря рвала на них ватники и капюшоны.

Выступали Бугаев, Толстиков и Трешников. Это мужественные люди, знающие, что такое риск и во имя чего стоит рисковать. Если бы я записал их речи слово в слово, они показались бы холодными. Но смерть всегда угнетает, она всегда тяжела, и в нашем небольшом коллективе она втроене тяжелей. И особенно тяжела для тех, на кого возложена большая ответственность.

Гроб с телом Чугунова отнесли на морену неподалеку от Мирного. Мы погребли его здесь до той поры, когда лед на море Дейвиса снова окрепнет. Тогда гроб перенесут на один из островов на рейде Мирного, где уже спят двое товарищей покойного, погибшие под обломками барьера.

Салют из охотничьих ружей. Из-за воя ветра он слышен слабо.

Вспоминаю название книги Зегерс «Мертвые остаются молодыми». И потом, уже в комнате Якунина и Яковлева, долго еще думаю о смерти. Я надеюсь, что

она пока очень далека от меня. А может быть, она и поблизости — в расстоянии двух-трех дней. И если я в самом деле принес какому-нибудь человеку несколько дней или часов счастья, если я протянул ему руку в тяжелую минуту, то пусть в награду за это на душе у меня в последний час будет светлее, чем сегодня.

Буря плачет над Мирным.

25 января 1958

В Антарктиде надо быть терпеливым. Этот большой материк требует большого терпения. Полетишь куда-нибудь на денек, а погода испортится — вот и просидишь там неделю или даже месяц, если не повезет, сколько ни мечись, сколько ни нервничай — толку не будет. Здешние расстояния длиной в сотни километров пешком не отмахнешь, а от ругани ни теплей, ни холодней не станет.

Самолет «Ли-2» еще утром был загружен и подготовлен к отлету в Оазис, но сильный ветер все не унимается. Проходит время завтрака, часы тянутся и тянутся, словно нить из клубка шерсти, и вот наступает время обеда.

В 14.15 самолет все-таки стартует. Пилоты — Рыжков и Григорьев. Пассажиров трое: начальник гляциологического отряда Закиев, врач Мирного Лифляндский, направляющийся в Оазис к больному радисту, и я. Прямая нашего курса пролегает почти прямо на ост, к сотой восточной долготе.

Все еще очень сильный южный ветер начинает трепать самолет уже над Мирным. Справа от нас простирается Земля Королевы Мэри, слева и прямо под нами — море Дейвиса. Оно полно айсбергов и белеющих льдин, оторвавшихся от берега. Между нами темнеют большие участки чистой воды. Видимость хорошая, отчетливо различаешь резко очерченную кривую материкового льда, то сплошную, то рваную.

Летим над ледником Хелен. Он находится чуть восточнее Мирного. Корявые, складчатые, потрескавшиеся айсберги — где сгрудившиеся в одно место, а где разбросанные как попало — образуют внизу чудовищный, невообразимый хаос. Что за силища, что за тяжесть! А место рождения всех этих айсбергов, отчетливо видных с самолета и похожих на гигантские белые па-

ромы, плавающие по летнему морю, — ледник Хелен, залитый сверху донизу ослепительно ярким солнцем. Почему таким красивым в своей дикости и мощи местам даются женские имена?

Хелен остается позади. Теперь под нами спокойный и белый морской лед: слева океан со своими айсбергами и темной холодной синевой, а справа крутой барьер материкового льда и пологий купол Антарктиды, на котором лежат облака. Внизу по кромке льда ползают тюлени, которых здесь много. В одном стаде я насчитал двадцать два тюленя.

Ледник Роско. Он выглядит более спокойным, чем ледник Хелен, хотя на карте он кажется более пространством и диким. Ледник Хелен, очевидно, потому произвел на меня впечатление такой мощи и, можно сказать, активности, что курс наш пролегал над его выступающим в море мысом.

Справа по-прежнему материк — Земля Королевы Мэри, но с глаз уже скрылась чистая вода на севере и под нами простирается огромное и однообразное белое ледяное поле. Внизу шельфовый, то есть плавучий, ледник Шеклтона, один из крупнейших ледников во всей Антарктике. Я представлял его совсем иным, более беспокойным, хаотичным и живым, сильнее изборозженным трещинами. Оказывается, ничего подобного. Даже остров Массона, находящийся посередине этого ледника, в ста пятидесяти километрах от Мирного, и тот не может оживить белой пустыни. Он, правда, большой и, вздымаясь, образует огромный горб, но и его земля совершенно погребена подо льдом и снегом. Кажется, что это вовсе и не остров, а сугроб гигантских размеров. Мы не видим его затененной стороны, и это еще более увеличивает сходство острова с сугробом.

15.30. Кое-где справа виднеются выступающие из материкового льда темные обнаженные скалы. В мертвом царстве, где единственными проявлениями жизни являются перемещения льдов, игра ветра со снегом и сверкание солнца, эти круглоголовые, словно тюлени, темные скалы кажутся какими-то живыми и дружелюбными.

Летим над ледниками Денмана и Скотта. А затем перед нами Оазис Бангера. Где-то там, посередине, расположена наша станция Оазис, но мы ее не видим. Оазис Бангера окружен ледниками. Между ними вздымаются, словно на фантастическом или лунном ландшафте, бурые

конусы приземистых скал. Сверху этот ландшафт выглядит диким, бездушным, угрюмым и унылым — оазис, где жизни не больше, чем на ледниках.

Но через несколько минут Оазис Бангера уже скрылся из виду. Мы не смогли приземлиться. Там бушевал шторм — двадцать пять метров в секунду. Нас болтало так, что весь Оазис слился в одно сплошное бурое пятно.

Пришлось повернуть назад. Завтра полетим снова. Сегодня «Кооперация» прибыла в Порт-Луи.

26 января 1958

Утром снова отправились на аэродром, чтобы лететь в Оазис. Ветер был сильный, стоявший самолет содрогался от его порывов. Сидели, курили, ждали. Но так ничего и не дождались. Как нам сообщили по радио, вертолет, вылетевший из Оазиса на аэродром, расположенный в двадцати пяти километрах от Оазиса, вернулся обратно, так как над скалами слишком сильно болтало. Но попасть в Оазис с аэродрома близ него можно только на вертолете; если же его не пришлют за нами, лететь бессмысленно. Дорога там трудная и опасная, вся в трещинах. Еще позже нам сообщили, что у вертолета при посадке сломалась одна из лопастей подъемного винта. Вернулись домой.

В Мирном уже несколько дней находится Павлик Сорокин из Комсомольской. Я не раз встречал его в кают-компании и сегодня встретил опять. Павел похудел и побледнел, веселости у него поубавилось, глаза стали серьезнее.

Мы разговорились. Я спросил, что с ним. Сперва он помрачнел, но потом рассмеялся, весело и от души, и рассказал мне свою грустную историю. Лицо его при этом выражало крайнее удивление.

Сорокин прилетел в Мирный главным образом за медикаментами, и его поселили у наших врачей Лифляндского и Шлейфера. А это отчаянные зубоскалы. С самым невинным, отзывчивым и сочувственным видом они тебя так обведут вокруг пальца, что над тобой будет потешаться потом вся экспедиция.

Шлейфер — круглый и крепкий тяжеловес с намечаю-

щимся брюшком, с солидным и спокойным, словно у спящего Иеговы, выражением лица. Взгляд его карих глаз, прикрытых большими тяжелыми веками, кажется исполненным равнодушия и апатии. По национальности он еврей, по образованию — зубной врач, по специальности — медик полярных экспедиций. Последнее означает, что его знания должны намного превышать (а они и превышают) узкие рамки стоматологии.

Лифляндский моложе Шлейфера. Это хирург, восемь лет проработавший на Дальнем Севере, полный человек с глазами мечтателя и простодушной внешностью. Но внешность обманчива. В здешней больнице и в здешней «латинской кухне» вынашиваются ядовитейшие каверзы и розыгрыши.

Вот вам пример.

К Шлейферу и Лифляндскому является молодой, только что окончивший университет специалист, впервые попавший в полярные условия. Ему предстоит лететь на какую-то дальнюю станцию. Он без всяких к тому оснований беспокоится за свое здоровье. Дав несколько деловых советов, врачи рекомендуют ему взять с собой утеплитель, которым пользуются во время морозов для одной весьма нежной части тела. Не знаю, кто из врачей добавил, что существуют утеплители двух типов: одни, шерстяные и попроще, — для рядовых участников экспедиции, а другие, посложнее, — для руководства. Главными деталями последних являются собачий мех и электрическая грелка. Врачи настойчиво рекомендовали требовать утеплитель для руководства, поскольку перед смертью, законом, поваром и морозом все равны. Думаю, что при этом были еще сказаны громкие слова о равноправии и демократии.

Разумеется, ни шерстяных, ни меховых утеплителей не существует. Но юноша клюнул на удочку и написал длинное заявление, на котором заместитель начальника экспедиции по хозяйственной части написал лаконично резолюцию: «Отказать!» Однако Толстиков, не сразу понявший суть дела, сказал:

— Если и вправду есть такие чудеса техники, почему же их не выдают?

История та продолжает передаваться от человека к человеку, с каждым днем совершенствуясь и пополняясь новыми деталями, — она уже стала достоянием изустной хроники Мирного.

Но вернемся к Сорокину. Врачи провели его следую-

щим образом. В их квартире живет медик второй экспедиции Тихомиров — парень с виду холодный и угрюмый. Сорокина поселили с ним в одной комнате.

По уговору с Лифляндским и Шлейфером, Тихомиров разыгрывал помешанного — не буйного, а тихого. Он втянул Сорокина, уже предупрежденного обоими друзьями о возможных неприятностях, в заговор против врачей: на глазах у Павла он выбрасывал в окно какие-то таблетки, заклиная его молчать об этом. Он показывал Павлу на большой картонный ящик под кроватью и, имея в виду его содержимое, говорил:

— «Кооперация» — бу-бух!

Это означало, что корабль взлетит на воздух.

Сорокин поверил в то, что он сумасшедший. «Тихий помешанный» Тихомиров полностью убедил его в этом своей манией к украшениям. По вечерам, когда поблизости не было ни Шлейфера, ни Лифляндского, он повязывал свою голову полотенцем на манер корсиканского разбойника, вешал на шею апельсин на веревочке и прикалывал к груди английской булавкой шестерку червей. И в таком виде, наряженный и мрачный, он бродил по темной пустой больнице, вселяя в душу Сорокина темный страх. А утром, не отрывая от Павла взгляда, говорил:

— Ночью все думал, откусить тебе ухо или нет. Решил не откусывать, ты мне пока нравишься. Поживем — увидим.

Испуганный Сорокин побежал жаловаться на беду к своему другу, начальнику строительного отряда Кунину. Тот ничем не сумел помочь Павлу, лишь дал ему для самозащиты большой рашпиль. Павел страдал еще две ночи и на всякий случай спал с рашпилем в руках.

А сейчас он сам удивляется:

— Как они меня провели! Ну, полотенце — ладно. Порошки в окно выбрасывал — ладно. Хотел ухо откусить — тоже не шутка: один великий художник сам себе ухо отрезал, чтоб интересней выглядеть. Но апельсин и шестерка червей — какой сумасшедший до этого додумается? Ведь никакой логики, а я поверил, Юрьевич, ей-богу, поверил! — И он с сожалением добавляет: — Обидно, что улетать надо. Я уже придумал для этих докторов один номерок. Гениальный номерок!

Но как бы то ни было, такие розыгрыши делают здешнюю жизнь более легкой и веселой, особенно если

сам не являешься их объектом и твоим ушам не грозит никакая опасность.

На Восток уже прибыло то звено тракторного поезда, которое должно было отвезти туда припасы. Расстояние от Комсомольской до Востока оно преодолело сравнительно быстро. Тракторов было больше, чем обычно, и каждый шел с меньшим грузом. Сам поезд стоит в Комсомольской и ждет возвращения тракторов с Востока. Потом начнется трудный рейд к Советской.

27 января 1958

Чудный, теплый, метельный день. Никакие самолеты не летают. Непрерывный вой ветра. Заглядываю во все двери — тут их не запирают — и в каждом помещении нахожу знакомых. В моем таллинском доме девять небольших квартир, но я знаком лишь с владельцем одной из них, о тех же, кто живет рядом со мной или этажом ниже, совсем ничего не знаю. А здесь знаешь довольно многих людей, с которыми жил вместе, хоть и недолго, на корабле и в Мирном, которые поселились недавно в соседних квартирах в Оазисе — на 100-й восточной долготе, в Пионерской — на 69-й южной широте, в Комсомольской — на 74-й южной широте, на Востоке — на 78-й южной широте. Знаешь даже тех, чья зимняя квартира в Советской еще не готова. Море связывает людей — хотят они того или нет — в десять раз крепче, чем земля, а полярная жизнь, особенно на маленьких станциях, связывает их еще крепче, чем море.

Но все эти люди, все эти характеры, все эти разные люди с разным отношением к жизни и с более сходным, но все-таки неодинаковым отношением к труду, люди, у каждого из которых своя осанка, каждый из которых идет сквозь года своей поступью, — всех их я либо еще не разглядел как следует, либо они покамест слишком близки мне, чтобы описывать их, изображать и анализировать более тщательно. Антарктида, континент больших расстояний, как бы требует того, чтобы я изобразил здешний народ, отойдя на дистанцию времени, по прошествии которого забудется то, что сперва мне показалось существенным, что маячило где-то на первом плане, но потом исчезло, а осталось лишь то, что является для

человека самым значительным, что безусловно свойственно только ему, что выделяет его среди большого коллектива и в то же время связывает с ним.

Порой трогательно слышать, как говорят о тебе на выступлениях: родился в рыбацкой деревне, после окончания начальной школы не смог продолжать учения из-за отсутствия средств, ловил рыбу, пахал землю. Поистине трогательно! Но то, что я не мог ходить в школу, что я учился так мало и безо всякой системы, что у меня нет политехнического образования и, в силу этого, понимания современной исследовательской техники, — это совсем не трогательно, а просто плохо. Сегодня я побывал в доме геофизиков, где Гончаров и Сафронов старались терпеливо и как можно проще и понятнее объяснить мне устройство приборов, предназначенных для исследования космического излучения, определения земного магнетизма, сейсмических измерений и т. д. Ушел от них с ощущением, что я темный человек, который еще может разобрать цифры на шкале, но смысла этих цифр постичь не в силах. После этого полчаса просидел у собак. Ибо сколь ни поэтична твоя душа, в каких бы высоких слоях атмосферы ни парили твои чувства, но без технического образования и без подлинного понимания техники в Антарктике ты будешь годен только на то, чтоб таскать сани.

Техника, техника, техника — от самой сложной до самой простой. Приборы в тиши помещений. Регистрирующие и передающие дальше сведения приборов на снегу. Дни и ночи гудит электростанция, грохочут гусеничные тракторы, «Пингвины» и бульдозеры. Дни и ночи сидят у аппаратов радисты с надетыми наушниками и держат связь со всем миром. Сегодня ночью радист Владимир Сушанский переговаривался с каким-то таллинским радиолюбителем. Далекое перестает быть далеким. Но тут же, пригнувшись и тихо притаившись за складами, расположилось здание, где техника самая что ни на есть деревенская. Это свиарник. В отличие от всех свиарников в истории, в его сенях живут четыре пингвина. А внутри аккуратные загончики, и в них — упитанные розовые свиньи разного возраста. Из-за спины одной матки выглядывает шестерка полугодовалых черно-пестрых поросят.

Сильный ветер, все бушует и бушует буря. Летом в Мирном не обойтись без ватника, шерстяных носков и теплого белья. Самолет, правда, вылетел сегодня в Оазис и даже приземлился там, но не было смысла отправляться с ним. От аэродрома, на котором он выгрузил свой груз, до станции пешком не добраться. И на Восток, где я мечтаю побывать, тоже давно не летают самолеты, — даже те, которые закреплены за тамошней станцией, еще стоят в Мирном. Антарктика требует терпения. Я налетал здесь четыре тысячи километров, и возможно, что этим дело и ограничится. «Кооперация» выходит в обратный рейс, а с каждым полетом связан риск застрять где-нибудь и тем самым остаться тут на зимовку.

Как различны люди! Сегодня утром один временный участник третьей экспедиции, с которым я приплыл сюда и поплыву обратно, долго спорил с начальником складов Шакировым. Он уже дня два как вынашивает план остаться тут на зимовку и даже подыскивает себе мысленно место. Где устроиться? У метеорологов, у гляциологов, у геофизиков или в каком-нибудь другом отряде? По своей профессии он может пристроиться к кому угодно: ни один отряд на этом ничего не проиграет и не выиграет. Желание зимовать объясняется проще простого: суточными. И сегодня утром он был настолько неосторожен, что начал рассуждать о том, как их заработать. Оказывается, вот как. Он себе интеллигентно посиживает в комнате. Более того, он начинает переводить с английского языка — ведь ему, как участнику экспедиции, будет легче, чем другим, опубликовать свои переводы в Москве. И даже еще лучше: имеется один сенсационный французский романчик, бестселлер, вполне, как я понял, порнографический. Для перевода ему требуется месяц. Он перевел бы его не для издательства, а просто-напросто для себя и для своих друзей. Для этого ему требуется месяц, в течение которого ему платили бы антарктические суточные.

Шакиров слушал его, все более ошетиниваясь.

— Тысячи!.. — сказал он наконец.

— Какие тысячи? — раздраженно спросил мечтатель, округляя свои большие, по-женски красивые глаза.

— Тысячи придется платить государству за перевод этого борделя для личного пользования, — ответил Шакиров.

Мечтатель, шокированный грубым выражением, начал что-то говорить о политической нейтральности литературы, о том, что культурный человек даже в Антарктике не должен терять своих культурных, сугубо французских интересов и о том, что раз уж он попал в Антарктику, то пусть ему и платят как полярному исследователю.

Шакиров вспыхнул словно трут. Прибегая порой к выражениям не совсем литературным, он объяснил, что миллион складывается из рублей, что государство отпускает средства на экспедиции не для того, чтобы в их состав включали охотников за длинным рублем. Он сказал о том, как надо работать в Антарктике, о том, какая каша может завариться здесь, в самом Мирном, из-за пурги, скорость которой иногда доходит до тридцати пяти — пятидесяти метров в секунду, а потом с той же последовательностью и яростью обрушился на тех, кто рассчитывает жить среди льдов в шелковых перчатках. Как хозяйственник, хорошо знакомый с калькуляцией, он перевел мелочность и безответственность подобных людей в рубли, которые придется уплатить государству, а рубли в свою очередь перевел в квартиры, в которых могли бы поселиться рабочие. И все вновь и вновь возвращался к переводу французского романа, к переводу «этого борделя». Атакуемый, все более сникая, лишь повторил голосом умирающего:

— Я имею право получать деньги.

Шакиров камня на камне не оставил от этого «права». По правде говоря, мне редко приходилось слышать столь пылкие, столь безукоризненно аргументированные, столь государственные и столь патриотичные, в самом серьезном смысле этого слова, выступления, как это откровенное выступление Шакирова в каюте прессы. Между прочим, Шакирова характеризуют здесь как очень вспыльчивого, но и как очень трудолюбивого человека. Тех, кто с ним не согласен, он считает своими противниками, то есть противниками его взглядов на человеческие обязанности, на чувство долга перед своей страной и своим народом. Таким лучше держаться от него подальше.

Существует выражение, до предела насыщенное мещанским содержанием — черствостью, равнодушием, низостью, стремлением пробивать себе дорогу локтями: «патриотизм персонального оклада». Шакирову явно неизвестно это выражение, тем не менее он целый день

объяснял своему противнику, что тому свойствен именно такой патриотизм.

Вскоре «апостол уютной Антарктики» заявил, что он все же вряд ли останется на зимовку. Здесь, мол, попадают грубые люди, от которых можно услышать неприятные вещи, зима же и вправду может оказаться трудной, так что его, возможно, заставят работать не по специальности, и т. д.

После обеда начальник метеорологического отряда второй экспедиции Кричак¹ сделал доклад о климате Антарктики, опирающийся на данные, собранные второй экспедицией. Роль Антарктики, этого огромного холодильника, в воздействии на климат южного полушария очень велика. Ее ледяные рога выступают далеко на север, ее дыхание достигает далеких районов океана. Вокруг нее вертятся циклоны и антициклоны, лишь изредка врывающиеся с океанов на материк. Антарктида как бы окружена гигантской и беспорядочной линией фронта, на которой происходят схватки масс теплого и холодного воздуха.

Но климатическая карта Антарктики еще неполна, континентальные станции расположены далеко одна от другой, о громадных пространствах не имеется еще ни метеорологической, ни аэрологической информации. Это оставляет большой простор для споров, гипотез и научных фантазий. В Антарктике пока что много неоткрытого и неразгаданного.

Говорят, что через день-два в Мирный должен прибыть американский ледокол.

30 января 1958

Вчера утром в Мирный прибыл ледокол американского военного флота «Бертон Айленд». Часов в семь утра нас пробудил от сна рокот чужих моторов над домами, совсем не похожий на рокот наших самолетов и вертолетов. Два маленьких американских геликоптера, взлетевших с кормовой палубы «Бертон Айленда», покружили

¹ Оскар Григорьевич Кричак — видный метеоролог, начальник материкового метеорологического отряда во второй и в пятой антарктических экспедициях. Погиб в Мирном в августе 1960 г.

над Мирным и приземлились на нашем аэродроме. Вместо колес у них — цилиндрические понтоны, позволяющие машине опускаться и на воду и на лед.

Полчаса спустя Мирный был полон американцев — стрекотали их кинокамеры, щелкали фотоаппараты и завязывались новые знакомства.

На свободном ото льда рейде Мирного, у кромки уже ненадежного припая, стоял «Бертон Айленд». Серый корпус этого военного ледокола невелик. У корабля очень сильный двигатель. Кроме того, он может преодолевать довольно тяжелый лед, развивать большую скорость. Наши данные о позавчерашнем местонахождении «Бертон Айленда» и его вчерашнее прибытие — все это говорит о том, что ледокол за небольшое время покрыв большое расстояние.

Американская антарктическая экспедиция, ее основной контингент зимовщиков на континентальных станциях состоит из военнослужащих. Расходы по экспедиции несет военное министерство. Надо думать, что в связи с этим и программа их исследований имеет военный уклон, в отличие от научных программ австралийской, английской, французской и нашей экспедиций. На «Бертон Айленде» тоже чуть ли не одни военные.

В Мирном первыми сошли на землю мистер Джеральд Кэтчум, состоящий в звании капитана и занимающий должность заместителя начальника 43-й оперативной группы военно-морского флота (ее база находится в Антарктике), затем капитан «Бертон Айленда» Бренингем, помощник капитана, первый офицер экипажа Рейнольдс, лейтенант Бейби, офицер службы информации «Бертон Айленда», и научные работники: научный руководитель антарктической исследовательской станции Халлетт с 1956 по 1957 год Джеймс А. Шир, гравиметрист американской антарктической экспедиции Джеймс Спаркмен, сотрудник Гидрологического управления Соединенных Штатов океанограф Стар, сотрудник станции Литл-Америка Ричард Л. Чепелл, врачи — мистер Эллиот и мистер Морвайн и, разумеется, корреспонденты — от Ассошиэйтед Пресс мистер Тэйлор и от «Нью-Йорк таймс» мистер Бекер. Кроме того, младшие офицеры, матросы и участники американской антарктической экспедиции.

Американцы чувствовали себя в Мирном как дома. Их научные работники проявляли большой интерес к ра-

боте советских исследователей, к научной аппаратуре, к Мирному и к нашим континентальным станциям. Гляциолог устремился к гляциологу, метеоролог — к метеорологу. Остальные тоже завязывали дружеские беседы и вполне нормальные экономические отношения. Уже через полчаса пришлось бежать в свою комнату за «Казбеком», на него был большой спрос. В обращение было пущено множество американских сигарет всех сортов. Но особый интерес вызвали у американцев наши шапки — кое-кому из нас и поныне нечего надеть на голову.

Надо сказать, что американцы необычайно подвижные люди. Казалось, что в Мирный прибыло человек двести, а не двадцать. Они всюду — на каждом сугробе, на каждой скале, у каждого дома. Они заходят во все двери, и если им удастся набрести на какого-нибудь участника экспедиции, знающего английский язык, то возникает разговор с переводчиком, а если такого человека нет, обходятся и без него. Мистер Тэйлор, уже пожилой, усталый человек с апатичным взглядом, весьма проворно вскарабкивается на бурые скалы. Его фотоаппарат непрерывно щелкает, а в записной книжке одна страница за другой заполняется записями. Сидящий, но бодрый и вечно улыбающийся мистер Бекер из «Нью-Йорк таймс» успел уже поговорить со всеми и обо всем, кроме политики.

Мы зашли с гостями и к метеорологам. Американцы прежде всего воззрились на кинозвезд на крыше, сфотографировали их и дали высокую оценку творению неизвестного художника.

Какой-то американец рядом со мной, неожиданно издав протяжное и удивленное «о-о-о!», плюхнулся задом в снег, торопливо навел на крышу объектив киноаппарата и принялся снимать.

«О-о-о!» Все мы, сопровождавшие американцев, тоже на миг онемели. На крыше рядом с обнаженными кинозвездами вдруг появился самый настоящий Пан, совершенно такой, каким мы его представляем себе по мифам. Он был низкорослый и плотный, стриженный наголо и загоревший дочерна. Облаченный в одни трусики, он с недоумением и страхом пялил свои синие добродушные глаза на многочисленные объективы. А коленопреклоненные фанерные красавицы рядом с ним стыдливо потупили свои нарисованные головы. И позади вместо фона — холодное и пасмурное свинцовое небо, льдис-

тое море Дейвиса, айсберги, голые скалы и белые снега.

Паном оказался старший научный сотрудник метеорологического отряда Семен Гайгеров. Дело объяснялось просто. На крыше метеорологической станции сооружено из двух фанерных щитов укрытие для теодолита. Старый спартанец Гайгеров решил, что, спрятавшись за этими щитами от ветра, можно и в Антарктике принимать солнечные ванны. Его курортная процедура окончилась как раз в тот момент, когда появились американцы. Это необычайное стечение обстоятельств вызвало небольшую сенсацию и привело наших гостей в отличное настроение.

Американцам показали запуск радиозонда, и они долго следили за его полетом. Затем Бугаев угостил их шампанским. Всем было весело, и еще двое человек лишилось шапок: сувенир!

«Бертон Айленд» стоял всего в нескольких метрах от берега, и нас повезли к нему в какой-то забавной шлюпке. По форме она напоминала легкое, но очень грузоподъемное стальное корыто. Корма и форштевень были у нее тупые, словно обрубленные. При плавании среди льдов такая шлюпка очень практична.

На «Бертон Айленде» нам показали американский широкоэкранный фильм. Очень чистые краски. Бесчисленные номера реву. Но содержание...

Ледокол отчалил поздно вечером. Я покинул его с последней шлюпкой. И по пути домой со мной приключилась глупая история — на твердом с виду снегу я по грудь провалился сквозь лед. Вода была очень холодная, она тотчас протекла в сапоги и насквозь пропитала одежду.

Пишу эти строки, встав у кровати на колени. Ломит спину, и при каждом неосторожном движении меня будто ножом режут.

Радикулит.

Его-то мне и не хватало!

31 января 1958

Кажется, наш филолог Видеманн первым перевел слово «интеллигент» на народный язык. В его переводе это звучало как «работающий задом». Точно и верно. Хорошо, если у тебя есть голова, но если твою спину и зад

пронизывает острая, иногда прямо невыносимая боль, то начинаешь особенно остро понимать взаимосвязь всех вещей и ту истину, что состояние твоего зада порой весьма чувствительным образом влияет на мыслительный процесс, а то и вовсе его прекращает.

3 февраля 1958

Вечером 31 января на рейд Мирного прибыл корабль австралийской антарктической экспедиции «Тала Дан». Он появился с севера совершенно неожиданно — мы ждали его только к утру 1 февраля. Но вот он неторопливо плывет по темной вечерней воде, обводы его красного корпуса отчетливо виднеются на фоне далеких айсбергов, а его кормовой мостик, выкрашенный в желтое с белым, вздымается над ними и скользит как нечто самостоятельное поверх тяжелых темных облаков северного небосклона. «Тала Дан», арендованная Австралией у датчан, была спущена на воду лишь полгода назад и еще плавает и под датским и под австралийским флагами. Красивый корабль: его красно-белый корпус, красный самолет на борту, вымпела на мачтах — все это производит радостное впечатление, судно выглядит молодым и кажется издали маленьким и легким.

Разглядывая «Талу Дан» в бинокль, я впервые обращаю внимание на сумерки, которые становятся с каждым днем все более и более плотными. В полночь у нас в Мирном уже смеркается на час, на два, и сквозь маленькие окошки заглядывает в дома темная беспокойная синева. Долгая полярная ночь неторопливо подкрадывается к нам по белой простыне Антарктиды, напоминает нам о своем существовании, о своем приближении. Небо на севере затянуло осенними тучами. Одна из них, грубо навалившаяся грудью на айсберги, напоминает своими очертаниями иллюстрацию Доре, которая изображает Самсона, уносящего городские ворота Газы: черная синева тучи, нависшей над айсбергами, похожа на землю, а ее сужающаяся в центре, словно ножка кубка, и сильно вытянутая к западу часть — изображение Самсона; огромное же туманное скопление наверху, темно-серого цвета и почти квадратной формы, напоминает городские ворота, уносимые Самсоном.

Уже сто дней, как я уехал из дому. Я покинул его осенью. И лишь теперь осень догнала меня.

«Тала Дан» причалила носом к береговому льду и спустила трап. На этот же лед были сброшены и якоря. С корабля спустились австралийцы и датчане. (Экспедиция состоит из австралийцев, а экипаж судна из датчан.) Встретили их сердечно. «Бертон Айленд» ограничился одним лишь сообщением о том, что он направляется в Мирный, австралийская же экспедиция прислала необычайно вежливую радиограмму с просьбой разрешить ей посещение советской антарктической обсерватории. О дружелюбном и деловом взаимопонимании между австралийскими и нашими учеными говорит то обстоятельство, что руководитель австралийской экспедиции Филипп Лоу, худой, бледный человек с голландской бородкой, посещает Мирный уже второй раз. Он прилетал сюда впервые во время пребывания здесь нашей первой экспедиции. Он тесно связан с советскими исследователями общностью научных интересов. Мистер Лоу — один из видных австралийских исследователей Антарктики.

Первое знакомство. Австралийцы и датчане спускаются по трапу вниз, смеются, сверкая зубами, жмут нам руки. В Мирном опять многолюдно и суматошно. Радисты из числа гостей уже сидят на радиостанции Мирного, поражаются ее мощности. В общую комнату радистов, в которой разбросаны на столе мои рукописи, заглядывают австралиец и датчанин. У датчанина огненно-рыжие щетинистые усы, ярко-синие глаза и веснушчатое лицо, каких много к северу от 50-й параллели. Он выше шести футов росту. И мечтает обменяться со мной шапками. Австралиец невысок, круглолиц и с брюшком. Оба гостя — веселые люди и хотят поболтать.

— Говорите по-английски? — спрашивают они меня.

— Нет.

— No?

— Харосо! — говорит датчанин и достает из своих вместительных карманов две пачки сигарет и четыре консервные банки. Банки содержат очень вкусное датское пиво. Сидим болтаем, работаем и языком, и пальцами — и, как ни странно, понимаем друг друга.

— Аэровиски? — спрашиваю я и щелкаю себя указательным пальцем по горлу — жест этот на всех языках означает одно и то же.

Гости не возражают. Небольшой запас Виктора Якунина пускается в расход. Комната наполняется новыми людьми — среди них и наши гости. Разговор стано-

вится всеобщим. Мирный нравится прибывшим: радиостанция хороша, дома хороши, радисты им — коллеги и друзья, тут никакая не военная база, на «Пингвинах» пулеметов нет, и ни одной советской субмарины они здесь не увидели. Чуть погода все устремляются к метеорологам, затем в аэрофотолабораторию. Гости залезают в кабины машин, разглядывают наш самолет «Ил-12». Деловой контакт налажен.

Хорошо проходит и совместный обед. Выступают мистер Лоу и Трешников. Оба говорят о том, как необходим ученым контакт в деле исследования Антарктики, и взаимно желают каждой из экспедиций наилучших успехов. За столом сидит и капитан «Талы Дан» — Кай Хиндберг. У него мужественное лицо старого моряка, глаза его весело шурятся, форма сидит на нем безукоризненно. Ему здесь нравится.

Тут же с нами и ученые.

Мы поем вместе, обмениваемся адресами, обсуждаем научные вопросы, говорим о сотрудничестве между полярными исследователями.

Вечером в кают-компании много гостей с «Талы Дан». Отличные ребята! С их радистами у нас особенно хорошие отношения. Потом они допоздна сидели на приемной станции с надетыми наушниками и слушали передачи Москвы и Литл-Америки.

«Тала Дан» отплыла вчера после обеда.

Сегодня был вместе с сейсмологами в нескольких километрах от Мирного. Испытывали приборы, измеряющие толщину льда. Сейчас, при небольшом морозе, укреплять всевозможные провода еще не так трудно, но при 30 градусах ниже нуля и сильном ветре это, наверно, весьма мучительное занятие.

Сегодня тракторный поезд вышел из Комсомольской по направлению к Советской.

«Кооперация» находилась вечером на 38°27' южной широты.

4 февраля 1958

Тракторный поезд уже в ста километрах от Комсомольской. Все идет как надо.

6 февраля 1958

Мои теперешние ощущения можно охарактеризовать одним словом: ожидание. «Кооперация» с хорошей скоростью идет к Мирному, участники второй экспедиции упаковывают свои вещи и сдают снаряжение, а я, полярик явно неопытный и никудышный, сто раз на дню вспоминаю о своей милой. Что бы там ни говорилось, но женщины — темная сила, которая, вероятно, и сама не сознает того, как она влияет на нас, как мешает нам устремляться мыслью к аллаху, то есть к своей работе.

Я вижу ежедневно новых людей, вижу их в труде и начинаю лучше осознавать значение слов «комплексная антарктическая экспедиция». Синоптики склонились над своими картами, сейсмологи и гляциологи исследуют характер и толщину льда, аэрофотографы работают в своих темных лабораториях и кабинах самолетов. Чуть в стороне от поселка, на покрытой снегом сопке Радио, трудятся авиамеханики. Эти люди, которых мы часто не замечаем, проходя рядом с ними, чьи имена затмеваются славой летчиков, делают трудное и ответственное дело, требующее золотых рук и большого опыта. Без их труда ни один самолет не сможет взлететь со льда Антарктики, да и с любого другого поля. Чтобы более или менее основательно изучить каждого из здешних людей, мне вообще-то следовало бы остаться здесь на зимовку. Но на это у меня нет ни возможности, ни решимости. Я благодарен и за то, что Антарктика уже дала мне, — теперь мне и так будет над чем подумать.

Море очень и очень красивое. Спокойное, темное, с ослепительными жемчужинами айсбергов.

Сегодня утром тракторный поезд был уже в ста пятидесяти километрах от Комсомольской.

8 февраля 1958

После завтрака вдруг раздался сигнал пожарной тревоги. Глухие удары набата звучали над снегами Мирного словно крики о помощи.

Не то от окурка, не то от неосмотрительно брошенной спички, не то от искры из трубы — загорелись пустые ящики около электростанции, доски, обтирочные концы и бревна. Пламя вспыхнуло особенно сильно, добравшись до остатков горючего, и, когда мы прибежали,

огонь уже лизал бревенчатый фундамент станции, а ее обитые жестью стены начали дымиться. Пошли в ход все шланги, все огнетушители и ведра, какие только нашлись в Мирном. Люди не щадили себя, и через полчаса с огнем было покончено. Но встревожились мы не на шутку. Каково тут было бы, если бы сгорела электростанция, — особенно полярной ночью, когда лед отрывает Мирный от всякой связи с родиной? Тут, разумеется, достаточно топлива, достаточно горючего, но все же... От дыхания беды, прошедшей так близко от нас, у людей еще и сейчас мороз подирает по коже.

10 февраля 1958

«Кооперация» должна прибыть завтра. Расстояние от Порт-Луи до Антарктики она прошла с хорошей для такого старого корабля скоростью. Лето южного полушария основательно смягчило суровый лик здешнего моря, ветры утратили ту леденящую дикость, которая через месяц-другой возродится вновь со всей своей силой.

Но зима, то есть антарктическая осень, уже приближается. Ночи стали темными, и большой месяц, похожий на лицо грязнули (из-за сияния снега луна здесь кажется желтой и основательно закопченной, а контуры ее кратеров — черными), освещает пологий хребет Антарктиды как-то тускло и призрачно. Сорок собак Мирного принимают время от времени выть на луну, задрав морды.

Желчная светит луна
Над снеговыми полями...

Только вот нет дерева рядом с воротами, бросающего тень на дорогу...

Сияние, отбрасываемое месяцем на море Дейвиса, разбивается невысокими волнами на осколки, и чудится, что вода сплошь усеяна увядшими листьями. Остров Хасуэлл и бурые нагие скалы на рейде Мирного кажутся по ночам грозными зубчатыми фортами.

Вещи уложены. С грустью думаю: вот бы и в мозгу было что-нибудь вроде чемодана или походного мешка, где все лежало бы отдельно — здесь чистое белье, а тут грязное, здесь морские карты, здесь негативы, здесь книги, а тут фотографии. В моих воспоминаниях, впечатлениях, в оценках людей, в определении их положения

в коллективе, во всем, что я увидел и услышал или о чем, как мне кажется, догадался за пятьдесят дней, прожитых на антарктическом материке, царит изрядный беспорядок, изрядная сумятица. Будто я разбросал все эти незримые богатства по огромной комнате. Лишь отдельные людские группы успели обрести в этом хаосе твердое или более или менее устойчивое место.

Я сознаю, в каком я долгу пред метеорологами Васюковым и Бугаевым, перед людьми, в которых счастливо уживаются русская сердечность и чувство такта, перед людьми, которые делают свое дело с большой любовью. Сплоченно и особняком стоят радисты. У меня мало столь близких людей, как Борис Чернов, Слава Яковлев, Виктор Якунин, Владимир Сушанский. Мы сто дней жили бок о бок, но ни разу за это время не обменивались комплиментами, а наоборот — нередко говорили друг другу в лицо резкости. Но если мне еще придется побывать на Крайнем Севере или в далеком плавании, то хотелось бы, чтоб рядом со мной оказались они или люди такой же породы.

А в центре, отдельно от всех, стоит станция Комсомольская со своими четырьмя зимовщиками, к которым я очень привязался. Крохотная точка на льду, место, где я пережил самые трудные и самые содержательные дни своей жизни. Убежден, что такие дни могут изменить внутренний мир человека, очистив его от всякого мусора и наделив чистотой снегов, — вот только достанет ли человеческой силы, чтобы сохранить ее...

12 февраля 1958
«Кооперация»

Вчера, 11 февраля, «Кооперация» прибыла в Мирный и бросила свои ледовые якоря в том самом месте, где стояла «Тала Дан». Она пристала носом к ледяному барьеру. Мы поднимались на корабль и спускались вниз по обычному, вполне нормальному трапу, — ни дать ни взять как в настоящей гавани.

Мы следили за приближением «Кооперации», за тем, как она подплывала все ближе по темной воде моря Дейвиса, как сливался с айсбергами ее белый корпус, словно становясь их частью, и каким маленьким казался корабль среди этих сверкающих гигантов. Мы стояли на большой бурой скале, на Комсомольской сопке, той

самой, на которой расположены приемная радиостанция, электростанция и мастерская. И почти не разговаривали. Потому что мы полюбили клочок этой обледенелой земли, перепаханной гусеницами тракторов, полюбили каждый на свой лад: одни привязались к нему как к рабочему месту, другие — как к форпосту в борьбе за открытие тайн Антарктики. Не сумею объяснить, как я любил этот клочок. Не как женщину, не как родственника и даже не как «свой остров», свое место под солнцем, а примерно так же, как я люблю иные местечки на Муху — самые дикие, самые запущенные, самые каменистые.

Еще до прибытия «Кооперации» я распрощался со всеми своими товарищами, остающимися в Мирном. Побывал у метеорологов, зашел к аэрофотографам, а потом к радистам. Удалось добыть каким-то чудом пару бутылок вина, было у нас и немножко спирту. Я растрогался не на шутку, и порой у меня даже подкатывали к горлу слезы. Пусть это была растроганность слегка захмелевшего человека, у нее все же имелось реальное, истинное и устойчивое основание — чувство глубокой благодарности к своим товарищам.

На Комсомольской сопке, перед радиостанцией, состоялся прощальный митинг. Поднявшись на выступ, произнес прощальную речь Толстиков. В простых и теплых словах он выразил признательность сотрудникам второй экспедиции за ту большую работу по исследованию Антарктики, которую они проделали и без которой третьей экспедиции было бы трудно добиться успехов. Он пожелал нам счастливого плавания и благополучного возвращения домой.

Я отнес свои вещи на «Кооперацию».

...«Кооперация» стояла у барьера. Уезжающие, то есть в основном участники второй экспедиции, уже поднялись на борт. Трап убрали. Третья экспедиция стояла на барьере, и над прибрежной водой сталкивались в воздухе мощные «ура», раздававшиеся как с берега, так и с корабля. Вот белый материк остался за кормой медленно развернувшейся «Кооперации», люди на барьере слились в одну темную зубчатую полосу, и корабль, медленно лавируя среди айсбергов, направился на север. Время от времени борта задевали льдины, корпус судна слегка вздрагивал, а мне казалось, что лед, скребя по железу, скребет по моему сознанию.

Море Дейвиса стало другим — по-летнему чистым.

13 февраля 1958

Плывем по меридиану Мирного прямо на север. Курс — 360. Ледовитый океан — южная часть Индийского — спокоен. Перед нами синяя улица. Сходство с улицей вызвано тем, что айсберги все тянутся и тянутся вдоль обоих бортов, будто кто-то их выстроил в ряд от юга к северу. Айсберги любой формы и любой величины — тут и плоские и возвышенные, тут и башни, и горы, и купола. Может быть, некоторые из них родом с того самого ледника Хелен, над которым я однажды пролетал. Весь день я разглядываю их, как разглядывают добрых знакомых, прежде чем расстаться с ними навсегда. Хочу навек запомнить их яркую холодную чистоту, их мощь, их белоснежные головы, чтобы с годами все это превратилось в строки и строфы. Волны неустанно отшлифовывают айсберги, выдалбливают в них пещеры и постепенно уничтожают их, как время — человеческую жизнь.

Тому, кто не видел океан, он не может даже и присниться таким красивым, каким я вижу его сейчас.

Скорость у «Кооперации» низкая. Плывем все время лишь на одном дизеле и делаем по шесть, по семь узлов. На карте нашего продвижения и не разглядишь. Мы примерно на 60-й — 61-й параллели.

14 февраля 1958

«Кооперация» идет по-прежнему прямым курсом на север. Я еще не знаю, куда мы направляемся — в Австралию ли (за грузом в Мельбурн) или, обогнув мыс Доброй Надежды, поплывем прямо домой. Меня, разумеется, больше привлекает австралийский вариант. Но иных участников экспедиции это не особенно воодушевляет. Они уже год с четвертью не были на родине, и все их мысли прикованы к дому. А заезд в Австралию удлинит плавание на целый месяц. Надо сказать, что и мне порой жутко смотреть на карту — какое огромное расстояние до дому! Больше, чем полпути вокруг земного шара. Прекрасно будет, конечно, поплыть назад через Суэцкий канал и Средиземное море, если отдадут предпочтение австралийскому варианту.

Океан по-прежнему спокоен. «Кооперацию» лишь слегка покачивает.

Спутников я еще плохо знаю. В Мирном я мало соприкасался со второй экспедицией, и мне пока неизвестно, кто тот или иной человек, откуда он, кем работает. Но меня крайне интересуют их воспоминания, их опыт, их суждения, так как все они зимовали в Антарктике. Надеюсь, что за долгую дорогу мы познакомимся друг с другом.

Мой сосед по каюте — Владимир Михайлович Кунин, возвращающийся уже из третьего рейса на ледовый материк. Мы познакомились в Мирном, где Кунин жил в доме радистов. Он инженер, глубоко образованный, деликатный, веселый и подвижный человек, прекрасный товарищ. Мы наверняка с ним подружимся.

В десять — одиннадцать часов вечера по судовому времени на небе появилось полярное сияние. В Антарктике я не видел его ни разу, так как тогда не было настоящих ночей. Яркие змеи медленно извивались на южном небосклоне, изменяли свою форму и свое положение, а тучи под ними казались темными горами. Прямо над кораблем извивается огромная светлая спираль, холодное сияние которой рассеяло ночную тьму и поглотило мерцание звезд.

А с правого борта на светлом фоне полярного сияния отчетливо проступило одно облако. По контурам оно напоминало лохматый мухуский можжевельник, позади которого пылает ночной костер. И вот здесь, под Южным Крестом, между 58-й и 57-й южными параллелями, на шаткой «Кооперации», под ее вантами, сквозь которые я видел, как нарождаются и умирают лунные месяцы, под теми самыми незабываемыми вантами, под которыми я изучал звездную карту южного полушария, под вантами, резкие линии которых трепещут сейчас в свете сполохов, я снова вспомнил о том, как мы с женой ездили каждое лето на Сааремаа, о наших кострах на острове Муху, в моей родной деревне. Помню, чуть ли не каждый вечер сидели мы у горящих пней. Нам так это полюбилось, что мы отправлялись разводить костер даже в дождливые вечера. И силуэты можжевельников были видны так же отчетливо, как видна сейчас эта темная ночная туча на фоне сполохов.

Мне хотелось бы сушеной салаки, сваренной в одном котле с картошкой и потом поджаренной на сале. Хотелось бы разжечь между можжевельниками ко-

стер на твердой каменистой земле, под теплым синесерым небом.

Для одного вечера желаний более чем достаточно.

15 февраля 1958

Плывем по прежнему курсу — 360. Все еще не выяснилось, идем ли мы в Австралию или нет. Неизвестна ни наша первая гавань, ни, стало быть, маршрут, и это заставляет нервничать.

К вечеру океан стал угрюмым. Ветер окреп, волны что ни час вздымались все выше. На небе низкие облака, горизонт затянут мглой. Идет дождь.

16 февраля 1958

Утром на карту нанесли новый курс — 60. Направляемся на северо-восток, то есть к Австралии. Отлично! Первая гавань еще неизвестна, но вероятно, это Мельбурн.

Наконец вновь достал со дна чемодана пьесу. Да не оставит судьба тех, кто в такую погоду должен писать книги! Еще не окрепший шторм в семь-восемь баллов временами так сильно накрывает порожнюю «Кооперацию», что со стола все слетает на пол — папиросы, рукописи, книги. Стул куда-то уползает, а сам ты ложишься грудью на край стола. Из писания ничего не выходит, хотя самочувствие отличное, да и работать уже хочется.

Скорость «Кооперации» — десять-одиннадцать узлов. Нам помогает течение и отчасти ветер. Работают оба дизеля.

19 февраля 1958

Наши координаты в полдень — $47^{\circ}50'$ южной широты и $108^{\circ}39'$ восточной долготы. Приближаемся к Австралии, покрывая ежедневно по двести тридцать — двести сорок миль. Скорость — десять узлов. Но первая гавань все еще неизвестна. Океан сегодня спокоен. Даже не верится, что это тот самый пояс бурь, пояс сороковых широт, о котором мы столько слышали. Лев спит, спрятав свои когти.

Вчера мне исполнилось тридцать шесть лет. И океан сделал все возможное, чтобы я в этот день мог спокойно подумать. Уже ночью он стал бурным, а утром корабль начала трепать сильная боковая волна. Пошел дождь, горизонт заволокло, темный водяной круг, усеянный барашками, сузился. Волны, шедшие с туманного севера, были большими, грозными и холодными. Палубу все время захлестывало водой. Наибольший крен корабля был 28 градусов. Несколько раз все слетало со стола на пол. При такой волне не попишешь: судорожно держаться за стол и еще думать при этом — выше физических возможностей. Лежишь на койке, читаешь, размышляешь, а снаружи стоит свист и вой. Мысли же — и грустные, и радостные, и мечтательные, и деловые — знай приходят и приходят.

Утром Кунин поздравил меня с днем рождения и сказал:

— Говорят, что через каждые семь лет характер человека меняется. Значит, и у вас должен измениться. Интересно, в какую сторону?

Да, интересно. Чего мне наиболее остро не хватает? Какая из слабостей моего характера больше всего путается у меня в ногах?

У нас стало хорошим тоном по возможности меньше говорить о том, как мы пишем, что мы при этом чувствуем, каковы у нас запасы наблюдений, какова наша творческая кухня. Хотя и знаю, что погрешу против хорошего тона, но все же приоткрою дверь в свою творческую кухню, в свои кладовые, где сложены мои внутренние резервы. Что там имеется?

Очень яркие воспоминания детства, настолько яркие, что они не потускнели от времени. Несколько раз я пытался описать то, как ясным и сверкающим апрельским утром с тихим звоном падают капли с нежных и прозрачных, словно стекло, сосулек, появившихся ночью, как спит ветер, как чуток и молод ближний лесок, как звонко распевает таким утром хор петухов в деревне. Но ничего не выходит. Я отчетливо ощущаю и слышу все, но передать это, столь лучистое и хрустально ясное, столь дорогое детскому сердцу, выше моих сил. Я хорошо помню несколько благостное настроение, чувство беспокойства и скуки, ощущение, будто время остановилось, — словом, все то, что испытывали мы, дети, во время домашних молебнов по воскресным утрам, хоть нам и нравилось церковное пение, хоть бог моего отца был

прежде всего добр, умен и милосерден. Таким же был и сам отец. Сколько я его помню, он всегда был седым, обычно его длинные волосы слегка выбивались на лоб из-под кожаной шапки. Он был шести футов роста, худой и слегка сутулый. У него была округлая шкиперская борода, орлиный нос, пронизательные глаза цвета серой морской воды, высокий, далеко слышимый голос и доброе сердце. Нас, детей, было много, мы так и кишели на каменном полу нашей избы, но никого из нас никогда не били. Наказывали словом. Отца мы звали «папой», мать «мамой», но никакой такой бутафории, как лобызания да «миленький», «золотко», «папочка», «мамочка», мы не знали. «Молодец», «молодчина», «молодчага» — это была у нас самая большая похвала, и поскольку слышали мы ее редко, то радости она нам приносила на целый день. Мы боялись и уважали отца. И если порой слишком уж озорничали, то отцу было достаточно сказать лишь: «Вот получите в штаны можжевельника!» — как порядок тотчас восстанавливался. Между прочим, однажды он наказал таким способом сынишку моей сводной сестры. Помню, как тот стоял у печки и у него из штанов торчала веточка можжевельника, — провинившийся глотал слезы и боялся пошевелиться. Это была гуманная кара: и не больно, и приходится все-таки стоять на месте. Вообще же отец давал нам очень большую свободу, он считал естественным, что дети шумят, горланят, тузят порой друг друга и треплют много одежды.

Мне было пять лет, когда одним февральским днем отец отправился в Лейзи на ярмарку. Еще как-то раньше он обещал взять меня с собой, и, вспомнив об этом, я начал требовать выполнения обещанного. Но была метель, и когда выяснилось, что меня не возьмут, я принялся реветь. Я прицепился к отцу и орал что хватало сил. Только вот слезы не текли, и я до сих пор помню, как мне это было обидно и досадно. А отец утешал:

— Покричи, сынок, сегодня еще можно. А то привезу тебе с ярмарки машину-ревуню, тогда уж она будет кричать нам на радость.

Весь день я просидел у окна, смотрел на метель во дворе и ждал, когда вернется отец с машиной-ревуней. И все старался себе представить, какая она: небось медная, с колесами да с трубой, откуда голос слышно. Отец вернулся поздним вечером. Пока мать сметала снег с его тулупа, я юлил вокруг него и старался разглядеть, где же

эта голосистая машина. Она была спрятана на груди у отца: жестяной цилиндр длиной в фут. Отец неторопливо снял тулуп, и лишь после этого я получил свою «машину». Она оказалась весьма обычной для того времени жестяной коробкой, в которой гроыхало примерно с полкило леденцов. Но я до сих пор помню, до чего был счастлив в тот вечер. Какая картинка на крышке! А сама коробка! И не беда, что не ревет, — ведь обходился же я до сих пор своим собственным голосом.

У отца был один исключительный дар: он умел прививать нам любовь к труду. В десять лет я мог починить упряжь, в тринадцать — сеял, в четырнадцать — пахал, как взрослый, и всегда работа казалась мне интересной. Воспитание любви к труду, сохранение интереса к нему — эти качества я и ныне считаю редкими и необычайно ценными талантами.

Началось все с малого: отец подарил мне полкило дюймовых гвоздей и разрешил все их забить в стену. Потом он брал меня в кузню качать мехи. Я и сам не заметил, как железо стало для меня живой и занятой вещью. Благодаря отцу я нашел любопытным и такое простое занятие, как смоление канатов. Вся эта воспитательная наука может показаться нехитрой, но она требует терпения. Хорошо пахать не так-то легко, и когда хочешь этому научиться, поневоле увлекаешься. Даже своей любовью к книгам я в известной степени обязан отцу — чтение книг он считал вредным и лишним, поскольку хотел вырастить меня рыбаком и крестьянином, но ведь именно запретное так маняще и сладостно.

Помню зрелище ледохода в проливе — священный день для рыбацких сел. Помню всех своих крестных отцов, наделивших меня неплохим, как мне кажется, знанием эстонского языка и своеобразной сословной гордостью рыбаков. Вообще крестные отцы, их самобытные характеры, их рассказы о белом свете и морях, их выражения — все это занимает целую полку в моей творческой кухне. Жаль, что мои крестные стареют и один за другим уходят от нас. Для меня смерть каждого из них — это смерть учителя.

Интересно, надолго ли запоминаются обиды, пережитые в юности, и в частности те, о которых мы уже давно думаем с веселой усмешкой. В восемнадцать лет я еще был очень невысок ростом, но тем не менее так же, как мои ровесники, уже хотел танцевать с деревенскими девушками. Но, крепкие и высокие, они смотрели на

меня сверху вниз, и им ничуть не хотелось плясать с таким маленьким кавалером. (О росте этих девушек может дать представление следующий факт. Один мой друг, моряк, рассказывал мне, что он как-то плясал на Сааремаа с такой длинной девушкой, что во время вальса обнимал ее не за талию, а за колени!) На танцах иная девушка, понежнее и подорожее, еще поглядывала на меня, но большинство задирали нос и вскидывали голову, и я мог хорошо разглядеть снизу форму их подбородков. У некоторых он был мягкий и круглый. Из этих, наверно, вышли хорошие жены. У других же он выступал вперед, как дубовый киль. Эти становились властолюбивыми и сварливыми супругами, бьющими тарелки, — такие впоследствии переходят в категорию самых опасных и злобных инквизиторш — в категорию злых тещ. Высокомерие и спесь этаких будущих тещ были очень обидными.

Детство, ранняя юность, мягкие летние вечера, зимние морозы, дивные виды островной природы, лов рыбы, сев, жатва, молотьба, кузница с ее грохотом и звоном молотов и молотков, первая любовь и связанные с нею душевные терзания — все это составляет весьма существенную часть моих внутренних запасов, но мне покамест не по силам сплести из этих разных нитей единую и цельную ткань.

Многие из нас, и я в том числе, в возрасте, который считается самым счастливым, то есть с девятнадцати до двадцати трех лет, носили серую шинель. Война отхватила от нашей жизни большой кусок радости, большой кусок молодости, вырвала у нас чуть ли не полторы тысячи суток, в течение которых человек совершает обычную тысячу невинных глупостей, бывает счастлив и несчастлив и в то же время формируется. Но взамен этого война дала нам нелегкую выучку, одарила нас суровыми воспоминаниями, за что, правда, нам пришлось слишком дорого заплатить. За эти годы мы увидели душу человека, увидели его «я» более обнаженным, чем когда-либо прежде или после.

Надо сказать, что наше поколение многое повидало, многое пережило за сравнительно немногие годы — больше, чем успевает пережить в среднем каждый швед за всю свою спокойную жизнь.

Однако вернемся к началу моих рассуждений, к «перемене характера». Весь этот материал, все эти впечатления и воспоминания лежат в моей творческой кухне вперемешку. Честно говоря, мне мешает окончательно

отобрать из них все самое существенное, самое красочное и самое характерное только одно обстоятельство — недостаток дисциплины, отсутствие силы воли. Ведь писать очень трудно, и я просто-напросто уклоняюсь, как обычно, от трудной работы, выискивая поводы, чтоб отложить её если не насовсем, то хоть на время. В городе таких поводов более чем достаточно, но в море, к счастью, они отпадают, и здесь остаешься с глазу на глаз со своей ленью. Любопытно, что за три с половиной месяца в Антарктике и в океане я успел сделать и задумать больше, чем успеваю в городе за год. И, несмотря на это, меня не перестает преследовать чувство, что я пишу мало и порой не стою даже того, чтобы меня кормили в кают-компании.

Бальзак, самый, может быть, трудоспособный и самый честолюбивый из всех гениев, пишет в «Провинциальной музе»:

«Правда, мозг повинуется только своим собственным законам; он не признает ни требований жизни, ни велений чести; прекрасное произведение не создается потому, что умирает жена, что надо заплатить позорные долги или накормить детей; тем не менее не существует больших талантов без большой воли. Эти две силы-близнеца необходимы для сооружения громадного здания славы. Люди избранные всегда поддерживают свой мозг в деятельном состоянии, как рыцари былых времен держали наготове свое оружие. Они укрощают лень, отказываются от волнующих наслаждений; если же уступают потребности в них, то только в меру своих сил. Таковы были... все люди, развлекающие, поучающие или ведущие за собой свою эпоху. Воля может и должна быть предметом гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это развитая природная склонность, то твердая воля — это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, над всяческими трудностями, которые она героически преодолевает».

Я не сумасшедший, считающий себя гением, и не воображаю, что бог знает как преуспел в том, чтобы «развлекать, поучать и вести за собой свою эпоху». Себя, как и многих своих коллег, я считаю дорожным рабочим, прокладывающим путь большим талантам, которые придут после нас. Это тоже почетная работа, и, в конце концов, должен же ее кто-то делать. Но и этот труд требует

немалой дисциплины, немалой силы воли, и если впрямь произойдет чудо и мой характер сегодня изменится, то мне хотелось бы, чтоб эти две его составные части на-много выросли.

Примите к сведению, друзья мои, эту застольную речь «новорожденного», произнесенную им в южных широтах Индийского океана, на отчаянно встряхиваемом теплоходе «Кооперация»!

Вчера в Одессу прибыла «Россия», доставившая из Александрии на родину часть сотрудников второй экспедиции.

21 февраля 1958

Наконец нам стала известна первая гавань — Аделаида. При теперешней скорости, равной двумстам сорока милям в сутки и больше, мы должны прибыть туда 25 февраля вечером или 26-го утром. Интересно, как выглядит эта «terra incognita Australia» Джеймса Кука, которая является сейчас самостоятельной частью света и первыми белыми поселенцами которой являлись уголовные преступники, высланные из Англии.

Океан снова спокоен и пасмурен. Какой-то гигантский кусок предельного однообразия! У меня такое ощущение, будто сороковые широты обманули нас, скрыв свое истинное лицо: «Кооперация» вторично перепорхнула через них, словно бабочка над лицом уснувшего душегуба. Океан, этот большой ушат со стенками из тумана и облаков, слегка волнуется, словно на него дует сквозь ноздри захмелевший бык. Почему-то вспоминаются строки Багрицкого из «Контрабандистов»:

Ай, греческий парус!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!..
Вор на воре!

Но тут ни греческих парусов, ни контрабандистов! С самого Мирного не встречали ни одного корабля. Это постоянное безмолвие, эта безжизненность океана (даже альбатросов и тех мало) действуют угнетающе. И все ж я сознаю, что это брюзжание несправедливо. Океан нас балует. От воя и бушевания здешних штормов радости мало.

Сегодня получили радиограмму от Толстикова: «16 февраля над Советской поднят флаг СССР. Точные координаты станции — 78°24' южной широты и 87°35' восточной долготы».

22 февраля 1958

У «Кооперации» прежняя скорость в десять с половиной узлов. Океан спокоен.

23 февраля 1958

Торжественное воскресное настроение. Чем ближе к вечеру, тем оно праздничней. Сегодня сорокалетие Советской Армии. И расстояние до земли все меньше.

Впрочем, в полдень это воскресное настроение на время улетучилось. Пришлось гладить выстиранное вчера белье. Работа невообразимо гнусная и вгоняющая в злобу. Сперва, правда, знай машешь электрическим утюгом — только пар идет. Но потом добираешься до верхних сорочек — для вечернего концерта и для Австралии. Корабль, конечно, качает. Постилаешь на один из столиков в ресторане свое одеяло, берешь раскаленный утюг и приступаешь. Спина сорочки, которую можно бы и вовсе не гладить, поскольку ее все равно под пиджаком не видно, получается очень гладкой и красивой. Но затем идут рукава, грудь, манжеты, воротничок, — словом, все то, что выдумали те люди, кому ни дома, ни в море не приходилось гладить своим белье. И тут начинается что-то непонятное: чем дольше гладишь, тем больше обнаруживается на рубашке, казавшейся с виду довольно чистой, плохо выстиранных мест. Одну полу разглаживаешь, а на другой в это время появляются морщины. Но хуже всего с воротничком и грудью. Скверно. Пахнет горелой тряпкой и паром, словно в прачечной. Те же, кто дожидается в очереди утюга, нервничают, дают советы и приводят тебя в злую растерянность. Где же справедливость, думаешь? У нашего поэта Пауля Руммо, жившего летом с женой на даче в Лауласмаа, корова съела сорочку, которую он наверняка не стирал сам и не гладил. Так что он не только отделался от рубашки, но еще и получил тему для стихотворения. Но в Антарктике нет никаких коров и никаких других тварей, поедающих со-

рочки. Поэтому помощи ждать неоткуда. Кончилось же все тем, что снова выстирал только что выглаженные рубашки. Сейчас они висят в каюте, и каждый раз, как я выхожу из нее или вхожу, меня шлепает по носу мокрый рукав.

Днем проплыли сквозь большую стаю дельфинов. Они выскакивали из воды и слева и справа; их, наверно, были сотни. Но перед самым кораблем они своих игр не затевали.

День закончился замечательно. В музыкальном салоне выступил с концертом организованный в Мирном ансамбль художественной самодеятельности второй экспедиции, именуемый «Сосулькой». Руководитель ансамбля — Оскар Кричак, человек талантливый и разносторонний. (Между прочим, его можно ежедневно видеть на палубе в обществе двух пингвинов, которых он надеется переправить живыми через экватор и доставить в Московский зоопарк.)

Но возвратимся к концерту. Сначала ансамбль выступил с композицией из песен Советской Армии времен гражданской и Великой Отечественной войн. Знакомые напевы, ставшие нам такими близкими и родными в годы войны, напевы, которые проживут еще долго. Они напоминают о многом и воскрешают в душе неповторимые настроения военных лет. В них и гарь разрушенных городов, и вой пикирующих бомбардировщиков, и отчаянная усталость бойца, и снежинки на шинели товарища, марширующего впереди, и многое другое.

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Они здесь.

Композиция окончилась. Перед микрофоном появляются два конферансье — Семен Гайгеров и Сергей Лопатин. Оба они полные люди: Гайгеров — в большей степени, Лопатин, как человек помоложе, — в меньшей. Гайгеров известный аэролог, Лопатин сейсмолог. Их языки, отнюдь не соловьиные, а скорее колабрюньоновские, острые, как шило, начинают проворно работать. Выражение лиц у них серьезное, научное, а речь совершенно такая же, как в «Королях и капустае» О'Генри: словно между прочим и мимоходом даются характеристики некоторым товарищам, кажущиеся поначалу медовыми, но оказывающиеся уксусными. Конферансье подсмеиваются над самими собой, и это дает им право покусывать и остальных. Удивительная пара! Какое счастье, думается мне, иметь рядом таких людей дол-

гой и монотонной полярной ночью, когда сочная, веселая и беззлобная насмешка ценится на вес золота!

Главный повар второй экспедиции Загорский, юноша с солидной фигурой и хорошим голосом, исполняет «Антарктический вальс» — музыка Кричака, слова Анатолия Введенского. Это песня о снеге, кружащемся над скалами Мирного, о морозах, о тоске по дому, о дружбе, о белых айсбергах и о горящих в полярной ночи огнях на Берегу Правды. «Антарктический вальс» и «Белый айсберг» Кричака — талантливые вещи, и во время выступления Загорского в музыкальном салоне царит уважительная тишина. Те, кто зимовали в Антарктике или хотя бы пробыли там столь же недолго, как я, увезут с собой оттуда кроме знаний, опыта и воспоминаний еще и песни Оскара Григорьевича Кричака. И если им случится встретиться в Таллине, Ленинграде или Москве, то в первую очередь они, вероятно, вспомнят не гипотезу Кричака о движении циклонов в Антарктике, а его «Антарктический вальс».

24 февраля 1958

Быстро приближаемся к Южной Австралии.

Твои глаза я вижу — невозможно
И выдумать столь синие глаза...

Сегодняшний океан напомнил мне этот рефрен из стихотворения Сильвы Капутикян. Дивное, темно-синее, чистое, изборожденное легкими складками море, которое спит под солнечными лучами, падающими с севера. Тихо, тепло... Хотелось бы писать стихи.

Но я
себя
смирял,
становясь
На горло
собственной песне.

Может быть, через какое-то время сегодняшний день превратится в стихотворение. Альбатросы скользят над водой низко-низко, а под ними мчится следом белоснеж-

ное, трепетное отражение. В нескольких милях от нас наперерез нашему курсу движется корабль — первый за все время пути из Антарктики. Это большой и серый танкер. Он, очевидно, идет из Мельбурна.

А вечером, после того как стемнело, по темному небу над австралийским материком поплыл узкий лунный серп, желтый, бесстыдно желтый, словно кусок пустыни, сыра или сливочного масла. Такой месяц возможен и допустим лишь в южном полушарии. Как он будоражит душу! Забываешь, что полжизни уже прожито, и чувствуешь себя двадцатилетним юнцом, исходя из чего думаешь: «Работать — это для пожилых, а для нас...»

25 февраля 1958

— Земля!

Этим торжественным возгласом Кунин разбудил меня сегодня в шесть утра.

Небо перед носом корабля пламенело веселым пожаром занимающегося солнца, предрассветное море было неопишным, а с правого борта — всего, может быть, в километре от нас — вздымался из синей воды остров Кенгуру — ровная и одноцветная смесь голых песков с бурыми травами. Остров Кенгуру, достигающий в длину восьмидесяти миль и в ширину — двадцати пяти, весь день, то удаляясь, то приближаясь, виднелся справа от нас. Глаз не примечал на нем ничего живого, ничего радостного. Лишь песок, выгоревшая трава и песок, да круто обрывающиеся берега, чье отражение окрашивает в желтый цвет и прибрежные воды. В свете высоко поднявшегося солнца остров казался щитом спящей черепахи. На нем можно разглядеть лишь одну постройку — радиомаяк. Чуть дальше от берега, на расстоянии нескольких миль друг от друга, пылают пожары. Над опаленной землей высоко вздымаются серо-синие столбы густого дыма, внизу они шириной в добрую милю. Что там горит — лес или трава? Наверное, трава. И все же как хорошо снова видеть землю, на которую можешь смотреть хоть часами! Ведь траву и голые пески я в последний раз видел в Южной Африке восемьдесят дней назад.

Вечером входим в Инвестигаторский пролив. Попадаете все больше встречных кораблей. Впереди появляется из моря и медленно вырастает Австралия,

желтая, с зубцами гор вдали. Опускается теплый вечер.

«Кооперация» бросает якоря в заливе Святого Винсента. Ночь мы проведем здесь.

26 февраля 1958

Катер лоцмана прибыл ранним утром. На борт поднялись лоцман, таможенники и портовые врачи. Лоцман отправился на ходовой мостик. А врачи занялись нами. Мы маршировали перед ними с вытянутыми руками, переводчик выкликал наши фамилии, после чего следовала улыбка и «very good».

Аделаидская гавань расположена в устье реки. «Кооперация» шла малым ходом между причалами. Справа, на южном берегу реки, тянулись над самой водой мангровые заросли. Попадались рыболовные баркасы, немногочисленные корабли и — в укромных бухтах — множество маленьких яхт и моторных лодок, хотя парусный спорт тут считается развлечением, доступным лишь богачам.

Аделаида — большая гавань. У бетонированной набережной, застроенной низкими пакгаузами, стоят большие океанские пароходы с водоизмещением приблизительно в семь — десять — двенадцать тысяч тонн. Вымпела и фирменные эмблемы Австралии, Англии, Америки, Японии, Федеративной Республики Германии, Дании, Швеции и так далее. Над чужим осенним материком полное безветрие, жара и знойная дымка.

Буксиры проводят «Кооперацию» в самое сердце гавани. У одного пирса с нами стоит большое английское судно «Девон» и какое-то «Мару» — японское судно водоизмещением примерно в десять тысяч тонн.

Появление советского корабля, да еще с антарктической экспедицией на борту, заставило высыпать на все палубы множество зрителей. На пристани показались портовые рабочие, таможенники в своей строгой черной форме и несколько полицейских. На берегу сразу бросилась в глаза знакомая реклама кока-колы на красном кузове автомобиля.

Тянутся длинные склады, на рельсах узкоколейки сверкает солнце. После двух недель жизни на чистом соленом воздухе океана мы вновь вдыхаем запахи пыли и зерна.

На пристани собирается народ. Советские корабли редко заходят в австралийские порты, и потому прибытие каждого судна под красным флагом — здесь событие. Как только спустили трап, на корабль первым поднялся профессор Глесснер с супругой. Глесснер — выдающийся ученый-нефтяник, перед второй мировой войной он по приглашению Советского правительства приезжал к нам в страну работать. Он неплохо изучил русский язык и женился на молодой московской балерине. У него хорошие отношения с нашими полярниками, из которых он знает многих, так как «Обь» и «Лена» еще в 1956 году заходили в Аделаиду. И когда журналисты окружают начальника второй экспедиции Трешникова, Глесснер им говорит:

— Смотрите, чтобы не очень-то клеветать! (Впрочем, здесь тон прессы по отношению к нам корректный.)

А тем временем на пристани совершается любопытное, в психологическом отношении даже захватывающее и не лишенное трагизма движение. В тени складов стоят целые семьи — и с детьми и без детей, — а от группы к группе переходят одинокие фигуры. Подавляющая часть этих людей говорит вполголоса по-русски. Из-за склада одна за другой выезжают машины — новые «холдены» (марка австралийского автомобиля), подержанные «холдены», совсем старые «холдены» и уже совершенные развалины, выпущенные, наверно, сразу после первой мировой войны, каких не увидишь больше не то что ни в одном портовом городе, но даже и на автомобильном кладбище. Некоторые тут же останавливаются, большинство же проезжает мимо «Кооперации» как можно медленней. Из окон жадно глядят на наш корабль серьезные лица взрослых и заинтересованные рожицы ребят. Вскоре после того как «Кооперация» пришвартовалась, не приспособленная для езды набережная превращается в проезжую дорогу. Машины объезжают вокруг склада и минуты три-четыре спустя появляются снова. Они тихо-тихо проезжают мимо, глаза уже смелее разглядывают иллюминаторы корабля и украдкой косятся на тех из нас, кто стоит на палубе. После двухминутной разведки машины останавливаются, люди выходят из машин и, заняв пост у стены склада, долго и нерешительно смотрят на трап «Кооперации», подняться по которому им не хватает духу.

Это русские эмигранты. Их колония в Аделаиде насчитывает около двадцати тысяч человек.

Алексей Толстой называет одну часть русских эмигрантов, осевших после революции в Париже, «извиняющимися». Наблюдая то, что происходит на пристани у трапа «Кооперации», тотчас вспоминаешь это определение. Эмигранты, в большинстве случаев семьями — муж и жена или муж, жена и дети, — подходят к трапу, недолго стоят в неуверенности и в замешательстве, наконец медленно поднимаются (ребята крепко при этом держатся за канат), добираются до палубы, и тут отец семейства обычно спрашивает:

— Извините, нельзя ли посмотреть корабль?

За всю свою антарктическую поездку я не слышал, чтобы столько раз произносили слово «извините», сколько его произносили здесь, на трапе и в коридорах «Кооперации». И чего только не содержало это «извините», какие различные оттенки оно приобретало в устах разных людей. Всего лишь одна фраза: «Извините, нельзя ли посмотреть корабль?»

Любопытство? И это тоже. Но не только это. Было тут еще и другое: «Извините, нам столько лет вдали, что мы хотим знать, корабль ли это в самом деле или просто пропаганда»; «Извините, но в ваших глазах мы, наверно, не иначе как предатели родины»; «Извините, но мы хотим что-нибудь услышать о своей прежней родине от вас, а не от газетчиков-эмигрантов»; «Извините, но мы тоскуем по своей России». Извините, извините, извините... Тут и тоска, и вопрос, и желание видеть людей, недавно покинувших ту страну и возвращающихся в ту страну, которая возродилась вновь после того, как они, эмигранты, добровольно или вынужденно ее покинули, чей огромный, с каждым днем возрастающий авторитет, чье могущество и чьи успехи не смеют отрицать даже буржуазные газеты Австралии, страну, с которой у австралийского правительства прервались дипломатические отношения после бесстыдной, даже с точки зрения капиталистического мира, плохо сфабрикованной и сейчас уже до конца разоблаченной аферы Петрова.

Вечером по «Кооперации» нельзя пройти. Везде толпы людей — и австралийцев и русских эмигрантов, — они запрудили коридоры, палубы и музыкальный салон, они во всех каютах, они пьют чай и ужинают в нашем ресторане, разглядывают картины, играют на рояле, танцуют, — словом, чувствуют себя как дома. Более поздние пришельцы уже не извиняются без конца. Дети — полуго-

довалые, годовалые и двухлетние — хотят спать и хнычут, иные уже уложены на койках в каютах, на стульях в музыкальном салоне, а некоторые спят на руках у матерей.

Странный, противоречивый вечер.

Глядишь на трап, по которому все время поднимаются на корабль незнакомые люди, и думаешь, как много диссонансного в этих прилично одетых паломниках, на чьих русских лицах написано волнение; как много в них Достоевщины и близкой к краху неустойчивости. И понимаешь, почему столь большой процент обитателей австралийских сумасшедших домов составляют эмигранты. Понимаешь и то, что приобретать в рассрочку дома и машины — не такое уж счастье.

На палубе показывают фильм об Антарктике, о первой советской экспедиции. Народу невероятно много, на третьей палубе людей столько, что яблоку негде упасть, шлюпочная и прогулочная палубы забиты до отказа, а часть зрителей смотрит фильм из темных окон ресторана. Тишина гробовая. Добрых две сотни людей стоит на пристани — на корабле больше нет места.

Свет судовых и портовых огней падает на трап, тускло поблескивает крытое лаком дерево, ярко сверкает медь, дрожат во тьме серебристо-серые швартовы. А по трапу медленно поднимается старик в мятом костюме. Его шляпа неопределенного цвета вся в пятнах, его палка с гнутой ручкой со стуком волочится по ступенькам. Поравнявшись с вахтенным матросом, он глядит на него, словно надеясь увидеть знакомые черты, и говорит:

— Я русский.

— Тут много русских, — отвечает вахтенный.

— Извините, нельзя ли посмотреть корабль? Извините, я не помешаю?

Из эстонских эмигрантских поэтов младшего поколения я считаю самым талантливым, самым своеобразным и в то же время самым враждебным всему советскому Калью Лепика. У него есть свой почерк, свое лицо и своя ненависть. Бездарный поэт никогда бы не придумал того заглавия, какое он дал своему сборнику, вышедшему в Швеции: «Побирушки на лестницах».

27 февраля 1958
Аделаида

Мой товарищ по каюте Кунин ничем не напоминает земной шар. Он среднего роста или, может быть, чуть пониже, у него седая лысеющая голова, говорит он тихим голосом и никогда не ругается, а если и ругается, то на редкость складно и выразительно. Он известный инженер, автор нескольких объемистых книг, пользуется авторитетом среди строителей и по совместительству служит вторым боцманом «Кооперации». Когда корабль готовили в океане к приему груза зерна, он целыми днями пропадал со своим строительным отрядом в трюмах. Судно он знает как свои пять пальцев, морей и океанов видел больше, чем иной моряк. Кунину больше пятидесяти, и он, вероятно, самый подвижный человек на «Кооперации». Он покидает каюту утром, в обед его седая голова промелькнет на миг в ресторане, а возвращается он в каюту часов около одиннадцати, в Австралии же — и вовсе после полуночи. У него золотые руки, он умеет делать множество простых и сложных вещей из дерева или из железа, он не может жить без работы. Он хорошо рисует, умеет играть на мандолине и на рояле, хорошо знаком с искусством и свободно говорит по-английски.

И хотя, повторяю, он не похож на земной шар, все же утром, когда мы спускались по трапу на причал, какой-то насмешник, облокотившийся на поручни, кинул нам:

— А вот и Кунин со своим спутником.

Спутник — это я. Я вполне доволен своей ролью. Кунин уже побывал в Аделаиде в 1956 году, на «Лене», он знаком с городом и знает, что надо смотреть. Более того, среди австралийцев у него есть немало хороших знакомых. Хорошо кружиться спутником вокруг Владимира Михайловича.

Едем в город. Он, собственно, состоит из двух городов — Аделаиды и Порт-Аделаиды, из которых последний является чисто портовым городом со своим муниципалитетом и мэром. Тут расположено одно из крупнейших отделений автозавода «Холден». От Порт-Аделаиды до Аделаиды около пятнадцати миль. Мимо автобуса, который движется тут по левой стороне, проплывают огромные склады и стоянки автомашин, проезжая часть

разделена пополам хорошо ухоженной зеленой зоной. Тут растут пальмы и кедры, незнакомые мне австралийские деревья, цветы и густая трава, плотная, как ковер. Уже по дороге видишь, что значительную часть Аделаиды, как и любого другого города Австралии, занимают индивидуальные дома. Строительный материал различен — это или красный кирпич, или белый камень, или бледно-желтые блоки. Впрочем, сами дома весьма одинаковы: большие окна, закрытые жалюзи, и у каждого дома балкон с далеко выступающей выпуклой крышей. Солнце здесь обильное и яркое, поэтому тень очень ценится.

Центр Аделаиды похож на все центры западных городов. Многоэтажные большие дома с магазинами внизу, банки, конторы, правительственные здания, бесконечные рекламы, отели, бары и множество машин. Соответственно местной политике «белой Австралии», препятствующей иммиграции негров, японцев, индийцев, малайцев (исключение делается лишь для студентов, обучающихся в австралийских университетах и имеющих право практиковать здесь после получения диплома — с особого, разумеется, разрешения), Аделаида является «белым» городом: европейские лица, европейские моды. От знакомых мне западных городов ее отличают, пожалуй, две вещи: обилие автомашин старых марок и великое множество веснушек. Я еще никогда не видел такого веснушчатого города. Веснушки делают забавными и родными лица пронзительно кричащих мальчишек-газетчиков, они выглядывают из глубокого декольте дамы с тонкой талией, они, как веселое и рыжеватое звездное небо, пестрят на запястье изящной руки, затянутой в белую перчатку. А девчонки в белых платьицах, мчащиеся по улице, похожи на рябенькие скворцовые яйца. Много, очень много веснушек. А в остальном город как город.

Аделаида является промышленным и административным центром штата Южная Австралия. В ней четверста восемьдесят тысяч жителей. Между прочим, тут нет ни одного постоянного театра, нет своего симфонического оркестра. Художественные вкусы среднего аделаидца, его потребности в духовной пище должно удовлетворять и, по-видимому, удовлетворяет кино. Если же из Мельбурна или из Сиднея сюда приезжает какая-нибудь труппа либо какой-нибудь певец, то билеты всегда не по карману и рядовому зрителю, и рядовому слушателю. При

бюджете, рассчитанном до последнего пенса, очень трудно выложить пятьдесят шиллингов, то есть два с половиной австралийских фунта.

Большую часть сегодняшнего дня мы с Куниным провели в Национальной художественной галерее Южной Австралии. В этом довольно обширном музее австралийским художникам отведен лишь один зал. Правда, некоторые их работы висят рядом с картинами англичан, французов и голландцев. Судя по первому впечатлению, доминируют здесь англичане. Очень интересные работы Альберта Наматжиры, известного австралийского пейзажиста. Низкие горы, запыленные деревья с высохшей листвой, пустыня, полупустыня. Долго смотрим на картину англичанки Лауры Найт. Не знаю, были ли это австралийский пейзаж или нет, но для английского он мне показался слишком солнечным. На переднем плане две лошади, чуть подальше — влюбленная пара и два осла. Позади горы. И чудится, будто с картины непрерывно струится в зал, на зрителей и на другие полотна, золотое солнечное сияние, спокойное и радостное. Как это достигается?

В первых залах — реалистические пейзажи и портреты. У королей и королев здесь такие же важные, как и всюду, знакомые застывшие физиономии, выглядывающие из гофрированных воротников. Но вот мы достигаем царства современного искусства. Треугольники, ромбы, кубы, сплетения линий. Я не знаток изобразительного искусства, но если не считать полотен, в которых при всем желании никто ничего не поймет, то и здесь найдешь на что посмотреть и над чем подумать. Круги, кубы и прямоугольники Алана Рейнольдса, несмотря на кажущуюся антиматематичность, сливаются в красивую, спокойную и, смею сказать, художественную картину. Мягкие синесерые и серебристые тона, ничего кричащего и, при всей беспорядочности, известная внутренняя симметрия. Смотришь и думаешь: в ту комнату у себя, где обычно сидят гости, в том числе и такие, которые всем без разбору художественным направлениям и методам, возникающим на Западе, дают одну оценку: «Хлам, безыдейность, бессмыслица!» — в ту комнату такого не повесишь, но в более укромное место — отчего бы и нет?

Со странными и противоречивыми чувствами отошел я от картины Руа де Местра. При первом беглом знакомстве не обнаруживаешь ничего, кроме адского хаоса. Те же самые кубы и скрещивающиеся под всевозможны-

ми углами разноцветные прямые, а в центре полотна — нечто напоминающее гриф скрипки. И под этим смешением красок название: «Оступившийся Христос с крестом». Тебя берет оторопь. Судя по имени, де Местр может быть католическим художником, сюжет он выбрал евангельский, но трактовка этого сюжета становится ребусом из-за скрипичного грифа. Приглядываешься снова, пытливо, изучающе, и чувствуешь себя ребенком, который, складывая отдельные буквы, впервые пытается прочесть слово. Четко выделяется тяжелый крест, затем обнаруживаешь под ним оступившегося Христа. Лица не видно — при падении Христос обратил его к грешной земле, — но видишь усталую, согнувшуюся под тяжестью креста спину, видишь широкое покрывало в складках и видишь босые ступни с чуть согнутыми, как и должно быть в момент падения, пальцами. Все смотришь и смотришь на этот крест, на согнутую спину и на ноги, которым очень далеко до ног блудного сына Рембрандта, но которые все же чем-то напоминают эти гениально найденные потрескавшиеся ступни. Я потом все снова и снова возвращался к этой картине и каждый раз находил в ней что-то новое.

Я далек от того, чтобы объединиться с теми враждебными социалистическому реализму людьми, которые все советское изобразительное искусство подводят под один знаменатель «фотореализма». Но нельзя отрицать, что за последние годы мы видели на выставках очень много картин, похожих друг на друга, исчерпывающих друг друга и являющихся в лучшем случае бледной фиксацией какого-нибудь застывшего момента нашей стремительной жизни. В этих произведениях нет ни вчерашнего, ни завтрашнего. Они до того описательны, что полностью освобождают нас от всякой необходимости думать. Но, по-моему, истинно художественное воздействие хорошей живописи, как и хорошей литературы, начинается тогда, когда мы отходим от полотна или откладываем книгу и задумываемся над тем, что они нам сказали. Отсутствие вопроса, неспособность произведения породить его — признак бедности. Кто он, Григорий Мелехов, — бандит, убийца или несчастный трагический герой? Была ли Аксинья лишь испорченной женщиной или любящей душой масштаба Клеопатры? Об этом ежедневно спорят и думают тысячи людей. Но о многих картинах мы не думаем и не спорим: манная каша — это манная каша, вещь питательная и скучная.

В Национальной художественной галерее есть полотно Джека Смита «Белая рубашка и шахматный столик». Столик с красными клетками, спинки двух простых стульев, а над ними висит на веревке выстиранная белая сорочка. И больше ничего. Краски чистые и веселые, а спинки стульев словно нарисованы ребенком. И все же посмотришь на эту картину, а потом, уже на улице, думаешь: интересно, что за человек живет в этой комнате и как он живет, кто он, какие у него мысли? Стирала эту рубашку его жена, его возлюбленная или он сам? Наверно, он сам. И снова видишь перед глазами дешевую доску, спинки простых стульев, простую рубашку и даже видишь их владельца. Если он австралиец, то где работает? У «Холдена»? Нет, у «Холдена» зарабатывают прилично, и тогда бы он купил стулья получше. Может быть, он самый простой портовый или дорожный рабочий и зарабатывает четырнадцать фунтов в неделю. Он молод и любит по вечерам, переодевшись в чистое, водить любимую девушку в кино, — короче говоря, этот человек только начинает налаживать свою жизнь. И сразу шахматная доска, стулья и рубашка отступают в тень, а вперед выходит он сам, человек.

Полотна, полотна, полотна... Один женский портрет по стилю очень похож на работы эстонского художника Николая Трийка. Запомнилось «Ночное отражение» Дж. Гаррингтона-Смита, вещь с настроением. Открытое окно, луна и сумеречные скрещивающиеся тени на коричневато-сером фоне. Кажется, будто заглянул в ночную тьму, за которой где-то под Южным Крестом спит остывающая пустыня. А когда заглянул — во сне или наяву, — неизвестно.

В одном из задних залов висит такая картина: на берегу моря между двумя серыми камнями стоит мальчик с резкими скандинавскими чертами детского лица. Он в сером свитере, в коротких серо-синих штанах. На заднем плане — огромное море. Это полотно Молли Стефенс отчасти напоминает Пикассо «голубого периода». И все же сколько в нем родственного нам! Сколько я видел если не таких же, то примерно таких же будущих моряков или рыбаков на фоне серых камней и серого моря! Но в Австралии это вызывает совсем другое отношение — так и подмывает сказать по-эстонски этому пареньку из масляных красок:

— Привет, братец!

Но мимо большей части полотен, выставленных в за-

лах современной живописи, проходишь с недоумением и не можешь понять, что у них общего с искусством. У многих произведений нет названия; впрочем, к ним с равным успехом подошло бы или не подошло любое название. Хаос, мешанина цветовых пятен, линий и черточек, кричащие краски, пачкотня. А то, что можно понять, немногим лучше: лунный свет и на фоне унылых скал голые тела с нарушенными пропорциями, либо красные, либо зеленые. Такова «Композиция» Джастина О'Брайена. Или осклабившийся череп доисторической твари на фоне сумеречных развалин. Смерть, смерть, смерть, культ смерти. Такова картина Сиднея Нолэна «Близ Бэрдсвилла». Словом, если из этого хаоса цветов и выудишь какую-нибудь мысль, то это всегда лишь связано с мотивом смерти либо оказывается торжествующим «все напрасно», «все бессмысленно».

Искусству аборигенов Австралии отведен в аделаидской галерее лишь один небольшой зал. При политике «белой Австралии» это, разумеется, вполне обоснованно. Более того, как все порядочные завоеватели, австралийские европейцы тоже прежде всего начали с истребления местных жителей. Их сейчас осталось семьдесят четыре тысячи, и ни одного из них в городах не увидишь. Они живут в резервациях и работают пастухами у белых фермеров. Но даже и по этому небольшому залу видишь, что это был народ с весьма развитыми художественными наклонностями. Свои картины они рисовали на коре. Изображалось преимущественно то, что являлось главным в их обществе с укладом каменного века: животные, еда, охота. Тут и морские раки, и птицы, и кенгуру, и черепахи, и рыбы, и картины охоты, и сидящие люди. И все это в таком ракурсе, словно художник смотрит на свои объекты сверху.

Мы вышли из Национальной художественной галереи и увидели, что нас ожидает старый знакомый Кунина — доктор Позен. Это видный медик, работающий в Аделаидском университете. Кунин познакомился с ним в 1956 году, во время пребывания здесь «Лены».

Позже, в 1957 году, жена Позена, тоже врач, невропатолог, приезжала в Москву на Всемирный фестиваль молодежи и останавливалась там в семье Кунина.

Доктор Позен молодой, очень живой, кареглазый человек и худой, как большинство австралийцев. На нем простая белая рубашка и галстук без узора, — австралийцы вообще одеваются просто. Говорит он быстро, а

слушая собеседника, внимательно смотрит на него, слегка склонив голову набок.

Наши переговоры относительно дальнейшей программы дня были краткими. Нам хочется посмотреть город, и минуту спустя мы уже сидим в «холдене» доктора Позена. О центре города я уже говорил. Мы прежде всего едем на окраину, в район особняков, туда, где живут сливки аделаидского общества. Да, вот это дома! Красивые, удобные, просторные, и видно, что тут за каждым садом ухаживают руки опытных садовников. Эти особняки стоят от десяти до пятнадцати тысяч фунтов и относятся к тем немногим домам в Аделаиде, которые покупались не в рассрочку и не в течение многих лет. Тут мало людей, машин и магазинов. Население на здешней территории небольшое, потому и движение тут маленькое.

Здесь очень отчетлива разделяющая людей граница, определяемая их недельным жалованьем, тем, сколько они стоят в глазах общественного мнения, их ценой в фунтах. Дом среднего ранга не затешется среди особняков высшего. Разница между более высоким недельным жалованьем и более низким выражается не столько в одежде людей, сколько в марках их машин, в качестве их домов и в районе расположения последних. Дома среднего слоя, ценой примерно в пять тысяч фунтов, меньше размером, из-за высокой стоимости участков сады возле них попроще и поскромнее, хотя, впрочем, и здесь мы видим те же затененные балконы, те же жалюзи и бесчисленные, замечательно красивые цветы. Средний слой состоит из чиновников с приличным жалованьем, владельцев небольших магазинов, врачей и т. д.

Жилища рабочих расположены на более тесных и более пыльных улицах. Одно из них мы посетили.

Говорят, что во второй мировой войне приняло непосредственное или косвенное участие около десяти миллионов Смитов. В доме, где мы побывали, тоже живет Смит. Он портовый рабочий, зарабатывает восемнадцать фунтов в неделю, у него есть жена и трое маленьких ребятишек (семьи в Австралии многодетные, по крайней мере у рабочих). Дом Смита стоит три тысячи пятьсот фунтов. Большая часть этих денег уже выплачена, но все же хозяину придется еще в течение десяти лет отдавать четверть своего заработка. На покупку дома выдается ссуда в две тысячи фунтов, но возвращать ее приходится с довольно высокой надбавкой — в 5,25 процента годовых. Зато дом удобен, кухня в нем простор-

ная, есть спальня, гостиная, детская и еще одна комната. Много света. Вообще строят в Австралии хорошо. К тому же здесь, где о самом незначительном снегопаде газеты пишут как о событии, проблема отопления фактически отпадает.

У Смитов есть холодильник, стиральная машина, электрическая швейная машина и газовая плита. Холодильник и швейная машина куплены в рассрочку. При доме имеется садик — несколько квадратных метров желтого песка с двумя деревцами, покрытыми блестящей листвой, и с курятником в углу. Хозяйка нам показывает все. Это дородная женщина с добрыми синими глазами, вокруг которой беспрестанно вьются ребятишки, как им и полагается. Самая веселая комната в доме — детская. Ох и доставалось же этим куклам, этим плюшевым медведям и машинам! У той куклы нет головы, у той — ног, а самый маленький карапуз кладет мне на колени смятую машину без колес. Второй, постарше, приносит медведя, у которого осталась только одна передняя лапа, а плюшевая шкура совсем вытерлась. Малыши о чем-то щебечут над своими куклами, медведями и машинами, но из их мягкой и мелодичной английской речи я улавливаю лишь то, что все куклы в этой комнате — хорошие, все медведи — хорошие и все машины — тоже хорошие. Чудесная семья! Гостеприимная и простая, интересующаяся и нашим рейсом и Антарктидой. Потом мы сидим в гостиной за рюмкой черри.

Ясно, что в чаяниях людей, особенно в чаяниях рабочих, при всей разнице их взглядов и вероисповеданий так много общего, совпадающего, здорового и жизненного, что если объединить их стремления, то они станут и уже становятся огромной, согласно действующей силой, которую мы называем голосом народов. Выражение это, переведенное на повседневный язык, означает весьма однородные интересы и заботы: служба, насущный хлеб, квартирный вопрос, безработица, обеспечение работой, воспитание детей, интерес к другим странам и боязнь войны.

Мы покидаем Смитов. Переезжаем через мост. На его бетонном парапете написано метровыми буквами:

«ЗАПРЕТИТЬ АТОМНУЮ БОМБУ!»

Доктор Позен комментирует:

— За такие лозунги в Австралии присуждают к штра-

фу в двадцать фунтов. — И добавляет: — А на Филиппинах сажают в тюрьму.

Двадцать фунтов — это двадцать фунтов. Деньги не маленькие. Но вряд ли подобная система штрафов может помешать думать и действовать десяти миллионам Смитов, принимавшим прямое или косвенное участие во второй мировой войне.

Ужинаем мы у Позенов. У них чувствуешь себя уютно и по-домашнему. Позднее пришел мистер Гордон Картрайт, американский метеоролог, зимовавший в Мирном и приплывший вместе с нами в Австралию. Отсюда он полетит в Америку. Его, кажется, одолевает такая же тоска по дому, как и нас. Какие-то формальности на таможне задержат его в Аделаиде еще на несколько дней. Он хорошо говорит по-русски, и у него наилучшие отношения с участниками нашей экспедиции. Его ценят и уважают как человека, который, будучи «мистером», оставался во время зимовки и плавания хорошим коллегой.

На вопрос корреспондентов австралийских газет, является ли советская исследовательская станция в Мирном стартовой площадкой для ракетного оружия и базой для подводных лодок, мистер Картрайт ответил категорическим «нет». Вероятно, Даллесу будет нелегко переварить такое антидаллесовское высказывание американского полковника Картрайта.

В гости к Позенам пришли и двое супругов-эстонцев. Жена — молодой врач, работающий в одной клинике с доктором Позеном. Муж — инженер-электрик.

— Вы говорите по-эстонски? — спрашивает меня инженер.

— Говорю.

— А в Эстонии разрешают говорить?

— То есть? — удивленно спрашиваю я.

— Разрешают говорить по-эстонски? — уточняет инженер.

Я пожимаю плечами.

— Значит, напрасно нам... — начинает инженер, но не кончает фразы.

— Теперь, мистер Смуул, вы можете говорить на своем родном языке! — с удовлетворением говорит доктор Позен.

На корабль мы возвращаемся незадолго до полуночи. Судовой радиоузел, наверно, уже не в первый раз желает

дорогим гостям и по-русски, и по-английски доброй ночи. Но на «Кооперации» полно народу. А в музыкальном салоне танцы.

На моей койке сложены в ряд четверо спящих ребятишек возрастом от полутора до двух лет. И еще один ребенок спит на койке Кунина. Их родители танцуют.

— Когда это вы успели, Юхан Юрьевич? — спрашивает Кунин (австралийцы называют его мистером Кюниным) и показывает на моих малюток.

— А вы сами? — И, показав на его ребенка, я добавляю: — Ах да, вы ведь уже были в Австралии два года назад!

В дверях появляется дама. Она видит, что дети спят, извиняется перед нами и уходит. Детей уводят лишь через полчаса.

28 февраля 1958

Неподалеку от большого зоосада Аделаиды расположен другой зоосад, поменьше, — «Коала-парк». Здесь для зоопарков всего мира выращивают маленьких сумчатых медведей коала, беспомощных и забавных аборигенов Австралии. Большую часть своей жизни коала проводят в спячке на деревьях, ухватившись лапами либо за какого-нибудь сородича, либо за ствол. Это очень милые существа с круглыми, пуговичными глазками игрушечных мишек и неуклюжими тельцами. Поначалу мы заметили только тех немногих, которые сидели в клетках. А потом увидели, что множество зверьков спят, словно окаменевшие, на колоссальных эвкалиптах, чуть ли не на самых их верхушках. Коала питаются эвкалиптовыми листьями.

Есть тут еще молодые кенгуру и кенгурята, несколько попугаев, змея полуметровой длины, большая зеленая лягушка, верблюды и морской лев. Морской лев обучен прыжкам в воду. Он взбирается по специально построенной для него лестнице на вышку и, когда кто-нибудь из посетителей бросает в бассейн рыбу, прыгает за угощением вниз с довольно большой высоты. Рыбы у нас не было, и потому все то время, что мы провели в парке, морской лев кричал злым и пронзительным голосом.

Днем был прием в Аделаидском университете. Этот сравнительно небольшой университет владеет превосход-

ной геологической коллекцией, особо ценную часть которой составляет собрание камней сэра Дугласа Моусона, крупнейшего полярного исследователя. Геологический факультет Аделаидского университета носит его имя

А вечером снова гости, гости, гости... Корабль переполнен ими, пройти куда-нибудь почти невозможно.

У меня тоже гости: эстонская семья, состоящая из мужа, жены и шестилетнего сына. В Австралии они с 1950 года. (За последние десять лет в Австралию иммигрировало, вернее, было ввезено около миллиона эмигрантов. Теперь в этой стране иммигрантов эмигрантом является каждый восьмой человек.) Как они живут? Как-то живут. Муж работает у «Холдена», зарабатывает восемнадцать фунтов в неделю. Люди они простые, и говорим мы о простых вещах: о том, что сперва здесь нельзя было достать черного хлеба, но теперь его стали выпекать для эстонской колонии. (В Аделаиде около шестисот эстонских эмигрантов.) Они говорят, что в Австралии все-таки лучше, чем в Западной Германии, где они были перед этим, что жизнь рабочего — это жизнь рабочего и что даром нигде не кормят. У эстонских эмигрантов, так же как и у русских, все больше крепнет желание вернуться на родину, хотя препятствий к этому очень много.

Мои гости интересуются тем, как живется в Эстонии, что там строится, как там едят, сколько зарабатывают и как одеваются. Правда ли, что сто тысяч эстонских юношей и девушек увезли на целинные земли? Нет, неправда. Правда ли, что в эстонских школах разрешают говорить по-эстонски? Конечно! И другие подобные вопросы. Вся их информация почерпнута из выходящих в Швеции и в Америке эмигрантских газеток, к которым, надо сказать, относятся, что ни год, все с большим скепсисом и недоверием. Вспоминается, что не то в «Вялис-Ээсти», не то в «Театая» Рея¹ мне в свое время попалась такая рубрика: «Что плохого сообщают с родины». Этого плохого там преподносится столько, с таким отсутствием логики, с такими противоречиями собственным сообщениям, с такой истерической злобой, что каждый человек со здравым рассудком считает все эти сведения лишь тем, чем они в действительности и являются:

¹ «Вялис-Ээсти» («Зарубежная Эстония»), «Театая» («Вестник») — эстонские эмигрантские газеты. А. Рей — политический деятель буржуазной Эстонии, бежавший за границу.

враньем безродных, бессовестных, продажных писак, лишенных корней. Преимущественно так относятся к этому и мои гости, хотя в их душе и оставил какой-то осадок этот мутный и мелкий поток лжи, изливавшейся на них годами. Любят ли они коммунистов? Нет. По душе ли им социалистический строй, колхозы, национализация предприятий и рудников? Не думаю, хотя в буржуазное время они и были рабочими, не имевшими ни фабрик, ни шахт, ни доходных домов. Но наверняка у них была мечта о своем доме, может быть, о своем хуторе, о своем счете в банке. Имея весьма смутное представление о советском строе, они и поныне видят в нем строй, который лишил их того, чего они не имели.

Расставание у нас немного грустное. Они рассказывают мне о стиральной машине, купленной в рассрочку, о холодильнике, купленном в рассрочку, и о машине, которую они пока лишь собираются купить в многолетнюю рассрочку. Но они, кажется, и сами не убеждены в том, что эта столь характеризующая здешних эмигрантов «святая троица», которой весьма часто козыряют с какой-то наивной убежденностью и отчасти с похвалой, способна заменить эстонский снег. Я спросил мужа:

— Значит, у вас все есть? Чего же вам не хватает?

— Таллина. И стопки водки.

Родина — непереводимое слово. Содержание его слишком велико. Мой гость выразил его с помощью двух понятий. И, дружески расставшись с ним, я подумал, что Таллин и стопка водки — не такое уж неудачное определение.

Несколько минут спустя появился другой эстонец — «полный матрос», как он сам себя назвал, со шведского парохода «Варравонга», стоящего рядом с «Кооперацией». Он покинул Эстонию в 1936 году, все время плавал на шведских и на английских кораблях, дожил до срока лет с лишним, дослужился до «полного матроса», и выговор у него такой же, как у крестьян с побережья в районе Кунды и Локсы. Благодаря тому, что в каюте сидят и австралийцы, пришедшие к Кунину, выясняется, что английский язык этого старого волка весьма бедный и примитивный. Проводив же его немного погодя на «Варравонгу», я убедился, что так же обстоит дело и со шведским. Мой гость оказался одним из тех типов, которые уже не часто попадаются среди моряков. Он объездил полсвета, побывал в разных гаванях, в боль-

ших и богатых городах, видел береговые рельефы всех материков, но ничего не знает. В старые и дикие времена парусников таких типов называли «морскими полоумными», а «полоумные» с парусников были дикарями. Городов и стран они не видели по той причине, что никогда не выбирались дальше первого портового кабака. Но этот ничуть не дикарь. У него приличный костюм, лакированные туфли, тысяча шведских крон месячного заработка и каюта на двоих. Об Эстонии он помнит столько же, сколько о Швеции или Англии, в которых жил, или о Сиднее, где временно сейчас пребывает. Странная фигура. «Полный матрос», уже двадцать два года как «полный матрос».

А вечером — опять гость, третье посещение. Вчера он пытался разыскать меня дважды, а сегодня несколько раз проходил мимо корабля, но подняться по трапу не решился. Встретились мы только потому, что вахтенный вызвал меня на палубу.

— Вот он. Не пойму, что говорит.

Эта встреча тяжела нам обоим, хотя мы видимся в первый раз и наверняка в последний. Мой гость — пожилой человек, у него весьма правильный, литературный язык, лишь иногда в речи проскальзывает южноэстонское диалектное словечко. Из его путаных и бессвязных объяснений я понимаю только то, что ему пятьдесят девять лет (выглядит он на все семьдесят), что он вместе с детьми бежал в 1944 году из Эстонии (муж его дочери служил в фашистском «Эстонском легионе»), попал в Западную Германию и в 1950 году был привезен на американском корабле сюда. У него нет никаких претензий к Советской власти, никакой злобы на нее. Его не особенно интересует, найдется ли для него на родине работа, обеспечат ли его квартирой. «Примут ли?» — вот что его волнует. Он, оказывается, не ладит с детьми, не ладит «из-за эстонских дел». Он хочет в Эстонию. Он говорит, что слишком стар, чтоб учить язык, немецкий или английский, что он устал жить «среди чужих» и что «каатолики» да «мормонские миссионеры» (?) хотят его, честного лютеранина, свести с ума.

— А тут ни приличного кладбища, ни черта!

Я не согласен. Кладбища в Австралии, по крайней мере в Аделаиде, неплохие.

— Ни деревца там, ни тени!

Мы разговариваем еще долго и все об одном и том же. Он старый человек и хочет домой, хотя бы никто из

близких и не ждал его там. Он чувствует себя в Австралии как в тюрьме; здесь жара и песок, вся зелень сгорает, и у него тут нет друзей. И совсем уже чудно слышать жалобу на то, что тут «никакой общественной жизни». Что он имеет в виду: народный дом, молочный кооператив, земледельческое товарищество? Не знаю. По моим сведениям, и в Аделаиде имеется так называемый «Дом эстонца».

Буря вырвала с корнями дерево, росшее на берегу, и швырнула его в море. Волны пригнали дерево к другому берегу. Там было такое же солнце, такие же звезды на небе, там была земля, была почва и дули ветры. Корни вырванного дерева пили влагу из прибрежной земли. Какая-то ветка на стволе снова зазеленела, но мертвое дерево все-таки не ожило.

Проводил своего гостя на пристань. Мне не верилось, что у него достанет силы преодолеть все те препятствия, которые нагромождают на пути людей, желающих вернуться на родину. Минуту спустя его сутулая стариковская спина исчезла за углом пакгауза.

Через месяц, может быть, через полтора я снова буду на родине. А он опять будет ходить по раскаленным, пахнущим асфальтом улицам Порт-Аделаиды и думать о том, что тут нет «общественной жизни», возвращаться к своей бедной стариковской мечте о кладбище, на котором была бы тень.

На «Кооперации» столпотворение. Такую толчею и толкотню, где люди все время теряют и ищут друг друга, и перекликаются через головы, и здороваются, и прощаются, можно наблюдать лишь на каком-нибудь большом празднике. Местная молодежь показывает в музыкальном салоне, как танцуется рок-н-ролл. Ничего себе! Если до сих пор кое-какие предрассудки «золотого Запада» препятствовали девушкам откровенно убеждать зрителей в том, что ноги их прямые снизу доверху и что их зады обязаны своей пышностью не одному портновскому искусству, то рок-н-ролл наконец смел эти препятствия.

На корабле и шагу не ступишь без того, чтобы перед тобой не возникла во всей своей остроте, сложности и противоречивости проблема эмигрантства, проблема людей, оторванных от родины, их психология, их чаяния, их мечты, их сомнения.

Я делю эмигрантов на три группы.

Первая. Люди, которые считают Советский Союз своей единственной родиной (даже несмотря на то что у них уже другое гражданство). Среди них есть и старики, и люди среднего возраста, и молодежь, у них разные профессии, и они стали эмигрантами по разным причинам. Их тоска по родине вовсе не притворство, не наигрыш и не слезы. Для них «Кооперация» — это несколько сот метров отечественной территории, и нет ничего удивительного, что они приходят сюда с бабушками и грудными детьми. Среди наших гостей эта группа наиболее многочисленная.

Вторая. Люди колеблющиеся. Эти не особенно любят говорить о том, как и почему они оставили свою страну, — в их речах всегда проскальзывает какое-то стремление оправдать себя. А мы ведь ни в чем их не обвиняем и не очень жаждем выслушивать их исповедь. Об известном промежутке с 1941 по 1944 год многие из них рассказывают туманно и поскорее переходят к описанию уже знакомого нам угнетающего существования в западногерманском лагере для беженцев. Они не заявляют, что хотят вернуться на родину, но у них большой интерес с Советскому Союзу.

Это люди на распутье.

Третья. Эти всегда сидят в удобных шезлонгах на прогулочной палубе «Кооперации». Их легко обнаружить, так как они на корабле самые обособленные. Кое-кто из участников экспедиции подсаживается к ним скорее из вежливости, чем из любопытства, и при первой возможности старается ретироваться. Это именно они ежедневно «забывают» на корабле большие кипы самых реакционных газет и журналов. Это кричаще одетые люди, вместе с ними поднимаются на корабль сверхпестрые носки — новейшая мода. Брюки у этих людей подвернуты как можно выше, и все мы видим их носки. Ввиду отсутствия всякого контакта с членами команды или с участниками экспедиции; ввиду того, что остальные эмигранты почтительно обходят их стороной, разговаривают они только друг с другом. Их русская речь обильно пересыпается английскими словами. Говорят они о марках автомашин, о столкновениях с полицией («бобби содрал с меня двадцать фунтов»), — словом, о широкой жизни. Как я понимаю, их призвание и назначение состоит в том, чтобы растолковать нам, коммунистам из команды и экспедиции, какой нас ожидает рай, если мы

сбежим с «Кооперации». Впрочем, они с каждым днем становятся все тише и тише, и в глазах их появляется какое-то озадаченное и просительное выражение. Но они все-таки по-прежнему забывают на судне свои газеты.

На палубе показывают «Карнавальную ночь». И на корабле, и на палубе народу столько, что не пробиться. У картины огромный успех. Появление на экране Ильинского в роли Огурцова неизменно встречается гулом голосов и хохотом. Все покрывает радостный смех ребят, звонкий и залихватистый. Чудно и непривычно слышать поздним вечером этот птичий хор в темной гавани, среди притихших кораблей.

1 марта 1958

Сегодня после обеда — прием в аделаидском отделении Общества австралийско-советской дружбы. Местные члены общества приехали за нами на машинах. Мы с Куниным оказались в машине нашего общего друга Джона Джемса Митчелла, не раз бывавшего у нас. Митчелл — деятель профсоюза портовых рабочих Порт-Аделаиды и сам портовый рабочий, член Компартии Австралии. Тем из нас, кто знает англичан лишь по литературе, его внешность кажется типично английской. Средний рост, сухое, слегка веснушчатое лицо с правильными чертами и грустные ярко-синие глаза. Говорит он тихим голосом, и в нем нет ничего такого, что часто бывает свойственно профсоюзным «боссам» на Западе и что порой проглядывает на лицах иных наших советских работников, не в меру довольных собой. Митчелл, как и те из его товарищей-коммунистов, которых мы видели в Австралии, много занимается вопросами теории, много читает. Условия работы здесь трудные и сложные, всегда существует опасность репрессии, и люди, видящие в коммунистах своих смертельных врагов, то есть врагов капитализма, идут на все, чтобы скомпрометировать их. Но в этом непрерывном сражении коммунисты держатся превосходно. Митчелл подарил мне сборник стихов австралийского классика Генри Лоусона. Как выяснилось в нашем дальнейшем разговоре (в конце которого меня упрекнули за то, что я не читаю и не говорю по-английски), Митчелл хорошо знаком с мировой литературой, в первую очередь, разумеется, с английской классикой, хотя и русскую он знает неплохо.

Митчелл пришел за нами со всей семьей — с женой и четырьмя детьми. Никто из его ребят еще не ходит в школу. В машине Митчелла нам было тесно и весело. Прежде всего мы отвезли домой его семью. Дом у них примерно такой же, как у Смитов, и тоже куплен в рас-срочку. Хозяину предстоит еще в течение двадцати двух лет ежемесячно выплачивать банку по четырнадцать фун-тов, что составляет четверть его заработка. Машина у них старая — стоит всего пятьдесят фунтов. Обстановка в доме очень простая. Средства у них более ограни-ченные, чем у привилегированных рабочих. Но семья Митчелла счастливая и дружная. И когда мы уезжаем, двое малышей плачут около какого-то цветочного ку-ста — почему их не взяли! Да и у самого старшего глаза на мокром месте, когда он бормочет нам свое «гуд бай».

Прием в Обществе дружбы прошел сердечно. Мы пи-ли кофе в маленьком песчаном саду, ели виноград и бе-седовали как с помощью переводчиков, так и без них. На приеме были врачи, адвокаты, рабочие.

Президент аделаидского отделения — уже старый че-ловек, с решительным подбородком и массивным носом, с низким хриплым голосом. Морщины избороздили вдоль и поперек его лоб и щеки, спускаются к шее. Но совсем особая статья — его руки, запястья которых об-хватывают белоснежные манжеты. Это большие, заго-релые, морщинистые, веснушчатые, загрубелые и, как мне кажется, очень талантливые руки, хорошо знакомые с тяжелой работой. Такие же я видел у хороших рыба-ков, плотников, судовых механиков. Может быть, такие же были и у Микеланджело.

Президент приветствует нас, гостей издалека, прибыв-ших на этот раз не с Севера, а с ледяного Юга, и выра-жает уверенность, что люди в Советском Союзе, так же как и австралийцы, стремятся не к войне, а к содруже-ству всех народов нашей общей планеты. Он говорит о достижениях советской науки, и русское слово «спут-ник» звучит уже как совершенно привычное в его англий-ской речи. Под конец он желает нам поскорее добраться домой, к своим семьям, желает, чтобы длительное плава-ние, предстоящее нам, прошло счастливо и чтобы океан был спокоен.

От нас выступает с таким же сердечным словом Трешников. Он заодно выражает свою радость по пово-ду того, что находится в родном городе национального героя Австралии сэра Дугласа Моусона, и в конце речи

представляет собравшимся участников нашей экспедиции.

Прислонившись к дереву, стоит мускулистый мужчина лет пятидесяти в простом синем свитере. У него очень загорелое лицо со спокойными и серыми, как ненастное море, глазами. Он внимательно слушает выступающих и курит сигарету за сигаретой. Я уже давно слежу за ним. Он чем-то напоминает мне парня на берегу с картины Молли Стефенс в аделаидской художественной галерее. Через некоторое время Кунин знакомит нас. Это австралийский писатель Юджин Ламберс.

После приема любезные хозяева везут нас смотреть город. Кунин, Кричак и я едем на машине Ламберса. Внутри она очень любопытна. Все тут говорит о хорошем пловце и страстном рыболове. Здесь и резиновые ласты, и подводная маска, и трубка для дыхания под водой, нехитрая и удобная. Подводная охота — наверняка весьма интересный вид спорта, который очень распространен в Австралии. В семье Ламберса увлекаются им кроме него самого и оба его сына.

Узкая извилистая дорога выводит нас из города. С холма нам открывается очень, вероятно, типичный для осенней Австралии пейзаж. Плоские голые горы, одинокие купы деревьев и выгоревшая блеклая трава. Как видно, полупустыня Австралии лежит здесь около самого города, в великой тишине и в спокойном мерцании воздуха. И тем не менее окрестности Аделаиды не считаются пустыней. Сам город покоится у наших ног в теплом и мягком свете. Это в самом деле красивый, белый, зеленый и солнечный город — он похож на девушку перед первым причастием. И тут же море — спокойное, большое, синее, с белыми треугольниками парусов на яхтах, со светлыми стремительными корпусами пассажирских кораблей. Сколько мятежности даже в тихом море, когда смотришь на него с берега, и какое оно мирное и монотонное даже в бурю, когда смотришь на него с борта корабля! Тут, вероятно, сказывается действие своеобразного закона, гласящего, что «издали все милее». Закона очень полезного для лириков и очень опасного для прозаиков.

Возвращаемся в город и останавливаемся выпить пива в открытом кафе, где даже в воскресенье не очень много посетителей. Потертый господин за соседним столиком, лицо которого кажется еще более серым, чем на самом деле, из-за контраста с ослепительно белой ма-

нишкой, охмуряет молоденькую девушку. Вдруг из угла словно раздается пулеметная очередь — это передают репортаж с ипподрома. Голос у диктора механический и бездушный. Не повышая и не понижая голоса, он сыплет словами — именами лошадей, их номерами, суммой выигрышей, — словно стучит по жестяной стойке аукционным молотком. Многие в кафе настораживаются. Скачки — одна из слабостей австралийцев, тут ставят на лошадей большие деньги.

Мистер Ламберс привозит нас к себе. Дом у него уютный и солнечный. Много книг, среди них и русских в переводе на английский: Чехов, Толстой, Достоевский. Ламберс знакомит нас со своей семьей — женой, с дочерью, кончающей школу, с менее взрослым, чем она, сыном, очень похожим на мать, и, наконец, с самым младшим сыном. Этот врывается в дверь запыленный, воинственный и веснушчатый. У него «солнцем полна голова», а на нее нахлобучен старый тропический шлем. Ни дать ни взять оживший Том Сойер. Он тотчас прилипает к Кричаку с его казацкими усами и его рассказами (на медленном, но понятном английском языке) об антарктической зиме и о двух поставленных под его начало до водворения в Московский зоопарк пингвинах, Ромео и Джульетте, которые живут на «Кооперации» под трапом.

Идет разговор об Антарктике, о тамошних условиях жизни, о людях, зимующих на шестом континенте. Я делюсь своими впечатлениями о Комсомольской. Ламберс задумывается, а потом советует мне:

— Мистер Смуул, из этого выйдет превосходная книга. Вы поэт? А теперь напишите книгу о том, как четверо людей остаются одни среди вечных льдов, как им приходится зимовать, как постепенно в их душе зарождается тяжелая злоба и взаимная ненависть, как они превращают собственную жизнь в ад. Французы, между прочим, много чего написали именно в таком духе.

Не знаю, вполне ли серьезно дал мне Ламберс такой совет, но шуткой это не было. На Западе тема взаимной ненависти очень в ходу, и трактуется она зачастую весьма мастерски и впечатляюще.

Французы французами, но я как-то не могу себе представить, чтобы на станции Комсомольская, даже при самых жутких условиях зимовки или при неудаче, могло произойти что-нибудь подобное. Мысль о том, что большой Морозов примется грызть маленького Сорокина,

а Фокин — Иванова, вызывает только усмешку. Но, разумеется, такие вещи возможны. И тут, в уютной домашней обстановке австралийской гостиной, мне вспомнилась книга, оставленная мною на столике нашей каюты, книга о плавании Колумба, с письмами Колумба королю Фердинанду и королеве Изабелле, книга, приведшая меня в растерянность. Вспомнилась судьба тех тридцати девяти людей, которых Колумб, этот гигант и в то же время пигмей, в год своего первого плавания оставил после гибели «Санта Марии» на острове Эспаньола в качестве форпоста христианства, предварительно внушив им свои идеи работорговли и алчной погони за золотом. Во время второго плавания он нашел там одни трупы, и Лас Касас в своем «Описании второго плавания Колумба» сообщает нам, что успели натворить во имя святого креста эти добрые католики и добрые подданные короля Кастилии, пока их не настигла заслуженная кара. Ясно, что они ненавидели друг друга — погоня за золотом свела их с ума. Ясно и то, что если бы случай забросил на лед четыре кулацких души вместе с незначительным количеством одежды и продовольствия, то через несколько месяцев они перегрызли бы друг другу глотки.

Думаю, что вряд ли бы и сам Ламберс развил предложенную им ситуацию в том направлении, какое он посоветовал мне избрать. Хотя кто знает — может, и развил бы.

Во время нашей долгой беседы, продолжавшейся сначала за обеденным, потом за кофейным столом, выясняется, что интересы у нашего хозяина довольно широкие и тесно связанные с жизнью. Кем станут дети, живущие в среде, где фильмы и первые книги говорят только об убийствах, грабеже и садизме, где порнография и полупорнография вламываются в окна и в двери в виде дешевых комиксов?

Какие душевные травмы, какие искривления, какой культ грубой силы несет эта буржуазная «свобода печати» молодому поколению! Оградить же детей от комиксов невозможно: запретишь — будут читать тайком, а прочтенное тайком действует еще глубже. Все это заботит Ламберса и как гражданина, и как отца, и как мыслящего человека.

Важный вопрос и религия. Ламберс по происхождению ирландец, в нем чувствуется нрав сынов этого мятежного острова, смелость мысли, честность, упрямство,

стремление идти своим путем. Он не католик, но в Австралии, и особенно в Аделаиде, католическая церковь очень могущественная, здесь это фактически вторая власть. В Сиднее спрашивают, есть ли у тебя деньги, в Мельбурне — какой ты национальности, а в Аделаиде — католик ли ты. Одевание патера делает здесь человека таким же неприкосновенным, как полицейская форма, духовные лица вмешиваются в личную жизнь своей паствы столь же непринужденно, как разгуливают по своему саду. Похоже, что отношения между Ламберсом и католической церковью не самые наилучшие. А церковь — могучий и богатый враг, враг с ореолом святости, с издавна выработанными приемами по части формирования умонастроений и общественного мнения.

Он не коммунист, и у него нет никаких связей с австралийскими коммунистами. Мне кажется, что он один из тех типичных для западной интеллигенции людей, которые смотрели на Октябрьскую революцию и на Советскую власть в ее первые годы как на эксперимент огромного размаха, а на Ленина — как на поэта и с интересом ждали, чем все это кончится и к чему приведет. Он один из тех, кто с увлечением следил за нашими предвоенными пятилетками, не понимая, как это Россия совершает нечто подобное, вместо того чтобы рухнуть. Он один из тех, кто не спешил сменить в срочном порядке свое уважение и симпатию к Советскому Союзу, возникшие у него во время Великой Отечественной войны, на «антикоммунистическую» истерию. Ламберс способен оценить размеры преодоленных нами трудностей, и он не стыдится выражать уважение сильным людям. Он знает о Советском Союзе больше, чем средний австралиец; знает, что у нас есть хорошего, и не говорит о наших недостатках с извиняющейся улыбкой. Короче говоря, он желает нам удачи.

Вечером отправляемся с Позенами в кино смотреть американский фильм «Война и мир». Я шел с известным предубеждением: смогли ли американцы постичь и передать общечеловеческий и в то же время столь русский дух романа Толстого? Но после окончания фильма мне стало ясно, что «Война и мир» хороший фильм, поставленный мастерски и всерьез, что это произведение искусства. Есть, разумеется, и в нем те же недостатки, какие бывают в экранизации каждого большого романа, не способной вместить все сюжетные линии и всех действующих лиц книги. Главными персонажами фильма

«Война и мир» являются Пьер Безухов (Генри Фонда) и Наташа Ростова (Одри Хепбёрн). Это не совсем те же Пьер и Наташа, что у Толстого, они несколько американистые, но ткань их характеров в основном та же. Видимо, постановщик фильма Кинг Видор — хороший знаток и толкователь Толстого, он не позволяет себе уклонений, о которых стоило бы говорить, ни от текста, ни от действия, ни от расстановки акцентов книги.

Наташа мне надолго запомнится. Она очень молода и обаятельна, в ней есть что-то окрыляющее. Хорошая американская актриса сумела тут слиться со своей ролью. Мы видим Наташу дома, веселую, жадную к жизни, любящую всех людей, — ту самую Наташу, которая мечтает ночью на балконе (превосходная сцена!) и которую впервые слышит и впервые понимает князь Андрей. Затем мы видим Наташу на ее первом балу, где на ее долю — до того как князь Андрей приглашает ее танцевать — выпадает столько детских и все же горьких переживаний. Видим Андрея, очень близкого к Андрею Толстого. Затем Наташа наносит вместе с отцом визит старому князю Болконскому, который выходит к ним в ночном халате и держится с ними холодно и высокомерно. Мы видим, как между ними возникает отчуждение, как княжна Марья пытается отвлечь внимание от этого, как разочаровывается Наташа. Затем в игру вступает Анатолий Курагин. Сцена, где Наташа ждет саней Курагина, где она понимает, что ее тайна обнаружена и что дверь закрыта, где она ходит одна по комнате — молодая, красивая, отчаявшаяся, сокрушенная, — эта сцена потрясающая. Она — достояние великого искусства. Затем мы видим, как Наташа по-хозяйски хлопочет при отъезде Ростовых из Москвы, как она находит раненого князя Андрея, как тяжело она переживает его смерть и как наконец находит свое счастье вместе с Пьером. Прекрасная, замечательная актриса!

Пьер в очках, он неуклюжий (но худой!), беспомощный, задумчивый и добрый. Впрочем, одна сцена с Пьером решена сугубо по-американски, а именно та, где Пьер и Долохов бражничают с офицерами. Вся пирушка показана обстоятельно и пространно. Затем заключается пари, и Долохов, сидя на подоконнике, выпивает бутылку коньяку. Все здесь до последней детали — игра на нервах. И откинутое назад тело Долохова, и его ноги на подоконнике, и до мучения медленно убывающее содержимое бутылки, и зияющая пустота внизу. Высота

метров сто. Затем на подоконник взбирается Пьер. Он очень пьян, он качается, и кажется, что его тяжелое тело вот-вот рухнет на мостовую. Пока его втаскивают обратно в комнату, успеваешь проглотить изрядную дозу жути. Мы видим Пьера в Москве, из которой все бегут, видим его в Бородинском сражении и во французском плену вместе с Каратаевым.

На Западе, вероятно, еще и до сих пор «русская душа» понимается и толкуется как нечто типично каратаевское, при этом каратаевщина почти полностью отождествляется с мудрым, взвешенным самообладанием Кутузова. Образ Платона Каратаева создан в фильме интересно и с большой любовью. Его фатализм, его спокойствие, его равнодушие к смерти, его непротivление злу насилием, его забота о Пьере, его огромная доброта — все это словно повисает синей и теплой вечерней дымкой над гибелью наполеоновской Великой армии.

В раскрытии образов Наполеона и Кутузова режиссер также близок к Толстому. Кутузов стар, мудр и осторожен. И, в противоположность ему, Наполеон капризен и эгоистичен. В большом разоренном зале он ждет прибытия послов от побежденной Москвы, принимает позы, готовится к блистательной речи и приходит в ярость, когда ему сообщают, что москвичи покинули свой город.

Почти все массовые сцены «Войны и мира» грандиозны и захватывающи: и Бородинский бой, и уход из Москвы русских, и появление в ней французов. Но редко приходилось видеть на экране что-либо подобное отступлению наполеоновской Великой армии. Это потрясает, тут есть неизбежность и возмездие. При каждом своем новом появлении на Смоленской дороге Великая армия оказывается все более маленькой, все более потрепанной и усохшей.

Вот одна сцена. Тихо падает снег. Чистое, без всяких следов, холмистое поле. Вдруг раздается сигнал побудки. И снежные холмы оживают, из-под снега поднимаются остатки Великой армии. И ковыляют дальше на запад. Не осталось больше ни оружия, ни порядка, ни веры. Это марш смерти.

Можно ли требовать еще большего, чем дали американцы в «Войне и мире»? Конечно, можно. И все же это удавшееся, на редкость удавшееся художественное произведение.

Возвращаемся на корабль после полуночи. Необыкновенная тишина, мягкий полусвет огней. По пристани прогуливаются туда и обратно двое таможенников. Спящий порт, запах пыли и зерна.

В 1949 году я прожил несколько месяцев в провинциальном эстонском городке Выру, в гостинице «Александрия». Тихая гостиница, а город похож на большую деревню. Я писал книгу и мечтал о Шанхае, о большой гавани. Если будет возможность, обязательно туда поеду и проживу месяц-другой в гавани, именно в гавани. В гаванях, даже в спящих, слышится свой особый ритм, своя песня, отсюда тянутся лучи вдаль, сюда сбегаются лучи издалека.

2 марта 1958

Воскресенье.

Все закрыто — магазины, кино, бары. В начале дня, в часы богослужения, машин на дорогах немного. А городской транспорт — автобусы и троллейбусы — ходит из Порт-Аделаиды в Аделаиду редко. Большая часть горожан еще вчера выехала за город, хотя трудно себе представить, чтобы в ближайших окрестностях Аделаиды можно было найти что-либо похожее на то, что мы называем зеленью и природой. Погрузка прекращена, тяжелые ворота складов заперты, и даже гости появляются сегодня позже, чем обычно. В город как бы спустилось с гор безмолвие пустыни, не нарушаемое ни шумом уличного движения, ни гудками буксиров. И в этой тиши австралийцы молятся своим богам, дерущимся между собой, словно буржуазные партии: методисты своему богу, баптисты — своему, адвентисты — своему, лютеране — своему, мормоны — своему. Молятся и самому могучему богу, у которого вместо сына аккредитован на земле папа римский.

Тихо с утра и на корабле. После обеда я отправляюсь в гости к одной эстонской супружеской паре. Они приезжают на своем «холдене», оставляют его на набережной и приходят за мной на корабль. На людей, которых привезли сюда из Западной Германии в грузовом трюме американского военного транспорта, «Кооперация» производит, разумеется, впечатление роскошного судна.

Проезжаем через тихую Аделаиду. Мало людей, мало движения. Минуем новую церковь мормонов, в которой

совершается богослужение. Снаружи эта церковь ничуть не похожа на храм. Построена она предельно практично — это одновременно и церковь и клуб. Во время богослужения задергивается занавес на эстраде, а во время танцев той же процедуре подвергается алтарь, поскольку на эстраде играет джаз.

Люди, принимающие меня, молоды. Когда они в конце войны покинули Эстонию, им было по пятнадцать лет. Оба получили в Австралии высшее образование: муж окончил Аделаидский строительный институт, а жена — медицинский факультет Аделаидского университета. У них австралийское гражданство, да и не только гражданство. Они считают себя австралийцами, все их планы на будущее связаны с этим материком, они освоились со здешним образом жизни и с природой. Жена, по внешности типичная эстонка, говорит по-эстонски еще очень хорошо и чисто, но мужу довольно часто приходится прибегать к английским словам, да и по звучанию его речь напоминает английскую.

Нравится ли им Австралия? Нравится. Уже теперь, в молодости, они довольно обеспеченные люди. Годовой заработок только мужа равен тысяче австралийских фунтов и намного превышает заработок среднего рабочего. К тому же Австралия такая страна, которую безработица задевала, по крайней мере до сих пор, лишь самым краешком. Разговор наш вертится вокруг бытовых вопросов — вокруг квартирной платы, заработка, цен, строительства и т. д., а потом он сам собой перескакивает на отношения между эмигрантами и «настоящими австралийцами». С этим не все в порядке. Скрытое недовольство, которое, как я уже не раз замечал на корабле, проглядывает в отношении австралийцев к эмигрантам, должно быть, не совсем беспричинно. Австралийские девушки редко выходят замуж за молодых эмигрантов. Последних редко принимают в потомственных австралийских семьях. И хотя молодых эмигрантов можно назвать кем угодно, только не «безъязыкими чужаками», все же эти невидимые рубежи и перегородки очень устойчивы. Пытаюсь выведать у нашего хозяина причину.

— Мы трудолюбивее, — решает он.

— Трудолюбивее? Дело только в этом?

— Нет, не только в этом. Пришлые, чтобы встать на ноги, соглашаются порой на более низкую плату.

Так вот где зарыта собака! Рабочие боятся, и, по-видимому, не напрасно, что из-за эмигрантов может упасть

уровень заработков, а работодатели видят в них более дешевую рабочую силу, то есть боевые резервы для борьбы с профсоюзами. Не очень завидная роль.

Мои хозяева — приятные и тактичные люди. Они с самого начала подчеркнули то обстоятельство, что политика — это не их сфера и что у них нет никаких связей и никакого контакта с главными деятелями эстонской эмиграции, в основном бывшими эсэсовцами. Тем не менее нам почему-то не удалось обойти молчанием один вопрос, а именно вопрос о все возрастающих противоречиях между старшим и младшим поколением эмиграции, о взаимном отчуждении между ними. По-видимому, отчуждение это вполне закономерно. Младшее поколение эмигрантов, большая часть которого обучалась в школах и вузах Западной Германии или Австралии, лучше ассимилировалось, у него меньше связей с родиной, меньше воспоминаний, оно пустило более цепкие корни и более безродно. По моим шведским и здешним наблюдениям, ему так же чужды «столпы общества» буржуазного времени, разбросанные по Швеции и Америке и грызущиеся из-за каждого выклянченного доллара, как и те эмигранты из старшего поколения, которые не могут приспособиться к чужой стране и к чужой природе, усвоить чужой язык и чужие обычаи, которым трудно получить работу и которых с каждым годом все сильнее и сильнее тянет на родные острова.

В австралийском образе жизни можно выделить три черты.

Во-первых, австралиец, коренной или свежеепеченный, существо до предела домашнее, замкнутое и малообщественное. Закон «мой дом — моя крепость» тут имеет полную силу. Круг знакомств — маленький и ограниченный, его составляют осторожно, и он, как видно, устойчив. Незнакомым неохотно открывают дверь, дом здесь играет в жизни людей почетную роль.

Второй и весьма симпатичной чертой является чуткость здешних мужей. Они помогают женам во всех их домашних хлопотах, ходят вместо них за покупками, трудятся вместе с ними на кухне и накрывают на стол. Этому и кое-кому из нас не грех поучиться. У нас, в Советском Союзе, где очень большой процент женщин ходит на работу, мужчины зачастую тратят столько энергии на то, чтобы говорить о женском равноправии и восхищаться им, что по вечерам они уже в полном изнеможении валяются на диван и орут:

— Дай поесть, черт побери!

Третья черта, несколько меня смущающая, — это фетишизм вещей. Похоже, что вещи имеют здесь какую-то таинственную власть над людьми и занимают в их мыслях и в их жизни слишком большое место. Здесь, правда, очень красивая мебель (в этом мы отстаем), хорошие радиоприемники (наши не хуже), очень практичная кухонная обстановка и т. д. Но все эти предметы не столько служат человеку, сколько властвуют над ним. Думаю, что в этом случае мы имеем дело с влиянием уже упоминавшейся системы рассрочек. Стул или приемник, купленный тобой и принесенный в свою квартиру, немедленно становится твоим и не напоминает так назойливо о себе, как вещь, за которую ты ежемесячно должен выплачивать известную сумму и которая паялится на тебя словно заимодавец.

Возвращаемся на корабль. Я от души благодарен хозяевам за интересно проведенный день и за их откровенность. Благодаря ей кое-что в жизни этого материка стало для меня более ясным.

Совсем уже поздно вечером меня вызывают в музыкальный салон. Вхожу туда и не знаю, к кому обращаться, кто меня ищет. Вокруг разговаривают по-русски и по-английски. Лишь за одним угловым столиком сидят четверо немцев. Именно из-за этого стола поднимается длинная-длинная и очень тоненькая, похожая на удилище дама, которая подходит ко мне.

— Сударь, вы эстонец?

— Да.

— Господи! Из Тарту?

— Нет, из Таллина.

— Господи!

Мы садимся. Дама знакомит меня со своим мужем, немцем, и с другими двумя людьми, тоже немцами. Дама очень темпераментна. Разговариваем мы по-эстонски. Начинает она приподнято и поэтично:

— Помните песню, сударь: «Мужество Эстонии...»?

— Помню.

— Ох! — вздыхает дама.

И только тут я успеваю спросить, откуда она родом. Оказывается, из Тарту. Ее интересует, существует ли еще магазин, принадлежавший ее отцу, и «кто его теперь держит». Я плохо знаю Тарту и не могу ответить. Но ее от-

ца, живущего в Австралии, это очень заботит, и он хотел бы съездить взглянуть на магазин.

— Вы, сударыня, давно не были в Эстонии? — спрашиваю я.

— Да, с тех пор, как Гитлер позвал нас в Германию.

Лишь эту фразу она произносит без сильного акцента. Видно, часто ее повторяла.

— Ваши родители — немцы?

— Мама — немка.

— А ваш отец?

— Отец — русский.

— А вы сами?

— Боже мой, эстонка!

Муж дамы пытливо сверлил меня своими бледными и холодными глазами. Жена переводит ему наш разговор и потом сообщает мне его вопрос:

— Вы воевали против нас?

— Воевал.

Мы вежливы, мы беседуем о том о сем, но беседа не клеится. И чтобы как-то с этим покончить, дама просит подарить ей на память пустую коробку от «Казбека». Я приношу из каюты полную и вручаю ее даме.

— Боже мой, это мне!

— Это вашему папе и вашему мужу, чтобы они не забыли вкус русского табака.

4 марта 1958

Погрузка подходит к концу. Аккуратные ряды мешков ячменя в трюме уже до самых люков. Австралийские портовые рабочие трудятся спокойно, не торопясь. Ни на причале, ни в трюме грузчики не делают ни одного лишнего движения, лебедки очень послушны их опытным рукам. Работают в одну смену, и потому вечерами гавань словно вымершая. Темпы тут не те, что в наших портах, и корабли простаивают дольше.

Завтра в Аделаиду должны прибыть английская королева-мать и «Обь» с морской антарктической экспедицией. Прихода «Оби» ждут на «Кооперации» с волнением. Часть участников морской экспедиции поплывет на нашем корабле домой. В честь прибытия королевы-матери улицы Аделаиды наряжаются. Всюду флаги и флажки, на витринах портреты ее величества и всевозможные изображения корон. По пути из Порт-Аделаиды в Аде-

лаиду нам встретился своеобразный по своей пестрой красочности эскорт. Все лошади были белые и красивые, да и всадники им не уступали: сапоги и сюртуки — черные, узкие бриджи — белые. На сверкающих киверах султаны из перьев, в руках длинные пики. Все кавалеристы как на подбор — цветущие, солидные, исполненные достоинства. В конную свиту королевы-матери явно отбирали самых лучших, то есть самых богатых парней Аделаиды.

5 марта 1958

Утром нагруженную «Кооперацию» перевели к другому причалу. После обеда прибыла «Обь». Встреча была сердечной. По причалу расхаживали мои спутники по рейсу в Антарктику — Марков и Зенькович. Среди десятков людей, смотревших вниз с борта «Оби», я разглядел загорелого Голышева, остриженного наголо и потому казавшегося еще более молодым и круглолицым. Затем появился долговязый Фурдецкий, все такой же элегантный и громогласный, как прежде. Хорошо быть среди друзей!

Встретился тут и с эстонцем, участником морской экспедиции. Это московский аспирант Ивар Мурдмаа. Я узнал его еще издали — он очень похож на свою мать. Странное дело — на рейде Мирного наши корабли много дней простояли рядом, но каждый из нас и не подозревал о существовании другого, у обоих были свои дела, свои заботы. Да, мир так велик и так мал!

Чтобы спокойно поболтать, как полагается двум эстонцам, мы отправились в ближайший портовый бар.

Для большинства австралийцев бар — это клуб, место встреч, второй дом. Говорят, что каждый австралиец выпивает в среднем два литра пива в день. Пиво тут в самом деле хорошее. В четыре часа люди кончают работу, и бары до шести вечера, до самого их закрытия, набиты битком. Жены приходят в бары встречать своих мужей, ждут их там. Похоже, что пиво тут считается не алкогольным напитком (хоть в нем и достаточно градусов), а предметом первой необходимости. Бар, в котором сидим мы с Иваром, состоит из двух помещений. В первом зале, просторном продолговатом, находится стойка с высокими табуретами, за стойкой бармен, а позади — полки, уставленные батареями всевозможных

крепких напитков. Сейчас, в четверть пятого, бар заполнен до отказа. Люди пьют стакан за стаканом, пьют серьезно, деловито и по-домашнему. Поразительно, что при ежедневном потреблении такого количества пива в Австралии мало толстых людей — редко встретишь человека с так называемым «пивным брюшком». Портовые рабочие, обычные посетители этого бара, почти все сухошавые и стройные.

Во втором помещении, в том, где мы сидим, утопанный земляной пол, столы из некрашенных досок и плетенные из прутьев стены высотой в человеческий рост. Дверей как таковых нет, вместо них имеется нечто вроде сарайных ворот. В просвет между низкими неглухими стенами и высоким потолком свободно проникает ветер, приносящий порой не только прохладу, но и пыль. Люди приходят сюда замкнутые, но затем их лица все более краснеют и оживляются. Беседа становится все непринужденнее, и кружки отстукивают на столешницах гимн австралийскому пиву, тому самому пиву, вздорожание которого на два пенса за литр может вызвать всеобщую забастовку...

Обстановка в этом баре истинно портовая, тут особая атмосфера, на которую наложили свою печать и солидность докеров, и их веселость, и дыхание близкого океана. И даже две женщины, которые, заняв еще до четырех часов видный отовсюду стол в центре зала, извели на свои порядком поношенные лица столько же краски, сколько ушло бы на соответствующий кусок новой тесовой крыши, — даже эти подружки кажутся сейчас красавицами средних лет. Их пыльные, призывные и многообещающие взгляды скользят от столика к столику, выискивая человека с сердцем и не совсем пустым кошельком. Для того чтобы изобразить эту сторону здешней жизни, описать Австралию с четырех до шести вечера, был бы нужен карандаш Вийральта.

Мы с Мурдмаа говорим о своем старом Таллине, о наших общих знакомых, об океанографической экспедиции. «Обь» закартировала большой отрезок береговой линии Антарктики, внесла в карту много существенных исправлений. Самолеты экспедиции не раз высаживали на материке и ледниках группы ученых, которые в трудных условиях проделали за небольшое время большую работу. Наши корабли «Обь» и «Лена», которые плавали там в 1956—1957 годах, уточнили более чем одну четвертую часть береговой линии всей Антарктики, да

и не только береговой линии. Если прибавить к этому океанографические исследования, промер глубины, метеорологические, геологические, гляциологические, магнитологические и прочие изыскания, съемки с воздуха и т. д., то станет ясно, что два этих ледокола, «Обь» и «Лена», высекали свои имена на камне истории открытий и исследований Антарктики, навсегда связав с этим материком, лишенным рек, наименования рек России.

«Обь» прибыла сюда из Новой Зеландии, из Веллингтона, где недавно встретились исследователи Антарктики: русские, американцы, англичане, французы и австралийцы. Похоже, что эта встреча не очень обогатила и удовлетворила наших ученых. И научные работники, и печать Новой Зеландии дали высокую оценку докладам советских, а также французских и австралийских ученых, поскольку все они добавили к уже известному что-то новое. Но американцы, которые ведут систематическую работу по исследованию Антарктики еще с 1928 года и, стало быть, обладают большим опытом, а также англичане выступили с довольно-таки поверхностными докладами.

Но следует, разумеется, учесть, что это мнение не специалиста, а человека, который руководится внешними впечатлениями и который, кстати, относится с глубоким уважением к огромной работе, проделанной на шестом континенте английскими и в особенности американскими исследователями. Одно только создание на Южном полюсе *иск.почтительно с помощью авиации* американской исследовательской станции Амундсен-Скотт является подлинным подвигом, рискованным и в то же время тщательно продуманным. Научная и организационная деятельность адмирала Эвелина Бэрда, побывавшего вторым после Амундсена на обоих полюсах земного шара, дает право на то, чтобы имя его сохранилось в памяти истории и будущих поколений как имя одного из величайших исследователей Антарктики. Но в своих последних, предсмертных статьях Бэрд настойчиво подчеркивал военное значение антарктического материка в качестве базы для авиации и ракетного оружия, подчеркивал возможность использования пролива Дрейка для переброски американского военного флота из Тихого океана в Атлантический. Американцы проверяют в Антарктике, как действуют при сверхнизких температурах танки и военная авиация, слишком часто твердят о том, что Антарктиду можно использовать как полигон и ра-

кетно-стартовую площадку, и смотрят на ее будущее именно под этим углом зрения. А если прибавить к этому уран, который, возможно, скрывается под вечными льдами, то...

И в то же самое время, как два отряда полярников во главе с доктором наук англичанином Фоксом и покорителем Эвереста Хиллари первыми преодолевали путь с одного края ледяного плато Антарктики до другого, пока они совершали первую наземную трансантарктическую экспедицию, завершившуюся встречей на Южном полюсе и заслуженно вызвавшую громкие отклики всей мировой прессы, в это же время милитаристское в основном отношение некоторых стран к Антарктике, предопределяющее, кроме всего прочего, науку, облаченную в мундир, военизированную науку, весьма существенно мешало *подлинно коллективным исследованиям*, настоящему обмену информацией между отдельными учеными и странами, прикрываясь при этом, как водится, дымовой завесой высказываний кое-каких западных дипломатов и политических деятелей о «советской экспансии в Антарктике».

6 марта

Те из участников морской экспедиции, которые поплывут домой, перебираются на «Кооперацию». Сюда переносят часть собранных коллекций и научной аппаратуры. Возвращаются на родину вся летная группа экспедиции, картографы и геологи. В океанах, которые начнет теперь исследовать «Обь», и в странах, которые она посетит, им уже делать нечего. В гуле новых голосов на нашем корабле я различаю лишь немногие.

Завтра покидаем Австралию. На корабль пришли попрощаться с нами наши старые знакомые. Появляются Позены, появляется приятное лицо Митчелла, в нашей каюте сидит мистер Ламберс.

Мы долго говорили с Ламберсом о литературе. И в основном об английской и американской, поскольку из австралийцев мне известны лишь Харди и Лоусон. Мы радуемся каждому писателю, известному обоим, каждой книге. Она словно мост от человека к человеку. Выясняется, что у нас не так мало общих знакомых, и более того — наши оценки не особенно расходятся. Мы начинаем с милого нам обоим Диккенса, равно ценимого

и молодыми и стариками, хотя и несколько более далекого людям среднего возраста, жаждущим проблемности. Затем мы возвращаемся к Теккерею и задерживаемся на «Ярмарке тщеславия» и «Генри Эсмонде». Но ирландцы, так же как англичане, да, очевидно, и мы, в немалой степени люди традиции, и потому в разговоре о классической литературе мы зачастую выражаем не свое собственное мнение, не свои симпатии и антипатии, а традиционное признание, освященное временем и подкрепленное комментариями исследователей. Ведь в самом деле, Диккенс может показаться порой сентиментальным и приторным; красочный и сочный «Том Джонс» Филдинга — переступающим тонкую, словно лезвие, грань приличия и хорошего вкуса; пронизанный пафосом борьбы и любви к свободе «Уленшпигель» — смесью могучего реализма с мистикой, а высмеивающий попов, монахов и покладистых женщин «Декамерон» — слишком чувственным, что заставляет порядочных родителей прятать его от своих отпрысков. Но все эти произведения — дети своей эпохи и в то же время достояние всего человечества.

Есть, однако, среди некоторых уже умерших выдающихся писателей и такие, мнения о которых до сих пор резко расходятся. В книжных магазинах Аделаиды мне не попалось ни одного нового издания Драйзера. Похоже, что после смерти Драйзера его родиной стал Советский Союз, где этого писателя так любят и так много читают. Ламберс как будто тоже не считает его очень крупным художником. Но отношение к Джеку Лондону у нас оказалось одинаковым — и к его морским рассказам, и к «Мартину Идену», особенно к «Мартину Идену», и мне хочется тут напомнить, что после войны эта книга у нас еще ни разу не выходила на эстонском языке. Зато издавалась «Железная пята», которая, несмотря на давнишнюю популярность Джека Лондона среди наших читателей, до сих пор лежит на полках магазинов. Талант Лондона могуч и противоречив, но был ли смысл издавать именно это произведение, здоровое, правда, по своей тенденции, однако для Лондона художественно слабое?

Мы вспомнили о романе Мозма «Острые бритвы», мистика которого, сочетающаяся, впрочем, с хорошим реализмом, меня раздражает. Наряду с критичным и выразительным изображением американской денежной знати, французской буржуазии, закостеневшей английской

аристократии тут полноправно уживаются и учение индийских йогов, и переселение души, и полное отрицание главным героем объективной действительности, каковому автор явно сочувствует, и философия самоотречения, и проповедь аскетизма. Ламберс, очевидно, находит существование всех этих вещей в рамках одного произведения вполне естественным.

Сошлись наши мнения и о повести Хемингуэя «Старик и море». Как и миллионы других читателей этой книги, мы считаем ее гимном морю, жизни, борьбе. В самом деле, среди книг последнего времени трудно найти произведение, столь же блестяще отвечавшее бы требованию Некрасова, которое лишь гению под силу выполнить:

Строго, отчетливо, честно
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.

Я показываю Ламберсу эстонское издание этой книги и благоразумно умалчиваю о послесловии к ней, которое трудно охарактеризовать как-либо иначе, чем «странное». К сожалению, у нас часто бывает так: мы открываем хорошее произведение и переводим его, прочитываем, начинаем любить, а потом, добравшись до послесловия, пытаемся там отыскать ту же любовь и уважение к автору и к его таланту. Но послесловие упорно и судорожно цепляется за все ошибки автора, за его идеологическую незрелость, критикует писателя не за то, что он изобразил, а за то, чего он *не изобразил*, о чем он не писал. Примерно с таким же недовольством читал я послесловие Анисимова к очень хорошим произведениям Пуймановой «Люди на перепутье» и «Игра с огнем». До сих пор не могу понять, из чего исходят авторы подобных послесловий, в чем они видят смысл своей работы. Или они боятся, что буржуазные влияния могут проникнуть к нам даже с помощью самых лучших, самых талантливых и глубоко гуманных произведений писателей Запада?

Разговор переходит на «Тихого американца» Грина, на один из тех западных романов, который наиболее взволновал меня в последние годы, который и далек мне, и в то же время близок. Экзотика, дыхание чужой страны, своеобразная композиция и беспощадный ре-

ализм. Прекрасная Фуонг, понять которую так же трудно, как душу растения или язык птиц, и которая цветет словно неведомый цветок рядом с прямодушным и грубым циником Фаулером. Сам Томас Фаулер с его ежевечерними трубками опиума, с его резкими и лаконичными оценками, со страхом за далекую Англию, с большой любовью к Фуонг, с пониманием жестокости и бессмысленности войны, с настойчивым стремлением быть объективным — да, это образ! И, наконец, Пайл, «тихий американец», джентльмен на словах и в мелочах, наглец в крупном и определяющем. Это книга для вдумчивых вечеров. Ведь «Тихий американец» ставит не только литературные проблемы. Сходные проблемы существуют и в Австралии. Американцев здесь не выносят, говорят о них с внутренним раздражением. Как характер, поведение и гибель Пайла порождены воспитанием и средой, так и здесь скрытая антиамериканская оппозиция порождена высокомерием американцев, их наглым экономическим давлением, их уверенностью, что весь мир, кроме Соединенных Штатов, не что иное, как стойка бара, на которую каждый янки может положить свои ноги в ботинках с толстыми подошвами.

В круг наших общих знакомых вошли еще Эптон Синклер, Синклер Льюис, Артур Миллер, Стейнбек, Колдуэлл... Но о многих писателях, о которых Ламберс говорил с большим уважением, я ничего не знаю и даже никогда о них не слышал. Особенно это касается западных философов и психологов. Наиболее настойчиво он советует прочесть мне книгу Лэнгвиджа «Об особо смутном и неясном в эмоционально-сексуальной сфере вырождения». Видно, его интересуют такие проблемы. Сам он написал книгу о жизни арестантов в уголовной тюрьме. С изрядным знанием дела, с обстоятельностью он рассказывает мне о смерти от жажды, обо всем, что человек переносит, что он постигает, что он чувствует и видит перед такой смертью в пустыне Северной Австралии. Ламберс изучал этот вопрос и собирается о нем написать.

Чувствуется, что у читателей Запада искусственно вызывается интерес к мучениям, к смерти, к гибели, к чувству ненависти, к садизму, к сексуальности, искусственно вызывается любопытство к ненормальному, вырождающемуся человеку. Книжный рынок диктует авторам свои законы. Более слабые подчиняются им сразу же и целиком. А более сильные, хотя зачастую и обращаются

к тому же кругу тем, умеют и тут сохранять свою человечность и свой талант. Наиболее же беспринципные и бездарные служат причиной все более учащающихся случаев моральной смерти от жажды среди молодого поколения, жажды, которая в тысячу раз опасней для общества, чем та, что испытывают в пустынях Африки и Австралии. Ламберс, безусловно, не принадлежит ни к писателям первого, ни к писателям последнего типа. Он для этого слишком крепок и чист.

У книг, как и у людей, своя судьба. Но судьба книг в Австралии, а следовательно, и жизнь писателей отнюдь не завидные. Если в доме среднего австралийца изредка и попадаются книги, то выбор их более чем случаен. Связь между книгой и читателем тут слабая. Тиражи маленькие, каких-нибудь несколько сот экземпляров, да и те лежат в магазинах целый год. Одним сочинительством тут прожить трудно. Главным заработком писателей является сотрудничество в газете, на телевидении и на радио. За последние три недели Ламберс заработал *как писатель*, то есть только продажей книг, всего семь фунтов, вдвое меньше, чем зарабатывает низкооплачиваемый рабочий за неделю. Хорошие беллетристические издания тут необычайно дороги, отчего книга становится доступным развлечением лишь для состоятельных людей. Для тех же, кто победнее, остаются комиксы, газеты, кино да ипподром.

Ламберс уходит от нас поздно вечером. За короткое время мы стали хорошими знакомыми и, обмениваясь последним рукопожатием, выражаем надежду снова когда-нибудь встретиться, но уже не здесь, а в Советском Союзе.

В сумерках медленно спускается по трапу на причал старый господин. Он поддерживает под руку полную седую даму. Пару эту провожают Трешников, начальник морской экспедиции Корт и капитан Янцелевич. У господина в черном костюме длинное интеллигентное лицо, подлинно английское; он немножко похож на Бернарда Шоу. Он медленно подходит с провожатыми к своему черному лимузину; седая дама, его жена, садится за руль. Господин прощается со всеми и, низко пригнувшись, забирается на свое место, — машина кажется слишком низкой для его прямого, стройного тела длиной в семь футов.

Это Дуглас Моусон, национальный герой Австралии, знаменитый исследователь Антарктики, доживающий свой век в Аделаиде.

7 марта

Сегодня «Обь» и «Кооперация» покинули Аделаиду. На пристани было много провожающих, членов Общества австралийско-советской дружбы. И пока буксируемые корабли отваливали от причала, они бросали к нам на палубу цветной серпантин. Корабли постепенно удалялись от пристани, мы и провожающие держались за концы бумажных лент, и они все сильнее растягивались, образуя между нами и материком пестрый и хрупкий мост.

Но тот мост, который соединил за эти дни моряков и участников экспедиции с австралийцами, мыслящими трезво и здраво, этот невидимый мост не так пестр и декоративен, но зато и не так хрупок. Мы совсем не пытались превратить своих австралийских знакомых, беспартийных или принадлежащих к буржуазным партиям, в коммунистов, а они нас — в поборников «священной частной инициативы», но мы отлично понимаем друг друга и считаем, что на земле, на этой планете цвета морской синевы, белого снега, желтой пустыни и зеленого леса, люди могут и должны уживаться друг с другом.

Десять дней в Австралии, да к тому же еще в одном городе, — это слишком мало, чтобы обо всем услышать, все увидеть, понять и почувствовать. Аделаида — лишь одни из ворот Австралии, лишь один из кружков на ее громадной желтой карте, один из узлов, от которого тянутся к другим городам, в глубь опаленного материка нити дорог. Мы видели Австралию только сквозь эти ворота. Но люди, с которыми мы тут встретились, все-таки были плоть от плоти австралийцев, их страны, их образа жизни, их обычаев, их склада мышления. У них умные руки, ими создано и создается много хорошего и прекрасного на этом чужом нам материке. Как и у нас, люди тут рождаются и умирают, как и у нас, они умеют смеяться и плакать и, будучи нашими антиподами, они все-таки ничуть нам не антиподы. У подавляющего большинства из них та же чудесная должность, что и у нас: быть на земле человеком.

Утром «Обь» и «Кооперация» снова стояли рядом у острова Кенгуру в заливе Эму. Мы брали у «Оби» дизельное топливо. Несмотря на близость берега и на то, что залив тут закрытый, была сильная волна. То борт «Оби» поднимало вверх, то наш. Трап, перекинутый с «Кооперации» на «Обь», мотался словно качели. Чтобы перебраться с одной палубы на другую, приходилось выжидать благоприятного момента. Несмотря на пробковые кранцы, корпуса кораблей временами сталкивались, и слышался стон и скрежет. Высокий мостик «Оби» въехал в нашу веранду с правого борта, разбил там три окна и оставил большие вмятины на металлических стенах. Не так-то просто заправляться горючим в открытом море.

Несколько раз побывал на «Оби». Могучий корабль с мощными двигателями, с хорошими лабораториями, с первоклассным навигационным оборудованием. Но бытовые условия у научных работников там как будто хуже, чем на старой доброй «Кооперации». Во многих каютах живут вдесятером.

Заправка горючим кончилась. Мы прощаемся с людьми на «Оби». Забегаю напоследок в каюту Мурдмаа, отыскиваю кинооператора Ежова, живущего на самой корме, прямо над винтом, нахожу Голышева и Олега Воскресенского, которого зачислили тут в состав морской экспедиции. Потом мы теснимся у поручней отваливающих друг от друга кораблей, перекидываемся последними фразами, но вот корабли отдаляются, и приходится уже кричать. «Обь» уходит на восток, а мы плывем почти прямо на запад — к Большому Австралийскому заливу.

Погода ветреная, сбоку бьет волна, горизонт затянут легким туманом. Остров Кенгуру удаляется от нас, а затем и вовсе исчезает. «Кооперация» начинает сматывать невидимую нить длиной в семь с половиной тысяч миль, которые отделяют ее от ближайшего порта следования, от Суэца.

Слабое покачивание корабля, уже такое домашнее, действует усыпляюще, легкая вибрация корпуса создает ощущение длительного, непрерывного движения. Заснув, я увидел во сне дом, где прошло мое детство, большую ригу, в которой жужжали четыре прялки и мурлыкал на печи кот. Женщины пели:

Кто-то заходит в каюту, вполголоса бросает несколько слов Кунину и, очевидно, имея в виду тропический пояс Индийского океана, произносит по-латыни:

— Hannibal ad portas!¹

9 марта

Большой Австралийский залив

Если ты хочешь знать, что такое время и пространство, так поживи на корабле, заполненном участниками экспедиции и нагруженном австралийским зерном, на корабле, у которого работает лишь один дизель и который пробивается сквозь волны со скоростью пяти узлов в час. А до родной гавани десять тысяч миль! Видно, тот, кто первым сказал: «Все течет!» — был весьма далек от абсолютной истины. Корабль, время, мысли — все замерло на месте, и за час плавания обратный путь сокращается на карте лишь на какие-то доли миллиметра. Когда в книгах наступает долгожданное, выстраданное и кажущееся вечным счастье, то обычно пишется: «Время замерло!», «Время стало», «Время прекратило свой бег». Но время может стоять на месте и под низкими серыми тучами, на темно-синей, тихо плещущей воде Большого Австралийского залива и быть не чем иным, как только печальным, тягучим, словно заунывная песня, вопросом: «Когда же?»

11 марта

Во время парусников существовал морской термин «обезьяний груз». Но я никогда не думал, что мне придется плыть на корабле с «попугайным грузом», да еще не в переносном, а в прямом смысле. Я пытался сосчитать, сколько их накупили в Австралии, но все время сбивался. Поодиночке и парами они стрекочут во всех каютах, покачиваясь в своих красивых клетках. В иных каютах даже по две клетки. На корабле только и разговору что про любовь попугаев, про науку о попугаях,

¹ Ганнибал у ворот! (лат.)

про их виды и характеры, про их талантливость и про их язык. Некоторых из более молодых участников экспедиции, в основном трактористов и строителей, тоже окрестили незаслуженно «попугаями» за то, что они купили себе в Австралии пестрые рубашки: на желтой материи прыгают кенгуру, спят коала и растут эвкалипты.

Вчера ко мне заходил один из пожилых участников экспедиции, серьезный и дельный человек, кандидат наук, до странности, кстати, похожий на приобретенного им попугая, хотя в своей научной деятельности он отнюдь не лишен самостоятельности и ничуть не попугайничает. У него круглое лицо, круглые глаза, а его нос напоминает клюв попугая. Он принялся всерьез упрекать меня за то, что я растранижил валюту на пустяки, а попугая не купил. Мы обменялись мыслями по этому важному вопросу.

Он. Следовало бы купить. Для Эстонии это редкость.

Я. Ничутьки. Попугаев у нас больше чем надо.

Он. Откуда же их привозят?

Я. Мы их сами выводим.

Он. Попугаев? В Эстонии? И какой же породы?

Я. Той, что в черных платьях и в черных костюмах.

Он. Ах, вот вы о ком... Такие и у нас есть... И много они болтают?

Я. Много. И все, что ни скажут, верно. Знай цитируют да из кожи лезут, чтоб логически увязать одну цитату с другой.

Он. Значит, вы признаете, что попугай все же весьма похож на человека?

Признаю, и мне жаль, что я не купил попугая. Насколько легче мне жилось бы, если бы он сидел в углу моей комнаты и каждый день вдалбливал бы мне, что и птичьими мозгами можно угодить людям и даже преуспеть.

Разумеется, попугаи на «Кооперации» в большинстве случаев маленькие, они еще не умеют говорить, только щебечут да стрекочут, семейных ссор в их клетках не бывает. Мужчины ухаживают за ними прямо-таки с отеческой любовью и часами простаивают перед проволочными клетками. Да оно и лучше, что попугаи не так велики и способны. Говорят, в одну из предыдущих морских экспедиций какие-то безответственные люди тайком обучили попугая одного профессора неделикатным выражениям и в Москве профессору пришлось продавать птицу, причем годился в покупателя только одинокий холостяк.

И среди наших попугаев есть один покрупнее, который стоил намного дороже остальных уже из-за одной величины. Два дивных красных пера в хвосте тоже обошлись в лишние полфунта стерлингов. Перья эти, к сожалению, выпали — они оказались приклеенными.

Мне трудно писать о чем-либо ином, кроме попугаев. Со вчерашнего дня держится прекрасная погода, клетки с попугаями вынесены на воздух, а две висят прямо перед моим иллюминатором, выходящим на прогулочную палубу. Красивые, живые, симпатичные птицы. По утрам меня одолевает сильное желание свернуть им головы. Я лучше всего сплю между шестью и семью утра, перед самым пробуждением. Но в шесть встает солнце, и тотчас же в открытый иллюминатор врывается громкий и не очень-то мелодичный гомон птичьего базара. Спать больше невозможно. Так что мне и без валютных расходов становится ясно, какая дивная птица попугай и почему владельцы этих птиц вешают клетки не у своей каюты, а у моей. Но столь несправедливое отношение, разумеется, вызвано брюзгливостью сонного человека. Днем я с таким же удовольствием люблюсь попугаями, как и их владельцы, и не отпускаю по их адресу никаких критических замечаний.

Двое других представителей корабельного птичьего царства живут под палубным трапом у третьего люка. Это императорские пингвины Ромео и Джульетта. В Австралии они были любимцами посетителей судна, вокруг них всегда толпились ребяташки, а птицы, совсем уже привыкшие к людям, не обращали на них никакого внимания. Они требуют много заботы, особенно теперь, с наступлением жары и приближением тропиков. Хотя они еще не испытывали настоящей жары, можно все-таки догадаться, как будет тяжело двум этим обитателям льдов в тропических широтах. До первой отечественной гавани ответственность за них возложена на Кричака, и ответственность эта связана со множеством беспокойств и хлопот. Для Ромео и Джульетты выстроен специальный маленький бассейн, в котором они купаются по несколько раз в день. Жажду они утоляют не водой, а льдом. Кормят их мороженой рыбой и сибирскими пельменями. Кажется, они даже предпочитают последнее. Несмотря на то что мы уже давно покинули зону антарктического климата, они все еще очень много едят. Отсюда и обильное количество помета, жидкого и желтого, убирать который не такое уж удовольствие.

Впрочем, все эти мелкие неприятности никак не смогли помешать пингвинам давно стать нашими всеобщими баловнями — за их кормежкой всегда наблюдает с десятков любопытных; и если у птиц нет аппетита, то беспокоится не один Кричак, а и многие другие. У пингинов несколько задержался рост, но в общем они спокойны, дружелюбны, солидны, и гуляют на палубе по одному и тому же маршруту длиной в десять метров: впереди — более длинный Ромео, а позади — более низкая Джульетта. Они, видно, привязаны друг к другу (у пингинов как будто очень устойчивые семейные отношения) и все о чем-то болтают между собой, только вот по неуклюжести, вызванной непривычностью обстановки, да по незнанию Шекспира не разыгрывают сцен у балкона, хотя на корабле есть для этого богатые возможности. Они охотно принимают участие в утренней зарядке, которую проводит на третьем люке Фурдещкий.

Не думаю, чтобы им снилось что-нибудь кроме льда.

13 марта
Индийский океан

Наши координаты вечером — $33^{\circ}43'$ южной широты и $113^{\circ}35'$ восточной долготы. Юго-западный выступ Австралии остался в девяти с половиной милях на восток от нас, и теперь до самого Аденского залива мы нигде не увидим земли. На низкую, холмистую линию берега налег грудью темно-серый вечерний сумрак, погасив характерные блекло-желтые тона Австралии. А то, что еще не совсем скрыла сгущающаяся тьма, мешал разглядеть сильный огонь маяка, коловший глаза иглами своих лучей. У нас новый курс — 354, то есть почти норд. Потом мы сильно отклонимся на запад и пересечем экватор наискось.

На корабле вновь воцарился спокойный морской ритм штиля, — без выработавшегося ритма в океане не проживешь. Определяется он четырьмя элементами: преферансом, чтением, домино, а главное — работой. Играть в преферанс и в домино, читать и загорать — это в основном специальность трактористов и строителей, короче говоря — техников, которым не надо отчитываться в своей работе перед руководством экспедиции. А руководителям научных отрядов предстоит сдавать отчет об итогах своей работы, и поэтому они по несколько ча-

сов в день просиживают в каюте, пишут там, потеют, думают, чертыхаются и опять пишут. Трешников объявил, что тем, кто не сдаст в срок свои отчеты, грозит опасность просидеть без отпуска все лето в Москве или в Ленинграде, и это подействовало. Кинозал целиком и полностью заняли картографы, тут с утра до вечера наклеивают на карты аэрофото, постепенно создавая точную и выверенную картину прибрежного района Антарктики. Кричак часами сидит за пишущей машинкой, тем же занимается и ученый секретарь экспедиции Григорий Брегман, остальные же предпочитают писать от руки. Трешников, который требует много от других, не дает пощады и самому себе, и когда ни пройдешь мимо его каюты, всегда видишь его склоненным над столом. Лишь изредка он появляется в курительном салоне, чтобы сыграть партию в домино.

Владимир Михайлович, мой сосед по каюте, пропадает с самого утра. Большую часть дня он проводит в столярной мастерской на носу корабля, потом рисует, потом читает где-нибудь на палубе в тихом уголке и, если остается время, еще занимается с двумя своими друзьями английским языком.

«Мне нет покоя, мне нет покоя, мне нет покоя...»

Да, уж для такого человека, как Кунин, покой — это смерть. Его крючковатый орлиный нос молниеносно вынюхивает себе новое занятие, после чего Кунин скрывается на целый день в каком-нибудь из судовых помещений или в лабиринте мастерских. Тем не менее он и Кричак за обедом любят поговорить о том, что им неохота работать и что лень у них обоих, видно, врожденная. Я слушаю их с нескрываемой завистью и про себя думаю: «Вот бы и мне такую же «врожденную лень!..» Ибо, несмотря на тесноту каюты, мысли тут во время штиля почему-то разбегаются во все стороны, океан рассеивает их и целиком поглощает. Временами я даже вижу, как под его безмятежную, зеркально гладкую поверхность уходит вниз серебристой уклейкой удачная фраза, выразительное слово или половина строфы. Я чувствую, как океан высасывает из меня все содержимое, не давая ничего взамен, кроме правильного серебряного круга по вечерам и пылающего зеркала днем. То, что мы называем «сопротивлением материала», зримо встает передо мной плитняковой стеной. Все написанное раньше кажется неинтересным и серым, лишь задуманное кажется хорошим, но чтоб добраться до этого хорошего, надо

пробиться хоть на шаг сквозь плитняковую стену «сопротивления материала».

Не знаю, справедливо это или несправедливо, но мне порой кажется, что многим из нас, из эстонских писателей младшего поколения, трудно решиться на этот шаг, такой неизбежный, а ведь без этого шага не может возникнуть нового качества и вообще нового. Это результат ложного отношения к своему воспитанию, к своей работе. Мы привыкли требовать и от читателей и от критиков уважения и пиетета к труду писателя, к его таланту, к его удачам и даже неудачам, но сами часто не в состоянии взглянуть на свое произведение критическим взглядом человека со стороны, тем взглядом, какой бывает у нас в момент усталости и упадка, в моменты, когда мы наиболее строго и честно справляем свою работу. Мы предъявляем требования к другим, но не к себе. И, очевидно, в этом одна из причин крайне малой продуктивности многих молодых писателей. Мы пишем: «строитель строит», «штукатур штукатурит», «рыбак рыбачит» и т. д. и т. п., и пишем об этом как о самой естественной вещи, пишем без всяких хитростей, ибо что может быть обыденней того, что рабочий работает? Но о том, что «писатель пишет», что «писатель заканчивает новое произведение», мы еще не привыкли говорить как о чем-то вполне нормальном и будничном. Нет, мы хотим, чтобы это всегда было окружено каким-то мерцающим ореолом, за которым мы зачастую пытаемся скрыть затянувшееся творческое бесплодие, являющееся во многих случаях лишь результатом лени и благодушия, в чем, однако, мы не решаемся признаться. К ним я еще добавил бы «боязнь жизни», эту великую мастерицу фабриковать причины и поводы, выискивать виновных и прикрывать всяческими ширмами раздобревшее благодушие, эту полную даму с годовалым чадом на руках, то есть Привередливостью, и с тещей, склонившейся у постели, то есть Обиженностью. А из-за ширмы порой выглядит длинная жилистая физиономия Ее Величества Претензии. За пять лет — сборник стихов, за год — детская книжка в пол-листа или новелла, а если речь идет о критике, то пара рецензий, если их вообще не пишут лишь ко дню рождения. И мы довольны, мы подсчитываем все это и говорим, что литература идет вперед. Мне вспоминается, как во время войны один актер читал в Ярославле эстонским художественным ансамблям свой реферат о построении коммунизма, особенно подчеркивал то

обстоятельство, что при наступлении новой эпохи рабочий будет работать только два часа в день. И режиссер Каарел Ирд крикнул с места:

— И актер будет получать в год лишь по одной роли, а молодым и малоодаренным вообще ничего не дадут!

Оратора, говорят, очень огорчила такая перспектива.

Но, думается, мы нередко создаем для себя искусственный мир, искусственную эпоху двухчасового рабочего дня и кричим о несправедливости, если нас упрекают в том, что мы пишем мало, да нередко и плохо.

Не обижайтесь, ровесники и коллеги! Упреки этой иеремиады обращены мною прежде всего к самому себе, хотя при желании и нужде вы, конечно, и можете принять на свой счет то, что останется от моей доли. Меня огорчают и злят волны, глухо плещущие за бортом, вспышки маяка, все слабее озаряющие океан за кормой, и непередаваемое, но неотступно грызущее чувство бессилия и невыполненного долга.

14 марта

Сильная волна в семь-восемь баллов, гул ветра. Готовим стенгазету ко дню выборов, то есть к 16 марта. Вернее, Кунин готовит. Текст уже наклеен, осталось написать шапку и заголовки да нарисовать карикатуры. Иные шаржи получаются очень удачными, особенно на участников экспедиции. Так как музыкальный салон сейчас полностью отдан в распоряжение ученых и составителей отчетов, мы расположились в красном уголке команды. Нас уже трижды пыталась выставить отсюда сердитая уборщица. Это пригожая девушка, архангельская красавица, — крепкая, но стройная, с красивыми руками и ногами, с синими и пронзительными, сейчас злыми глазами, с круглым лицом, с милым вздернутым носиком, усеянным веснушками. Она моет пол в кают-компании команды (являющейся одновременно столовой и красным уголком) и без передышки и всякого почтения ругает нас несколько часов подряд. Ругает нас негромко и разборчиво, ровным голосом. Все мы — я в качестве редактора, а Кунин с Фурдецким в качестве сотрудников — узнаем свою истинную цену: мы лодыри и мазилки, мы художники чертовы (слово «художники» в ее устах звучит как очень уничижительное), мы старые дурни и мусорщики, мы хулиганы и нахалы и т. д. и т. п.

Поскольку мое участие в создании стенгазеты уже закончилось, я сижу молча, Фурдецкий изредка вставит словечко-другое, но это все равно что подливать масло в огонь, а Кунин, наш вежливый и воспитанный, тихоголосый Кунин, бормочет под нос, раскрашивая какую-то карикатуру:

— О господи, разве мало на свете всякой дряни, что ты создал еще и женщин!

Это, кажется, слова Гоголя. Но архангельская красавица, не обращая ни на что внимания, продолжает ругать нас, и мне со своего места любо смотреть на нее: до чего же пригожая девушка! Как споро ее покрасневшие руки протирают мокрой тряпкой линолеум! А глаза ее, поглядывающие на нас из-под упавшей на лоб пряди и готовые испепелить нас, блещут и сверкают словно звезды. Порой она отшвыривает ногой стул, будто и тот принадлежит к компании «мусорщиков», делающих стенгазету, и выражается совсем уж по-мужски и весьма нелестно для нас. Так как мы находимся на самой корме, наш стол сильно подбрасывает вверх и вниз, иллюминаторы все время залиты водой. Краска на бумаге часто расплывается, и кисточка оставляет на ней неподвижные полосы. Но архангелогородка не обращает внимания ни на качку, ни на ветер, ни на то, что уже с четверть часа ей никто не перечит, а знай поносит нашу четырехметровую(!) газету и нашу работу, которая должна перевоспитывать людей и, в частности, ее. Приятно слушать, как она разливается жаворонком, видеть ее гневные глаза и вспоминать, каким она бывает ангелом на танцевальных вечерах в музыкальном салоне.

Внезапно девушка, вытирающая тряпкой ножку стула, затихает, ее яростные движения становятся нежными, прядь, нависшая на глаза, исчезает под платком, и мы слышим ее дивный грудной голос, не для нас, очевидно, предназначенный. Этот берущий за душу голос поет:

Я не брүнет

И не поэт...

И что-то еще в том же роде про любовь и про клятвы.

В дверях появляется один из молодых участников экспедиции, брүнет с мощной шевелюрой и поэтическим взглядом. Девушка замечает его и, как бы оторопев, встает, поправляет китель, улыбается, любезно приносит нам пепельницу, которую мы давно выпрашивали, и про-

сит не бросать окурки на пол. Молодые люди беседуют о чем-то в дверях. Насколько я слышу, словарь архангелогородки порядком усох, утратил свою сочность, мужественность, образность — теперь все ее выражения тщательно отобраны и литературны. А высокий брюнет, на время избавивший нас от роли «мусорщиков», лишь повторяет все время то умоляюще, то ласково, то с легким упреком:

— Дуня, Дунечка!

Но под кителем Дунечки уже обрисовались еле заметные белые крылышки. Ее глаза мягко сияют, ее голос мелодичен и нежен. Все та же вечная повседневная история с бабочкой, выпархивающей из кокона и расправляющей свои яркие пестрые крылья. Только что мы видели маленького крокодила — и вдруг...

Меня ты — я верю в чудо! —
На ласковых крыльях своих
В рай вознесешь, откуда
Мне падать так высоко.

Они долго шепчутся, с тихим шелестом пролетают по качающейся кают-компании имена Дуни и Толи. Кунин и Фурдецкий пишут заголовки, а я с нетерпением жду того момента, когда девушка снова взглянет на нас тигрицей и примется объяснять нам, какой мы тяжкий крест для ее красивой шеи. Но это момент так и не наступает. Толя уходит, а Дуня остается все такой же доброй, как и была. Она больше не придирается к нам и даже, взглянув на кунинские карикатуры, хвалит их. По просьбе Владимира Михайловича она приносит ему из кухни воды для акварельных красок, за которой мне приходилось ходить в среднюю часть корабля, — Дуня не давала нам ни капельки.

За наружной переборкой ветер в шесть-семь баллов. Но океан в душе Дуни солнечен и гладок словно зеркало. Удивительно!

16 марта

День выборов в Верховный Совет. «Кооперация» приписана к Мурманскому порту, и мы голосуем за тех же кандидатов, что и тамошние избирательные участки. Биографии кандидатов нам были переданы по радио. Мы все успели проголосовать до семи утра. И на ко-

рабле воцарилось воскресное спокойствие, более торжественное, чем когда-либо. На баке полным-полно людей — кто загорает, кто просто смотрит на воду, кто во что-то играет. Вечером в музыкальном салоне танцы. По желанию наиболее молодых участников экспедиции и женского персонала танцы устраиваются дважды в неделю и обычно — на задней палубе. Танцующих бывает мало, зрителей — много.

Днем сидел у летчиков. Там были Фурдецкий и старый полярный летчик Каминский, бортмеханики и радисты. Каминский — человек старше пятидесяти, с наголо стриженной головой и широким костистым лицом. Годы изрезали его лицо морщинами, схожими со следами резца на дубовом дереве, взгляд его синих глаз молод и спокоен. При чтении он пользуется очками. Читает он страшно много, читает целыми днями, вдумчиво, неторопливо, возвращаясь время от времени к уже прочитанным страницам. Он любит спорить о литературе, о книгах. Сейчас по кораблю ходит из рук в руки «Битва в пути» Галины Николаевой, об этой вещи идут споры и в каютах, и на палубах. Каминский подготавливает конференцию по этому произведению, которая, очевидно, состоится лишь в Красном море. Не знаю, что получится из конференции. Почти все здесь — люди техники, в той или иной степени соприкасавшиеся с конструированием сложных машин и приборов, с вопросами их практического использования. В происходящих спорах на первый план всегда выступают технические проблемы, вопрос о точном описании производственных процессов. Человеческие проблемы, страсти людей, их слабости и достоинства — все это мелькает где-то на заднем плане. Но уж когда добираются и до этого, то выясняется, что почти все участники экспедиции, и молодые и старые, предъявляют литературному герою очень большие требования и не прощают ему ничего. Они хотят, чтоб герой был чистым, чтоб он был деятельным и чтоб он не боялся риска. В море с человека спрашивают больше, чем на суше, а в экспедиции — еще больше, чем в море. Эта требовательность неизбежно переносится и на литературу, причем особенной силы и чистоты требуют от героинь. И порой их с особенной легкостью наделяют прозвищами «бабочек», а то и какими похуже.

Я упомянул героя, не боящегося риска. Это наш всеобщий любимец, к нему наиболее снисходительны.

И не очень придираются к целям, которые ведут его вперед, к побуждениям его действий. Здесь особый класс, разумеется, составляют полярные исследователи: Амундсен, Нансен, Скотт, седовцы, четверка папанинцев, Чкалов, Громов, Бэрд, Моусон. Это знаменитые коллеги по странствиям во льдах и над льдами. Но стоящий народ и тюленеловы Южного Ледовитого океана, многие из которых побывали на Крайнем Юге раньше признанных первооткрывателей, — они лишь подделывали записи в судовых журналах, чтобы утаить места лова. Стоящий народ и португальские капитаны, которые в погоне за перцем открывали новые острова и пополняли карту мира, — эти, правда, были не прочь из-за мешка перца и перерезать глотку своему конкуренту. Такие могли из-за пустяка вздернуть матроса на рею — нравом они были страшнейшие деспоты, но история забывает о повешенных матросах и увенчивает охотника за перцем лавровым венком первооткрывателя. Похоже, что ставить так высоко людей риска заставляет полярников, летчиков и моряков их профессия, да и сходство их характеров с характерами смельчаков прошлого.

Мы беседуем о самой ходовой книге из судовой библиотеки, которую по прочтении молча откладываешь в сторону и которая глубоко потрясала нас своим суровым документализмом и духом отчаянного, бессмысленного риска. Это книга командира японской подводной лодки: «Потопленные. Японский подводный флот в войне 1941—1945 гг.». Автор ее принадлежит к числу тех немногих командиров японских подводных лодок, которые остались в живых после войны с Америкой. Американцы потопили фактически весь подводный флот Японии. И «Потопленные» — не что иное, как хронологический перечень гибелей, история бессмысленной гонки со смертью, обвинительный акт против адмиралтейства Японии. В начале войны японский подводный флот был уже устаревшим, отсталым, и во время войны его заставляли выполнять невыполнимые операции. С его помощью пытались снабжать японские гарнизоны на островах Тихого океана, блокированных военно-морскими и военно-воздушными силами Америки. Мешки риса посылали к берегу из торпедных аппаратов. Строились подводные авианосцы для бомбежки Панамского канала, но при этом они не снабжались радарными установками, уже имевшимися в Японии. Японские подводные лодки дважды огибали мыс Доброй Надежды, пересекали «ре-

вушие сороковые» Атлантического океана, добирались до европейских вод и встречались на немецких базах у берегов Франции с немецкими субмаринами. Это был смелый шаг смелых командиров и моряков. Но наиболее потрясает в «Потопленных» глава о людях-торпедах, появившихся в Японии перед ее разгромом. Ни один человек, выпущенный из специального торпедного аппарата, не вернулся назад, у нас нет никаких сведений о переживаниях этих обреченных. Пойти на этот шаг могла только Япония, только японцы. За таким поступком должно скрываться какое-то непонятное для нас отношение к жизни и убеждение самоубийцы, осознавшего предстоящий конец, что иначе быть не может. Людей-торпед обучали в особых школах, после чего они получали специальную форму и жили как завтрашние мертвецы. Затем они попадали на подводные лодки, забирались в подходящий момент в торпеды, и последнее, что они успевали крикнуть по радиотелефону, было: «Да здравствует император!»

Вся книга пронизана фатальным спокойствием автора, он перечисляет имена погибших товарищей и номера не вернувшихся на базу лодок. По манере письма это самая бесстрастная и самая угнетающая книга. Но мы признаем ее. Почему? Отчаянный риск, постоянное устремление к безнадежному исходу — в этом-то и состоит ее очарование, подобное гипнозу змеиного взгляда.

За свою долгую летную жизнь Каминский налетал сотни тысяч километров надо льдом, он повидал и пережил все, что можно повидать и пережить в таких полетах. Я знаю, что он пишет дневник, который очень объемист и наверняка очень богат фактами. Меня интересует, понимает ли он, что является одним из самых чистых, самых деятельных героев, не боящихся риска. Видимо, не понимает. Его жизнь, прошлая и настоящая, кажется ему такой же естественной, как хлеб на столе, как воздух вокруг него и под его крыльями.

18 марта

Почти во всяком коллективе существуют свои скрытые противоречия, свои лагеря, борьба убеждений, трения вкусов и характеров. Они наверняка имеются и среди отдельных наших ученых — здесь-то и таятся самые запу-

танные и в то же время самые скрытые подводные течения.

Но в этой тихой и бескровной войне наиболее отчетливо выделяются две группы противников: болельщики «Спартака» и болельщики «Динамо». Меня еще в Мирном и даже в глубине Антарктиды поразило то, что одни трактора были украшены вымпелами «Спартака», а другие — вымпелами «Динамо». Озадачили однажды лица людей, когда я, спровоцированный ими на разговор, превознес *не их* общество. Впоследствии из-за этой двусмысленной позиции, из-за этой непричастности к какому-либо стану я не раз оказывался в мучительном положении. Дабы найти выход, я вступил в таллинский «Калев», — разумеется, неофициально и не уведомляя об этом руководителей общества. Я мудро предпочел «Калев» таллинскому «Динамо» и таллинскому «Спартаку», так как наименования последних неминуемо втянули бы меня в тот или иной лагерь. А в «Трудовые резервы» я не вступил потому, что это название (но не само общество!) кажется мне совершенно невозможным. Вы только подумайте: «Трудовые резервы»! Это название делает человека если не нулем, так цифрой, превращает его в единицу, лишенную индивидуальности и характера, почти отождествляет его с механизмом. Когда я вижу фабричную молодежь, идущую строем по вечернему Таллину — часто в плохо пригнанных и всегда мрачных шинелях черного цвета, как бы съедающего молодость этих ребят и превращающего их всех в однообразные унылые фигуры, — то меня каждый раз больно колет это словосочетание — «Трудовые резервы». А ведь я знаю, какие умелые руки у этих парней и девушек в грубых шинелях, какие жадные к науке головы у этих ребят в форменных фуражках. Отличный народ, наш завтрашний день! Но неужели же это только трудовые резервы, только человеческий материал? Меня бы, во всяком случае, обидело, если кто-нибудь назвал бы меня так же, как называют этих молодых ребят, и сказал бы: «Ах, Смуул? Знаю, он теперь — «трудовой резерв»!»

Вот по каким соображениям я выбрал таллинский «Калев».

— Нашему «Динамо» — ура! — крикнул мой старый друг Владимир Гаврилов, выиграв партию в домино и обменявшись долгим, крепким и демонстративным рукопожатием со своим партнером, тоже динамовцем.

— Случайность! Судьба играет человеком! — И один из проигравших, товарищ Гаврилов по каюте Игорь Тихомиров, страстный болельщик «Спартака», не сумев скрыть огорчения, вздохнул.

— Случайность? — весело воскликнул Гаврилов. — Какая же это случайность? «Динамо» всегда вас било и будет бить. Bravo, «Динамо»! Дрожи, Европа! Мы — это сила!

Нет более близких друзей и более кровных врагов, чем Владимир Гаврилов и Игорь Тихомиров. Оба являются врачами экспедиции. Тихомиров — врач по внутренним болезням, Гаврилов — стоматолог. Гаврилов работал врачом и поваром на Востоке с самого основания этой станции. А Тихомиров работал в Мирном, но вместе с тракторным поездом тоже побывал на Востоке в качестве врача-повара. Лишь на тракторах он наездил по антарктическому льду около четырех тысяч километров.

Не найти и более непохожих друг на друга по внешности людей. Гаврилов маленький и плотный, он ходит в очках с круглыми стеклами, сквозь которые смотрят на вас карие глаза, — в их остром, живом и любопытном взгляде есть что-то птичье. У него круглое лицо, энергичный нос, а сам он для своего роста невероятно силен. Своей железной рукой он порой убеждает в ударной мощи «Динамо» тех, кто в ней сомневается. Почтительный страх перед его силой и вынудил меня срочно назваться патриотом «Калева». Гаврилов темпераментный спорщик, почему-то старающийся казаться скептиком. Если кто-то излишне в чем-то уверен, если кто-нибудь хвастается, он обычно бросает свое всеисчерпывающее, вернее — всеотрицающее:

— Горлопан!

Но в его собственной правоте попробуй только усомниться. Он тут же распаляется, его и без того звонкий голос поднимается совсем на верха, а глаза начинают метать молнии.

Игорь Тихомиров высок, спокоен, обстоятелен, задумчив. Он много читает, как и Гаврилов, но его мнение о прочитанном заставляет смиряться даже задиристого Гаврилова. Одна бровь у Тихомирова всегда приподнята, и это придает его лицу что-то мефистофельское. В раж его привести трудно, но когда уж приведешь, то надолго. Если в споре была затронута общечеловеческая проблема (а Тихомиров всегда затрагивает более об-

ширные, космические проблемы) и он не сумел убедить противника, то рубит сплеча:

— Совести у тебя нет! У тебя вместо совести... — И поясняет, чем заменена у противника совесть.

Мне он несколько раз говорил предостерегающе, в тех, разумеется, случаях, когда я с ним спорил:

— Я тебя научу любить свободу!

В устах независимого и любящего свободу Тихомирова это самая страшная угроза, — фразу эту он в разных обстоятельствах произносит по-разному, но всегда весомо.

Когда проходишь мимо их каюты и заглядываешь к ним в иллюминатор, то часто видишь Игоря на койке с книгой на груди. Сложив руки под головой, он сосредоточенно о чем-то думает, а сидящий напротив Гаврилов изо всех сил старается отвлечь своего друга от бесплодного теоретизирования и втянуть его в деловую дискуссию.

— Видишь! — говорит он. — Думает! И о чем ему думать?

— Не мешай! — машет на него рукой Тихомиров и все-таки приподнимается.

— Знаешь, над чем он думает? — спрашивает меня Гаврилов. — Над новой теорией игры в домино. Ночи напролет не спит. Хочет понять, почему он проиграл вчера и проиграет завтра. Да уж что поделаешь? Раз «Спартак» — приходится проигрывать. Слабая командочка...

И тут начинается.

В конце концов они появляются в курительном салоне, усаживаются за стол и начинают стучать костями. В виде исключения они иногда играют вместе, временно забыв о соперничестве «Спартак» и «Динамо». Гаврилов играет темпераментно и рискованно, Тихомиров — молчаливо и расчетливо. После того как они выигрывают, Тихомиров говорит:

— Я вас научу любить свободу!

А Гаврилов доказывает, что оба они, два друга из каюты № 107, стали бы чемпионами «Кооперации», если бы цвета их обществ позволяли им всегда играть вместе. Динамовцы — они, конечно, покрепче, но для «Спартак» и такой игрок, как Игорь...

И тут снова начинается...

Дивная погода. Сегодня вторично пересекли тропик Козерога под $98^{\circ}50'$ восточной долготы и вошли в тропики. Снова они перед нами — на этот раз в Индийском океане. Предстоят жаркие дни.

А далеко от нас, почти по прямой на юг, начинается владычество зимы. Вчера на Востоке было 67° градусов ниже нуля. И это в начале зимы.

20 марта

Быстро становится все жарче. Скорость приличная — нам помогает юго-восточный пассат. Еще в начале обратного рейса капитан Янцелевич проявил такую любезность, что разрешил мне бывать на командном мостике и в машинном отделении. На экспедиционном корабле это самые тихие места. Командный мостик кажется особенно изолированным от остального мира — беспокойного, говорливого и непоседливого, то есть от нижних палуб. Тут редко увидишь кого-нибудь, кроме рулевого и членов командования корабля. И, войдя в дверь командного мостика, сам тоже притихнешь.

Я обычно прихожу сюда после двух часов. Сквозь узкую дверь, расположенную слева от штурвального и ведущую в штурманскую рубку, видишь седую голову Анатолия Савельевича, склонившегося над морскими картами. К этому времени он обычно заканчивает свои полуденные вычисления и отправляется потом в свою каюту или идет к машинистам. Здесь больше всего забот: дизели «Кооперации» стали слишком уж часто отказывать, детали изнашивались и постарели, недостатки ремонта, произведенного перед рейсом, дают о себе знать каждый день. И когда океан, как сейчас, спокоен, Анатолий Савельевич показывается на мостике сравнительно редко. Придет, обменяется со штурманами несколькими короткими и скупыми фразами, «снимет солнце» своим личным сектантом, чтобы проверить вычисления, склонится на полчаса над картой, производя расчеты, может быть, внесет в курс небольшой корректив, а потом уже на мостике остаются одни «Анатолии», как мы дружески именуем всех штурманов «Кооперации». Старшего помощника зовут Анатолием, третьего помощника — тоже Анатолием, а четвертый, Огороков, — так и вовсе Анато-

лий Анатолевич. Но зато где-нибудь в Южном Ледовитом или Северном Ледовитом океане и всюду, где нужен большой опыт капитана дальнего плавания, капитана ледовых морей, Анатолий Янцелевич простаивает на мостике по десять часов кряду. Из всех капитанов, которых мне посчастливилось видеть, он один из самых удачливых, самых умудренных, самых спокойных и самых замкнутых. И, безусловно, один из самых суровых. Но последнее проявляется лишь по отношению к вверенному ему экипажу, но не к экспедиции.

Анатолий Савельевич оставляет свои карты. И примерно в то же самое время, что и каждый день, из штурманской рубки выходит второй помощник, единственный не Анатолий, Веньямин Николаевич Красноюрченко. Его вахта продолжается с двенадцати до четырех дня. Веньямин Николаевич приносит судовой журнал. Я списываю оттуда данные о нашем местоположении в полдень, о курсе, о температуре воды и воздуха, о силе и направлении ветра, о скорости судна, о пройденном за сутки расстоянии. Каждый день я пытаюсь обнаружить в записях что-нибудь необычное, но найти такое в судовом журнале более чем затруднительно. «Вахта сдана», «вахта принята». Шесть раз в сутки, как и положено, меняются при смене вахт почерки. И больше ничего, кроме цифр, что обозначают номера восточных меридианов и постепенно уменьшающиеся номера южных параллелей да слабые колебания в скорости ветра и силе волн. И все же здесь вся история судна, его команды, его рейсов. Сколько мне придется еще бродяжить и учиться, прежде чем я сумею читать эту суровую поэму, постигать ее скупую красоту!..

Мы тихо разговариваем о погоде и о море, штурвальный неторопливо переводит рычаг (на «Кооперации» нет штурвала) то влево, то вправо, стрелка гирокомпаса перемещается как бы нехотя, но все же его показания более убедительны, чем показания магнитного компаса. Из открытых дверей и больших окон струится ровный и сильный свет, свет океана, озаряющий впереди, за носом корабля, бесконечную, тянущуюся до самого горизонта даль. Летучие рыбы оставляют на спокойной воде длинные полосы. Не видно ни одной птицы. Очертания облаков мятежны и фантастичны. А перед носом разбегаются волны, каждый день новые и все-таки те же самые. Лишь это да еще ровное биение винта говорит о том, что мы движемся.

В штурманской рубке пройденные расстояния становятся зримыми. Измеришь циркулем оставленную позади дорогу и увидишь, как наш курс перерезает наискось долготы и широты, — его тонкая черная черта кажется на белой карте стремительно летящей стрелой. Один конец длинной линейки упирается в пункт, рядом с которым написано каллиграфическим почерком: «20. III 58, 12.00», а другой — в беспорядочно разбросанные точки кораллового архипелага Чагос, извилисто вытянутого к северу. Самописец автоматически заносит на бумагу пройденный путь, а в упор на меня смотрит своим зеленым, сейчас потухшим глазом экран радиолокатора.

Тишина.

22 марта

Координаты в полдень $13^{\circ}50'$ южной широты и $85^{\circ}20'$ восточной долготы. Температура воды плюс 29 градусов, воздуха — плюс 28 градусов. Все тот же пассат с юго-востока. Скорость — десять узлов. В каюте душно и сыро. Почти все обитатели третьего класса перебрались на палубу. Над первым люком — большой брезентовый тент, над вторым — два тента, натянутые на круглые металлические решетки. Под навесами немного прохладнее, чем в каютах. Попугаи чувствуют себя хорошо, о чем и сообщают нам еще ранним утром громкими пронзительными голосами. Работа не ладится. Не только у меня, но и у других, хотя кое-кто из экспедиции ежедневно потеет положенное количество часов над своими отчетами.

23 марта

В Атлантике на той же широте было гораздо прохладнее. Правда, здесь часто идут дожди (в год тут выпадает три тысячи миллиметров осадков), но освежают они лишь на минуту. Слабого попутного пассата вообще не чувствуешь, хотя он и увеличивает нашу скорость на добрых пол-узла. Все жалуются на то, что мозги не работают. Людям прохладных широт нелегко в этой большой, глубокой и бескрайней ванне с синей водой, то есть

в части Индийского океана, находящейся между тропиками Рака и Козерога. Все до отвращения теплое: воздух, вода в графинах и в бассейне и даже окрошка. Почти никто уже не восхищается синевой океана и устойчивостью хорошей погоды. Все мечтают о холодном пиве.

Вечером мы с Куниным смотрим фильм из спасательной шлюпки № 5. Тут ближе к небу и к звездам. Сегодня мы заметили, что Южный Крест уже довольно сильно опустился вниз, а над океаном повисла Большая Медведица. Еще дня два — и мы увидим Полярную звезду. Ночи очень темные, а тропические звезды — яркие. Весь вечер над океаном сверкали молнии. Грома мы не слышали, но молнии вспыхивали на горизонте словно распускающиеся огненные цветы. Казалось, они появляются не сверху, а снизу — из воды.

24 марта

Координаты — $8^{\circ}30'$ южной широты и $78^{\circ}50'$ восточной долготы. У меня те же самые желания, что и у молодой зреющей ржи: поменьше бы пекло и побольше бы прохладной воды! Но душ закрыт — какой-то механизм испортился.

25 марта

Жара. К счастью, с севера подул слабый ветерок. Океан гладкий и ослепительно синий. Дня через два мы пересечем экватор, но полоса безмолвия, вероятно, оборвется лишь на десятой параллели. По палубе больно ходить босиком — даже дерево горячее, а железные ступеньки трапов просто обжигают кожу. Ромео и Джульетта не выходят из-под трапа, они потеряли аппетит. Их полуоткрытые клювы опущены на грудь. Джульетта похожа на молящуюся монахиню.

Провел полчаса в машинном отделении. Работают оба дизеля. Даже спускаясь сюда с палубы, над которой пылает солнце, чувствуешь, будто попал в преддверие ада. Корпус корабля излучает теплоту океанской воды, к этому присоединяется жар машин, жар их больших металлических масс, запах горячего масла и ровный, моно-

тонный гул. Тут все горячее — и железные перила, и содрогающийся металлический пол, и само помещение, оплетенное гигантскими трубами и всякими проводами. Оно вытянуто от палубы до дна корабля словно колодец. Самая тяжелая и изнурительная жизнь в тропиках — у мотористов.

Когда смотришь на «Кооперацию» с прогулочной палубы, с места над каютами второго и третьего класса, наш красивый корабль кажется похожим на дикобраза. Из каждого иллюминатора торчит лист либо фанеры, либо жести, либо толстого картона, согнутый полуцилиндром. Это самодельная вентиляция кают. Вид получается не очень-то красивый, но он почему-то отлично гармонирует с шатрами на палубе, с нашим несколько цыганским укладом жизни. Новейшая система охлаждения работает хорошо, но боцман и Кунин проклинаят ее: стоит лишь выпустить из виду какой-нибудь кусок жести или фанеры, как он бесследно исчезает.

Из числа команды больше всего соприкасается с участниками экспедиции старший помощник капитана Анатолий Доня. Ему предъявляются претензии относительно питания, воды, бани и прочих вещей. Старпом является своего рода буфером между командованием корабля и экспедицией. Эта роль не из легких, ибо если столom все довольны, то положением с водой — не очень. И когда у «Кооперации» останавливается один дизель и скорость падает, старпому приходится выслушивать много неприятного. Люди ходят злые и нахохлившиеся, они приходят в бешенство при взгляде на слабую, еле видную килевую струю. Даже самые спокойные порой взрываются. Безжизненный корабль поносят, словно надоевшую тещу. Доня равнодушно выслушивает поношения, и разъяренный товарищ отходит от него, несколько утешившись: пускай его слова не облегчат тяжелого труда механиков и не увеличат скорость, но он все же сказал все, что думает.

Анатолий Доня — сердечный человек и хороший товарищ. Почти все зовут его либо просто по имени, либо «Старшим», подразумевая его должность старшего помощника. Много вечеров я просидел в просторной каюте Дони, беседуя о морях, о плаваниях, о нас самих и о своих планах. Благодаря зеленому абажуру всю каюту — и вещи, и стены, и углы, и нас самих — окутывает мягкая полутьма, делающая помещение обширным

и таинственным. Лишь на круглый стол падает яркий свет. После отплытия из Австралии нашим третьим компаньоном всегда бывал маленький попугай Дони, которого он вез в подарок своей дочери. Попугай свободно летал по каюте, вертелся на проволоке, специально для него натянутой, и придавал всей обстановке что-то очень домашнее. Доня баловал птицу (она была из мелкой породы попугайчиков с приятным голосом), которая уже нередко садилась к нему на палец и принималась щебетать.

Сегодня Доня пришел в мою каюту, уселся и чуть ли не четверть часа мрачно молчал. Сколько я помнил, ни одна претензия по службе не приводила его в такое расстройство.

- Удрал... — сказал он наконец убитым голосом.
- Кто удрал?
- Попугай. Австралиец.
- Как же?
- Через иллюминатор.

Доня всегда затягивал открытый иллюминатор марлей, но на этот раз он забыл так сделать. Не прошло и получаса, как красивая птица улетела в океан. Но даже до самой ближайшей земли, до архипелага Чагос, отсюда слишком далеко, чтобы она смогла туда долететь. Пропадет попугай. И это больше всего нас огорчает.

Между прочим, вечерний выпуск радиогазеты откликнулся на это событие длинным некрологом, в котором были перечислены благородные душевные свойства и заслуги ушедшего и выражалось соболезнование всего коллектива владельцу попугая, а также и австралийским родственникам пропавшего без вести. Прочел некролог благоговейным траурным голосом доктор Кричак.

26 марта

Хенрик В. ван Лоон, автор превосходной книги «Моря и люди», начинает свой труд такими словами:

«История мореплаваний — это мартиролог человечества, причем на этот раз камеры пыток, которым подвергались люди, бросившие вызов богам Времени и Пространства, были названы кораблями».

Душно, жарко. Вода совсем как зеркало, нет и намека на ветер. Весь день работает лишь один дизель. Тащимся со скоростью семи миль в час. Здесь, в этой полосе безмолвия, Индийский океан наиболее безжизненный: ни одной птицы, ни одного судна, ни одного дымка на горизонте. Водяная пустыня — синяя, огромная и жаркая. Цветы в горшках, подаренные Кунину в Австралии, вянут на глазах, и мы не знаем, что предпринять для их спасения. Потеет без конца.

Но когда я в состоянии думать, мне становится ясно, какой это подарок — увидеть и этот лик океана.

28 марта

В 7.21 пересекли экватор под $68^{\circ}10'$ восточной долготы и перебрались в северное полушарие. Сирена «Кооперации» мощным троекратным ревом попрощалась с южным полушарием. Большинство участников возвращавшейся экспедиции последний раз были в северных широтах в ноябре 1956 года, то есть почти полтора года назад. Для них возвращение под звезды Большой Медведицы — волнующее событие. Ночное небо, которое с каждым вечером становится все более знакомым, порождает и у меня чувство близости к дому, хотя воды, которые лежат за форштевнем — Аденский залив, Красное, Средиземное и Черное моря, — для меня чужие и незнакомые.

Я мечтаю о прохладной и серой воде эстонских проливов, о деревенских праздниках и о том, что воспевал премудрый Соломон в своей «Песни песней». Дума моя, просолившаяся, как салака, устремляется к звездам.

Но — стоп!

После обеда встретили первый после Австралии корабль. Это был большой и низкий дизель-электроход, под его форштевнем развевались пышные пенистые усы; вероятно, его скорость была четырнадцать — пятнадцать узлов. Нам, верно, еще не раз придется с завистью глядеть на быстроходные суда. Много позднее видели еще целую стаю птиц и больших летучих рыб. Уже несколько дней, как они нам попадаются, но рыбки до сих пор были крошечные, словно кильки. Они летят над водой долго, совсем как птицы, чешуя их красиво переливается на солнце. А по правому борту резвилось большое дель-

финье стадо; затем, взбаламутив воду, оно исчезло вдали. Очень тихо и очень жарко. Океан — словно отполированная сталь, он отражает и облака, и растопыренные плавники да сверкающие грудки летучих рыб. Лишь вода за кормой «Кооперации» покрыта беспокойной рябью.

31 марта

Я читаю:

Гибельный рок,
Лица с печатью тайны,
Хан, караван,
Журчащий фонтан.
На ножах танцует султанша,
Магараджа и падишах,
Тысячелетний шах,
Бледный месяц над минаретами,
Рыжие, крашенные хной красавицы
Возлежат на пестрых коврах,
Плач муэдзина,
Сладкий яд опиума —
Вот вам Восток во французском романе,
Вот вам Восток в вашей фальшивой раме,
Размноженный миллионными тиражами.

Это строки из стихотворения Назыма Хикмета «Пьер Лоти» («Восток и Запад»). Они вспомнились мне сегодня, когда я разозлился на океан, на правильный круг безжизненной воды, на пустынное, высокое и яркое небо над ним, на корабль, где на командном мостике счетчик показывает сто пятнадцать оборотов винта в минуту, а лаг — девять с половиной узлов, на самого себя, потому что жара и безмолвие не только нависли над океаном и раскаленной палубой, не только наполнили каюту серо-голубой тоской, но и стали единственной темой моих мыслей, стали для меня единственной неопровержимой реальностью, на которую можно было разозлиться. Произошло это явно потому, что где-то в тайниках души я все же окружил тропический Индийский океан ложным ореолом, но тут этот ореол рассеялся как дым. Ох, море, море! На суше мы обшиваем его блестками и лентами, подобно Пьеру Лоти, идеализирующему Восток, обвешиваем бубенцами и погремушками, подкрашиваем его, словно боимся увидеть лицо мо-

ря без косметики. Дня через два слева от нас появится Африка, а справа Аравия — «хан, караван». На восток же от нас останется Аравийское море, через которое плыл мятежный паломнический корабль «Патна», корабль, из книги Конрада «Лорд Джим», одной из самых моих любимых. Какая монотонность! Я вспоминаю о неделях, проведенных на лове сельди в Северной Атлантике, и мне кажется, что ни разу океан там не был таким мертвым. Вспоминаю, как мы в промасленных куртках, накинутых на сырые, пропахшие сельдью спецовки, бродили, шатаясь, по узеньким коридорчикам во время трехдневного шторма, заставшего нас где-то между Исландией и Ян-Майеном, вспоминаю, как наш траулер так мотало, подкидывало и бросало, что даже нельзя было понять, какого типа волны нас треплют. Да, там было нелегко — мне с непривычки особенно, — но здесь, в этой части Индийского океана, куда тяжелее, душевно тяжелее. Кажется, что в океане, в этом вместилище полной неподвижности, на глазах у тебя сплывилось воедино множество безвестных людских судеб, серых и будничных. И никакая дрожь не возмутит море времени, никакая значительная радость, никакая значительная страсть, никакое чувство — даже глубокое отчаяние.

По-видимому, это раздражающее спокойствие океана действует не только на меня. Многие участники экспедиции скрыто переживающие сильную тоску по дому, говорят, что сыты морем по горло. Как только один дизель «Кооперации» прекращает работать (а случается это часто) и скорость корабля падает, раздаются яростные возгласы. Господи, каравеллы Колумба делали по четырнадцать узлов, парусники, возившие чай, — по восемнадцать, а мы зачастую тащимся по свинцовой простыне океана со скоростью в шесть-семь узлов. И это во второй половине двадцатого века, когда где-то там, в выгоревшей высоте, наш луноид мчится со скоростью восьми тысяч метров в секунду!

Пялимся на океан. Занятно, до чего красивые слова о море я слышал от людей из глубин материка, впервые увидевших Таллинский залив с подножия памятника «Русалки». В то же время в словаре моих друзей-рыбаков, располагающем оценками самых разных вещей, нет ни одного выражения, характеризующего красоту моря. Тут найдутся хорошие и красивые слова и о женщинах, и о полях, и о хлебах, и о лесе, и обо всем, что обычно закрывает горизонт, — такие слова, рядом с которыми лю-

бое литературное сравнение покажется бледным. Но море, бурное или тихое, кажется особенно беспощадным тем, кто плывет домой и перед кем расстилается его бесконечный с виду простор, ненасытно и равнодушно проглатывающий день за днем. Тоска по дому делает нас несправедливыми по отношению к океану и к кораблю.

Вечер. По правому борту, милях в полутора от «Кооперации», движется корабль. Наверно, он прошел через Суэц и направляется в Австралию. Он точно такого же цвета, как и серые облака над водой, и кажется их клочком. Две его мачты похожи на спички, на вершинах которых виднеются две безмолвные и неподвижные точечки белых огней. Чудится, будто этот корабль нагружен Временем и Пространством, столь нам враждебными.

2 апреля

Наконец вышли на большую дорогу...

Утром, часов в шесть, увидели первую после Австралии землю. Это африканский материк, Итальянское Сомали, мыс Гвардафуй. «Кооперация» обогнула его полукругом и вошла в Аденский залив. Прощай, океан! Или до свидания? Кто знает? Я писал и думал о нем несправедливо. Конечно, океану все равно — от моих слов и мыслей он не станет ни лучше, ни хуже, не вздумает на меня обижаться. Он велик — велик и в спокойствии, и в гневе. Вспоминается мудрый Платон, его «учение о душе». По мнению Платона, душа состоит из трех частей: 1) разума, 2) нетерпения и 3) вожделения. В «колесницу души» Платона запряжено два коня — конь нетерпения и конь вожделения. А в колеснице восседает разум. К сожалению (это мы очень хорошо знаем по описанию мореплаваний), в океане и конь нетерпения и конь вожделения самовольно забираются в колесницу, запрягают вместо себя разум и начинают его подхлестывать. И тогда мы уже не можем смотреть на океан с тем же спокойствием, с каким он глядит на нас. Эти мудрые строки будут моим прощальным словом к Индийскому океану.

По левому борту, уже исчезая в мерцающей дымке зноя, тянется Сомали. Около маяка, расположенного на самом верху мыса Гвардафуй, оно было совсем близко

от нас — в километре, в полутора. Бурые, светло-бурые, местами бледно-желтые скалы, лишенные растительности и влаги. Они круто обрываются в море, и их раскаляет солнце. Между скалами к синей воде спускаются низкие, безжизненные, бесцветные долины, занесенные песком пустыни и похожие на реки или на языки глетчеров. Ни одной рыбацкой лодки, ни одного дома, ни одной живой души на этом одиноком и грустном берегу. На фоне бурой, освещенной солнцем скалы показывается высоко выпрыгнувшая из воды рыба, с плеском она падает обратно, — наверно, в подстерегающую ее пасть.

Кораблей здесь больше. Но Аденский залив достаточно широк, чтобы они оказались за горизонтом. Мы видим лишь те, которые направляются в Австралию или идут вдоль восточного берега Африки на юг.

Видим первых акул. Они, правда, лишены всякой агрессивности и, проплыв некоторое время перед кораблем, исчезают. Безобразная все-таки рыба. Эта тупоконечная голова обжоры, эта грязная окраска и наглые движения! Невольно покрепче вцепляешься в поручни. Птиц здесь больше, но все же не так много, как могло бы быть вблизи от берегов. По воде плавают зеленые водоросли, очевидно, оторвавшиеся ото дна.

После долгого перерыва ветер вновь становится похолоднее. И впервые после экватора вода в бассейне опять начинает освежать — 24 градуса. Температура воздуха 27 градусов.

С сегодняшнего дня живем по московскому времени. В течение рейса из Австралии у нас было шесть двадцатипятичасовых суток: аделаидское время на шесть часов опережает московское. Теперь мы будем придерживаться московского времени и на порт-сайдской, и на александрийской, и на дарданелльской, и на одесской долготе. Все-таки хоть что-то устойчивое.

4 апреля

Утром прошли Баб-эль-Мандебский пролив и вошли в Красное море. Слева от нас Африка, справа — полуостров Аравия. Наконец-то небольшая волна и теплый гул

моря. Ветер — с кормы. Идем для себя неплохо — за последние двадцать часов покрыли двести пять миль.

После обеда слева от нас остался остров Цугар — один из крупнейших в Красном море. Очень близко от него, местами всего в километре, проходит большой морской путь. Удивительный пейзаж: черные конусообразные горы (высота Футы, самой большой горы Цугара, 2047 метров), темные каменистые склоны, и все это затянуто столь свойственной Красному морю почти бесцветной желто-серой дымкой, смягчающей резкость контуров. Странно плыть по таким синим, большим и весело шумящим волнам, над которыми столько пыли. Пустыня врывается в море, во рту пересыхает, в глазах щиплет, а на зубах скрипит тонкая, невидимая песчаная пыль. Когда ветер дует с Аравийского полуострова или с пустынного африканского материка, песчаная пыль сужает видимость до пятидесяти метров.

Справа от нас остается остров Абу-Али. Это крутые скалы того цвета, каким обозначают на картах пустынные плоскогорья. На вершине острова — маяк. Сколько мы ни разглядывали в бинокли и простым глазом скалистую стену, обрывающуюся в море, но так и не сумели найти место, где мог бы пристать корабль или шлюпка. Странная, наверно, одинокая и по-арабски задумчивая жизнь у команды такого маяка: вокруг — морская синева (Красное море очень синее, даже темно-синее), на востоке — Цугар со своим ландшафтом дантовского «Ада», в воздухе — песчаная пыль, а в небе — большое солнце, как во время лесных пожаров. Корабли проходят, идут с юга и на юг, и хотя волны их килевой струи, похожей на рыбий хвост, достигают скал Абу-Али, но сами суда, очевидно, остаются для обитателей маяка такими же далекими, как ночные звезды.

Много кораблей, в основном наливных танкеров. Здесь, в Красном море, я видел самое красивое из зрелищ, какие когда-либо наблюдал в плавании. Нам встретился датский танкер «Анна Марска» — водоизмещением в тринадцать тысяч тонн, с белыми палубными надстройками, с небесно-голубым корпусом. Все в нем — и его стройное вытянутое тело, и какая-то устремленность каждой линии вперед, и венок белой пены на голубой груди — заставило нас залюбоваться этим кораблем, словно красивым человеком. До чего же прекрасным бы-

вает иной корабль — настоящая стальная сказка! Мы еще следили за удаляющейся «Анной», как тут же появился, разрезая небесно-голубой грудью воду и ветер, ее абсолютный двойник «Эмма Марска». Они шли одним курсом по направлению к Баб-эль-Мандебскому проливу, становились все меньше и наконец исчезли в реющей над морем песчаной пыли, словно две сказочные сестры — в росистом тумане над костром ивановой ночи.

Вечером на палубе показывают «Броненосец «Потемкин». Сквозь ванты над экраном вниз смотрит луна, а по обоим бортам проплывают огни судов.

5 апреля

Санитарный аврал. Моем с Куниным (наверно, в последний раз) свою каюту и натираем до блеска медные части.

6 апреля

Море чудесное. Прохладный, самый приятный встречный ветер. Скорость хорошая. Дня через три-четыре прибудем в Суэц.

Уже не помню точно, сколько раз по пути из Мирного в Красное море менялся наш маршрут. Сначала говорили, что мы поплывем в Европу через Кейптаун. Потом — что прямо на север и что первый порт следования неизвестен. Потом называлась Австралия — Мельбурн. Затем — Веллингтон в Новой Зеландии, где надо забрать морскую экспедицию и откуда, возможно, придется возвращаться на родину через Панамский канал. Наконец появилось что-то определенное — Аделаида. С самой же Австралии и до нынешнего дня наиболее устойчив был следующий вариант возвращения: через Суэцкий канал в Александрию, где мы должны были пересесть на «Победу», отходящую из Александрии 19 апреля и приходящую в Одессу 25-го. При этом варианте мы пробыли бы в Египте целую неделю.

С сегодняшнего утра все только и говорят что о новом маршруте к Пирею в Греции, где пересядем на пассажирский пароход «Крым». «Крым» покидает Грецию

уже 13 апреля. Так что мы, возможно, попадем домой на целую неделю раньше. Однако я думаю, что это еще не последний вариант.

Несмотря на то что эти новые предположительные маршруты порождают в душе известную неуверенность, они все же являются превосходным развлечением в монотонной судовой жизни. Странствуешь мысленно по путям, на которые твоя нога никогда, может быть, и не ступит, хотя за это и нельзя поручиться.

Начинается упаковочная горячка.

7 апреля

В 14.30 пересекли тропик Рака и вышли из тропического пояса. Все еще стоит теплая, солнечная погода, дует слабый встречный ветер. Греческий вариант маршрута держится уже второй день. Интересно, долго ли он просуществует?

Утром приплыла порезвиться в носовых волнах корабля большая стая дельфинов. Их было около тридцати. Летучие рыбы здесь мельче, чем в Индийском океане, зато дельфины намного солиднее. Они долго следовали за нами. Из-за них на баке было прервано заседание «симпозиума».

«Симпозиум» как форма организационной работы возник у нас после Австралии. Он собирался и раньше, еще в теплых широтах Атлантики, но тогда он еще не обрел прав общего собрания экспедиции. Но в то же время это и не совсем общее собрание экспедиции. Участвовать в нем не обязательно, хотя он и без того собирает весь коллектив. Кино, танцы, самодеятельность, а также оформление претензий к командованию — во всех этих делах «симпозиум» фактически является верховной властью. На заседаниях нет постоянного председателя, нет секретаря, нет, как может показаться, и никакого порядка. Они всегда проводятся на баке, под синим небом и жарким солнцем, в них есть что-то стихийное, что-то первобытное, чего не бывает на собраниях, проводимых в столовой. Взглянем на заседающих. Все они без рубашек, в одних трусиках. С некоторых сходит третья шкура, некоторые краснокожи, некоторые коричневые, а некоторые — это наиболее молодые и активные — совсем черны. Кое-кто притащил с собой полотенце и одеяло, на

котором можно разлечься, подставив солнцу живот или спину. Все босиком. Начинается «симпозиум»: иной повернется на бок и взглянет на оратора (или на ораторов), иной лишь поднимет голову, а преферансисты и доминошники продолжают заниматься своим делом. Это, однако, никому не мешает в подходящий момент вставить свое словечко.

Заседание сегодняшнего «симпозиума» началось стихийно. На повестке дня лишь один небольшой вопрос. В случае если греческий вариант отпадет (но покамест он не отпал) и мы пересядем в Александрии на «Победу», у тех, кто этого захочет, будет возможность съездить в Каир. Обсуждение вопроса заканчивается быстро. Часть решает по этому случаю потратить шесть египетских фунтов, часть — нет, и начальникам отрядов поручается составление списков желающих.

Но настоящее заседание на этом не кончается, а только начинается. Затрагивается такой вопрос, что даже игроки бросают свое дело и вмешиваются в прения. Лицо у Гаврилова расстроенное и мрачное, зато у Тихомирова — великодушно-снисходительное. Те же противоположные чувства, у одних скрываемые лучше, у других — хуже, видишь и на остальных лицах. Произошло что-то невероятное, вызвавшее у кого сдерживаемое удовлетворение, у кого — явное недовольство.

— «Убили, значит, Фердинанда-то нашего!» — произносит кто-то знаменитую фразу, которой начинается «Бравый солдат Швейк».

Гаврилова будто шершень ужалил. Он делает глубокий вздох, его мощная грудная клетка вздымается, затем он медленно выдыхает воздух, но не произносит ни слова.

«Шахтер» выиграл у московского «Динамо» со счетом 2:1!

Скандал. К тому же спартаковские болельщики ведут себя самым обидным образом, держатся со снисходительным сочувствием, будто глубоко понимают душевный кризис «динамовцев». Они молчат, но и молчание бывает порой очень многозначительным, куда более убийственным, чем речь наилучшего оратора. На лицах сторонников «Динамо» — растерянность и изумление. Теперь мне становится ясно, почему однажды на московском стадионе «Динамо» меня чуть не побили, когда

я выразил свои чувства в неподходящем месте и в неподходящем обществе, то есть среди патриотов противного лагеря. Поведение футбольных болельщиков, сколько мне их приходилось наблюдать, менее всего подчинено рассудку. Это бушевание страстей, сильных переживаний, самозабвенная радость победы и горечь поражения. В средние века рыцари от таких сильных переживаний вздевали друг друга на копья, а дамы, теряя сознание, падали на грудь своих кавалеров. Среди футбольных болельщиков чувствуешь, что ты вновь попал во времена детства человеческого общества и сам становишься ребенком.

— Да, два — один... Побили наше «Динамо», побили, — говорит Тихомиров. — И кто побил? Даже не «Спартак», а «Шахтер»!

Сильные руки Гаврилова вцепляются в поручни.

— Ну и что с того, что побили? — начинает он громко сердитым голосом. — Случается. Но «Динамо» — это ведь команда! (И он перечисляет все достижения «Динамо» в играх на первенство и на кубок, все его победы времен новейшей истории.) Самая лучшая команда! А «Спартак»... (Перечисляются поражения «Спартак», все, сколько их было, и даже сверх того.) Уж если «Динамо» едет за границу, так оно играет с самыми сильными командами. Помните Англию? (Новое перечисление.)

— Два — один, от «Шахтера»!.. — говорит какой-то «спартаковец», пытаясь возвратить Гаврилова к современности и на отечественную почву.

Но Володя продолжает:

— А если «Спартак» куда и посылают, так на какие-нибудь острова Тихого или Индийского океана. И там он играет с лесными племенами, которые бутсов-то еще не видели: три пальца на ноге забинтуют да и гоняют мяч босиком. «Спартак», ясно, и выигрывает со счетом четырнадцать — ноль, а потом еще хвастается соотношением мячей.

— «Спартак» ты оставь в покое. Ведь «Динамо» проиграло два — один, не «Спартак».

— «Проиграло» да «проиграло»! Я и сам знаю, что проиграло! Но по государственным соображениям «Шахтеру» не надо было выигрывать. (Подобная логика ошарашивает некоторых!) Ведь как это повлияет на шахтеров? От радости они за следующую неделю выдадут на-гора на миллион, нет, на десять миллионов, нет, на

сто миллионов тонн меньше. (Гаврилов описывает нам процесс этого фантастического падения добычи, очень красочно описывает.) Выиграл бы «Шахтер» у «Спартака» — тогда бы ничего этого не случилось. Но раз у «Динамо» — то беды не миновать!

Тут вмешивается весь «симпозиум». Сильные загорелые руки и ноги приходят в движение, демонстрируется техника ударов, речь вдруг начинает изобиловать специальной терминологией. За разрешением важнейших вопросов обращаются к Семену Гайгерову, бывшему футболисту. Через какое-то время соперничество «Динамо» и «Спартака» оказывается погребенным под грудой абстрактных проблем, на баке царит Футбол, царит почти час, непоколебимо и единовластно.

Синее-синее море, мягкий ветерок, солнце. Много проходящих мимо кораблей. Мы уже так привыкли к ним, что лишь один большой пассажирский пароход прерывает на миг наш «симпозиум». А кончается он лишь после того, как перед носом судна появляются две акулы.

8 апреля

Наконец-то известен новый и, как мы надеемся, окончательный маршрут и окончательные сроки. Мы плывем в Александрию, пересаживаемся там 13 апреля на «Победу», приплываем 16-го в Бейрут, 19-го возвращаемся снова в Александрию, уходим оттуда вечером того же дня, 21-го приходим в Пирей, в полночь покидаем его, заходим на несколько часов в Стамбул, Варну и Констанцу и 25 апреля прибываем в Одессу. Таким образом, на Египет у нас остается почти неделя. Возможно, что завтра ночью будем уже в Каире, если, конечно, опять что-нибудь не изменится.

*В ночь на 10 апреля 1958
Каир, отель «Луна-парк»*

Несколько минут назад служащий отеля ввел меня в номер. Это юный черноглазый магометанин с орлиным носом и с пергаментным цветом лица. Странное

у меня было чувство, когда он вел меня по коридору. Ступал он совсем неслышно. На нем был белый кафтан до пят, подвязанный красным шнуром и несколько напоминающий не то талер, не то халат. Черный султан его красной фески покачивается из стороны в сторону. В полутемных по-ночному коридорах мне казалось, что меня плотно обступили тишина и тени, что я внезапно оказался среди чего-то совершенно чужого и незнакомо-го. Мой вожатый открыл какую-то дверь, вошел в нее, зажег свет и, сложив руки на груди, отвесил мне такой глубокий поклон, что мне был виден лишь красный верх его фески. Потом он снова поднял голову и, взглянув на меня в упор своими сверкающими глазами, сказал грудным голосом:

— Рус, карашо!

Затем он улыбнулся и ушел так же неслышно, как и пришел.

Рассматриваю комнату. Широкая кровать с крошечной подушкой, стул, шкаф, у кровати столик с ночной лампой, умывальник. И все. Окно выходит в узкий квадратный колодец двора, на дне которого не видно никакого движения. Другие окна либо темны, либо закрыты ставнями. Но наверху — клочок темного неба с немногочисленными звездами, с дрожащим, беспокойным заревом огней и реклам большого города. Издалека сквозь окно слабо доносятся волнующие чужие звуки ночного Каира.

...Мы пришли на суэцкий рейд уже девятого пополудни. «Кооперация» бросила якоря довольно близко от города. В бинокли и без них мы разглядывали город и шлюзовые ворота канала. Вполне современный город, особенно здания на берегу, вблизи от порта. Видно, Суэц — молодой город, хотя первые данные о нем восходят к десятому веку. В XVI веке, после завоевания его турками, он стал играть большую роль как военный и торговый порт, но затем постепенно утратил свое значение и величие. Суэц снова ожил в связи с открытием в 1869 году Суэцкого канала. Сейчас тут (по данным 1952 года) сто пятнадцать тысяч жителей.

Вечером нас переправили в шлюпках на берег. Туристская контора, взявшая на себя заботу о нашей поездке в Каир, прислала на пристань свои машины. Мы проехали через Суэц. И вблизи он производил то же, что с рейда, впечатление современного богатого

города. Лишь кажется, что его сто пятнадцать тысяч жителей втиснуты на слишком узкую площадь, что пески пустынь вокруг ревниво отказывают городу в пространстве, заставляя его обратить лицо к морю.

Поехали в Каир. Солнце, повисшее над самым шоссе, уставилось нам в лицо своими желто-красными, усталыми, большими глазами. Хотя окна в машине были закрыты, на зубах уже скрипел песок. Однообразный, печальный, унылый пейзаж. Редкая и жесткая трава, голый песок, чахлые деревца и одинокие дома. Вдали — четыре верблюда с темными всадниками на спине, словно сросшимися с седлами. Высокие шеи «кораблей пустыни», их покачивающийся шаг, их горбы и длинные ноги, а позади — желтая, слегка волнистая равнина под бледно-голубым небом с рыжеватыми краями. Сходство с морем — поразительное, и контраст морю — тоже поразительный. Темнеет внезапно, в небе начинают мерцать звезды, и все, что мы можем еще разглядеть, — это узкая полоска незнакомой земли, ровно такой ширины, какую охватывает свет фар. Асфальтовая лента дороги, силуэты деревьев вдоль нее, стена дома, случайно оказавшаяся в полосе света, да одинокие верблюды с позвякивающими колокольчиками на шее и безмолвным египтянином в седле. Мы проносимся по Египту, но не видим его до тех пор, пока часть неба не окрашивается заревом Каира.

Первые впечатления от Каира поздним вечером. Уже тихие улицы, по которым мы направляемся к отелю «Луна-парк», вполне европейские. И платье поздних прохожих — тоже европейское. Но не их лица. Есть даже в таком отходящем ко сну Каире что-то праздничное и волнующее. Повсюду на стенах лаконичные плакаты с изображением ятагана на фоне звезд. Много портретов Гамалы Абделя Насера и президента Сирии. На каждой стене, на каждой витрине — улыбка Насера. Видно, теперь, после того как Египет и Сирия слились в Объединенную Арабскую Республику, в воздухе витает одна-единственная мысль, одно стремление, один магнетический призыв: «Арабы, объединяйтесь!»

В отеле «Луна-парк» нас приняли как долгожданных гостей. Уже во время ужина повторяли фразу, превратившуюся потом в неизменный рефрен: «Рус, карашо!» Мы как-то не сумели, несмотря на все усилия наших «англи-

чан», объяснить, откуда мы прибыли. Если бы мы сказали им, что с Луны, а не из Антарктики, это было бы им понятней и ближе. Они все повторяли «Антарктис, Антарктис», но, видимо, это слово не соединялось в их сознании с какой-нибудь землей или морем. Оно и понятно. Власть аллаха и его дух простерты над минаретами, над оазисами, над пустынями и над кормилицами реками, а с холодными морями, снегами и льдами у пророка никогда не было никакой связи.

Какая роскошь — снова спать в настоящей постели и хоть в чужой, но тоже настоящей комнате!

Спокойной ночи!

*В ночь на 11 апреля
Средиземное море*

Вы бывали в Каире? Вероятно, нет; во всяком случае, большинство из вас не бывало. Я проспал в Каире одну ночь, бродил по нему один день и, чтобы познакомиться с Каиром, советую вам раскрыть девятнадцатый том Большой Советской Энциклопедии и на 371-й и 372-й страницах прочесть весь текст между статьями «Каинск» и «Каиров». Пробыть один день в городе, который хотел бы рассмотреть, изучить, понять и, может быть, даже описать в общих чертах, — от этого мало что остается, кроме отрывочных мыслей и сведений, калейдоскопа новых имен и цифр, причем именно то, что ты стараешься узнать как можно больше, является гарантией того, что ты ничего не узнаешь и почти ничего не увидишь. Мы ходили по каирскому Египетскому музею. Я смотрел на мумии, на каменных фараонов и фараонш, на священного быка, на старинные порталы, на барельефы и фрески, на статуи и статуэтки, на древние монеты. Видал необычайно богатую культуру давних времен, развешанную по стенам и стендам, разложенную по витринам. Мы проходили мимо нее, словно мимо почетного караула, и казалось, что глаза каменных фараонов, высеченные резцами мастеров тысячелетия назад, смотрят на нас насмешливо. За один день не поймешь всего того, что народ древнего Египта создавал веками, — такого далекого нам и чужого, такого могучего и прекрасного. Лишь возникает желание вернуться сюда снова, чтобы побродить по сумеречным залам спокойно и вдумчиво. Надо быть благодарным и за одно это желание. Малень-

кая гипсовая голова царицы Нефертити, купленная мной в Каире, смотрит сейчас на меня со стола и тоже как будто говорит: «Возвращайтесь!»

Мы были в мечети Мухамед-Али. Приводить ли тут даты, размеры, описания? Не стоит, потому что покамест они для меня мертвы. Тут чудесные ковры, электрический свет, похожий на свет свечей, узкие балконы для женщин — они без ковров и отделены от общего помещения занавесом. Архитектура мечети Мухамед-Али оставляет цельное, законченное впечатление — все тут словно само собой оказалось на своем месте; и мы, восседая в носках на красном ковре, тихо выражаем свое восхищение перед давно умершим зодчим, сумевшим построить в столь наполненном солнечным светом городе здание, в котором так много прохлады, полутьмы, воздуха и на редкость гармоничной красоты. История же мечети, рассказанная нам гидом, хорошо владеющим русским языком, вполне обыкновенная, такая же, как у других мечетей.

И все же — до чего богатый день! Из Каира мы съездили в Гизу, на левый берег Нила. Конечно, мы в Советском Союзе привыкли к рекам такого гигантского масштаба, что знаменитый Нил, отец Египта, его кормилец, его главная артерия, его святыня, ничем нас внешне не поразил — ни своей шириной, ни быстротой течения, ни небесной синевой. Впрочем, после океана, где глаз свыкается с небывалыми для суши масштабами, любая река производит скромное впечатление.

И все-таки, как несравним ни с какой горой гигантский айсберг, как несравнимо знойное безмолвие океана с самым глубоким безмолвием суши, так же не сумеешь сравнить ни с чем уже знакомым египетские пирамиды. Наши машины начали подниматься в гору, к пирамидам Гизы, а следом за ними поскакали на лошадях и верблюдах человек сто египтян (чтобы мы их сняли верхом). И вот на фоне неба появились вершины трех пирамид Гизы. Первая из них — пирамида Хеопса. Вокруг нее простираются пески, и сама она со своими желтыми треугольниками могучих стен кажется вырастающей из песка. Отсюда, снизу, не видишь за ней ничего, кроме синего, томимого жаждой неба, да и кажется, что ее фоном достойны быть лишь небо и пустыня.

Я знал, что пирамида Хеопса сооружена примерно за две тысячи семьсот лет до нашей эры. Я знал, что ее

строил для себя как последнее пристанище фараон четвертый египетской династии Хеопс и что двести тысяч рабов создавали это пристанище в течение тридцати лет, взгромождая один на другой каменные кубы весом в две с половиной — три тонны. Я знал также, что высота пирамиды сто сорок шесть метров, что она, стало быть, выше башни церкви Олевисте в Таллине. Но каждая сторона квадратного основания пирамиды так длинна, что поначалу мы и не обратили внимания на ее высоту. Лишь потом, когда начинаешь переводить взгляд с одного сужающегося кверху и отступающего назад каменного слоя на другой, когда сравниваешь величину пирамиды с величиной людей, домов и разных предметов, когда посмотришь на нее издали и увидишь рядом с ней изваяние верблюда, кажущегося крохотным, словно игрушка, тогда теряешь дар речи.

Направляемся в усыпальницу. Узкий ход, прорубленный в каменной кладке, извивается между бугристых стен, и приходится все время пригибаться, чтобы не ушибить голову. Затем идет наклонный ход, ведущий к вершине пирамиды, где и находится усыпальница. Стены наклонного хода, образованные гигантскими каменными блоками, отполированы. При одном взгляде наверх захватывает дух: узкий и высокий коридор поднимается под углом почти в сорок пять градусов и кажется длинным, словно целая жизнь. Люминесцентное освещение делает лица призрачными и старыми. Затем начинаем подниматься по наклонному ходу с металлическим полом. Пробираемся чуть ли не на четвереньках. Воздух сухой и пахнет известью. Я иду примерно в середине нашей группы. Я слышу учащенное и трудное дыхание людей, идущих впереди, а оглянувшись назад, вижу, как ползут следом двадцать человек с бледно-зелеными лицами и черными провалами вокруг глаз. Отдуваемся. Высокий и узкий коридор все не кончается и не кончается. Чувствуешь у себя над головой тысячи тонн камня и ощущаешь, как пробегает по коридору известковое дыхание тысячелетий.

Добираемся до усыпальницы. Здесь тоже люминесцентное освещение. Узкое и высокое, до грандиозного простое помещение с отшлифованными каменными стенами. Большой саркофаг из полированного гранита, в котором некогда лежала мумия Хеопса. Делимся своими мыслями вполголоса, потому что — и опустевшая — эта усыпальница впечатляет необычайно сильно. А в не-

скольких метрах отсюда — сияющее солнце, жаркие пески, синее небо и арабы со своими верблюдами и торговыми заботами. Но сейчас кажется, что до всего этого далеко, страшно далеко. Здесь, внутри пирамиды, словно смотришь в лупу времени. Здесь владения Осириса, бога подземного царства, владения тишины и тысячелетий, здесь все кажется неизменным или меняющимся столь же медленно, как что-нибудь погребенное на километровой глубине вечных льдов.

Снова оказавшись на солнце, мы с облегчением переводим дух. Каменное лицо сфинкса, гигантского сфинкса Гизы, думающего скорбные думы, смотрит вдаль. Спокойно и величественно вытянув свое львиное тело, лежит он под знойным солнцем. На его могучей спине восседает пять тысячелетий.

Нет, надо сюда вернуться!

Мы покидаем Каир поздним вечером. Вокруг была прохладная тьма. Мы доехали до Измаила, а там свернули на параллельную каналу дорогу, идущую в Порт-Саид. Воинские патрули не раз останавливали нас для проверки, но тут же разрешали ехать дальше. Здесь, в зоне канала, так же, впрочем, как и во всем Египте, идет война с контрабандой наркотиками...

С шоссе Суэцкий канал выглядит странно. Дорога, по которой мчатся наши машины, возвышается над уровнем воды ненамного. Зачастую искусственный, прямой, как стрела, водоем прячется от нас за песчаными заносами. А то он вдруг выглянет снова, и опять блеснет его ночная, черная, словно деготь, гладь, на которой дрожат отражения фонарей, похожие на золотые яблоки, но миг спустя оба берега Суэцкого канала уже сливаются с темной пустотой Синайской пустыни, которая равнодушно поглощает узкую полосу соленой воды глубиной в тридцать пять футов. И вдруг видишь посреди пустыни корабли с их сигнальными огнями, с их яркими иллюминаторами и освещенными палубами, видишь на их тяжелых корпусах надстройки и мощные коренастые мачты. В первый момент возникает такое чувство, словно увидел верблюда посреди океана. Судно, всегда кажущееся на море высоким и могучим, выглядит здесь необычайно маленьким. Оно как бы уменьшается на фоне панорамы постепенно поднимающейся к горизонту пустыни.

Наконец — Порт-Саид. Мы пьем кофе в низком здании таможни и после этого отправляемся на рейд — встречать «Кооперацию». Гортанные крики лодочников, взаимные оклики со шлюпок и кораблей. Подмигивают маяки, на маслянистых ленивых волнах извиваются, словно угри, вытянутые отражения огней. Притихшие гигантские суда, стоящие на якоре. Сказка из современной «Тысячи и одной ночи». А справа ночной город Порт-Саид, где в 1956 году английские и французские «полицейские» сровняли с землей два рабочих квартала. По темному небу плывет желтая луна. И я вполголоса читаю себе строки из есенинской «Баллады о двадцати шести»:

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Из канала выходят корабли. Нам долго не удавалось разыскать «Кооперацию», — в канале все корабли включают очень сильные прожекторы, от них слепит глаза и корпуса судов кажутся одинаковыми. Но наконец мы находим «Кооперацию». Корабль, не замедляя хода, проплывает мимо, а мы перескакиваем с моторных лодок на трап, повисший над водой.

12 апреля 1958
Александрия

Вчера, 11 апреля, мы прибыли на александрийский рейд. Морская вода, средиземноморская вода, была сплошь усеяна у берегов желтыми пятнами, — казалось, будто под ней покачиваются огромные балтийские камбалы. Это песчаные наносы, подводные ответвления жаждущей пустыни, возведенные послештормовыми волнами. Тяжелая, многодневная волна бьет в борт «Кооперации». Ее назойливые размеренные удары прекращаются лишь после того, как судно, бросив якоря, поворачивается носом к ветру.

Вид на Александрию с моря — да, это зрелище! Город растянулся по ровному почти берегу на несколько миль — белоснежный, красивый, впечатляющий. Он так и сверкает под лучами беспощадного солнца. Сияют обращенные к морю белые фасады десятиэтажных европейских домов. Стрелы воздушных минаретов устремляются к небу. Единственными темными пятнами являются серые портовые причалы, закопченные башни кранов и большой торговый пароход Федеративной Республики Германии, темные борта которого перекрывают при движении нижние этажи домов, а труба проходит под полумесяцами минаретов. Но вот буксиры увели пароход прочь, и мы опять видим весь город, слишком красивый, чтобы быть настоящим. Лицо у него европейское, оно подкрашено и без чадры. Но наверняка у него имеется и другое, уже прикрытое лицо, арабское, темноглазое, более подлинное. Очевидно, второй облик города и скромнее и пестрее.

И сама Александрия, и та природа, которая ее окружает, богаче зеленью, чем все остальные города Египта. Над Александрией простирается благодать дельты Нила.

Новый город всегда волнует, будь он Александрией или райцентром эстонского захолустья. Последний волнуется темпом своего юного роста, заново создаваемыми кварталами, заново создаваемыми традициями. А первый — как своей стариной, историей, так и сегодняшним днем.

Об Александрии я знаю мало. Знаю, что ее основал Александр Македонский в 332—331 годах до нашей эры. Знаком с отдельными осколками различных культур, смешавшихся тут в одном потоке: греческой, римской, египетской, иудейской; с некоторыми писателями античного мира, которые около двух тысяч лет назад, возможно, смотрели с этого же берега на Средиземное море. Тут процветала наука и литература, тут были впервые заложены греками начала точного изучения природы. Но четвертый век, век молодого воинствующего христианства, положил этому конец, и Александрия перестала существовать как научный центр. Энгельс назвал крестовые походы «великолепным памятником человеческого безумию». И когда епископ Феофил приказал в 391 году уничтожить Александрийскую библиотеку, насчитывавшую семьсот тысяч рукописей и бывшую в те времена величайшей научной сокровищницей, после чего

многое уже найденное надолго кануло во тьму времен, то в этом проявился тот же тупой, сумасшедший фанатизм, который несколько веков спустя заставил двадцать тысяч детей отправиться в крестовый поход во имя «освобождения гроба господня». Тут, в Александрии, были созданы пророческие песни Сивиллы, отразившие отношение низших слоев эллинизированного еврейского населения к Римской империи. Сивилла говорит Риму:

«О горе, горе тебе, фурия, подруга змей ядовитых! Умолкни, подлый город, оглашавшийся прежде звуками ликования!.. Не будет больше жертв на твоих алтарях... Ты опускаешь голову, кичливый Рим! Огонь поглотит тебя, твои богатства сгинут, волки и лисы поселятся на твоих развалинах, и все будет так, словно тебя и не существовало».

А в 1517 году Александрию уничтожили турки — ее словно и не существовало. И в восемнадцатом веке там, откуда сейчас глядят на море белые фасады, жили только шесть тысяч человек.

Когда мы стояли на рейде, мне почему-то казалось, что я уже видел Александрию. Не теперешнюю и не времен Александра Македонского. И не разграбленную Александрию 391 года, на которую надвинулась черная туча монашеских ряс. Не город, ставший в 1517 году жертвой турецких ятаганов, разбоя и огня. Нет, я видел что-то промежуточное, что-то особое. Где же? В «Александрии», четвертой книге «Иудейской войны» Фейхтвангера, читанной когда-то давно. Та Александрия была большим городом с населением в миллион двести тысяч жителей, городом трудолюбивым и жадным к развлечениям, главным мировым рынком, резиденцией императоров древности. Тут имелся музей, великолепная библиотека, мавзолей с хрустальным гробом Александра Великого, театр, ипподром, судоверфи, ремесленные мастерские. Местный музей превосходил музеи Рима и Афин, школы были лучше римских. Сюда в свите императора Веспасиана приезжал Иосиф Флавий, здесь он дал себя высечь, чтобы освободиться от своей жены Мары, здесь он купил себе звание римского гражданина. Здесь он влюбился в Дорион, дочь художника Фабула.

И эта виденная мною невидимая Александрия предстала мне связанной с именем Дорион, которая была довольно рослой и тонкой девушкой с рыжевато-корич-

невыми волосами, с длинной и узкой головой, с выпуклым и высоким лбом, с глазами цвета морской воды. «Хорошенькая девочка», — сказал император» (Фейхтвангер, «Иудейская война»). И странно — находящаяся от меня в полумиле Александрия 1958 года на миг вдруг утратила свои современные черты, и я увидел ее такой, какой она показана у Фейхтвангера. А к этому городу первого века наклоняется Дорион со священной кошкой на руках. До меня даже доносится злой голос девушки и ее блеющий смех, но я тут же понимаю, что эта галлюцинация вызвана отрывистыми сигналами буксиров и гудением автомашин на берегу.

Сегодняшняя Александрия — это подлинные ворота Египта. Тут, по данным 1947 года, живет девятьсот двадцать тысяч человек, 80 процентов экспорта и импорта Египта проходят через Александрию.

Сегодня утром буксиры подтащили нас к причалу. И едва швартовы соединили в одно целое «Кооперацию» и набережную, как на судно, казалось, хлынуло через борт что-то непередаваемо арабское, что-то свойственное лишь пустыне. Во рту опять стало сухо, а нос улавливает запахи, очевидно, характерные для многих восточных портов. Но гавань перед глазами абсолютно европейская, она полна интенсивной жизни, — это могучая торговая артерия с наполненным пульсом. Нарождающаяся египетская промышленность получает через александрийскую гавань новую технику, новое индустриальное оборудование. Через александрийскую гавань современные сельскохозяйственные орудия попадают к феллахам, которые хоть и медленно, но упорно расстаются с древними — времени фараонов — способами обработки земли. Совсем близко от нас стоят четыре советских судна. А перед ними на причале вытянулись аккуратными рядами трактора с прицепами и грузовики советских марок. Тут же три польских корабли, с которых сгружают машины. А если судить по выпелам на кораблях, то и Западная Германия играет весьма видную роль во внешней торговле Египта. Отсюда, из Александрии, вывозится на текстильные фабрики Европы хлопок — это золото и валюта Египта.

И все-таки здесь же, в гавани, оснащенной новейшими кранами, новейшей техникой, ощущается и другой город, город пустыни. Рядом с грузовиками разъезжают запряженные парой лошадей или мулов длинные повоз-

ки, нагруженные ящиками фруктов или тюками хлопка. Их колеса, грохоча, катятся по железнодорожным рельсам. На причале перед «Кооперацией» выступает темнокожий артист; весь его реквизит состоит из старого пиджака с огромными внутренними карманами, колоды карт, двух цветных платков, белой мыши, двух шариков и четырех цыплят... С десятков торговцев разложили у края пристани свои товары: игрушки, чемоданы, дамские сумочки, сигареты. Все на этом маленьком рынке яркое и пестрое, и всего мало. Только времени у продавцов вдоволь. Сиди себе на пыльном причале, таращи часами сонные глаза, а то, всплыв на минуту, вскочи на ноги и сцепись с другим торговцем, чтобы затем лениво опуститься и разглядывать людей на борту, — вот и все. Люди застывают — лишь тени не перестают, как положено, передвигаться с запада на восток. Думается, что одной из черт, характерных для отсталых стран, является отношение их обитателей ко времени и бессмысленное его разбазаривание некоторыми словами.

Мы угощаем таможенника и стоящего у трапа полицейского папиросами. Они с благодарностью берут папиросы, но не закуривают. Почему же?

Коричневый палец показывает на полуденное солнце, но мы ничего не понимаем.

— Рамазан!

По нашим понятиям, это, очевидно, пост, причем такого рода, что по нему видишь, насколько аллах суров и беспощаден к своим сынам. Магометанин во время рамазана с восхода до захода солнца не смеет ни есть, ни пить, ни курить. (Курение вообще запрещено верой, но современный египтянин не всегда соблюдает этот запрет.) От зари до зари он должен держаться подальше от женщин и даже гнать всякую мысль о нежном поле. Зато по ночам рамазана он себе хозяин: ешь, пей, веселись.

Идем в город. Ветрено. На зубах скрипит песок. Над огромной территорией гавани разносятся сигналы машин, скрежет кранов, ослиное «иаа-иаа!», фыркание лошадей, гортанные голоса египтян, непривычные слуху возгласы. Наша троица — Кунин, Михаил Кулешов и я — словно три органнне трубы. Слева идет Кунин, который на полголовы ниже меня, в середине я, а справа Миша Кулешов, которому я достаю лишь до плеча. Голосовые связки Кунина и Кулешова издают

низкие звуки, а я работаю где-то на средних регистрах.

Мы окружены бегущими следом египетскими мальчишками — их поражает и приводит в восторг гигантский рост Кулешова. Мне и Кунину очень трудно, не теряя достоинства, поспевать за его шагами, вполне соответствующими росту. Но ребята не отстают от нас. Они ничего не кланчат. Нет, они предлагают свои услуги. Нам готовы показать город, отвести в хорошие, но недорогие магазины, а если надо, так и в те места, где не соблюдают рамазана. Свита у нас проворная, любознательная, назойливая и порой даже бесстыдная. Из желания услужить получше все враждуют друг с другом. Обращаются они исключительно к Мише Кулешову, который поглядывает на них с высоты постамента. По всем правилам их логики, он не иначе как наш командир и начальник.

— Шип «Кооперейшн»? — спрашивают мальчишки, показывая на белеющую «Кооперацию».

— Йес, этот самый шип и есть «Кооперация», — отвечает Кулешов.

— О, рус! О, рус! Ух, спутник! — воодушевились мальчишки, по-прежнему не сводя глаз с Кулешова, являвшегося для них живым воплощением этого «о, рус!» и «ух, спутник!».

— О чем там они поют, Владимир Михайлович? — спросил на всякий случай Кулешов у Кунина, хоть и без перевода все было ясно.

— О спутнике и о России, — ответил Кунин.

— Ишь, знают! — растроганно произнес Кулешов. — И еще дорогу показывают...

Подходим к воротам порта. Казалось бы, ребятам пора предъявить экономические требования, но нет, их занимает что-то более важное. Они крутятся вокруг Кулешова, стучат кулаками по своим мальчишеским бицепсам и выкрикивают слово «атлет», которое мы с трудом разбираем из-за многоголосого шума гавани. Все это, разумеется, адресовано Кулешову. И тогда он, сжав кулак, сгибает одну руку, а другой стучит по вздувшимся мускулам размером с глобус средней величины.

— Йес, атлет, — говорит он. — Йес, спутник! Йес, хорошо! Ясно, воробы?

В этой рубленой фразе весь его характер и его сила, все его отношение к своей родине и ее науке. Ребятам

это вполне ясно. И они переводят разговор на экономическую почву:

— Пиастры! Сигареты!

Слова эти произносятся по-английски, по-немецки и по-французски. И у Кулешова мгновенно остается пустой пачка «Беломора». Что до наших пиастров, то их пока не трогают. После того как мы выходим за ворота, наша свита редет. За нами до самого вечера следуют, словно тени, лишь трое мальчишек. Они идут то впереди, то сзади, то занимаются тем, что отшивают от нас других провожатых. Они не заходят с нами в магазины, а ждут на улице, пока мы выйдем, после чего бегут к хозяину и, очевидно, получают за нас свои крошечные проценты, соответствующие потраченной нами сумме.

У меня два главных впечатления от этого дня: одно от Александрии, другое от Миши Кулешова. Мы приплыли сюда с Кулешовым из Антарктики, но лишь сегодня я как следует разглядел его.

Начну с него, самого высокого и, может быть, самого сильного человека во всей второй экспедиции. Собственно, впервые я заметил этого тракториста еще в Красном море, во время обсуждения романа Галины Николаевой. Он сидел тогда в музыкальном салоне на полу, не раз брал слово, горячился, но после каждого спора оказывался загнанным в тупик. И тогда он решил записать свои мысли. Тут я обратил внимание на его руки. Кулешов взял обыкновенную авторучку и положил ее на ладонь — ручка выглядела на ней крохотной, словно спичка. Это казалось каким-то оптическим обманом. Но вот Кулешов зажал ручку между большим, указательным и средним пальцами и начал ее развинчивать, — делал он это так нежно и осторожно, словно обращался с воздушно-хрупкой ампулой или регулировал капризное зажигание.

Поглядишь на Кулешова — настоящий медведь. И суть не только в могучем росте, а во всем его облике. У Миши простое и волевое лицо. Граница густых каштановых волос, в которых уже немало седины, низко заходит на лоб. Солидный нос, большой рот, круглый подбородок. А из-под тяжелых мохнатых бровей выглядывают с любопытством два вроде бы сонных глаза. Но лишь зайдет спор, и они становятся живыми, колючими, сузившимися. Или загораются веселым блеском, если кто-нибудь умело о чем-то рассказывает. Но проглядывает ли в них хитреца или печаль, они всегда остаются немного

медвежьими: то они такие, какими бывают у царя лесов в день пробуждения от зимней спячки, то такие, как если бы исполненный решимости косолапый проламывался сквозь чащу к пасеке, а то такие, как если бы мишка уже возвращался оттуда, довольный собой, пасечником и всем на свете. И в то же время это глаза умного, любознательного человека, оживляющие и красящие его лицо.

Кулешов хочет все знать. Не успели мы от него вернуться, как он уже наладил связь с каким-то западно-германским студентом, который несколько месяцев пробродяжил по Восточной Африке, а теперь сидит в Александрии без гроша и пытается наняться в матросы, чтобы таким образом попасть в Гамбург. Кулешов угощает его в баре пивом, и Кунин, оказывается, прилично знающий и немецкий, переводит им взаимные изъявления дружбы. Жаль, что не Кулешов командует судном, а то он доставил бы этого парня в Гамбург и по дороге расспросил бы немца обо всем, что тот увидел в Сомали и Абиссинии. Однако он уже подружился с египтянином-барменом, и ему необходимо выяснить, что это за штука «рамазан» и какой от нее толк. «Скажите ему, Владимир Михалыч, спросите его, Владимир Михалыч», — обращается он все время к Кунину.

На одной весьма пыльной и грязной припортовой улице стоит антикварный магазин. Мы разглядываем вещи на витрине, стекло которой, покрытое многомесячной пылью, едва-едва пропускает солнечные лучи. Здесь и статуэтки фараонов, и оружие, и верблюжьи седла, и серебряные да медные тарелки, и картины с видами Нила или минаретов. Все эти подержанные, пыльные вещи — словно экзотическая новелла, охватывающая и вчерашний и сегодняшний день. Они умышленно нагромождены вокруг главного экспоната витрины — кривоногого кресла, обитого красным бархатом. На спинке кресла висит надпись:

«Кресло короля Фарука. Семь фунтов».

Может быть, это просто надувательство и реклама, но, может быть, и нет. Во всяком случае, этот королевский или псевдокоролевский реквизит как-то плохо вяжется с верблюжьими седлами и почерневшими пистолетами. И Кулешов приходит к такому логическому выводу:

— Короли падают в цене.

И еще как падают! И падение это очень явно на

Ближнем Востоке. Ведь за кресло-то запрошено вдвое больше. И настоящий покупатель выторгует его даже за три фунта. А еще более реально, что этому креслу долго придется пылиться и выгорать в столь неподходящем окружении. Покупатель в конце концов придет, но много ли он даст за короля?

Как у людей, так и у городов есть свой характер, своя душа, свое лицо, свои черты. Все это, конечно, изменяется в зависимости от того, кто, откуда, когда и как на них смотрит. У Таллина несколько обликов: утренний, полуденный и вечерний — и все они с разных мест выглядят по-разному. Лицо центра не похоже на лицо полуострова Копли, прибрежный район — на Нымме. И даже люди ходят везде по-разному: в Кадриорге спокойно и неторопливо, поблизости от фабрик шаг у них тяжелый и уверенный, а в центре мы стараемся шагать бодро и стремительно, словно из окон следят за нами тысячи глаз. По центру мы ходим наиболее театральным шагом. Но в основном у Таллина облик труженика, облик металлиста, машиностроителя, ткача и моряка.

Тарту — это умный город, это молодой город, город молодежи. Но древо ума пустило тут один паразитический отросток: нигде столько не умничают, как в Тарту. Тут не только учатся владеть словом, тут учатся и искажать его. Тут больше, чем где-либо, ведется бесполезных споров, в ходе которых прекрасный эстонский язык со всем своим богатством попадает в мертвое пространство. И это чисто школярское свойство накладывает на красивое лицо Тарту несколько лишних морщинок. И, по-видимому, именно затем, чтобы, с одной стороны, освободиться от холодной расчетливости Таллина, а с другой — от тартуского надменного парения в высотах, покойный Сютисте и объявил себя поэтом Тапы. Но и Тарту и Таллин — оба хороши и симпатичны.

Кейптаун можно увидеть только в профиль. С одного бока лицо у него белое, удовлетворенное, толстошее, чистое, холеное, пренебрежительное, с властным ртом и англо-голландским носом. С этого бока видно и огромное ухо, старающееся уловить слабеющее недовольство в недрах темной земли и отдающее мозгу приказ пускать в ход дубинки. Вторая половина лица темная, с негритянскими губами, с черным горячим глазом, со следами страданий, но непокорная и боевая. И виной

тому, что две эти половины не образуют единого лица, — расизм.

Да, у городов есть свой характер, своя душа. Может быть, мы наиболее зорко видим их в первые дни и даже в самый первый день, пока еще не сплывались с ними в одно целое, не стали их частицей. Привычка часто притупляет остроту взгляда. Конечно, одно дело — разглядывать пейзаж долго и обстоятельно и совсем иное — увидеть его на миг в полночь при блеске молнии. Но надо уметь и то и другое. Однако многие места во время путешествия мы видели только при молнии и запомнили только те немногие детали, которые успели заметить при ее вспышке.

Александрия — это конгломерат наций. Тут и египтяне, и итальянцы, и греки, и множество армян. Армяне часто подходят к нам, чтобы поговорить о Ереване, городе своих сновидений. Они говорят о нем, как магометане о Мекке: с нежностью, с мечтательностью, с преклонением, и в их темных глазах загорается огонь.

Больше всего европейских лиц увидишь тут на набережной, на богатой и роскошной асфальтовой магистрали, над которой сливаются шумы города и моря. Египтяне здесь встречаются преимущественно богатые. Они ездят в шикарных машинах, очень немногие из них в фесках, и сидящие рядом с ними женщины одеты по последней моде. Это представители национального капитала, укрепляющего свои позиции в экономике страны. Капитал этот искусно использует национальные чувства и не страдает избытком сентиментальности и милосердия.

А в нескольких кварталах отсюда — другая Александрия. Там уже много женщин в чадре, мешкообразная одежда которых делает тело бесформенным и безличным. Правда, большинство из них немолоды. Молодые и красивые не прячут от мира свое лицо.

Много дешевых фесок и мужских шаровар, похожих на длинные — до земли — юбки. Юбки зашиты внизу, словно мешки, — лишь оставлены дыры для ног. Подпоясанные кафтаны достают до пят.

В маленьких лавчонках товар производится и выпускается в продажу на глазах у покупателя. Нас заинтересовали чемоданы из верблюжьих шкур — не успели мы войти в лавку, как хозяин отвел нас в заднее

помещение, где двое рабочих делали эти товары; нас интересуют медные тарелки с тонкими изящными гравюрами — и нам показывают, как их изготавливают. Вообще здесь властвуют купцы — египтяне, греки, армяне.

Много маленьких кафе, перед которыми на тротуаре сидят в застывшей позе люди, — они, прищурившись, пялятся на проходящий народ. Мимо течет жизнь, ползет, как бархан, время, лениво и бесполезно. «Судьба твоя начертана в небе, и на земле ты не властен ничего в ней изменить» — написано на их темных, замкнутых лицах.

И тут же кипит жизнь — активная, незнакомая, красочная, шумная. Кипят чувства и страсти: любовь, ненависть, отзывчивость, корысть, религиозный фанатизм и радость от мастерски исполненного труда. На меди и серебре появляется тонкая паутина линий, из-под коричневых рук мастера выходят тысячи новых сфинксов и пирамид, вырастают пальмы, а между двух параллельных линий течет, сверкая, на этот раз красный Нил. Здесь же изготавливаются фески, современные швейные машины строчат белье и платье для соседнего магазина. По улицам расхаживают продавцы с лотками и крикливо предлагают свой товар. Стоит остановиться на минутку-другую, как уже чувствуешь, что по твоим туфлям, и без того сверкающим словно зеркало, начинают скользить щетки чистильщика. Часто мальчишек оказывается двое — по одному на каждую ногу, — и если у тебя не хватит решимости вовремя прекратить эту бесконечную чистку, то прощай пиастры.

Ко второй половине дня атаки уличных торговцев и непреклонная активность чистильщиков, не позволяющая остановиться хоть на минуту и спокойно оглядеться, привели меня в отчаяние. Я почувствовал себя совершенно беспомощным и незащищенным; да еще, кроме того, заметил, что успел закупить множество всякой ненужной, бессмысленной ерунды, в том числе и детские ручные часы из шоколада. Заодно я убедился и в том, что к людям в фесках никто не пристаёт. А если кто и пристанет, так достаточно человеку в феске махнуть рукой, чтобы крикливый продавец отправился на поиски жертвы с более европейской внешностью. Исходя из этого, я сделал самую умную покупку за весь день — приобрел за тридцать пиастров феску. Молодой черноусый продавец, без умолку о чем-то тараторивший, водрузил

мне ее на голову и напутствовал меня именем аллаха и «very good'ом».

С этого момента вокруг меня воцарился покой. Куни-на и Кулешова атаковали по-прежнему, а от меня (вернее, от моей фески) старались держаться подальше даже неотступно следовавшие за нами провожатые. Лишь один смелый и нахальный чистильщик накидывался с прежним рвением на мои туфли. Я попытался отделаться от него заученным пренебрежительным жестом, но это не подействовало. Он показывал пальцем на мои глаза и с неистовой яростью повторял что-то.

Цвета глаз не изменишь, а мои серые глаза явно не вязались с обликом раба аллахова и феской. Лоуренс, знаменитый английский шпион, долго проживший среди арабов и окрещенный ими «синеглазым шейхом», пишет, какой страх наводили его синие глаза на женщин пустыни. «Небо просвечивает сквозь череп!» — думали они.

По-видимому, и у чистильщика возникло по отношению ко мне такое подозрение. И все же я приобрел себе за тридцать пиастров сравнительно спокойных полдня.

Вечером мы попали в район александрийской железнодорожной станции. Она считается одной из главных архитектурных красот города. Но у нас не было интереса ни к станции, ни ко всей той европейщине, которой здесь очень много во всем, начиная с одежды и кончая неоновыми рекламами ресторанов. Нас интересовало то, что связано с пустыней, с феллахами, то, что просачивалось и в Александрию, накладывая отпечаток на эти большие морские ворота, ведущие в глубь страны и из страны в море.

Тут, в окрестностях станции, видишь по вечерам большие бараны стада. Каждое сопровождают либо два пастуха, либо скупщики на верблюдах. Вокруг сумеречно и шумно. Грустно дрожат голоса и хвосты овечек, мучимых жаждой. Они теснятся вокруг баранов-вожачков — головами к центру круга, задами наружу. Эти белые неправильные круги на сером или черном асфальте, это беспомощное блеяние, врывающееся в хор пронзительных автомобильных сигналов, эти грозно торчащие верблюжьи горбы и силуэты деревьев на заднем плане приводят в замешательство. Поневоле спрашиваешь себя: «Куда я попал?» На боку у каждой овцы намалевано красное пятно. Это означает, что завтра, вернее

уже ночью под утро ее отправят на александрийскую бойню.

А между машинами, ослиами и верблюдами лавируют на велосипедах мальчишки — посыльные из харчевен. У многих перекинута через плечо баранья туша. Поскольку руки у велосипедистов заняты, они держат неостриженный хвост туши в зубах. Есть в таком способе транспортировки мяса что-то первобытное и дикое. На каждом ухабе красноватая туша мотается с плеча на плечо, в свете фонарей мелькают крутящиеся спицы, звенит велосипедный звонок, а затем посыльный исчезает со своей ношей в сгущающихся сумерках, словно волк в лесу.

Заходим в какую-то третьеразрядную харчевню. За длинными столами сидят уличные торговцы, рабочие, солдаты и нижние чины египетской армии. Как и у нас, в стране равноправия, где в самых жарких республиках посещение женщинами второразрядной столовой считается из косности чуть ли не верхом неприличия (но только не лодырничество мужчин и претворенная ими в жизнь заповедь корана, гласящая, что «женщина — верблюдица, которая должна пронести на себе мужчину сквозь пустыню жизни»), так и здесь не увидишь в подобной харчевне ни одной женщины. Пока ищут кельнера, владеющего английским, мы осматриваемся. До чего различны и схожи лица вокруг! Все темноокие, и почти у каждого продолговатый разрез глаз. Цвет кожи колеблется от желто-пергаментного до темно-коричневого. Носы главным образом орлиные, но у некоторых мужчин потемнее, они по-негритянски приплюснутые, а губы у этих людей более выпуклые и мясистые. Попадают почти античные, эллинские профили.

На нас поглядывают отнюдь не дружелюбно. Как-никак здесь харчевня не для богатых, не для белых, не для неверных.

Скатерти на столе нет. Еду приносят на зеленых листьях. Ножа и вилки не дают. Посреди стола миска с солью и пряностями. С потолка падает резкий свет ничем не прикрытых ламп, отбрасывающих фантастические тени.

Наконец-то находят, очевидно в соседней харчевне, кельнера, знающего английский. Мы заказываем баранину с картошкой. Сверх того для нас добывают скатерть, тарелки и вилки. Мы заказываем к жаркому самое попу-

лярное в Египте пиво «Стелла». Баранина, приправленная большим количеством зелени, кажется нашим изнеженным зубам несколько мочалистой и жилистой. Но особенно впечатляют пряности. Их много, и они настолько остры, что во рту все горит, а из глаз текут слезы.

Со всех концов маленького зала, в котором вокруг ламп бьются маленькие бабочки, к нам тянутся невидимые параллельные нити изучающих взглядов.

Мы выходим. У Кулешова все еще горит во рту адское пламя пряностей, и он произносит:

— Верблюды!

— Какой верблюд?

— Баран, которого мы ели, был верблюдом! — категорически заявляет Кулешов. И на наши возражения он отвечает: — Верблюжья шея, даю вам слово!

Переубедить его невозможно. И мы сговариваемся на том, что верблюд был все-таки вкусным.

Проходим мимо маленькой бедной мечети, зажатой между домами. Ее широкие двери распахнуты настежь. Мягкий свет падает на красный ковер и на коленопреклоненных богомольцев, то распрямляющих спины, то снова утыкающихся лбами в пол. У дверей поставлены в ряд их потрепанные сандалии и деревянные туфли. Что-то заставляет меня задержаться. Это босые ступни молящихся, обращенные к улице, ступни бедных людей.

Неправда, что характер и судьбу человека можно угадать лишь по его лицу. Наблюдательному человеку очень многое скажут и ступни. Вероятно, они одинаковы у бедняков всего мира. У бегающих весь день за скотиной босоногих пастушат, каков бы ни был у них цвет кожи, одинакова форма пяток и больших пальцев. Одинаковы и дубленные ступни рыбаков. Черные разводы на ногах пахаря, ходившего по осенней стерне, схожи с узорами на коричневых потрескавшихся ногах его далеких братьев, которые перебрались из пустыни в город, где проводят всю жизнь в ходьбе. Я долго смотрю и не нахожу в этом своеобразном строю ни одной изнеженной, мягкокожей пятки. Небо и ветер запечатлевают судьбу человека на его лице, а суровая земля — на его подошвах...

Я стою до тех пор, пока мулла не заканчивает последнее дневное богослужение. Богомольцы встают и молча обуваются, их ноги снова утрачивают своеоб-

разный облик. Несколько взглядов, острых, как пики, буравят мои глаза. В них та самая вражда к неверному, которую превосходно выразил один большой человек и большой писатель:

«Неподвижный, в окаменевших складках голубого покрывала, Муян судит меня:

— Он говорит: ты ешь салат, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины показывают лицо: он сам видел. Он говорит: ты никогда не молишься. Он говорит: на что тебе твои самолеты, твое радио, твой Боннафус, если у тебя нет истины?»

И хотя я понимаю эти взгляды, хотя я истолковываю их почти так же, все же гораздо сильнее запоминаются мне ступни, которые несколько минут назад выглядывали из открытых дверей мечети на пыльную александрийскую улицу. Ведь об истине можно спорить. Но нет смысла спорить о том, нужны ли им самолеты и радио. Да, нужны. И гораздо важнее знать, какой путь выберут эти шершавые, коричневые, потрескавшиеся ступни, которые являются своего рода паспортом для 95 процентов жителей Черного материка, чьи шаги гремят все более согласнo и грозно, приводя в ярость и страх паучьи души на Западе.

16—17 апреля

На борту «Победы», плывущей в Бейрут

По дальним странам
Я ходил,
И мой сурок со мною, —

пела у поручней молодая монахиня, когда я направлялся в нашу большую, почти роскошную каюту. Два ее спутника, похожие на воронов и сопровождающие ее в Бейрут, лежали на шезлонгах. А их подопечная, отойдя от них настолько, чтобы ее не слышали, напевала на незнакомом мне языке тихим, кристально чистым голосом бетховенский мотив. Я украдкой взглянул на ее слабые изнеженные руки с длинными пальцами, лежащие на поручнях, взглянул на ее лицо, лилейная белизна которого казалась болезненной под черным капюшоном. На фоне

Средиземного моря, серого и хмурого, выделялся тонкий иконописный профиль.

По дальним странам
Я ходил...

Но в душе эта девушка в дорогом и элегантном монашеском одеянии везет с собой неотступные воспоминания, неотступную тоску и своего сурка.

Я вошел в каюту, но мелодия продолжала меня терзать, не отставала от меня, и вокруг закружилось в хорошеде все то, что в последние дни наполняло мою душу неясной, тихой печалью. Ибо все мы возим с собой своего сурка, который живет в нас до тех пор, пока живет наше воображение, пока душа не закоснеет. И временами его грустное мурлыканье выражает все, что есть в нас хорошего: воспоминания, которых нечего стыдиться, уходящую молодость, людей, которых мы любим и которые поддерживают нас, мечты, в которых мы становимся такими, какими бываем не часто, но какими нам следует быть всегда, глаза, требовательно глядящие на нас, счастливый смех, и доброе слово, и великое святое чувство, называемое любовью к родине.

О чем ты мурлычешь, мой спутник, мой сурок? О моих товарищах, которые живут на морозе среди льдов, о тех, кто плывет вместе со мной на этом же корабле и с кем я вскоре распрощаюсь, возможно очень надолго, о еще не написанных песнях и о корабле, который мы покидаем?..

Да, о корабле, который мы покидаем... Ведь моя книга была, по сути, закончена вечером 13 апреля, в тот самый час, когда «Кооперация» вышла из Александрии в море.

«Победа» пришла в Александрию 13-го в полдень. Мы следили за ее приближением. Большой белый корпус, несущий на себе многоэтажные соты палубных надстроек и кают, высокие как плавающий отель, вырастал над волноломами. И чем ближе он подходил, тем крохотней и тесней казалась «Кооперация». Мы знали, каково водоизмещение «Победы». Знали, что ее скорость шестнадцать узлов. Именно последнее — скорость «Победы» — пробуждало в нас сочувствие к нашему кораблю, похожее на сочувствие к старикам.

Во второй половине дня мы перебрались на «Победу». Прощание с командой получилось каким-то прохладным. Правда, «Кооперация» должна была через несколько часов выходить, и вызванная этим спешка связывала команду, но... Ведь как-никак *наш* корабль совершил героический рейс, превышающий по расстоянию длину экватора, преодолел льды и штормы. Но сегодня он берет курс на Гибралтар, а после повезет груз в Роттердам, чтобы через месяц-полтора прийти в Ригу или Ленинград в качестве обычного судна, доставившего из Польши уголь. А «Победу» с экспедицией, очевидно, встретят в Одессе ревом судовых сирен, маршами духового оркестра, речами и поцелуями родных. Но все это более чем заслужила наша старая, верная «Кооперация» и ее команда! Вероятно, мы уже витали мыслями в Одессе, в то время как команда думала о Гибралтаре, и потому у людей не нашлось тех теплых хороших слов, которые им следовало бы сказать.

И все же они у всех вертели на языке, даже у тех, кто больше всего проклинал «Кооперацию» в Индийском океане и называл ее старой калошей. Вспоминается, как в Индийском океане при демонстрации одной кинохроники, запечатлевшей судовой караван около Кронштадта, на экране появилась «Кооперация». А как раз в то время мы тащились на одном дизеле, и поэтому зрители освистали свою «Кооперацию». Теперь же при воспоминании об этом мы чувствуем себя так, словно обидели тогда хорошего человека.

«Кооперация» отплыла вечером. Все мы стояли на верхней палубе «Победы», на танцплощадке, и едва до нас донесся грустный вой знакомой сирены, как мы от всего сердца прокричали в ответ неистовое «ура», сопровождаемое низким и гулким басом «Победы». Мы кричали так, как кричат на прощанье другу, которого любят, несмотря на все его слабости. Мы вложили в это «ура» все те слова, которые нам следовало произнести днем на палубе «Кооперации» и в ее каютах.

Мы следили за знакомым судном до тех пор, пока его не поглотила тьма Средиземного моря. И когда мой глаз перестал различать мачтовые огни, я вдруг понял, что меня уже мало интересуют Бейрут, Пирей, Афины и Стамбул, в которые нам предстоит зайти до приплытия в Одессу. И сурок начал мурлыкать песню о корабле, который я покинул.

Сейчас мы держим курс на Бейрут. Ветер норд-вест, Средиземное море взъерошенное и белогривое. Я смотрю на беспокойное ночное море, на то, как обрушиваются и умирают волны.

Похоже, что гребень новой волны в моей жизни — совершенное мною плавание — тоже вот-вот рухнет с шипением вниз и рассыплется брызгами. Но я страстно хочу, чтобы оказались правдой слова поэта:

Бегут, умирают волна за волной,
Могила одной — колыбель для другой!



О ЛЮДЯХ, О КНИГАХ, О МОРЕ

Когда я вспоминаю книги, которые наполняли мои детские сны неясной тревогой и страхом, мне на память приходят прежде всего две: «Остров сокровищ» Стивенсона и сокращенное школьное издание книги Нансена «Фрам» в Полярном море». На эстонском языке она была издана под названием «В ночи и во льдах». Как и в каком направлении может повлиять на молодое воображение Стивенсон, понятно каждому. Но Нансен? Я видел полярный день на Юге — в Антарктике и на Севере — в Норвежском, Баренцевом и Гренландском морях, но полярной ночи я не видел еще ни разу. И, очевидно, именно то, как Нансен рассказывает о своей зимовке с Иогансеном на Земле Франца-Иосифа, как он описывает полярную ночь, произвело на меня такое сильное впечатление. Когда я читал эту книгу, мне казалось, будто меня гнетет и давит нечто черное, тяжелое и ледяное. И это ощущение сохранялось долго, очень долго, может быть, живет во мне и сегодня. Я словно видел и вижу, как вокруг их лачуги бродят голодные и злые белые медведи, как в вечной полярной ночи крышу этой лачуги из шкур моржа гложут полярные лисы. О, эта ночь, нескончаемая ночь... Как ни странно, эта же книга заронила во мне смутное желание пожить когда-нибудь в полярной ночи, всмотреться в ее темное, освещаемое всполохами лицо.

Редакция «Вопросов литературы» попросила меня рассказать, как я писал «Ледовую книгу». Я очень мало могу прибавить к тому, что уже сказал на страницах самой книги. После того как «Ледовая книга» была удостоена Ленинской премии, возник разговор о «творческом достижении» и даже «о творческом горении» ее автора. Если же воспользоваться советом Горького и заменить слово «творчество» более точным и деловым словом «ремесло», то среди тех пятнадцати книг, которые я написал после войны, определение «ремесло» больше всего подходит, пожалуй, к «Ледовой книге». Только один-единственный раз до этого — в 1955 году в Северной Атлантике, когда в темной и узкой каюте селечного траулера я писал «Удивительные путе-

шествия мухумцев», — я был таким же поденным рабочим.

Тогда меня подстегивали затяжные туманы и временная неудача: нам не удавалось найти селедочный косяк, и настроение, как бывает обычно в таких случаях, упало у всех — от капитана до юнги. Я не хотел, да и не смел поддаваться всеобщей депрессии, не хотел писать грустных стихов. И так, совершенно неожиданно даже для самого себя, я написал «Удивительные приключения мухумцев на празднике песни» — лукавую книгу, которую эстонские читатели встретили доброжелательно и по поводу которой критики долго и недоуменно молчали, так как не могли определить жанр произведения и найти полочку, на которую ее поместить. Возможно, что во время работы над этой книгой свою роль сыграла «каютобоязнь», которая охватывает меня, да, наверное, не только меня, в море и о которой я ниже еще скажу. Во всяком случае, я твердо знаю одно: настроением автора и обстановкой, в которой он пишет, далеко не всегда определяются краски и интонации книги, а иногда одно прямо противоположно другому. Вероятно, дело здесь в какой-то внутренней самозащите, возникающей именно в трудных условиях.

«Ледовая книга» написана в форме дневника, и, за редким исключением, я работал над ней каждый день. Я записывал все, что видел. Я стремился уловить — то удачно, то неудачно — различные черты разных характеров по мере того, как они раскрывались передо мной. Уверовав в свою проницательность, я уже нередко делал поспешные, несправедливые или восторженные выводы, и это заставило меня быть более осторожным. Я и сейчас считаю, что если в «Ледовой книге» я изображаю обстановку и людей, к тому же конкретных людей, в основном правильно, то это именно благодаря умению ждать.

За последнее время мне часто приходилось встречаться с журналистами и давать интервью. И я еще больше убедился в том, что нельзя изучать человека методами прокурора или сыщика. Я не хочу обобщать впечатления о своих коллегах, но иногда все же нельзя освободиться от чувства, будто сидящий против тебя репортер воображает, что он штопор, а ты бутылка без этикетки. Задав пару вопросов, он уже убежден, что вытащил пробку и точно знает, какое в бутылке вино: сухое, полусухое, полусладкое или сладкое. У нас, эстонцев, есть выражение: «Лезет под жилетку». Это означает, что кто-то на-

сильно пытается залезть тебе в душу, хочет, чтобы ты рассказал ему все, что у тебя на душе, даже глубоко личное. А если ты этого не сделаешь, он будет упрекать тебя в неискренности, в отсутствии доверия к человеку, в эгоизме и еще в семи смертных грехах. Я ничего не могу поделать с собой, я просто не выношу подобных людей и того елзя, который сочится из-под их пера. Мне кажется, их самодовольство всегда берет верх над тем почтительным, сдержанным восхищением, которое писатель должен испытывать к своему герою. У них полностью отсутствует одно свойство: ироническое отношение к самому себе, умение посмеяться над собой — свойство, которое особенно необходимо в море.

Работая над «Ледовой книгой», я не мог, да и не смел идти путем прокурора или путем «лезущего под жилетку». Моих спутников во льдах и океанах я считал и считаю выдающимися людьми, к которым испытываю глубокое уважение. По сути дела, Ленинской премии они удостоены в такой же мере, как я. Сначала мне несколько мешало недостаточное знание русского языка, и я часто сомневался, правильно ли все понял. Мир проблем, с которым я столкнулся, был для меня полностью *terra incognita*.

Физика, магнетизм, аэрология, метеорология, космические излучения, гляциология, проблемы, связанные с полетами, сейсмология — все эти столь различные области науки, тесно переплетающиеся в комплексной экспедиции, встали передо мной неопределимой стеной. Тем большее значение приобрели для меня люди. Конечно, если бы я тогда знал о шестом континенте столько, сколько знаю теперь, если бы я уже тогда был знаком с очень интересными бюллетенями, освещающими ход экспедиции, и с очерками Артема Анфиногенова; если бы я, наконец, прочел тогда еще не существовавшие книги: «Закованный в лед» начальника второй антарктической экспедиции Алексея Трешникова или «В снегах Антарктиды», автором которой является А. Гусев, начальник станции Пионерская во время первой экспедиции; если бы я знал больше о друзьях пингвинах (по прибытии в Мирный я чувствовал себя перед наукой таким же беспомощным, как пингвин или ездовая собака), — то «Ледовая книга» была бы объемистее, умнее и — неизбежно — компилятивнее. Потому что очень трудно не использовать и не процитировать данные, обработанные авторитетными учеными. Это внушает читате-

лю, особенно же самому автору, уверенность, что он опирается на твердую основу и знает больше, чем он на самом деле знает. Если бы тогда у меня под рукой были книги Трешникова или Гусева, я вряд ли удержался бы от того, чтобы не копировать их страница за страницей. Именно копировать! Ибо если мы заимствуем мысль, а то и цитату из художественного произведения, то органически растворяем ее или в своем тексте, или в ходе своих рассуждений, ставим ее на службу стоящей перед нами задачи или «атакуем ее с фронта и с флангов». Во всяком случае, подчиняем ее себе. Иначе обстоит дело с книгами известных ученых. Если у нас нет ясного представления о вопросах, которые в них рассматриваются, то мы как бы связаны по рукам и ногам и невольно становимся копировщиками. В «Ледовой книге» я стремился воздерживаться от этого и думаю, что это пошло ей на пользу.

Но я не могу умолчать здесь о моем уважении к писателям, которые создают хорошие научно-популярные книги, книги о подвижниках и рыцарях науки, о тех, кто является гордостью всего человечества. В послевоенные годы эти книги нередко заменяли мне учебники, и, читая их, я часто думаю: как трудно, вероятно, написать такую книгу! Еще больше я восхищаюсь учеными, которые сумели сложные научные проблемы изложить широкому читателю просто, понятно и поэтично, так, как это делали, например, Тимирязев, Ферсман. Один из них научил нас видеть и любить растения, другой — понять жизнь каменного царства. Я читаю книгу тартуского физика Х. Ёйглане «Беседы о теории относительности», и местами она кажется мне понятнее, чем некоторые ультрамодные стихотворения последнего времени. К тому же и написана она лучше. В капитальном научном труде известного эстонского орнитолога профессора Кумари многие описания заканчиваются однотипной фразой: «Питается насекомыми, полезно». Но ученые, особенно ихтиологи и орнитологи, уже в силу особенностей своей профессии в какой-то степени поэты, и потому описание морского орла профессор Кумари заканчивает так: «Морской орел — наша самая большая птица, картина его полета является гордостью любого пейзажа, — это один из могущественных памятников природы, который необходимо защищать в целях науки». (Кстати, чтобы почувствовать красоту нашего языка, достаточно прочесть эстонский перечень названий птиц, встре-

чающихся у нас, или познакомиться с названиями растений в трехтомной «Флоре Эстонской ССР».)

Значение научных и научно-популярных книг невозможно переоценить. Они составляют самый большой, всюду проникающий народный университет, рассматриваются ли в них вопросы математики или орнитологии, физики или Арктики, космического полета или жизни на шестом континенте. Конечно, когда в Советской Эстонии, где число читателей на эстонском языке меньше миллиона, роман А. Дюма «Три мушкетера» издается в 40 тысячах экземпляров, а «Фрам» в Полярном море» Нансена и «Последняя экспедиция» Скотта — в 30 тысячах экземпляров, то пропорции довольно-таки нормальные и свидетельствуют об огромном интересе нашего читателя к литературе вообще. Если же на весь Советский Союз книги Трешникова «Закованный в лед» и Гусева «В снегах Антарктиды» вышли тиражом в 35 тысяч экземпляров, в то время как тиражи какой-то «Медной пуговицы» или дешевеньких фантастических опусов достигают нескольких сот тысяч, то невольно создается впечатление, что часто пропаганда и распространение нашей литературы ниже всякой критики и сродни низкопробному и безответственному торгашеству. Книги выдающихся советских полярных исследователей Трешникова и Гусева имеют большую научную и познавательную ценность, это произведения о современных героях. Я не могу не сказать об этом хотя бы в качестве примечания.

Обычно я обдумываю и делаю наброски к будущей книге очень долго, иногда несколько лет. Честно говоря, в процессе создания книги это самое приятное время — требующее наименьшего напряжения и самое радостное. Сопротивления материала еще не существует, и трудные вопросы, которые в процессе писания, во время их практического решения, часто доводят нас до отчаяния, находятся еще в состоянии невесомости. Возможно, что в данном случае этот подготовительный период я пережил, читая некоторые книги. Потому что поездка в Антарктику представлялась мне до самого дня отплытия корабля нереальной, лишь мечтой.

Почти все биографы Нансена цитируют слова его друга Свердруп о том, что Нансен — крупный полярный исследователь — велик как ученый и еще более велик как человек. Они вспоминают и Ромена Роллана, который считал Нансена «единственным героем Европы нашего

времени». Мы, советские люди, с благодарностью помним гигантские усилия этого исполина, предпринятые им в 1921 году, когда в Поволжье голодали миллионы русских крестьян, для их спасения от голодной смерти; помним его выступления в Лиге наций. Мы присоединяемся к замечательным словам председателя IX съезда Советов М. И. Калинина, словам, которые достойны быть вырубленными на камне: «Русский народ сохранит в своей памяти имя великого ученого, исследователя и гражданина Ф. Нансена, героически пробивавшего путь через вечные льды мертвого Севера, но оказавшегося бессильным преодолеть безграничную жестокость, своекорыстие и бездушие правящих капиталистических классов».

Да, Нансен был великим ученым. И из всех западных полярных исследователей он был самым великим человеком. Величие, глубокомыслие, гуманность этого представителя «белой расы» (обратите внимание на его отношение к гренландским эскимосам!) придают краски, теплоту и местами ледяной блеск его книге. Я никогда не понимал, почему иные считают его «Фрам» в Полярном море» или «На лыжах через Гренландию» классикой лишь мертвых ледяных просторов. Чисто литературная ценность, человеческое величие этих книг столь бесспорны, что определяют их значительное, хотя и особое, место в мировой литературе. Время от времени мне приходит в голову параллель, которая может показаться странной: между Жюльеном Сорелем Стендаля и Нансеном. Думается, что есть в них что-то общее. Сорель, этот мятежный плебей, умел и осмелился сжечь за собой мосты и пошел на гильотину, отрезав себе путь к отступлению. Нансен, готовясь к экспедиции в Гренландию, привел прессу и полярные авторитеты в ярость тем, что фактически не оставил своему отряду возможности возвращения на безжизненный восточный берег Гренландии. Всякую возможность отступления он считал гибельной. Но при технике и снаряжении того времени это кажущееся безумным решение было единственно правильным.

Меня привлекает в Нансене его бесконечно чуткое и мужественное восприятие природы. Именно мужественное! Нам, часто превращающим в литературе и в живописи даже суровую северную природу в карамельку, следует многому поучиться у него. Я не вполне уверен, но думаю, что именно книги Нансена заставили ме-

ня затосковать по ледяному Югу и морозному Северу. Потому что если кто и понял душу льда, то это Нансен. И так же как неожиданно выглянувшее из-за туч солнце заставляет пылать синим или ослепительно белым светом бескрайние ледяные просторы, так на страницах книг Нансена вдруг заблестит смешное или ироническое слово, норвежский юмор. Даже в самых трудных условиях! Как он, например, характеризует двух финмаркенских лапландцев, участников его гренландской экспедиции, сколько здесь улыбки умного, сильного человека! Экспедиция возвращается в Норвегию, причалы чернеют от многих тысяч встречающих, города украшены флагами. Нансен обращает на это внимание старшего лапландца и спрашивает, счастлив ли тот, что их так встречают? И оленивод из Финмаркена отвечает вполне логично: «Если бы это все были олени!» Я знаю не много книг, которые заканчивались бы так гениально!

Когда «Кооперация» везла в Мирный третью антарктическую экспедицию, на корабле было очень тесно. Многим не хватало коек в каютах, и часть людей спала на полу в кинозале. Однажды в полдень, мы были тогда уже в Индийском океане, я зашел туда. Шестеро юношей уселись в кружок, и один из них читал что-то вслух. Сначала мое внимание привлекла не книга, а глаза слушающих. Эти юные глаза были серьезными, озабоченными, даже казались старыми. Юноши слушали последние страницы «Последней экспедиции» Скотта. Я не думаю, что этих храбрых, образованных советских юношей заставил посерьезнеть страх перед исполинским ледовым материком. Нет, они переживали трагический финал экспедиции Скотта и думали о Роберте Скотте, который до последнего дыхания оставался тем, кем он был, — героем не одной нации, а всего человечества. И когда я перечитываю некоторые оценки Стефана Цвейга, данные им Роберту Фалькону Скотту, меня наполняет вполне понятное возмущение: «Некто Скотт, капитан английского военного флота... Его биография вполне соответствует его званию... Во всем виден человек без фантазии...»

Может быть, и верно утверждение Цвейга, что Скотт был представителем английской колониальной политики и проводил ее в жизнь, но нельзя утверждать, что в истории Англии он встречался уже сотни раз. Был один-единственный Скотт, на голову выше своих предшественни-

ков колонизаторов. Это подтверждает его «Последняя экспедиция». Это подтверждают глаза юношей в кинозале «Кооперации»: они сумели справедливо и правильно оценить величие подвига Скотта. «Последнюю экспедицию» в полном издании я прочел впервые в Мирном, во время снежного бурана.

Как и те шестеро юношей, о которых я только что говорил, я тоже не рос в атмосфере слезливого восхищения перед книгами какой-нибудь Чарской; мы любим и ищем в литературе и в жизни подлинный героизм. Для меня «Последняя экспедиция» — потрясающая книга. Меня долго и мучительно преследовали картины, последние фотографии экспедиции. Но самое главное в книге Скотта — это его отношение к своим друзьям и подчиненным: понимающее, признательное, иногда даже восторженное. И если когда-нибудь будет писаться настоящая или, говоря словами Ольги Берггольц, «главная книга» о советских людях в полярных льдах и морях (уже давно, давно они заслужили это), то ее будущему автору не следует стыдиться поучиться у этих двух — Нансена и Скотта — отношению к своим героям, к своим соратникам. Это даже в том случае, если он знает и понимает неписанный закон советских полярных экспедиций — товарищество, ненавязчивая готовность помочь, суровый, подлинный гуманизм.

Задолго до поездки в Антарктику я прочел «Путь к Южному полюсу» Эрнеста Шеклтона. Мы знаем, кем был Шеклтон в то время, когда английские интервенты напали на Страну Советов, чтобы задушить нашу молодую республику. Он находился тогда в Мурманске — был одним из них. Но — это «но» такое же, как в отношении к Сомерсету Моэму, — он оставил в истории человечества неизгладимый след. «Путь к Южному полюсу» — мало-подходящее название для этой книги. Экспедиционный корабль Шеклтона «Энджурэнс» погиб, люди остались на льду. И все же в книге Шеклтона есть удивительная глава: 800-мильный путь маленького, длиной в пару десятков футов, вельбота «Джеймс Кэрд» и его команды из шести человек с острова Мордвинова (Элефант) в Южную Георгию. Это глава, которая должна была бы войти в учебную программу всех мореходных училищ. Шеклтон, человек крайних контрастов, умер 48-ми лет. Его биографы пишут, что он умер в результате перенапряжения. Насколько я знаю, он был полной противоположностью Скотту — честолюбивый, иногда даже мелочный.

Но в нем было то «нечто», благодаря чему он чуть было не достиг первым Южного полюса (во время экспедиции 1907—1909 годов он находился от Южного полюса в 154 километрах), благодаря чему он на «Джеймсе Кэрде» проделал на редкость трудный и опасный путь. Но в нем было и то, что Цвейг приписывает Скотту: он был подлинным последователем английских колониалистов. И все же, да, все же много выше и лучше их.

Когда я кончал эту страницу, ко мне пришли в гости два друга: Чернов и Федоренко. О Борисе Чернове, моем большом друге, радисте Мирного, я писал в «Ледовой книге». Федоренко был начальником радиостанции Мирного во время третьей антарктической экспедиции, и мы провели вместе с ним на корабле пятьдесят пять дней. Я был рад снова встретиться с ним. И снова я вспомнил «Кооперацию», вспомнил сельдяной траулер, на котором я плавал в 1955 году, «Воейкова» (Японское море), «Воровского» (Северный Ледовитый океан), вспомнил каюты, каюты, каюты.

Люди, в том числе писатели, которые плавают вокруг Европы на уютных, даже фешенебельных пассажирских теплоходах, не понимают, да и не могут понять, о чем я сейчас говорю. Я проплыл на «Победе» небольшой отрезок пути от Александрии до Одессы и видел, что подобное судно со своими ресторанами, танцами, маскарадами и т. п. напоминает плавучую гостиницу. Я совсем не почувствовал, что вокруг нас море. Как непохожа на все это жизнь на экспедиционном корабле или просто на торговом судне!

Каюты, каюты, каюты...

И «каютобоязнь», которая даже не может возникнуть на подобном уютном пассажирском теплоходе! Слово «каютобоязнь» я позаимствовал у Джозефа Конрада. Точное, лаконичное, гнетущее слово.

И когда у меня на литературных вечерах спрашивают, люблю ли я море, мне бывает трудно ответить на этот вопрос. Трудно, ибо я знаю, что такое каюта. Каюта означает для меня печаль моря, тишину моря, бесконечность моря и — очень редко — красоту моря. Диск иллюминатора из толстого стекла смотрит на тебя как глаз ненавидящего человека. В своей каюте я свободный арестант. Может быть, именно потому в море я работаю намного больше, чем на суше. В каюте экспедиционного судна неизбежно возникает крайне самокритичное настроение, чувство задолженности, сознание, что делаешь

много меньше, чем должен был бы делать. Да, охватывают даже отчаяние и пессимизм. В книге «За бортом по своей воле» Алена Бомбара об этом говорится, пожалуй, впервые честно. Но для нас, писателей, на кого возложены большие общественные обязанности и кто часто выполняет работу, которая под силу лишь целому коллективу, для нас, вынужденных красть время, чтобы писать, и у кого «забывают» требовать новые книги, каюта с ее «каютобязнью» является местом, где мы снова становимся пишущими писателями. Это кажется нелогичным, но это так... И поэтому я с благодарностью вспоминаю все каюты, в которых бывал и где я был действительно пишущим писателем. С особой же теплотой я вспоминаю каюты № 103 и 112 на «Кооперации», куда входили настоящие люди и где я написал три четверти своей «Ледовой книги».

1961

СОДЕРЖАНИЕ

О себе. <i>Перевод В. Рубер</i>	3
ПЕСНЬ СМЕРТИ. <i>Перевод В. Рубер</i>	19
ИЗ КНИГИ «ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ СЫГЕДАТЕ»	
Вступление. <i>Перевод И. Кононова</i>	25
Письмо первое. Поваленные деревья. <i>Перевод И. Кононова</i>	28
Письмо четвертое. Заведующая свинофермой. <i>Перевод И. Кононова</i>	45
Письмо пятое. Отчаяние. <i>Перевод И. Кононова</i>	61
Письмо восьмое и последнее. Крушение «Пюхадекари». <i>Перевод Л. Тоома</i>	100
ИЗ КНИГИ «МОНОЛОГИ»	
Монолог Ристэ с хутора Марди. <i>Перевод В. Рубер</i>	120
Монолог Эрни. Телячьи крестины, или Как это поставить на сцене. <i>Перевод Л. Тоома</i>	124
Монологи Михкеля	
О штиле. <i>Перевод Л. Тоома</i>	131
Марс Штурман и муж ее Константин. <i>Перевод Л. Тоома</i>	137
Добрый Заступник моряков. <i>Перевод Л. Тоома</i>	144
ЛЕДОВАЯ КНИГА. Антарктический путевой дневник. <i>Перевод В. Рубер</i>	150
О людях, о книгах, о море. <i>Перевод В. Рубер</i>	413

Смуул Ю.
С52 Проза: Роман; Рассказы; Эссе. Пер. с эст. —
М.: Сов. писатель, 1985. — 424 с.

Народный писатель Эстонии, лауреат Ленинской и Государственной премий Юхан Смуул (1922–1971) широко известен читателям. Настоящий сборник, выходящий в серии «Школьная библиотека», дает возможность познакомиться с лучшими произведениями писателя: «Ледовой книгой», рассказами из книг «Письма из деревни Сыгедате», «Монологи». В публикуемых эссе автор рассказывает о себе и своей писательской работе.

С $\frac{4702700200-363}{083(02)-85}$ 370-83

ББК 84. Эст 7

Юхан Смуул
ПРОЗА

М., «Советский писатель», 1985, 424 с.
План выпуска 1983 г. № 370.

Редактор *А. О. Тамм*
Худож. редактор *А. С. Томилин*
Техн. редактор *С. Л. Шереметьева*
Корректор *Е. А. Омельяненко*

ИБ № 3796

Сдано в набор 15.02.84. Подписано к печати 15.04.85. А09942. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура Таймс. Высокая печать. Усл. печ. л. 22,26. Уч.-изд. л. 23,42. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1304. Цена 1 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069. Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

1 р. 50 к.

